КОНСТАНТИН
СИМОНОВ



КОНСТАНТИН

СИМОНОВ

Стихи — Пьесы
Рассказы

ОГИЗ
Государственное Издательство
Художественной Литературы
1949


Стихи

ИЗ ПЕРВЫХ КНИГ

* * *

Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с «Ньюпора»,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы. . .

1939

ГЕНЕРАЛ

Памяти Матэ Залка

В горах этой ночью прохладно,
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был,
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад к горящей отчизне
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять.

Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Что должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слыхали о нем.

Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был, над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним.

Венгерское красное знамя
Его освещает в бою.
И, где б он ни бился, он всюду
За Венгрию бьется свою.

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.

Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.

Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны, —
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

1937

ИЗГНАННИК

Испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Все взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя,
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Они его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!
Ведь он искал такой чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И, наконец, нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша.
Где юнкерсы, где неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга;
Старик был в штатском платье, в котелке,
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги — это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб все начать сначала.

Но он не может. «Слышишь, не могу», —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. «Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного».

Старик молчал. «Еще хоть месяц так,
А там — пускай опять штыки, застенки, мавры».
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой.
Губами осторожно трогал.

Как он посмел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не все еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...
. . . .
Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ

Сюжет заимствован у Р. Х. Сендера

Им пятый день давали есть
Соленую треску.
Тюремный повар вырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь
Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:
Пускай в окно на дождик,
Разиня рот, глядят.

Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Двоим на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,
Известном только им двоим
И больше никому.

А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать.
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,
К ним возвращалась память, но
Они не помнили одно:
Где спрятано оружье —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шел сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать.
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь, над головой,
И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.
Его втолкнули в кабинет:
«Ну, как, припомнил или нет?» —
Спросил его начальник.
А посреди стола,
Зовя его ответить «да»,
Стояла свежая вода
За ледяною стенкой
Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,
Он выговорил: «Да,
Я вспомнил. Где-то под землей
Его зарыли мы,
Одно не помню только: где?»
А чортова вода
Над ним смеялась со стола
Начальника тюрьмы.
Начальник, прекратив допрос,
Ему стакан воды поднес
К сухим губам вплотную
И... выплеснул в окно!
«Забыл? Но через пять минут
Сюда другого приведут.

Не ты, так твой товарищ
Припомнит, все равно!»

Начальник вышел. Арестант
Услышал скрип двойной,
И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.
Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: «Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет «да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...» —
«Молчи!» — «Еще молчу... пока...»
А двери скрипнули слегка,
И в них вошел начальник:
«Ну, кто ж расскажет мне?»

И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
«Чорт с ним, с оружьем! Все равно
Дела к концу идут.
Я все скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой
Того, другого, уведет,
Он будет лишним тут».
Солдаты, отодрав с земли
Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Стал сразу бел, как полотно:
Он знал, что снова будут
Бить в ребра и в живот.

«Кричит!» — заметил арестант
И, побледнев едва,
За все, что выдаст, попросил

Себе награды три:
Стакан воды сейчас же — раз,
Свободу завтра — два,
И сделать так, чтоб тот, другой,
Молчал об этом — три.
Начальник рассмеялся: «Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И слово кабальеро,
Что завтра, к двум часам. . .» —
«Нет, я хочу не в два, не в час, —
Пускай он замолчит сейчас!
Я на слово не верю,
Я должен видеть сам».

Начальник твердою рукой
Придвинул телефон:
«Алло! Сейчас же Номер Семь
Отправить в карцер, но
Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он. . .
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно. . .»
Он смаху бросил трубку: «Ну?»
И арестант побрел к окну
И толстую решетку
Попробовал рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то дохлый куст.
А через двор понуро
Плетется тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов.
Настала тишина.
Уже винтовки поднялись,
А тот бредет сквозь двор. . .
Раздался залп. И арестант
Отпрянул от окна:
«Вам про оружье рассказать,
Не правда ли, сеньор?
Мы спрятали его давно.

Мы двое знали, где оно.
Товарищ мог бы выдать
Под пыткой палачу.
Ему, который мог сказать,
Мне удалось язык связать.
Он умер и не скажет.
Я жив — и я молчу!»

1936

ПОРУЧИК

Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.

А крепость Петропавловск-на-Камчатке
Погружена в привычный, мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.

Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза.
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей.

Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —
Неужто нынче будет эстафета? —
Маячили в тумане корабли.

Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
Шли к берегу британские суда.

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.

Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требованье сдачи,
На бастион взошел парламентер.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы, то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?

Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою —
Забытая, а все-таки земля.

Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...
«Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!»

. . . .

Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы.
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,

Когда санктпетербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан,
А старику хромому на отраду
Был полный отпуск с пенсиею дан!

Он все ходил по крепости, бедняга,
Все медлил взлезть по сходням корабля...
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля.

1939

СТАРИК

Памяти Амундсена

Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете круглое нарочно
На океан прорублено окно.

Тут все кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, вставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион.
И с королем на этот раз согласны
Его шофер, кухарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорен.
И ни одной душе не интересно,
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега
Под спальным, шерстью пахнущим, мешком,
Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролет камин ревет в столовой,
И, кочергой помешивая в нем,
Хозяин, как орел белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед огнем.

По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма, —
Пускай в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость все глуше,
И вдруг из тыщеверстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите наши души!»
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды:
Комбинезоны, спальные мешки. . .
Он никогда бы не подумал прежде,
Что могут так заржаветь все крючки. . .

Как трудно их застегивать с отвычки,
Дождь бьет по стеклам мокрою листвой,
В резиновый карман табак и спички,
Револьвер — в задний, компас — в боковой.

Уже с огнем забегали по дому,
Но, заревев и прыгнув из ворот,
Машина по пути к аэродрому
Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы под молнией, как свечи,
Над головой сгибаются, треща,

И дождь, ломаясь на лету о плечи,
Стекает в черный капюшон плаща.

. . . .

Под осень, накануне ледостава,
Рыбачий бот, уйдя на промысла,
Нашел кусок его бессмертной славы —
Обломок обгоревшего крыла.

1939

В КОМАНДИРОВКЕ

Он, мельком оглядев свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит старую «Вечорку»,
На ней и чай, а то и водку пьют.

Открыв свой чемоданчик из клеенки,
Пришпилит кнопкой посреди стены
Большую фотографию ребенка
И маленькую карточку жены.

Не замечая местную природу,
Скупой на внеслужебные слова,
Не хныча, проживет он здесь полгода,
А если надо, так и год и два.

Пожалуй, только письма бы почаще,
Да он ведь терпеливый адресат.
Должно быть, далеко почтовый ящик,
И сына утром надо в детский сад...

Все хорошо, и разве что с отвычки
Затосковав под самый Новый год,
В сенях исчиркав все, что были, спички,
Он москвича другого приведет.

По чайным чашкам разольет зубровку,
Покажет гостю карточку — жена,
Сам понимаешь, я в командировках,
А все-таки хорошая она.

И, хлопая друг друга по коленям,
Припомнят Разгуляй, Коровий брод,
Две комнаты — одну в Кривоколенном,
Другую у Кропоткинских ворот.

Зачем-то вдруг начнут считать трамваи,
Все станции метро переберут,
Друг друга второпях перебивая,
Заведомо с три короба наврут.

Тайком от захмелевшего соседа
Смахнут слезу без видимых причин.
Смешная полунощная беседа
Двух очень стосковавшихся мужчин.
. . . .

Когда-нибудь, отмеченный в приказе,
В последний раз по россыпи снежка
Проедет он на кашляющем ГАЗе
По будущим проспектам городка.

Другой москвич зайдет в его каморку,
Займет ее на месяц или год,
На стол положит старую «Вечорку»
И над кроватью карточки прибьет.

1939

ВАГОН

Есть у каждого вагона
Свой тоннаж и габарит,
И таблица непреклонно
Нам об этом говорит.

Но в какие габариты
Груз поместится людской,
Если, заспаны, не бриты,
Люди едут день-деньской?

Без усушки, без утруски
Проезжают города,
Море чаю пьют по-русски,
Стопку водки иногда.

Много ездив по отчизне,
Мы вагоном дорожим,
Он в пути, подобно жизни,
Бесконечно растяжим.

Вот ты влез на третью полку
И забился в уголок,
Там, где ехал втихомолку
Слезший ночью старичок;

Коренное населенье
Проявляет к тем, кто влез, —
К молодому поколенью, —
Свой законный интерес,

А попутно с этим, если
Были люди хороши,
Тех, что ехали и слезли.
Вспоминают от души.

Ты знакомишься случайно,
Поделившись табаком,
У соседа просишь чайник
И бежишь за кипятком,

Ты чужих детей качаешь,
Книжки почитать даешь,
Ты и сам не замечаешь,
Как в дороге устаешь.

Люди сходят понемногу,
Сходят каждый перегон,
Но, меняясь всю дорогу,
Не пустеет твой вагон.

Ты давно уже не знаешь,
Сколько лет в пути прожил,
И соседей вспоминаешь,
Как заправский старожил.

День темнеет. Дело к ночи.
Скоро — тот кусок пути,
Где без лишних проволочек
Предстоит тебе сойти.

Что ж, возьми пожитки в руки,
По возможности без слез
Слушай, высадившись, стуки
Улетающих колес.

И надейся, что в вагоне
Целых пять минут подряд
На дорожном лексиконе
О тебе поговорят,

Что проездивший полвека
Непоседа и транжир,
Все ж хорошим человеком
Был сошедший пассажир.

1938

* * *

Куда ни глянешь — без призора,
Чуть от дороги шаг ступи,
Солончаковые озера,
Как полотно, лежат в степи.

В степной жаре, как будто рядом,
Их набеленные холсты.
Но ты, семь раз отмерив взглядом,
Отрежешь лишних две версты,

Пока до них дойдешь усталый,
И там, где ждал глотка воды,
Найдешь соленые кристаллы,
Волн затвердевшие ряды.

Но рядом будет так похоже,
Что там глубокая вода...
Тебе придется лезть из кожи,
Чтоб как-нибудь попасть туда.

Ты час пройдешь, и два, и разве
Под вечер, вымокший и злой,
В конце концов найдешь над грязью
Воды в два пальца светлый слой.

Кто раз пошел — себя жестоко
Лишил покоя на земле,
Где все так близко и далеко,
Почти как в нашем ремесле.

1939

ПЯТЬ СТРАНИЦ

Лирическая поэма

В Ленинградской гостинице,
в той, где сегодня пишу я,
Между шкафом стенным
и гостиничным тусклым трюмо
Я случайно заметил
лежавшую там небольшую
Пачку смятых листов —
позабытое кем-то письмо.

Без конверта и адреса.
Видно, письмо это было
Из числа неотправленных,
тех, что кончать ни к чему.
Я читать его стал.
Било десять. Одиннадцать било.
Я не просто прочел, —
я как путник прошел то письмо.

Начиналось, как водится,
с года, числа, обращенья;
Видно, тот, кто писал,
машинально начало тянул,
За какую-то книжку
просил у кого-то прощенья...
Пропустив эти строчки,
я дальше в письмо заглянул:

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

. . . .
. . . .

«Через час с небольшим
уезжаю с полярным экспрессом.
Так мы прочно расстались,
что даже не страшно писать.
Буду я отправлять,
будешь ты получать с интересом,
И знакомым читать,
и в корзинку спокойно бросать.

Что ж такое случилось,
что больше не можем мы вместе?
Где не так мы сказали,
ступили не так и пошли,
И в котором часу,
на каком трижды проклятом месте
Мы ошиблись с тобой
и поправить уже не смогли?

Если б знать это место,
так можно б вернуться, пожалуй,
Но его не найдешь.
Да и не было вовсе его!
В нашей жалобной книге
не будет записано жалоб:
Как ее ни листай,
все равно не прочтешь ничего.

Взять хоть письма мои, —
я всегда их боялся до смерти.
Разве можно не жечь,
разве можно держать их в руках?
Как их вновь ни читай,
как их вновь ни сличай и ни мерь ты,
Только новое горе
разыщешь на старых листках.

Ты недавно упрямо
читала их все по порядку;

В первых письмах писалось,
что я без тебя не могу,
В первых письмах моих,
толщиною в большую тетрадку,
Мне казалось — по шпалам,
не выдержав, я побегу.

Все, что думал и знал,
заносил на бумагу сейчас же,
Но на третьей отлучке
(я сам себя в этом ловлю),
В письмах день ото дня,
по-привычному громче и чаще
Повторяется раньше
чуть слышное слово — люблю.

А немного спустя
начинаются письма вторые,
Ежедневная почта
для любящей нашей жены,
Без особенных клякс
и от слез никогда не сырые.
В меру кратки и будничны.
В меру длинны и нежны.

В них не все еще гладко,
и если на свет посмотреть их, —
Там гостила резинка;
но скоро и ей не бывать...
И тогда выступают на сцену
последние, третьи,
Третьи, умные письма, —
их можешь не жечь и не рвать.

Если трезво взглянуть, —
что же, кажется, страшного в этом?
В письмах все хорошо, —
я пишу по два раза на дню,
Я к тебе обращаюсь
за помощью и за советом,
Я тобой дорожу,
я тебя безгранично ценю.

Потому что я верю,
и знаю тебя все короче,
Потому что ты друг,
потому что чутка и умна...
Одного только нет,
одного не прочтешь между строчек:
Что без всех «потому»
ты мне просто, как воздух, нужна.

Ты по письмам моим
нашу жизнь прочитать захотела.
Ты дочла до конца,
и тебе не терпелось кричать:
Разве нужно ему
отдавать было душу и тело,
Чтобы письма такие
на пятом году получать?

Ты смолчала тогда.
Просто-напросто плача от горя,
По-ребячьи уткнувшись,
на старый диван прилегла
И рыдала молчком,
и, заслышав мой шаг в коридоре,
Наспех спрятала письма
в незапертый ящик стола.

Эти письма читать?
За плохое бы дело взялись мы, —
Ну зачем нам следить,
как менялось «нежны» на «дружны».
Там начало конца,
где читаются старые письма,
Где реликвии нам —
чтоб о близости вспомнить — нужны.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Я любил тебя всю,
а твой ласковый голос отдельно.
Удивляясь неважным,
но милым для нас мелочам,

Мы умели дружить
и о чем-то совсем не постельном,
Лежа рядом, часами
с тобой говорить по ночам.

Это дружба не та,
за которой размолвку скрывают.
Это самая первая,
самая верная связь.
Это дружба — когда
о руках и губах забывают,
Чтоб о самом заветном
всю ночь говорить, торопясь.

Год назад для работы
пришлось нам поехать на север,
По старинным церквам,
по старинным седым городам.
Шелестел на лугах
одуряюще пахнувший клевер,
И дорожная пыль
завивалась по нашим следам.

Нам обоим поездка
казалась ужасно счастливой;
Мой московский заморыш
впервые увидел поля,
И луга, и покосы,
и северных речек разливы,
И впервые услышал,
как черная пахнет земля.

Только здесь ты заметила
в звездах все небо ночное,
Красноватые сосны
стоят вдоль дорог, как стена...
Почему ты на север
не ездила раньше со мною,
Почему ты на землю
привыкла смотреть из окна?

Как-то вышло, что здесь
ты, всегда мне дававшая руку,
Ты, с улыбкой умевшая
выручить в худший из дней,
Ты, которой я слушался,
мой поводырь и порука,
В нашем добром содружестве
бывшая вечно сильней,

Здесь, далеко от дома,
в поездке, ты вдруг растерялась,
Ты на все удивлялась:
на листья, кусты и цветы.
Ты смеялась и пела,
все время мне так и казалось,
Что, в ладоши захлопав,
как в детстве, запрыгаешь ты.

Вспоминаю закат,
переезд через бурную реку.
В мокрой лодке пришлось
на колени тебя посадить,
Переправившись в церковь
со строгими фресками Грека,
Мы, еще не обсохнув,
о них попытались судить.

Со смешным торжеством
мы по краскам века узнавали,
Различали святых
по суровым носам и усам,
И до самого купола
дерзкой рукой доставали,
И спускались обратно
по скользким и шатким лесам.

Ты попутчицей доброю
сделаться мне пожелала,
Чтоб не портить компании,
горькое пиво пила,

Деревянное мясо
   с веселой улыбкой жевала,
На туристских привалах
   спала, как в Москве не спала.

Помню это шоссе
   с торопливой грозой, с облаками.
Я хотел отдохнуть,
   ты сердито пожала плечом
И особенно громко
   стучала в асфальт каблуками,
Чтобы мне доказать,
   что усталость тебе нипочем.

Что ж, мой верный попутчик,
   ведь эдак, пожалуй, и нужно —
И жевать, что придется,
   и с жесткой постелью дружить.
Жаль одно, — что в поездке
   мы жили подчеркнуто дружно,
Неурядицы наши
   решив до Москвы отложить.

Это нам удалось.
   Только это как раз ведь и страшно,
То, что распри свои
   отложить мы впервые смогли.
Там начало конца,
   где, не выдернув боли вчерашней,
Мы, желая покоя,
   по-дружески день провели.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Помню время, когда
   мы на людях бывать не умели,
Нам обоим мешали
   их уши, глаза, голоса.
На веселой пирушке,
   где много шумели и ели,
Было трудно нам высидеть
   больше чем четверть часа.

Чтобы лекции слушать,
    нарочно садились не рядом.
Впрочем, кто бы и как бы
    и что бы ни стал нам читать,
Разве мог помешать он
    нам взглядом выпрашивать взгляда
И, случайно не встретив,
    смертельной обидой считать.

Помню, ты на собрании.
    Жду тебя долго. И трижды
То к дверям подхожу,
    то обрывки ловлю сквозь окно, —
Только б слышать твой голос!
    Неважно, о чем говоришь ты —
Пусть о сдаче зачетов, —
    не все ли мне это равно?

Что такое привычки,
    мы даже не знали сначала;
Если знали из книг,
    то старались о них забывать.
И друг друга любить
    в это время для нас означало —
Каждый день, как впервые,
    друг другу себя открывать.

Было что открывать.
    Было порознь накоплено каждым.
Чтоб вдвоем докопаться
    до самых забытых углов,
Чтобы всякую мелочь
    припомнить хотя бы однажды,
Нам на первых порах
    ни часов нехватало, ни слов.

Но потом нам хватило
    и слов, и часов, и рассудка,
Чтоб свои треволненья
    ввести понемногу в русло.

Было дела по горло.
    Не виделись часто по суткам,
С головой уходя
    я в свое, ты в свое ремесло.

Мы учились делить
    только то, что сегодня и завтра,
Разговаривать нынче
    о том, что случилось вчера.
Это стало спокойным,
    привычным, как утренний завтрак.
Даже время на это
    отведено было с утра.

Мы друг другу за все
    благодарными были когда-то.
Все казалось находкою.
    Все не терпелось дарить.
Но исчезли находки,
    дары приурочены к датам,
Все и нужно, и должно,
    и не за что благодарить.

Куча мелких привычек
    нам будние дни отравляла.
Как я ел, как я пил, —
    все заранее знать ты могла;
Как я в двери входил,
    как пиджак на себе оправлял я,
Как садился за стол,
    как вставал я из-за стола.

Все вдвоем, да вдвоем.
    Уж привычными смотрим глазами,
И случайных гостей
    принимаем все с меньшим трудом.
Через год, через два
    мы уже приглашаем их сами,
И друзья, зачастив,
    не стесняясь заходят в наш дом.

В шумных спорах о вечности
    весело время теряем.
Стол газетой накрыв,
    жидкий чай по-студенчески пьем.
Но оставшись одни,
    в эти дни мы еще повторяем:
«С ними было отлично.
    А все-таки лучше вдвоем».

Если лучше вдвоем, —
    это значит еще не насмарку,
Это значит, что ладим,
    что все еще вместе скрипим...
Помню день, когда поняли:
    словно почтовая марка,
Наша общая жизнь
    была проштемпелевана им.

Как на грех, выходной.
    Целый день толковали о разном.
И, надувшись, засели в углах.
    Я в одном. Ты в другом.
Мы столкнулись в тот день
    с чем-то скучным, большим, безобразным,
Нам впервые тогда
    показалось, что пусто кругом.

Говорить не хотелось,
    довольно уже объяснялись.
Спать и рано, и лень
    застилать на диване кровать.
И тогда, как по сговору,
    сразу мы оба поднялись
И пошли к телефону:
    кого-нибудь в гости зазвать.

Вот и гости пришли.
    Мы особенно шумно галдели,
Нашу утлую мебель
    в два счета поставив вверх дном,

Мы старались шуметь,
чтоб не думать о собственном деле,
Мы старались не думать, —
и думали все об одном:

Что впервые в гостях
мы себе облегченье искали,
Что своими руками
мы счастье свое отдаем.
Чем тоскливее было́, —
тем дольше гостей не пускали,
Наконец, — отпустили
и снова остались вдвоем...

Много раз нам потом
хорошо еще вместе бывало.
Мы работали рядом
и были довольны судьбой,
Но я помнил всегда,
да едва ли и ты забывала,
Что однажды вдвоем
показалось нам плохо с тобой.

Мы, почувствовав это,
глядели глазами сухими,
Понимали, что вряд ли
от памяти мы убежим.
Там начало конца,
где, желая остаться глухими,
В первый раз свое горе
заткнули мы криком чужим.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Помнишь узкую комнату
с насмерть продрогшей стеною,
С раскладною кроватью,
со скрипом расшатанных рам?
Ты все реже и реже
в нее приезжала со мною,
Иногда перед сном,
и почти никогда по утрам.

Ты ее не любила
    за грязные чашки и склянки,
И за то, что она
    не тепла, не светла, не бела,
За косое окно,
    за холодную печку-времянку
И за то, что времянкой
    вся комната эта была.

Я тогда обижался.
    На время забросив работу,
Я повесил ковер.
    Я разбитое вставил стекло.
Я вколачивал гвозди.
    С мужской неуклюжей заботой
Я пытался наладить
    в ней женский уют и тепло.

Было все ни к чему.
    Стало холода меньше и ветра,
Но остался все тот же
    бивачный невыжитый дух.
Может, просто нам тесно?
    Но семь с половиною метров,
Если все хорошо, —
    разве этого мало для двух?

Мы щенятами были.
    Немало пришлось нам побиться,
Чтоб понять, что причиной
    не комната и не кровать,
Чтоб понять, наконец:
    Как недолго и просто влюбиться,
И как сложно с тобой
    с глазу на глаз нам век вековать.

Сколько в этой каморке
    с тобой мы зубрили зачетов.
Керосинку внеся,
    согревались непрочным теплом.

Сколько ты исправляла
    моих чертежей и расчетов.
Терпеливо азы
    повторяла со мной за столом.

Я недавно там был,
    там при скором отъезде забыто
Много разных вещей,
    Там халат твой домашний висит.
Два кривых костыля
    в капитальную стену забиты,
И на них запыленная,
    длинная рама косит.

Так жива эта память,
    что нам вспоминать даже рано:
Было туго с деньгами,
    неважное было житье,
На рожденье мое,
    отыскав эту старую раму,
Вставив снимки свои,
    ты на память дала мне ее.

Двадцать снимков твоих.
    По годам я тебя разбираю:
Вот двухлетний голыш,
    вот девчонка с косичкой смешной,
Вот серьезный подросток,
    и около правого краю
Ты такая, какой
    в первый раз увидалась со мной.

Как я мог позабыть
    твои карточки в комнате этой?
Все висят здесь попрежнему,
    так, словно ты не ушла.
Там начало конца,
    где, на прежние глядя портреты,
В них находят тепло,
    а в себе не находят тепла.

ПЯТАЯ СТРАНИЦА

Ну, расстались с тобой
    и сидели бы, кажется, молча.
Понимали бы трезво,
    что жизнь еще вся впереди.
Отчего же пишу я
    с такой нескрываемой желчью,
Словно я не забыл,
    словно крикнуть хочу: погоди!

Погоди уходить!
    Что я проклятый, что ль, в одиночку
Наши беды считать!
    В сотый раз повторять: «Почему?»
Приезжай, посидим,
    погрустим еще целую ночку.
Раз уж надо грустить, —
    мне обидно грустить одному.

Если любишь, готовься
    удар принимать за ударом,
После долгого счастья
    остаться на месте пустом;
Все романы обычно
    на свадьбах кончают недаром,
Потому что не знают,
    что делать с героем потом.

Отчего мне так грустно?
    Да разве мне жизнь надоела?
Разве птицы не щелкают,
    не зеленеет трава?
Разве взявшись сейчас
    за свое непочатое дело,
Я всего не забуду,
    опять засучив рукава?

Да и ты ведь такая,
    ты тоже ведь плакать не будешь,
Только старый будильник
    приучишься ставить на семь.

Станешь вдвое работать...
    Решивши забыть, — позабудешь.
Позабывши, не вспомнишь,
    не вспомнив, — забудешь совсем.

Все последнее время
    мне вдоволь тоски приносило,
Но за многие годы
    не помню ни часа, ни дня,
Чтобы слышал в руках
    я такую тяжелую силу,
Чтобы жадность такая
    гнала по дорогам меня.

Отчего ж мне так грустно?
    Зачем я пишу без помарок
Все подряд о своих
    то веселых, то грустных часах.
Так письмо тяжело,
    что еще не придумано марок,
Чтоб его оплатить,
    если вешать начнут на весах.

Я письмо перечту,
    я на пальцах еще погадаю, —
Отправлять или нет?
    И скорее всего не пошлю.
Я на этих листках
    подозрительно сильно страдаю
Для такого спокойного слова,
    как «я не люблю».

Разве я не люблю?
    Если я не люблю, то откуда
Эта страсть вспоминать
    и бессонная ночь без огня,
Будто я и забыл
    и не скоро еще позабуду,
и уехать хочу
    и прошу, чтоб держали меня.

Телефон под рукой.
Стоит трубку поднять с аппарата,
Дозвониться до станции,
к проводу вызвать Москву...
По рублю за минуту, —
какая ничтожная плата
За слова, без которых
я, кажется, не проживу.

Только б слышать твой голос!
А там догадаемся оба,
Что еще не конец,
что мы сами повинны кругом.
Что мы просто обязаны
сделать последнюю пробу,
Сразу выехать оба
и встретиться хоть в Бологом.

Только ехать — так ехать.
До завтра терпенья нехватит.
Это кончится тем,
что я, правда, тебе позвоню...
Я лежу в своем номере
на деревянной кровати,
Жду экспресса на север
И мысли пустые гоню.

Ты мне смотришь в глаза:
может, знаю я средство такое,
Чтобы вечно любить,
чтобы право такое добыть, —
Взять за ворот любовь
и держать ее сильной рукою.
Ишь, чего захотела!
Да если бы знал я как быть!

Разве я бы уехал?
Да я бы держал тебя цепко.
Разве б мы разошлись?
Нам тут жить бы с тобою да жить.

Если б знать мне! Но жаль, —
я не знаю такого рецепта,
По которому можно,
как вещи, любовь сторожить.

Нет, мой добрый товарищ,
звонить не хочу и не буду.
Все решали вдвоем,
и решали, казалось, легко.
Чур, не плакать теперь.
Скоро поезд уходит отсюда.
Даже лучше, что ты
в этот день от меня далеко.

Да, мне трудно уехать.
Душою кривить не годится.
Но работа опять
выручает меня, как всегда.
Человек выживает,
когда он умеет трудиться.
Так умелых пловцов
на поверхности держит вода.

Почему ж мне так грустно. . .»
. . . .
. . . .
Письмо обрывалось на этом.
Я представил себе,
как он смотрит в пустые углы.
Как он прячет в карман
свой потертый бумажник с билетом, —
Место в жестком вагоне
Мурманской «Полярной стрелы».
Отложивши письмо,
я, не мешкая, вышел в контору;
Я седого портье
за рукав осторожно поймал:
«Вы не скажете мне,
вы не знаете город, в который
Выбыл тот, кто мой номер
последние дни занимал?» —

«Не могу вам сказать,
очень странные люди бывают.
С чемоданом в руках
он под вечер спустился сюда,
И когда я спросил:
далеко ль гражданин выбывает?
Он, запнувшись, сказал,
что еще не решился, куда».
1938

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

ПЕРВАЯ ГЛАВА

В пятнадцать лет — какие огорченья?
Мальчишеские беды нам не в счет;
Сбежал из дому — попроси прощенья,
Расстался с ней — до свадьбы заживет.

Так повелось: сначала вспомним сами,
И сразу насмех — разве не смешно,
Что где-то за горами, за лесами
Мы ключ от детства бросили давно?

Мы не спеша умнеем год за годом,
Мы привыкаем к своему углу,
Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу.

Дай бог нам всем когда-нибудь, когда
Мы заболеем старостью и грустью,
На пять минут, забыв свои года,
Увидеть юность в волжском захолустьи.

В пятнадцать лет у каждого свое,
Но взрослым всем нам поровну приснится
Прощанье с детством, хитрый взгляд ее
Сквозь нехотя вспорхнувшие ресницы.

Подумать только, сколько лет назад,
И все-таки он с ясностью печальной
Мог вспомнить тот, казалось им, прощальный,
А в самом деле только первый взгляд.

Стоят на разных улицах фасады,
Но в две ограды сдвинулись дворы,
И если хочешь, можно из засады
Смотреть, как, чертыхаясь от жары,
Ее отец пропалывает грядки,
Как ходит мать, как целые часы
Она сама, уткнувши нос в тетрадки,
Мух отгоняет хвостиком косы.
И вдруг слетит с насиженного места
И колесом пройдется через двор.
«Стыдись, Мария. Ты уже невеста,
Пойди сюда», — и скучный разговор,
Который, верно, кончится не скоро,
И надо ждать и, косу теребя,
Смотреть, как тоже, в дырочку забора,
Чужой мальчишка смотрит на тебя.

Зимой, когда подсыпало снежка,
В своей засаде сидя, то и дело
Он видел, как она исподтишка
Через забор в их сторону глядела.

Такого не бывало до сих пор,
А впрочем, просто снег сгребали с крыши.
В сугробах весь, чуть ниже стал забор,
А может быть, и девочка чуть выше.

Весной с отцом и матерью она
Уехала к своей родне за Волгу,
И надо ж так совпасть, что вся весна
Была в тот год дождливою и долгой.

Лениво голубей гонял шестом,
Бог с нею, с этой голубиной славой,
И по привычке на дворе пустом
Все ждал услышать голосок картавый.

И вдруг вернулась. Он и не узнал.
Поближе разглядеть бы попроситься.
Где детство — исцарапанный пенал,
Босые ноги, платьице из ситца?

Как будто в дом вернулась не она,
Не девочка а старшая сестрица.
Соседскому мальчишке грош цена
Для барышни, успевшей опериться.

По воскресеньям — женский гребешок,
Чулочки вместо темной детской кожи
И каблучки, пока всего с вершок,
Еще не как у матери, но все же...

Еще коса, но шпилек полон рот;
У зеркала, от старших втихомолку,
Сердито спрячет девочкину чолку,
В тяжелый узел косу соберет.

Еще, спасибо, в городском саду
Никто из взрослых не гуляет с нею.
Что может быть бессильней и больнее,
Чем ревность на шестнадцатом году?

Пусть даже ты немножко вырос тоже,
Пускай ты на год старше и умней,
Мы рядом с нею все равно моложе,
Нам очень впору позабыть о ней.

И вот вчера, как будто зная это,
Ее отец решил менять жилье.
Возы скрипели, и, как хвост кометы,
Летело сзади по ветру белье.

Коробилась посуда жестяная,
Шкафы вставали дыбом, как стена,
И в старом детском ситчике, сквозная,
С вещами рядом молча шла она.

Он не пошел за нею. Очень надо!
Весь день сидел волчонком, ждал отца,
Чтоб, вдруг вспылив от слова или взгляда,
Стать всем назло несчастным до конца.

И к вечеру дождался — глупый спор,
Сердитое лицо отца за чаем,
И тот непоправимый разговор,
Который мы не сразу замечаем.

Мать выбежала следом без платка,
И он чутьем почувствовал сквозь слезы —
Морщинистая легкая рука
Была сильней, чем ссоры и угрозы.

Бог с ним, с отцом, но с матерью беда,
Она не скажет — скатертью дорога,
Послушаться ее, так никогда
Не убежишь, не перейдешь порога.

Он даже обещал ей, на беду:
Да, возвращусь, да, попрошу прощенья,
Он руки целовал ей на ходу,
Все в тесте от домашнего печенья.

Уже к потемкам, в поисках ночевки,
Добрел до черных волжских пристаней;
Железный хлам, смоленые бечевки,
Далекое движение огней.

Полуночные волжские пески,
Весь в зарослях, весь в уголках укромных,
Построенный посереди реки,
Ночной приют влюбленных и бездомных.

В пятнадцать лет тут будет не до сна:
Обрывки чьих-то жадных разговоров,
Притворный вздох, и снова тишина,
И платья задыхающийся шорох.

Как маленькие звери, на песке
Лежат полузарытые ботинки,
И наспех снятых блузок паутинки
Качаются на легком ивняке.

Был нами аист в девять лет забыт,
Мы в десять взрослых слушать начинали,
В тринадцать лет, пусть мать меня простит,
Мы знали все, хоть ничего не знали.

В пятнадцать лет томленье по утрам —
До хруста кости выгнуть непременно.
Заезжий цирк. Пристрастье к лошадям,
К соленым потным запахам арены.

Не девочка в тумане голубом,
Не старенькое платьице из ситца,
Тут можно было в стенку биться лбом,
Не знать, чего ты хочешь, и беситься.

Он лег ничком на выжженном песке.
Высокая, спокойная, большая,
Рукой небрежно ветви раздвигая,
Босая женщина прошла к реке.

Закрыв глаза, он видел, как кругами
От сильных взмахов прыгает волна, —
Потом затихло. Легкими шагами
С ним рядом вышла на берег она.

Пучок волос из-под косынки вылез.
Он видел все — припухлости у рта
И ниточку загара там, где вырез
Кончался, как запретная черта.

Она сжимала волосы руками,
В тяжелый жгут согнув их пополам.
Вода в песок сбегала ручейками
По длинным, зябшим на ветру ногам.

Она, рассыпав волосы, лениво
Закрыла ими грудь от ветерка,
Всем телом наклонясь, неторопливо
Комочек платья подняла с песка.

Но платье надеваться не хотело,
На нем темнели мокрые следы
Там, где еще невысохшее тело
Все было в мелких капельках воды.

Из-за кустов позвали: «Надя! Надя!»
Откинув наспех волосы с лица,
Пошла на голос, под ноги не глядя,
Не натянувши платья до конца.

Он вдруг устал от душной темноты.
На глубине за дальними песками
На якорях стоявшие плоты
Всю ночь ему моргали огоньками.

Стянув покрепче платье в узелок,
Легко гребя свободною рукою,
Поплыл к плотам и лег на край досок
Над черной, тихо шлепавшей рекою.

Так низко проплывают облака,
Что можно лежа зацепить руками,
На мачтах два зеленых огонька,
Как лампочки, висят под облаками.

Сюда приедет через много лет
Тот, кто в твоих мальчишеских тревогах
Найдет обратный позабытый след
Всего, что растерял он на дорогах.

Он — с виду равнодушно, как прохожий,
Весь город молча обойдет пешком,
Ни на кого из здешних непохожий,
Он будет пахнуть крепким табаком.

Все будет в нем бывалое, мужское,
И слишком громкий одинокий смех,
И даже то, как ловко он, рукою
Прикрыв огонь, закурит без помех.

Он все поймет, он будет долго-долго
Сидеть с тобой на берегу реки,
Смотреть на расходившуюся Волгу,
На пляшущие красные буйки.

Он вспомнит без раскаянья и желчи
Все, чего ты еще не знаешь сам,
Шершавою мужской ладонью молча
Он проведет по детским волосам.

Но, боже мой, как долго ждать свиданья,
Как трудно молчаливому, тому,
Кто через двадцать лет свои страданья
Расскажет вслух себе же самому!

На головном плоту трещал огонь,
Шипя, тонули искры под водою,
Ловя их с лету в красную ладонь,
Волгарь с широкой белой бородою

Неторопливо говорил своим
Плашмя лежавшим на плоту соседям:
«Такая жизнь — поедем, постоим,
Поедем, постоим, опять поедем. . .»

ВТОРАЯ ГЛАВА

1

Мужские неуютные углы,
Должно быть, все похожи друг на друга.
Неделю не метенные полы,
На письменном столе два черных круга
От чайника и от сковороды,
Пучок цветов, засохших без воды,

Велосипед, висящий вверх ногами,
Две пары лыж, приставленных к окну, —
Весь этот мир, в длину и в ширину
Давно измеренный тремя шагами.

Как хорошо мы помним до сих пор
Нехитрые мальчишеские трюки:
Мгновенно в угол заметенный сор,
Под тюфяком разглаженные брюки,
И галстук, перед праздником за сутки
Заботливо заложенный в словарь,
И календарь стенной, на самокрутки
Оборванный вперед на весь январь,
Пиджак, зашитый грубыми стежками,
Тетрадка с юношескими стишками...

Несложные предметы обихода,
Треногий стол и голая стена —
Все ждало здесь, когда придет она,
Желая и страшась ее прихода.

И сам хозяин скучными ночами
Мечтал ее в свой угол привести,
Рубиться с кем-то длинными мечами,
Бог знает, от кого ее спасти.

Он клялся быть ей верным до могилы,
Он звал ее, он ждал ее сюда,
Ждал год и два. Потом почти всегда
Она, в конце концов, к нам приходила.

И говорила: бедный, дорогой —
Какое-то незначащее слово,
Которое, услышав раз, другой,
Мы каждый день хотели слышать снова.

Все стены в доме были той системы,
Когда, имея даже скверный слух,
Живя в одной из комнат, вместе с тем мы
Почти живем в соседних двух.

И если у соседа есть жена,
То, обхвативши голову руками,
Ты все же слышишь, как, ложась, она
Роняет туфли, стукнув каблуками.

А впрочем, женщин в доме было мало.
Мужское беспокойное жилье;
Мы сами, помню, по утрам, бывало,
Стирали в умывальниках белье.

Когда я снова роюсь в этих датах,
Я и доныне верю, не шутя,
Что в тридцать первом не было женатых,
Что все женились года два спустя.

Он уезжал отсюда. Есть пора,
Когда мы погрубевшими руками
Должны потрогать острие пера,
Почувствовать себя учениками,

Должны сменить, уехав налегке,
Строительный привычный беспорядок
На кляксы ученических тетрадок,
На узкую кровать в студгородке.

Он вдруг себя почувствовал подростком
С потертой школьной сумкой на спине.
Он был готов ночей не спать на жестком,
На самом неуютном топчане,

Учителям, как в детстве, глядя в рот,
Сидеть на ученической скамейке,
Жевать на завтрак тощий бутерброд,
Считать стипендий скудные копейки.

2

Мать, по своей старушечьей привычке,
Явилась на вокзал за целый час.
В ее бауле сыну прозапас
Лежал цыпленок, булочки, яички.

С тех пор, как, убедив ее с трудом,
Чтоб каждый день по десять верст не делать,
Уехал сын в заводский дальний дом,
Ей все казалось, что не доглядела,
Что надо б не пускать его в отъезд.
Зазвав к себе, ему котлетки грела,
Как он их уплетал, с тоской смотрела.
Бедняжка, верно, там-то плохо ест...

Есть матери — блажен, кто их имеет, —
Нам кажется порою, может быть,
Они всего на свете и умеют,
Что только нас жалеть, кормить, любить...
Но если сын обижен ни за что, —
Заняв на бесплацкартный у знакомых,
В своем потертом стареньком пальто
Они дойдут до самого наркома.

Но вместо сына к первому звонку
Пришла она, соперница, девчонка,
В мужской ушанке, с сумкой на боку,
В короткой курточке из жеребенка.
Мать ей навстречу важно чуть привстала,
Морщинистую руку подала.
Пока девчонка что-то щебетала,
Мать на нее смотрела из угла.

Ну да, конечно, с синими глазами,
И даже с ямочками на щеках.
И щеки не изъедены слезами,
И ни одной морщинки на руках.

Ну что ж, она не осуждала сына.
Так повелось: растишь, хранишь, потом
Чужая девушка махнет хвостом,
И он уйдет за нею на чужбину...

Сын, правда, говорил ей, что девчонка
Ему близка, как друг или сестра,
Но он мальчишка, а она стара,
Где дружит сын — там, значит, жди внучонка.

Ей захотелось девушке сказать,
Чтоб все-таки она не забывала,
Что жениха ей вырастила мать,
Что мать его в морозы укрывала,

И если мальчик стал большим мужчиной,
Который ей сейчас милее всех,
Пусть помнит, тут и мать была причиной,
Старухе поклониться бы не грех...

Но вот и он. И, ежась от мороза,
Из дымной залы вышли на перрон.
Мать отошла. А девушка и он
Пошли пройтись вперед, до паровоза.

Мать провожала их ревнивым взглядом.
Вот сын пришел, а ты опять одна.
Он до свистка проходит с нею рядом
И ей последней крикнет из окна...

Как два влюбленных, словно все в порядке,
Он и она шли вдоль платформ ночных.
Она забыла взять с собой перчатки,
Он грел ей руки, спрятав их в своих.

Но, боже мой, чего бы он не дал,
Чтоб знать — она нарочно их забыла...
Чтоб знать, приятно ли сейчас ей было,
Что он ей руки греет. Как он ждал,

Чтоб из обычных ледяных границ
Она бы вырвалась хотя бы на мгновенье!
Пустячное дрожание ресниц,
Короткий вздох, одно прикосновенье.

Но что он может знать, когда она
Все так же, не меняясь год от года,
Светла и безнадежно холодна,
Как ясная январская погода!

Оставь ее — и ты легко прощен,
Вернись опять — она и не заметит,
Ее холодным солнцем освещен,
Забудешь ты, как людям солнце светит.

Ему хотелось вместо всех «прости»,
Не долго думав, взять ее в охапку,
Взять всю, как есть, с планшеткой, с шубкой,
с шапкой,
Как перышко в вагон ее внести...

Но, не дождавшись третьего звонка,
Он, даже не простившись хорошенько,
Сказал ей равнодушное «пока»,
Легко вскочил на верхнюю ступеньку.

Состав пошел. Стянув перчатки с рук,
Мать вдоль платформ за сыном зачастила
И, виновато поглядев вокруг,
Из-под полы его перекрестила.

Последнее лицо в оконной раме,
Последний шопот: «Кутайся тепло», —
И кто-то сквозь замерзшее стекло
Кричит, беззвучно шевеля губами.

Мать с торжеством на девушку взглянула —
Не ей, а старой матери своей
Уже с подножки руки протянул он
И помахал фуражкой из дверей.

Но девушка ее не замечала.
Она, давясь от подступавших слез,
Смотрела вдаль, туда, где все кончалось,
Где вился дым и таял стук колес.

Мать видела — на воротник упала
Тотчас стыдливо стертая слеза.
Куда и ревность разом вся пропала,
Заплаканные синие глаза

Ей показались мягче и грустнее;
Что ж, мать порой ревнует невпопад,
Но если мы о сыне плачем с нею,
Нам эти слезы полвины скостят.

— Голубчик мой, я так одна скучаю,
Я так давно к себе вас не звала,
Голубчик мой, пойдемте, выпьем чаю... —
И девушка безропотно пошла.

До самой двери долгий путь ночной
Мать ей тихонько на ухо шептала,
Какой он в раннем детстве был больной,
Каких лекарств она ни испытала.

Как восемь лет кругом была война,
Как трудно приходилось с докторами,
Как, если будет у него жена,
Должна жена быть благодарна маме.

3

Всегда назад столбы летят в окне.
Мы двадцать раз проехать можем мимо,
Они опять по той же стороне
К нам в прошлое летят неутомимо.

Он знал ее давно, давным-давно,
Когда-то в детстве жил он рядом с нею,
Еще мальчишкой, прячась и бледнея,
Подглядывал за ней через окно.

Он помнит платье в ситцевых цветах,
И по двору мельканье пестрой юбки,
И хитрый взгляд, когда она, устав,
Садилась на виду, поджавши губки.

И блеск уже тогда лукавых глаз,
И худенькие девочкины руки.
Он слишком много, для мальчишки, раз
Об этом вспомнил за семь лет разлуки.

И вдруг ее увидеть наяву!
Она его сначала не узнала.
— Где вы теперь живете? — Я живу... —
И улицу знакомую назвала.
— А я ведь вас ходил искать не раз. —
Искать меня? — Вы жили рядом с нами.
Тогда вас звали Машею. — А вас? —
И снова обменялись именами.
Он говорил с ней нарочито грубым,
Еще неустоявшимся баском.
Когда она подкрашивала губы,
Он вытирал их носовым платком.

Под зонтиком, сквозным, как решето,
В весенний дождь она терпела кротко,
Пока с ворчливой нежностью пальто
Застегивал он ей до подбородка.

Они гордились дружбою своей,
Тем, что они так по-простому дружны,
Что друг от друга ни ему, ни ей,
Казалось, больше ничего не нужно.

Она, по крайней мере, много дней
Его к невинной дружбе приучала,
Но он, с тоской поверив в этом ей,
Себе не верил с самого начала.

Раз так стряслось, что женщина не любит,
Ты с дружбой лишь натерпишься стыда,
И счастлив тот, кто разом все обрубит,
Уйдет, чтоб не вернуться никогда.

Он так не смог, он слишком был влюблен,
Он не посмел рискнуть расстаться с нею.
Чем больше дней молчал и медлил он,
Тем было все труднее и стыднее.
И воровским казался каждый взор,
И каждое пожатие — нечестным.
Но девушке, пожалуй, до сих пор
Все это оставалось неизвестным.

Он много раз один в часы ночные
Мечтал, что стоит в дом ее ввести,
Ее вихры мальчишечьи смешные
В послушные косички заплести,
На кухне вымыть чайную посуду,
Нагреть свою печурку докрасна, —
Ей станет так уютно, что она
Останется и не уйдет отсюда...

Минутами казалось, что и ей
Хотелось быть большой, неосторожной.
Сердитые морщинки у бровей,
И голос вдруг по-женскому тревожный,
И взгляд такой, как будто вдруг она
Заметила по середине фразы
Глаза мужчины, койку у окна
И ключ в двери, повернутый два раза.

Нет, не повернутый. Но все равно,
Пусть три шага ты мне позволишь взглядом:
Шаг к двери — заперто. Шаг к лампочке —
темно.
И шаг к тебе, чтоб быть с тобою рядом...

Но где там! Синеглазая юла,
Что ей до нас, до наших темных комнат!
Подпрыгнет, сядет посреди стола,
Обдернуть платье даже и не вспомнит.
Прижмется, если на дворе мороз,
Разуется, чтоб водкой вытер ноги,
И поцелует по-смешному — в нос,
И на плече вздремнет, устав с дороги.

Недавно целый день была метель.
Она заполночь на часы взглянула.
Без спросу застелив его постель,
Калачиком свернувшись, прикорнула.

Он лег у ног ее, как верный пес.
Он видел из-под сдвинувшейся шубы
Беспомощные завитки волос,
По-детски оттопыренные губы.

Так близко, так ужасно далеко
Она еще ни разу не бывала.
Чем так заснуть, беспечно и легко,
Уж лучше бы совсем не ночевала.

Хотелось крикнуть. Выгнать на мороз
Безжалостно, под носом хлопнуть дверью
За это равнодушное, до слез
В такую ночь обидное доверье.

Зато теперь он едет. В самый раз.
Он должен поскорей от рук отбиться,
От рук ее, от губ ее, от глаз,
В кого придется, наскоро влюбиться.

Зубрить, зубрить и в пять утра вставать,
И засыпать над книгой как попало,
Не вспоминая, падать на кровать
И сразу спать. Иначе все пропало.

Вот только жаль, что рельсы и столбы
Легли соблазном между городами,
И предки ждать решения судьбы
Привыкли месяцами и годами.

Легко им было забывать навек,
Когда, кряхтя, тащились колымаги,
Когда казенный сонный человек
По тракту вез почтовые бумаги!

А мы? Вокзал и почта за углом.
Нам трудно день прожить без покаянья.
Забвенье стало трудным ремеслом,
Когда у нас украли расстоянья.

4

На Спасской башне било семь. Москва
Еще была в рассветной синей дымке.
Шипели в снеготаялках дрова,
Свистели постовые-невидимки.

Под буквами неоновых реклам
Сидели сторожа с дробовиками,
Похлопывая красными руками
По рыжим громыхающим бокам.

Прозрачной тонкой струйкой купороса
Дымки из труб летели от застав,
Казалось, целый город, только встав,
Затягивался первой папиросой. . .

Москва в его глазах была большой,
Трамвайной, людной и немножко страшной,
В ней были Кремль и Сухарева башня
И два театра: Малый и Большой.

Но стоило войти в нее с утра,
Увидеть сторожей у магазинов,
Заметить дым последнего костра,
Услышать запах первого бензина, —

Чтоб вдруг понять, что с этою Москвой
Им можно положиться друг на друга,
Что этот город, теплый и живой,
В конце концов ему уделит угол.

Понравься ей. Работай по ночам
И утром пояс стягивай потуже,
Ни в чем не уступая москвичам,
Учись у них, ты их ничем не хуже.

Знай, что себе поможешь только ты.
Пускай земля тебе не будет пухом,
Ты должен уставать до глухоты,
Чтоб слышать жизнь своим оглохшим ухом.

И если разболится голова
И будешь плакать, сидя в чахлом сквере,
Никто не вытрет слез твоих. Москва
Таким слезам попрежнему не верит.

Какое б море мелких неудач,
Какая бы беда ни удручала,

Руками стисни горло и не плачь,
Засядь за стол и все начни сначала.

А вот и дом, куда он так летел, —
Старинное святилище науки.
Московских зодчих золотые руки
Тут положили прочности предел.

Тут все ему внушало уваженье:
Тяжелые чугунные замки,
Львы у ворот, лепные потолки,
Высокие до головокруженья.

По коридорам шли профессора,
Один другого старше, старомодней.
Он их и не заметил бы вчера,
Но с трепетом смотрел на них сегодня —
На их стоячие воротнички,
На узенькие — дудочками — брюки,
Подвязанные ниточкой очки
И в синих жилках старческие руки.

К полуночи он возвратился в дом,
Где им с утра ночевку указали,
Где топчаны, добытые с трудом,
Как хвойный лес, стояли в темном зале.

Курили, говорили о Москве.
Одним казалось далеко за тридцать,
Другие только начинали бриться,
Но мальчики здесь были в меньшинстве.

Сюда сошлись на бивуак ночной
Все больше люди с крепкими руками,
С хорошей выучкою за спиной.
Они себе казались стариками,
Так много за недолгие года
Пришлось трудов жестоких пережить им,
На голом месте строить города,
Кочуя по холодным общежитьям.

Он лег, не раздеваясь, у окна.
На свет и тень нарезав зал ломтями,
Вся в хлопьях снега, белая луна
На подоконник оперлась локтями.
В такую ночь и спать не впору нам.
Нам нужно, чтобы плиты были гулки,
Чтоб нам, привыкшим к четырем стенам,
Вдруг помогали думать переулки.

Он, ежась, вышел в темный коридор.
Свет не горел. В бутылках мерзли свечи.
У самой двери старенький вахтер
В неслышных туфлях поднялся навстречу:
«Вам телеграмма». — Все еще не веря,
Опять читал: «Вернись — я не могу».
На бланке буквы, как следы до двери
На этой ночью выпавшем снегу.

Не может? Лжет. Не может — это значит
Все ходит, ходит ночи напролет
И пробует заплакать и не плачет,
В подушку ртом — как головой об лед.
И вдруг бежит вдогонку за трамваем,
Завидя там похожий воротник,
Сто раз на дню упрямо забывая,
Что встретиться зависит не от них.

Не может быть, он не сошел с ума,
Чтоб верить ей, девчонке-недотроге.
Она уже испугана сама,
Но телеграмму не вернешь с дороги.

И все-таки на том себя ловлю,
Что пробую лицо ее представить,
Когда она мне говорит: люблю,
Решив себя на память мне оставить,
И не могу. Я вижу только рот,
Способный мне сказать два милых слова.
Упрямый — сделать все наоборот,
И детский — тут же помириться снова.

А вдруг она, упрямица, смогла
На каблуках перевернуться круто...
Синица тоже море подожгла,
И кто-то ж ей поверил на минуту.

Спешить к ней, задыхаясь на бегу,
Как будто море, правда, загорится,
Не оставаясь у нее в долгу,
За сумасбродство отплатить сторицей.
Пусть спутав все любя и не любя
Придет к тебе, и рада и не рада.
А ты поверь и обмани себя,
Решив, что так, наверное, и надо.

Без шапки, наспех натянув пальто,
Он выбежал в ночной, пустынный город
И не узнал его. В нем все не то.
Сгребают с крыш, и снег летит за ворот,
И доски, как нарочно, поперек,
И грохот льда, летящего по трубам,
Чтоб не ходил, чтоб сам себя берег,
Ему всю ночь напоминают грубо.

Как трудно, сжившись с городом с утра,
Вдруг встретить ночью — темным, непохожим,
И, зная, что бросать его пора,
Опять себя почувствовать прохожим.

Да стоит ли еще она того,
Чтоб в книги не заглядывать по году,
Чтоб, все забыв, отрекшись от всего,
Вернуться, стать мальчишкой ей в угоду.

Он вспомнил комнату, но не такой,
В какой он жил, а новой, той, в которой
Все тронуто уже ее рукой:
Со скатертью, с окном, закрытым шторой...

Ее подарки, мелочь, баловство,
То абажур, то коврик над кроватью
И штопанное ситцевое платье,
В котором ходят только для него.

Он наизусть в нем знает все заплатки,
Он любит, чтобы дома, встав со сна,
Опять вся в школьных бантиках и складках,
Как девочка, в нем бегала она.

Да, стоит быть нелепым, безрассудным,
Уехать к ней себе же на беду,
Как хорошо, что ничьему суду
Такие преступленья не подсудны.

Ты в этом не раскаешься сначала,
Потом раскаешься, потом тебе
Еще придется каяться, что мало
В чем каяться нашлось в твоей судьбе.

5

Как все-таки она его ждала!
Она не знала раньше, что в разлуке
Так глупо могут опуститься руки,
Так разом опостылеть все дела.

Она была внезапно лишена
Тех маленьких счастливых ожиданий,
Той мелочной, но ежедневной дани,
Которую нам жизнь платить должна.

Мы можем пережить большое горе,
Мы можем задыхаться от тоски,
Тонуть и выплывать. Но в этом море
Всегда должны остаться островки.

Ложась в кровать, нам нужно перед сном
Знать, что назавтра просыпаться стоит,
Что счастье, пусть хоть самое простое,
Пусть тихое, придет к нам завтра днем.

Любила ли она его? Тревожно
Искать портрет. Не узнавать лица,
Казалось, присмотреться бы уж можно,
А все не присмотрелась до конца.

Ей нравился в нем жесткий рот мужчины,
И властное пожатие руки,
И первые недетские морщины,
И ранние седые волоски.

Ей нравилось, что, идя с нею рядом,
Он вдруг дышал, как в гору, тяжело,
Блуждая городским замерзшим садом,
В пальто ее укутывал тепло.
И, руки дольше задержав, чем надо,
Терялся и краснел, сходил с ума,
Когда она, его смущенью рада,
Наивно говорила: «Я сама».

Недавно одолела вдруг усталость.
С ним после лыж вернулась чуть жива.
Шел снег. Она заночевать осталась,
Не из-за снега, так, из озорства.
Ей не спалось, но, притворившись сонной,
Она видала, как он лег у ног,
Когда-то злой, но ею прирученный
Лохматый и взъерошенный щенок.
Такой большой, покорный, терпеливый,
Не смеющий ни рявкнуть, ни напасть...
Как хорошо владеть им! И, трусливо
Зажмурившись, класть пальцы прямо в пасть.

Она уже два года замечала,
Что с ним опасно стало быть нежней.
Любовью перепугана сначала,
Она потом легко привыкла к ней.

Заметила, что он всего слабее,
Когда она — девчонка-егоза,
Когда она дичится и робеет,
И делает невинные глаза.

Все с ним да с ним. И даже в скучный вечер
За то, что он пришел, его браня,
Привыкла так, что, кажется, без встречи
Сама с трудом могла прожить полдня.

Но ей еще ни разу не мечталось,
Забыв про все, притти к нему домой,
Чтоб, кроме вечных слов «моя» и «мой»,
В погасшем доме звуков не осталось.

А если так, — пожалуй, ведь она
Его жалела больше, чем любила.
Но в эти дни, когда ей грустно было,
Когда, оставшись без него одна,
Она себе не находила места,
Ей показалось, что она лгала,
Что мать его, назвав ее невестой,
Недалеко от истины была.

Ей захотелось вдруг, без предисловья,
Расцеловать его, затормошить
И, не спросясь ни у кого, решить,
Что это называется любовью.

Послушает? Вернется ли с дороги?
Попрежнему ль еще она сильна?
Телеграфист был заспанный и строгий,
Переспросил зачем-то имена.

. . . .

. . . .

И вот вокзал. Бутылки с кипятком,
Резиновые, длинные минуты.
И скорый поезд, осадивший круто.
Последний шаг, плетущийся пешком.

Он в самом деле приезжал сюда.
Она должна ему свой голос, руки, тело.
— Ждала? — Ждала. — Звала обратно? —
Да. —
Хотела быть со мною? — Да, хотела.

А ей сейчас сказать бы: «Милый мой»,
Пожалуй, приласкаться осторожно,
Чтоб снова провожал ее домой,
Чтоб все опять привычно и несложно.

Еще хотя бы год не покидать
Лукавого сословия девчонок,
И в каждом сне его тревожно ждать,
И каждый раз за сны краснеть спросонок.

Быть любопытной и неосторожной,
Наперекор мужскому их уму,
Знать каждый раз: чего нельзя, что можно,
И в руки не даваться никому.

А поезд подходил уже к платформе,
Вот кто-то прыгнул с хода на перрон.
Но, слава богу, тот в военной форме,
Который прыгал, все еще не он.

Скорей в толпу, не думая, а там
Пусть будь что будет; подождать немного,
Пусть не идет за нею по пятам.
Она сама найдет потом дорогу.

Бежать, но раньше хоть одним глазком
Увидеть, что приехал в самом деле.
А если нет — глаза зажать платком,
И звать опять, и ждать еще неделю.

6

Не может быть. Он обежал вокзал.
Он грудью бился в запертые двери.
Она придет — да кто тебе сказал?
Уже поняв, но все еще не веря,
Бежал, бежал, как белка в колесе,
По этому грохочущему аду,
Где были все, кого не надо, все,
Все, кроме той, которую нам надо.

Чего все это стоило ему —
Он понял, лишь домой к себе приехав.
Десятки книг, не нужных никому,
Забытых стен нетопленное эхо,

И никого. Пустой и длинный день.
Бывает одиночество такое,
Что хочется хоть собственную тень
Потрогать молча на стене рукою.

Мальчишка плачет, если он побит,
Он маленький, он слез еще не прячет.
Большой мужчина плачет от обид.
Не дай вам бог увидеть, как он плачет.

Он плачет горлом. Он едва-едва
С трудом и болью разжимает губы,
Он говорит ей грубые слова,
Которых не позволил никому бы.

Он говорит — ей, милой, дорогой —
Слова сухие, как обрезки жести,
Такие, за которые другой
Им был бы, кажется, убит на месте.

Не скинув шубки, двери не закрыв,
Не отеревши ноги на пороге,
Она к нему вбежала, как порыв
Нежданной им и ветреной тревоги.

Так в комнату к нам входят только раз,
Чтоб или в ней остаться вместе с нами,
Или, простившись с этими стенами,
Надолго в них одних оставить нас.

Что можем мы заранее узнать?
Любовь пройдет вблизи. И нету силы
Ни привести ее, ни прочь прогнать,
Ни попросить, чтоб дольше погостила.

Он шаг ее услышал за стеною,
Но, не поверив, что пришла она,
На всякий случай стал к дверям спиною,
Касаясь лбом замерзшего окна.

Она швырнула на пол рукавицы,
Чтоб он не слышал, туфли с ног сняла,
На цыпочках пройдя по половице,
Его за шею сзади обняла.

И только здесь, услышав шорох платья
И рук ее почувствовав тепло,
Он в первый раз поверил, что пришло
Его простое, будничное счастье,
То самое, которого, не плача,
Не жалуясь, мы долго ждать должны.
Нам без него не радостны удачи,
Труды скучны, победы не нужны.

Ему осталось только потесниться,
Обнять ее, своим теплом согреть,
От слез, от снега мокрые ресницы
Рукою неуклюже отереть.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1

Лишить бы нас печального пристрастья
Вновь приезжать на старые места.
Как был бы рад из памяти украсть я
Ту комнату, которая не та,
Давно не та, — другими нанята
И все-таки, назло тебе, похожа,
Похожа так, что вдруг мороз по коже,
Когда пройдешь напамять этот дом
И лампу под зеленым колпаком,
Теперь под желтым. Почему под желтым?
Всего семь лет, как из дому ушел ты,
И вот они уж рады — кверху дном:
Ты будешь проходить здесь только днем,
Чтоб не встречать все эти перемены:
Зачем-то перекрашенные стены,
Дешевых люстр стеклянные подвески
И толстые чужие занавески,

Которых мы не покупали с ней.
Я этот дом пройду, закрыв глаза,
Я попрошу, раз иначе нельзя,
Играющих на улице детей,
Скажу, что слеп. Вдвоем с поводырем,
Зажмурясь, я пройду проклятый дом.
Мальчишка-поводырь мне за гроши
Солжет, что здесь не те земля и небо.
И сослепу, не встретив ни души,
Поверю сам, что я тут прежде не был.
Я заплачу, чтоб день прожить незрячим.
А память? Жаль, что не заткнешь ей рта.
Полжизни уписав на пол-листа,
Мы память сложим вчетверо и спрячем.
Начто нам память? Сдать бы напрокат,
Чтоб, как большие черные рояли,
В чужих квартирах памяти стояли.
Пускай, в них барабанят наугад,
Пусть, сев, как втрое сломанная палка,
Там будет гаммы девочка играть,
Чужую память никому не жалко,
И даже лень настройщика позвать.

Какие только мысли не взбредут
В бессонницу, когда мы подъезжаем
И проводник уже стучится с чаем,
И три соседа нехотя встают,
А ты упорно смотришь за окно,
Как будто правда кто-то может встретить. . .
— Вы здесь бывали? — Да, бывал.—Давно? —
Семь лет назад. — Что ж им еще ответить?
Вы никогда не думали, что вдруг
Уйдем — и нет ни тумб, ни крыш, ни ставен.
Вернемся — ловкое движенье рук —
И все назад, как фокусник, расставим?
Не думали? Но поезд, подойдя,
Уже был вровень с низкими домами.
Перрон в окне за каплями дождя
Бежал, прикрывши голову зонтами.
Уже засуетились чьи-то жены,
Уже стучали пальцами в стекло,

А нам с тобой опять не повезло,
Нас только дождь встречает у вагона.

Ну что ж, ведь мы транзитные. Для нас
Не всюду приготовлена погода.
Нам только скоротать бы лишний час
До позднего отплытья парохода.

Что, в самом деле, — мало нам земли?
Есть поезда на Пензу, Минск и Тулу.
Так нет, другой дороги не нашли,
Опять на пепелище потянуло.

Вот этот дом — теперь ходи кругами,
Иди, пока не высохнет песок,
Пока земля, как серный коробок,
У нас не загорится под ногами.

Твое лицо едва ль кому напомнит
Того мальчишку, что давным-давно
Жил за стеной в одной из этих комнат,
Смотрел сквозь это темное окно,

Не зная цен утратам и привычкам,
Еще не веря в тот счастливый год,
Что, как в тайге зимой последним спичкам,
Минутам счастья есть поштучный счет.

А дом все тот же. И в жару, и в стужу,
Не то, что нам: ему износу нет,
Сквозь перекраски пятнами наружу
Опять пробился прежний детский цвет.

Здесь женщина, с которою когда-то
Он прожил год в своем пустом углу,
Тревожно, неуютно, небогато,
Раскладываясь на ночь на полу.

Здесь женщина, с которой слишком долго
Они дружили, обманув себя,
И вдруг сошлись, не разобравшись толком,
Скорее сострадая, чем любя.

Их чувству дружба прежняя мешала;
Они стыдились признаваться в нем,
И то, что было ночью, их смущало,
Смотреть в глаза не позволяло днем.

Здесь женщина, с которой слишком быстро
Они расстались, не успев решить.
Бывают расставания, как выстрел, —
Ни дня, ни часу дольше не прожить.
В них ничего не жалко и не странно,
От них, вперед решая быть умней,
Страдают, как от огнестрельной раны,
И, выжив, поправляются в пять дней.

Но есть еще другие расставанья:
Без громких ссор, без точки на конце,
Ползущая сквозь дни и расстоянья
Болезнь, похожая на ТБЦ:
Уже все зарубцовано, по году
Уже врачей мы не пускаем в дом,
И вдруг весной, в ненастную погоду
Опять, как рыбы, ловим воздух ртом.

Под южным солнцем, заметая след,
Сбежать бы в Крым или, еще полезней,
Сжечь пачку писем, вот уж много лет
Подшитую к истории болезни.

Здесь женщина, которая причастна
К такому списку самых черных дней,
К такой любви, нелепой и несчастной,
Ко стольким бедам юности моей,
Что, вздумай мы по этим пятнам темным
Себя сквозь память, как сквозь строй, прогнать,
С другими мы и счастья не припомним,
С ней — и несчастье будем вспоминать.

Нет, он сюда зайдет в обрез. Зайдет
Уже перед отплытьем, мимоходом.
Он поцелует руку и вздохнет,
И скажет, что прекрасная погода,

Что он случайно оказался тут,
И вот зашел, и что пора в дорогу.
Что скажешь ей за эти пять минут?
Да ничего. Ну, вот и слава богу.

2

Куда ж пойти? Еще не знаем сами.
И нужно, и ко всем, и ни к кому.
И люди с посторонними глазами
Навстречу попадаются ему.

Он вдруг сообразил, что, как ни странно,
Но так же, как и он, его друзья,
Прожив тут юность, с легким чемоданом
Перебирались в дальние края.

Куда ж пойти нам? За угол, и прямо,
Знакомый нераскрашенный фасад,
Печальный дом, где много лет назад
В твою отлучку умирала мама.

Пять дней не умирала — ожидала;
Казалось, никогда не обижал,
А тут вот телеграмма опоздала,
Она звала, а ты не прибежал.

Как ей, должно быть, было одиноко!
На телеграмму денег наскребла.
А сын не едет, сын еще далеко,
У сына, верно, важные дела.

По целым дням глядела на дорогу,
Глаза от света заслонив рукой,
До самой смерти верила, как в бога,
Что он приедет, он ведь не такой.

Стыдилась переспрашивать соседок,
Послали телеграмму или нет,
Отчаявшись, мечтала напоследок,
Чтоб хоть по почте ей прислал ответ.

Он снова вспомнил темный зимний вечер,
Притихший дом, весь в восковом тепле,
И праздничные тоненькие свечи,
Как в день рожденья, в детстве, на столе.

Присев на лавку у ворот, устало
Взглянул на дом, на фикусы в окне.
Ему сегодня только нехватало
Взять и заплакать, прислонясь к стене.
Чтоб постовому дети рассказали,
Как за углом, на улице, один
Сидит и заливается слезами
Седеющий высокий гражданин.
Чтоб постовой узнал, откозырявши,
Спросив, не надо ль помощи ему,
Что гражданин к мамаше умиравшей
Не смог прибыть и плачет потому.

Он вспомнил руки матери. Ее
Все в мелких ссадинках худые пальцы.
Они с рассветом брались за белье
И с темнотой за спицы или пяльцы.
Такие быстрые, как ни следи,
Все что-то надо тормошить и трогать.
Она в гробу впервые их, должно быть,
Сложила неподвижно на груди.
Сбиваясь с ног, чтоб дома было чисто,
Прислуга всем с утра и дотемна,
Мать в праздник вспоминала, что она
Сама была женой телеграфиста.

По воскресеньям, в гости уходя,
Брала с гвоздя завернутую в тряпку,
Увядшую от снега и дождя,
Чуть не до свадьбы купленную шляпку.
Он помнит все подробности, — она
Висела в комнате на видном месте.
Отец купил ее еще невесте;
Ее носила тридцать лет жена.
Потом вдова. Нет, он не взял ее,
Он с похорон уехал без оглядки.

Соседи разобрали все старье:
Венчальный шлейф и белые перчатки,
Стеклярусом обшитый кушачок,
Атласный лиф с засохшей розой чайной —
Тот самый черный мамин сундучок,
Который в детстве был такою тайной.

Все разлетелось по чужим рукам,
В чужие равнодушные квартиры,
Для нас мучительные сувениры
Легко и просто приживались там.

Ему сейчас внезапно захотелось
Хоть на минуту маму возвратить,
Ее худое, легонькое тело
Поднять и на колени посадить,

Придравшись к позабытым именинам,
Все городские лавки обойти,
На все, что есть, как свойственно мужчинам,
Нелепые подарки принести.

— Спасибо, милый. — Стой, да где ж она?
Ведь только что еще жила на свете.
И вдруг ушла. Играющие дети,
Чужие окна, темная стена.

3

Осталось меньше часа до отъезда.
Теперь зайти нам самая пора
В тот дом, как заколдованное место,
Нам в руки не дающийся с утра.

Он побежал, как мальчик на свиданье,
Как будто в доме нас и правда ждут,
Как будто страшно лишних пять минут
Прибавить к стольким годам опозданья.

Он приоткрыл чуть скрипнувшие двери.
Все было тихо. Только в двух шагах

Шел по полу мальчишка и с доверьем
Разглядывал мужчину в сапогах.

Он взял мальчишку на руки. Не в мать,
Совсем не в мать: белесый, светлокожий,
И все же чем-то — сразу не поймать —
Лукавством, что ли, на нее похожий.

— Да сколько же тебе? — Четыре года. —
Где мама? — Там... — И, не спуская с рук,
С ним на руках вошел, как входят в воду,
На всякий случай взяв с собою круг.

Ну да, конечно, как же не узнать.
Он все-таки решил сюда вернуться?
Она сейчас, он должен подождать,
Пока она покормит, отвернуться.

Он оглядел квартиру. По углам
Стояли этажерки и комоды,
И стайки туфель, вышедших из моды,
Паслись у ножек стульев здесь и там.

Квартира, даже в сумрак, в тишине,
Была, как днем, шумна и суетлива.
В ней, как в часы отлива и прилива,
Слонялись вещи от стены к стене.

Здесь девочки давно простыл и след.
Привычками заменены причуды.
Здесь женщина. Ей завтра тридцать лет,
И в детство ей не убежать отсюда.

— А вот и я. — Вот и она сама.
— Совсем седой, как изменился, боже!
За все семь лет ни одного письма. —
А ты ждала? — Нет, не ждала. Но все же... —
Что все же? — Все же... Впрочем, все равно,
Позвал тогда, пожалуй прибежала б.
Все трын-травою поросло давно,
Теперь не нужно запоздалых жалоб.

Знакомый жест — закинутый назад
Упрямый подбородок недотроги,
А взгляд не тот, ленивый, смирный взгляд,
Уже привыкший гаснуть с полдороги.

Он сходство в ней отыскивал напрасно.
Все стало вдруг до странности другим,
Быть может материнским и прекрасным,
Но бесконечно меньше дорогим.
Черты как будто изменились мало,
Все те же губы, но лицо ему
Ничем о прошлом не напоминало
И в будущем не звало ни к чему.

Нет, вовсе нет, она не постарела,
Ее почти не тронули года,
А просто все не так; не так смотрела,
Не так ходила, все не как тогда.

На коврике под детскою кроватью,
Среди подвязок, туфель и чулок,
Валялась тряпка — выцветший кусок
От старенького девичьего платья.
Должно быть, ею уж не первый год
Стирали пыль и вытирали туфли,
И ситцевые розочки потухли
От этих многочисленных невзгод.

Оправившись от первой суеты,
Она была, должно быть, правда рада,
Что дождь прошел и вот приехал ты,
И можно выйти погулять по саду.

Ей, право, очень кстати твой приход,
Чтоб мстительно похвастаться семьею,
Сказать, что сыну скоро пятый год
(А мог девятый быть у нас с тобою),
Что младший весь пошел лицом в отца
(А мог в тебя). Намеки были робки,
Нигде не прорывались до конца,
Но в каждой фразе замыкались в скобки.

Так и живем. Да, счастливы, давно...
А в скобках — и безжалостны к потерям.
Все хорошо. А в скобках — все равно
Завидуешь. Не прячься. Не поверим.
— А ты все так же? — Как?..
— Все так же, ну...
Вдруг с ноткою обидного участья
К тому, что не нашел жену,
Не то, что мы. Себе не склеил счастья.
— Так все и бродишь? — Так уж повелось,
Когда-то ведь за это и любила. —
Была глупа, да мало ли что было,
Нельзя ж мальчишкой до седых волос.

Кто эта женщина? Как после сна,
Глаза ладонью протереть невольно.
Нет, не она. Конечно, не она.
Семь лет он лгал себе. С него довольно.
Она обманом выкрала у той
Знакомую привычку морщить брови,
И детский рот с упрямою чертой,
И милую картавость в каждом слове.

А если поглядеть со стороны,
Как два влюбленных, словно все в порядке,
Он и она вдоль каменной стены
Шли через сад, рассматривая грядки.
— Да, примулы, а это с резедой.
Тут смяли дети, — бегали в горелки.
А здесь табак, а вон на крайней, той... —
Он, чиркнув спичкой, поглядел на стрелки.

Да, он спешит, да, едет ближе к ночи.
Не хочет ли он мужа подождать?
Да нет, по правде говоря, не очень.
Совсем по правде? — Лучше б не видать.
Ревнует к мужу? Слава богу, нет.
Писать ей письма? Нет, писать не станет.
Когда заглянет? Пропадал семь лет,
Еще на семь исчезнет и заглянет.

Он вышел вон. У поворота к школе,
Ютясь в пальтишко узкое свое,
Шла выросшая девочка, до боли
Похожая на прежнюю ее;
Похожая почти до совпаденья,
Неся в руках похожие цветы,
Прошла, как мимолетное виденье,
Прошла, как гений чистой красоты.

И вдруг он понял: вот с кем он прожил
Все эти годы странствий и обманов,
Вот чьи он фотографии возил
На дне пустых дорожных чемоданов.
Да, девочка. И голубой дымок,
И первых встреч неясная тревога,
И на плечи наброшенный платок,
Казенный дом и дальняя дорога.

Сквозь время тоже ходят поезда.
Садимся без билетов и квитанций.
Кондуктор спросит: — Вам куда? — Туда.
И едем до своих конечных станций.
Такой уж путь. На счастье ль, на беду,
Но, выехав за первый дачный пояс,
Не выскочишь, раздумав, на ходу,
Не пересядешь на обратный поезд.
Смотри назад: за сеткою дождя,
По-детски руки протянув с перрона,
Там девочка еще стоит, следя
За фонарем последнего вагона.
— А эта женщина? — Да вы о ком,
Об этой? Нет, о ней я не печалюсь.
Знаком ли с ней? Да, помнится, знаком.
Давным-давно мы где-то с ней встречались.

1936—1941

*

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

Эпилог

Сейчас, когда за школьной партой
«Майн кампф» зубрят ученики
И наци пальцами по картам
Россию делят на куски,

Мы им напомним по порядку
Сначала грозный день, когда
Семь верст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с чудского льда.

Потом напомним день паденья
Последних орденских знамен,
Когда отдавший все владенья
Был Русью орден упразднен.

Напомним им по старым картам
Места, где смерть свою нашли
Пруссаки, вместе с Бонапартом
Искавшие чужой земли.

Напомним, чтоб не забывали,
Как на ноябрьском холоду
Мы прочь штыками выбивали
Их в восемнадцатом году.

За годом год перелистаем.
Не раз, не два за семь веков,
Оружьем новеньким блистая,
К нам шли ряды чужих полков.

Но, грустный опыт повторяя,
Они бежали с русских нив,
Оружье на пути теряя
И мертвецов не схоронив.

В своих музеях мы скопили
За много битв, за семь веков
Ряды покрытых старой пылью
Чужих штандартов и значков.

Опять к оружию взывая,
Пусть знают эти господа,
Что их не вывезет кривая,
Что будет грозен час, когда,

Не забывая, не прощая,
Одним движением вперед,
Свою отчизну защищая,
Пойдет разгневанный народ.

Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,
Мы вспомним через много лет,
Что в землю врезан был краями
Жестокий гусеничный след.

Что мял хлеба сапог солдата,
Что нам навстречу шла война,
Что к Западу от нас когда-то
Была фашистская страна.

Настанет день, когда свободу
Завоевавшему в бою,
Фашизм стряхнувшему народу
Мы руку подадим свою.

Мы верим в это. Так и будет.
Не нынче-завтра грянет бой,
Не нынче-завтра нас разбудит
Горнист военною трубой.

«И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей!»

1937

ГОДЫ ВОЙНЫ

ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

У этого поезда плакать не принято. Штраф.
Я им говорил, чтоб они догадались повесить.
Нет, не десять рублей. Я иначе хотел, я был прав, —
Чтобы плачущих жен удаляли с платформы за десять...
Понимаете вы, десять самых последних минут,
Те, в которые что ни скажи, — не дослышат,
Те, в которые жены перчатки отчаянно мнут,
Бестолковые буквы по стеклам навыворот пишут.
Эти десять минут взять у них, пригрозить, что
возьмут, —
Они насухо вытрут глаза еще дома, в передней.
Может, наше тиранство не все они сразу поймут,
Но на десять минут подчинятся нам все до последней.
Да, пускай улыбнется! Она через силу должна,
Чтоб надолго запомнить лицо ее очень спокойным.
Как охранная грамота, эта улыбка нужна
Всем, кто хочет привыкнуть к далеким дорогам
и войнам.
Вот конверты, в пути пожелтевшие, как сувенир, —
Над почтовым вагоном семь раз изменялась погода, —
Шахматисты по почте играют заочный турнир,
По два месяца ждут от партнера ответного хода.
Надо просто запомнить глаза ее, голос, пальто —
Все, что любишь давно, пусть хоть даже ни за что
ни про что.
Надо просто запомнить и больше уже ни на что
Не ворчать, когда снова застрянет в распутицу почта.

И домой возвращаясь, считая все вздохи колес,
Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на поруки,
Помнить это лицо без кровинки, зато и без слез,
Эту самую трудную маску спокойной разлуки.
На обратном пути будем приступом брать телеграф,
Сыпать молнии на Ярославский вокзал, в управленье.
У этого поезда плакать не принято. Штраф.
— Мы вернулись! Пусть плачут. Снимите свое
объявленье.

1939

ТАНК

Вот здесь он шел. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовою щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницы миной.
Но под рукою не было врача,
И он привстал, от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча,
На раненую ногу припадая.
Вот здесь он, все ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Купив пехоте трудную победу.
. . . .
Уже к рассвету, в копоти, в пыли,
Пришли еще дымящиеся танки
И сообща решили в глубь земли
Зарыть его железные останки.
Он словно не закапывать просил,
Еще сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он что было сил
Еще грозил своей разбитой башней.
Чтоб видно было далеко окрест,
Мы холм над ним насыпали могильный,
Прибив звезду фанерную на шест —
Над полем боя памятник посильный.
. . . .

Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми;
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, —
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.
На постамент взобравшись высоко,
Пусть как свидетель подтвердит по праву:
Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр. Тем больше наша слава.

1939

ДЕРЕВЬЯ

У нас была юрта с дырявой крышей,
с поющим в щели сверчком.
Мы сидели в ней в полдень
и пили дымную воду
с консервированным молоком.
Пятую ночь дует ветер с Хингана,
наступают осенние дни...
— Я так давно не видел деревьев!
Расскажи мне, какие они? —
Они очень, очень высокие,
они выше этой травы,
ни один двугорбый верблюд не дотянется
до их шумящей листвы. —
Листва!
Но я сам забыл ее шелест,
скитаясь по этим степям;
большие и маленькие
кусочки зеленого,
прицепленные к ветвям...
Деревья — их не с чем здесь сравнить,
они огромные, как облака,
они зеленые, как монгольский закат,
и шумные, как река.
А если их много,
целая роща,
зеленое море огня,
зеленое утром,

черное ночью,
синее на исходе дня... —
Но, прервав наши речи на полуслове,
грохот
донесся из-за реки,
как будто по очень глубоким ухабам
проехали грузовики.
И сразу на желтом пустом горизонте,
в мелкой степной пыли,
круглая темносиняя роща
выросла из-под земли.
Она выросла сразу.
Она выросла молча.
Она выросла, как стена, —
красивая темносиняя роща,
синяя дочерна.
Ну что же, смотри на нее, любуйся,
ты забыл здесь шелест листвы...
Но тот, кто давно не видел деревьев,
не повернул головы,
он только поглубже надвинул каску:
— Весь день облака и ветра,
опять эти рощи на горизонте.
Опять бомбежки с утра.

1939

МЕХАНИК

Я знаю, что книгами и речами
Пилота прославят и без меня.
Я лучше скажу о том, кто ночами
С ним рядом просиживал у огня,

Кто вместе с пилотом пил спирт и воду,
Кто с ним пополам по Москве скучал,
Кто в самую дьявольскую погоду
Сто раз провожал его и встречал.

Я помню, как мы друзей провожали
Куда-нибудь в летние отпуска;
Как щедры мы были, как долго держали
Их руки в своих до второго звонка.

Но как прощаться, когда по тревоге
Машина уходит в небо винтом?
И, руки раскинув, расставив ноги,
В степи остаешься стоять крестом.

Полнеба окинув усталым взглядом,
Ты молча ложишься лицом в траву;
Тут все наизусть, тут давно не надо
Смотреть в надоевшую синеву.

Ты знаешь по опыту и по слуху:
Сейчас за грядой песчаных горбов
С ударами, еле слышными уху,
Обрушилось десять черных столбов.

Чья мать потеряет сегодня сына?
Чей друг заночует в палатке один?
С одинаковым дымом горит резина,
Одинаково вспыхивает бензин.

Никогда еще в небе так поздно он не был...
Сквозь палатку зажегся первый огонь.
Ты, как доктор, угрюмо слушаешь небо,
Трубкой к нему приложив ладонь.

Нет, когда мы справлялись об опозданьи,
Выходили встречать к «Полярной стреле»,
Нет, мы с вами не знали цены ожиданья —
Ремесла остающихся на земле.

1939

ДОЖДЬ

Когда в монгольские закаты,
Плывущие вдоль берегов,
Взлетают красные халаты
Зажженных солнцем облаков,

Когда в минуту безнадежно
Дождь заряжает на два дня,
Единственное, что возможно, —
Закрыться и добыть огня,

И быть, как дома, быть, как дома,
Обманно сделать вид такой,
Как будто все давно знакомо
И выключатель под рукой.

Все новости стряхнуть устало,
Забыть поездки, как грехи.
Читать во что бы то ни стало
В дорогу взятые стихи.

Угадывать, почти не слыша,
Полузабытые слова,
Поверить, что за круглой крышей,
За толстым войлоком — Москва;

Москва, Арбат, Замоскворечье,
Весь вечер лгать себе в глаза
Так, чтоб своей монгольской речью
Не сбила с толку нас гроза.

Нам в этот вечер очень нужно,
Как дома в дачный листопад,
Петь песни грустно и недружно,
Перевирая невпопад,

И знать, что есть на свете прочный,
Без юрт, без полок, без кают,
С ключами в скважине замочной,
Для нас сколоченный уют.

Нам нужно это ощущенье, —
Пусть малодушье, баловство,
Но за него просить прощенья
Не будем мы ни у кого.

Уже сорвало войлок с крыши,
Водой хлеснув из-под полы,
И надо лезть как можно выше,
Вязать размокшие узлы.

Но бог с ним, с новым всплеском грома,
С дождем, упавшим на кровать.
Мы целый вечер были дома,
Нам можно зиму зимовать.

1939

ПОЕЗДКА НА ОЗЕРО БУИР-НУР

Это было, как осенью выезд на дачу;
Предпоследнее солнце машину пекло,
Мы, продравшись сквозь заросли наудачу,
Прямо въехали в брызнувшее стекло.

Между трав, между странных цветов козодоя,
Кто, чей рот в старину от жары пересох,
Приказал принести эту чашу с водою
И зарыть до краев ее в медный песок?

От войны только час по хорошей дороге.
Но ты входишь сюда и снимаешь наган,
И хозяева, встретив тебя на пороге,
Таз холодной воды придвигают к ногам;

Он огромный и синий, весь в ивовых рощах,
В пестрых косах песка и прибрежных камней.
Плеск воды и листвы чем обычней и проще,
Тем оглохшему уху их слышать странней.

Час назад еще чудилось, что невозможно
Снова ноги засунуть в горячий песок,
Слышать выстрелы щучьи и гомон дорожный
Диких уток, летящих за дальний мысок.

На заставе нас ждали от чистого сердца,
Был с картошкою подан баран молодой,
Миска воздух сжигавшего красного перца
И бутыль с голубой буир-нурской водой.

Так был шумен мужской наш обед без хозяйки,
Словно мы на мальчишник забрались сюда;
Так лениво машины паслись на лужайке,
Так спокойно шумела о берег вода,

Что когда за сигналом воздушной тревоги
Треск чужого мотора дошел до земли,
Мы не встали. Нас кверху приподняли ноги, —
Мы узлом под скамейками их заплели.

Так бывает, что надо любою ценою
Нам еще хоть минуту прожить в тишине.
Мы упрямо сидели, пока стороною
Самолет мимо нас не прошел в вышине.

А теперь хоть и в путь! Ни короткой, ни долгой
Мы и даром не просим теперь тишины...
Сколько уток вокруг! Надо будет с двухстволкой
Заглянуть в эти заводи после войны.

1939

ФОТОГРАФИЯ

Е. Л.

Я твоих фотографий в дорогу не брал:
Все равно и без них — если вспомним — приедем.
На четвертые сутки, давно переехав Урал,
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.

Никогда не забуду после боя палатку в тылу,
Между сумками, саблями и термосами,
В груде ржавых трофеев, на пыльном полу
Фотографии женщин с чужими косыми глазами.

Они молча стояли у картонных домов для любви,
У цветных абажуров с черным чортиком, с шелковой
рыбкой;
И на всех фотографиях, даже на тех, что в крови,
Снизу вверх улыбались запоздалой бумажной улыбкой.

Взяв из груды одну, равнодушно сказав: «Недурна»,
Уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь, глядела.
Нет, не черствое сердце, а просто война,
До чужих сувениров нам не было дела.

Я не брал фотографий. В дороге на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя,
На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне,
Пыльный пол под ногами, чужую палатку штабную.

1939

САМЫЙ ХРАБРЫЙ

Самый храбрый — не тот, кто, безводьем
измученный,
Мимо нас за водою карабкался днем,
И не тот, кто, в боях к равнодушью приученный,
Семь ночей продержался под нашим огнем;

Самый храбрый солдат — я узнал его осенью,
Когда мы возвращали их пленных домой
И за цепью барханов, за дальнею просинью
Виден был городок с гарнизонной тюрьмой.

Офицерскими долгими взглядами встреченный,
Самый храбрый солдат — здесь нашелся такой, —
Что печально махнул нам в бою искалеченной,
Нашим лекарем вылеченною рукой.

1939

КУКЛА

Мы сняли куклу со штабной машины.
Спасая жизнь, ссылаясь на войну,
Три офицера — храбрые мужчины —
Ее в машине бросили одну.

Привязанная ниточкой за шею,
Она, бежать отчаявшись давно,
Смотрела на разбитые траншеи,
Дрожа в своем холодном кимоно.

Земли и бревен взорванные глыбы;
Кто не был мертв, тот был у нас в плену.
В тот день они и женщину могли бы,
Как эту куклу, бросить здесь одну. . .

Когда я вспоминаю пораженье,
Всю горечь их отчаянья и страх,
Я вижу не воронки в три сажени,
Не трупы на дымящихся кострах, —

Я вижу глаз ее косые щелки,
Пучок волос, затянутый узлом,
Я вижу куклу, на крученом шелке
Висящую за выбитым стеклом.

1939

* * *

Д. Ортенбергу

Семь километров северо-западнее Баин-Бурта
И семь тысяч километров юго-восточней Москвы,
Где вчера еще били полотняными крыльями юрты, —
Только снег заметает обгорелые стебли травы.

Степи настежь открыты буранам и пургам.
Где он, войлочный город, поселок бессонных ночей,
В честь редактора названный кем-то из нас Ортенбургом,
Не внесенный на карты недолгий приют москвичей?

Только круглые ямы от старых бомбежек,
Только сломанный термос, забытый подарок жены;
Волки нюхают термос, находят у снежных дорожек
Пепел писем, которые здесь сожжены.

Полотняный и войлочный, как же он сдался без бою,
Он, так гордо, как парусник, плывший сквозь эти пески?
Может, мы, уезжая, и город забрали с собою,
Положили его в вещевые мешки?

Нам труднее понять это в людных, огромных,
Как возьмешь их с собою — дома, магазины, огни.
Да, и все-таки мы, уезжая, с собою берем их
И, вернувшись, их ставим не так, как стояли они.

Тут в степи это легче, тут все исчезает и тает,
След палатки с песчаным, травой зарастающим швом,
Может, в этом и мужество, — знать, что следы заметает,
Что весь мир умещается в нашем мешке вещевом.

1939

РОДИНА

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Вся в черных обручах меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Итти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

ГОЛОС ДАЛЕКИХ СЫНОВЕЙ

Метель о бревна бьется с детским плачем,
И на море, вставая как стена,
Ревет за полуостровом Рыбачьим
От полюса летящая волна.

Бьют сквозь метель тяжелые орудья,
И до холодной северной зари
Бойцы, припав ко льду и камню грудью,
Ночуют в скалах Муста-Тунтури.

Чадит свеча, оплывшая в жестянке,
И, согревая руки у свечи,
В полярной, в скалы врубленной землянке
Мы эту ночь проводим, москвичи.

Здесь край земли. Под северным сияньем
Нам привелось сегодня ночевать.
Но никаким ветрам и расстояньям
Нас от тебя, Москва, не оторвать!

В антенну бьет полярным льдом и градом.
Твой голос нам подолгу не поймать,
И все-таки за тыщу верст мы рядом
С тобой, Москва, отчизна наша, мать!

Вот снова что-то в рупоре сказали,
И снова треск, и снова долго ждем —
Так, сыновья твои, из страшной дали
Мы материнский голос узнаем.

Мы здесь давно, но словно днем вчерашним
Лишь от своей Москвы отделены,
Видны Кремля нам вековые башни
И площади широкие видны.

Своих друзей московских узнаем мы;
Без долгих слов в руках винтовки сжав,
Они выходят в эту ночь из дома,
Мы слышим шаг их у твоих застав.

Мы видим улицы, где мы ходили,
И школы — в детстве мы учились в них, —
Мы видим женщин тех, что мы любили,
Мы видим матерей своих седых.

Москва моя, военною судьбою
Мать и сыны сравнялись в грозный час,
Ты в эту ночь, как мы, готова к бою,
Как ты, всю ночь мы не смыкаем глаз.

Опять всю ночь над нами крутит вьюга,
И в скалах эхо выстрелов гремит.
Но день придет: от Севера до Юга
Крылатая победа пролетит!

Мы верим, что среди друзей московских
Еще пройдем по площадям твоим,
В молчании еще у стен кремлевских
Мы, слушая куранты, постоим.

В твоих стенах еще, сойдясь с друзьями,
Победный тост поднимем над столом.
И павших, тех, что нет уж между нами,
Мы благодарным словом помянем!

Мы верим в это! Мы сидим в землянке,
Снег заметает мерзлую траву.
Нам не до сна. Свеча чадит в жестянке.
Мы слушаем по радио Москву...

1941, октябрь

СУРОВАЯ ГОДОВЩИНА

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем:
Не мать, не сына — в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем.
Еще такой суровой годовщины
Никто из нас не знал за жизнь свою,
Но сердце настоящего мужчины
Лишь крепче закаляется в бою.
В дни празднеств проходя перед тобою,
Не думая о горестях войны,
Кто знал из нас, что будем мы судьбою
С тобою в этот день разлучены?..
Так знай же, что в жестокий час разлуки
Лишь тверже настоящие сердца,
Лишь крепче в клятве могут сжаться руки,
Лишь лучше помнят сыновья отца.
Те, что привыкли праздник свой с тобой
В былые дни встречать у стен Кремля,
Встречают этот день на поле боя,
И кровью их обагрена земля.
Они везде: от пламенного Юга,
От укреплений под родной Москвой,
До наших мест, где северная вьюга
В окопе заметает с головой.
И если в этот день мы не рядами
По праздничным шагаем площадям,
А, пробивая путь себе штыками,

Ползем вперед по снегу и камням,
Пускай Информбюро включает в сводку,
Что нынче, лишних слов не говоря,
Свой штык врагу втыкая молча в глотку,
Мы отмечаем праздник Октября.
А те из нас, кто в этот день в сраженьи
Во славу милой родины падет, —
В их взоре, как последнее виденье,
Сегодня площадь Красная пройдет.
Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны,
Мы твердо верим, что придем с тобою
К победному решению войны.
Ни жертвы, ни потери, ни страданья
Народную любовь не охладят —
Лишь укрепляют дружбу испытанья,
И битвы верность русскую крепят.
Мы знаем, что еще на площадь выйдем,
Добыв победу собственной рукой,
Мы знаем, что тебя еще увидим
Над праздничной народною рекой.
Как наше счастье, мы увидим снова
Твою шинель солдатской простоты,
Твои родные, после битв суровых
Немного постаревшие черты.

1941, ноябрь

ТОВАРИЩ

Вслед за врагом пять дней, за пядью пядь
Мы по пятам на Запад шли опять.

На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к Западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.

Но сыну было — пусть узнает мать —
Лицом на Запад легче умирать.

1941

МОРСКАЯ ПЕХОТА

Есть приказ для маскировки
Нам бушлаты снять.
К новой форме без сноровки
Трудно привыкать.
Гимнастерки, скатки, фляжки.
Но, суля грозу,
Черноморские тельняшки
Подо всем внизу.
Как рванешь в атаке ворот,
Тельник бьет в глаза,
Словно защищает город
Моря полоса.
Восемь раз я всем отрядом
В бой водил ребят,
На девятый — где-то рядом
Угодил снаряд.
Я вперед рванулся телом,
Но в глазах темно,
На тельняшке синей с белым
Красное пятно.
Пусть пройдет в последнем взоре
Все, что знал моряк.
Белый свет, да сине море,
Да багровый стяг.
Я лежу в бинтах у хаты,
Рана жжет меня,

Но вперед идут ребята,
Не боясь огня.
И врагам моим на горе
Белый свет стоит,
И вверху над синим морем
Красный флаг шумит.

1941, Одесса

АТАКА

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готов был броситься в атаку,
Винтовку вскинув на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как все на ней запоминалось:
Примерзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.

Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пускай лежать здесь много дней.
Земля. На ней никто не тронет,
Лишь крепче прижимайся к ней.

Да, этим мыслям — ты им верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне!

1942

СЛАВА

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руки занеся.

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил итти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

1942

СМЕРТЬ ДРУГА

Памяти Евгения Петрова

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом под одной шинелью
Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье —
Ты все себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям.
Но по полям, войной сожженным,
Итти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
Все уже круг твоих друзей.

Неси ж тот груз, в боях кочуя,
Не оставляя ничего,
С ним вместе под огнем ночуя,
Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его ты только переложишь
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
Его к победе донесет.

1942

ФЛЯГА

Когда в последний путь
Ты отправляешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Посмертная услуга:

Оружье рядом с ним
Пусть в землю не ложится,
Оно еще с другим
Успеет подружиться.

Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала,

И коль ударит в дно
Зеленый хмель солдатский, —
На два глотка вино
Ты раздели по-братски.

Один глоток отпей,
В земле чтоб мертвым спалось
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.

Оставь глоток второй
И, прах предав покою,
С ним флягу ты зарой,
Была чтоб под рукою.

Чтоб в день победы смог,
Как равный, вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Пожар стихал. Закат был сух.
Всю ночь, как будто так и надо,
Уже не поражая слух,
К нам долетала канонада.

И между сабель и сапог,
До стремени не доставая,
Внизу, как тихий василек,
Бродила девочка чужая.

Где дом ее, что сталось с ней
В ту ночь пожара, мы не знали.
Перегибаясь к ней с коней,
К себе на седла поднимали.

Я говорил ей: «Что с тобой?»
И вместе с ней в седле качался.
Пожара отсвет голубой
Навек в глазах ее остался.

Она, как маленький зверек,
К косматой бурке прижималась,
И глаза синий уголек
Все догореть не мог, казалось.

. . . .

Когда-нибудь в тиши ночной,
С черемухой и майской дремой,
У женщины совсем чужой
И всем нам вовсе незнакомой

Заметив грусть и забытье
Без всякой видимой причины,
Что с нею, спросит у нее
Чужой, не знавший нас, мужчина.

А у нее сверкнет слеза,
И, вздрогнув, словно от удара,
Она поднимет вдруг глаза
С далеким отблеском пожара.

«Не знаю, милый». — А в глазах
Вновь полетят в дорожной пыли
Кавалеристы на конях,
Какими мы когда-то были.

Деревни будут догорать,
И кто-то под ночные трубы
Девчонку будет поднимать
В седло, накрывши буркой грубой.

1942

СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Последний кончился огарок,
И по невидимой черте
Три красных точки трех цыгарок
Безмолвно бродят в темноте.

О чем наш разговор солдатский?
О том, что нынче Новый год,
А света нет, и холод адский,
И снег, как каторжный, метет.

Один сказал: — Моя сегодня
Полы помоет, как при мне.
Потом детей, чтоб быть свободней,
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет — мы с ней погодки.
Всплакнет ли, просто ли вздохнет,
Но уж, наверно, рюмкой водки
Меня по-русски помянет...

Второй сказал: — Уж год с лихвою
С моей война нас развела.
Я, с молодой простясь женою,
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю, — коль не верить,
Как проживешь в таком аду?
Наверно, все глядит на двери,
Все ждет — сегодня вдруг приду...

А третий лишь вздохнул устало:
Он думал о своей — о той,
Что с лета прошлого молчала
За черной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,
Чтоб не грустил он, про войну,
Куда их жены отпустили,
Чтобы спасти его жену.

1943

СЛЕПЕЦ

На видевшей виды гармони,
Перебирая хриплый строй,
Слепец играл в чужом вагоне
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно
Еще на той, на той войне,
Из лазарета он, увечный,
Пошел, зажмурясь, по стране.

Сама Россия положила
Гармонь с ним рядом в забытьи
И во владенье подарила
Дороги длинные свои.

Он шел, к увечью привыкая,
Струились слезы по лицу.
Вилась дорога столбовая,
Навеки данная слепцу.

Все люди русские хранили
Его, чтоб был он невредим,
Его крестьяне подвозили,
И бабы плакали над ним.

Проводники вагонов жестких
Через Сибирь его везли.
От слез засохшие полоски
Вдоль черных щек его легли.

Он слеп, кому какое дело
До горестей его чужих?
Но вот гармонь его запела,
И кто-то первый вдруг затих...

И сразу на сердца людские
Печаль, сводящая с ума,
Легла, как будто вдруг Россия
Взяла их за руки сама.

И повела под эти звуки
Туда, где пепел и зола,
Где женщины ломают руки
И кто-то бьет в колокола.

По деревням, по пепелищам,
Среди нагнувшихся теней,
— Чего вы ищете? — Мы ищем
Своих детей, своих детей... —

По бедным, вымершим равнинам,
По желтым волчьим огонькам,
По дымным заревам, по длинным
Степным бесснежным пустырям,

Где со штыком в груди открытой
Во чистом поле, у ракит,
Рукой родною не обмытый,
Сын русской матери лежит,

Где, если будет месть на свете,
Нам по пути то там, то тут
Непохороненные дети
Гвоздикой красной прорастут,

Где ничего не напророчишь
Черней того, что было там...
. . . .
— Стой, гармонист! Чего ты хочешь?
Зачем ты ходишь тут и там?

Свое израненное тело
Уже я нес в огонь атак.
Тебе Россия петь велела?
Я ей не изменю и так,

Скажи ей про меня: не станет
Солдат напрасно отдыхать,
Как только раны чуть затянет,
Пойдет солдат на бой опять.

Скажи ей: не ища покоя,
Пройдет солдат кровавый путь.
Ну, и сыграй еще такое,
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...
. . . .

Слепец лады перебирает,
Он снова только стар и слеп.
И раненый слезу стирает
И режет пополам свой хлеб.

1943

ТРИ БРАТА

Еще победа далека...
Вся даль в дыму, как поле боя.
Разломим хлеб на три куска,
Поделимся между собою.

Нас трое братьев. Говорят,
Как в сказке, мы неодолимы.
Старшой, меньшой и средний брат, —
Втроем идем мы в дом родимый.

Идем, не прячась непогод,
Идем, не ждя, чтоб даль светала.
Мы путники. Уж третий год
Нам посохом винтовка стала.

Наш дом еще далек, далек...
Он там, за боем, там, за дымом.
Он там, где тлеет уголек
На пепелище нелюдимом.

Он там, где, нас уставши ждать,
Босая на жнивье колючем,
Все плачет, плачет, плачет мать,
Все машет нам платком горючим.

Как снег, был бел ее платок,
Но путь наш долог был и торен,
И стал от пыли тех дорог,
Как скорбь, он черен, черен, черен...

Нас трое братьев. Кто дойдет?
Кто счет сведет долгам и ранам?
Один из нас в пыли падет,
Как сноп сражен железом бранным.

Второй, израненный врагом,
Окровавлен, в пути отстанет
И битв былых слепым певцом,
Быть может, вдохновенно станет.

Но невредимым третий брат
Придет домой, и дверь откроет,
И материнский черный плат
В крови врага стократ омоет.

1943

У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова: «Jo to kierro» [1]
Пляшущая женщина поет.

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый,
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает,
Он да песня — больше никого. . .
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

---

[1] По-испански — «Я тебя люблю».

Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо,
Если ты сейчас еще жива,

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном, поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
— Ну-ка, заведи вдогонку нам.

Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоет.

Потеряв в снегах его из вида,
Пусть она поет еще и ждет:
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.

1943

МАТВЕЕВ КУРГАН

Забравшись к отцу в кабинет,
Под пыли слежавшейся горсткой
Однажды найдешь ты планшет
Со старою картой-двухверсткой.

На ней ни долгот, ни широт,
Ни Рака, ни Козерога. . .
Лишь узкая речка течет,
Деревня, лесок и дорога.

Начавший уже собирать
Красивые южные марки,
Ты будешь весь мир узнавать
От Персии до Ямайки.

Индийского моря лазурь,
Плывущие в рифах медузы,
Мыс Доброй Надежды, мыс Бурь,
Холодный пролив Лаперуза.

И будет тебе невдомек,
Зачем твой отец терпеливо
Хранит этой карты листок,
Где нет ни пустынь, ни проливов.

Зачем, когда гости к отцу
Придут, те, что редко бывают,
И близится вечер к концу,
И мать им вина подливает,

Зачем им отец принесет
Ту неинтересную карту,
И все, кто в тот вечер придет,
Склонятся над ней, как за партой.

И, вместо полуденных стран,
Вдруг вспомнят про Старую Руссу,
Какой-то Матвеев Курган,
Какую-то речку Миусу.

Подкравшись к отцу своему,
Вдруг спросишь ты, всеми забытый:
— Матвеев Курган. Почему?
Лежит богатырь там убитый?

Мелькнет в его взоре печаль,
И скажет он голосом странным:
— Да, там богатырь. Только жаль,
Что он не один под курганом.

Потом, проводивши гостей,
На стенах окинет он глазом
Портреты усатых людей,
Что ты не встречал здесь ни разу.

И вдруг, чтоб не видела мать,
Обычно такой непреклонный,
Свой старый наган поиграть
Он даст тебе, вынув патроны.

1943

*

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД

Когда ты входишь в город свой
И женщины тебя встречают,
Над побелевшей головой
Детей высоко поднимают;

Пусть даже ты героем был,
Но не гордись, — ты в день вступленья
Не благодарность заслужил
От них, а только лишь прощенье.

Ты только отдал страшный долг,
Который сделал в ту годину,
Когда твой отступивший полк
Их на год отдал на чужбину.

1943

БЕЗЫМЕННОЕ ПОЛЕ

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

Мы мертвым глаза не закрыли,
Последнего долга отдать
Мы им не успели, спешили, —
Придется нам вдовам сказать.

Не в честных солдатских могилах —
Лежат они прямо в пыли.
Но, мертвых отдав поруганью,
Зато мы живыми пришли.

Не правда ль, мы так и расскажем
Их вдовам и их матерям:
Мы бросили их на дороге,
Зарыть было некогда нам.

Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занес надо мной...
За слов моих страшную горечь
Прости мне, товарищ родной,

Прости мне мои оскорбленья,
Я с горя тебе их сказал,
Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь подставлял.

Я знаю, ты пуль не боялся,
И жизнь, что дала тебе мать,
Берег ты с мужскою надеждой
Ее подороже продать.

Ты, верно, родился в сорочке,
Что все еще жив до сих пор,
И смерть тебе меньшею мукой
Казалась, чем этот позор.

Ты можешь ответить, что мертвых
Завидуешь сам ты судьбе,
Что мертвые сраму не имут,
Нет, — имут, скажу я тебе.

Нет, имут. Глухими ночами,
Когда мы отходим назад,
Восставши из праха, за нами
Покойники наши следят.

Солдаты далеких походов,
Умершие грудью вперед,
Со срамом и яростью слышат
Полночные скрипы подвод,

И, вынести срама не в силах,
Мне чудится в страшной ночи —
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи.

Беззвучно играют их трубы,
Незримы от ног их следы,
Словами беззвучной команды
Их ротные строят в ряды.

Они не хотят оставаться
В забытых могилах своих,
Чтоб пушек немецких колеса
К востоку ползли через них.

В бело-зеленых мундирах,
Как при Великом Петре,
Мертвые преображенцы
Строятся молча в каре.

Плачут седые капралы,
Протяжно играет рожок,
Впервые с Полтавского боя
Уходят они на восток.

Из-под твердынь Измаила,
Не знавший досель ретирад,
Понуро уходит последний
Суворовский мертвый солдат.

Гремят барабаны в Карпатах,
И трубы над Бугом поют,
Сибирские мертвые роты
У стен Перемышля встают.

И на истлевших постромках
Вспять через Неман и Прут
Артиллерийские кони
Разбитые пушки везут.

Ты слышишь, товарищ, ты слышишь,
Как мертвые следом идут,
Ты слышишь: не только потомки,
Нас предки за это клянут.

Так дай же мне клятву, товарищ,
Что больше ни шагу назад,
Чтоб больше не шли вслед за нами
Безмолвные тени солдат.

Чтоб там, где мы стали сегодня, —
Пригорки да мелкий лесок,
Куриный ручей в пол-аршина,
Прибрежный отлогий песок, —

Чтоб этот досель неизвестный
Кусок нас родившей земли
Стал местом последним, докуда
Последние немцы дошли.

Пусть то безыменное поле,
Где нынче пришлось нам стоять,
Вдруг станет той самой твердыней,
Которую немцам не взять.

Ведь тоже в Можайском уезде
Лишь знали названье села,
Которое позже Россия
Бородиным назвала.

1942, июль

УБЕЙ ЕГО

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжанием пчел,
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога,
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уж нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтобы немец, ее застав,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав,
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,

Немцу мыли его белье
И стелили ему постель. . .

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Немец взял и на пол сорвал,
И у матери на глазах
На лицо ему наступал. . .

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, — так ее любил,
Чтобы немцы ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем
Обнаженную на полу,
Чтоб досталось трем этим псам,
В стонах, в ненависти, в крови,
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви. . .

Если ты не хочешь отдать
Немцу, с черным его ружьем,
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, —
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь.
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
То молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед, —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Если немца убил твой брат,
Это он, а не ты, солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты, на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвом стоял.
Так хотел он, его вина —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей.
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

1942, июль

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Женщине из г. Вичуга.

Я вас обязан известить,
Что не дошло до адресата
Письмо, что в ящик опустить
Не постыдились вы когда-то.

Ваш муж не получил письма,
Он не был ранен тоном пошлым,
Не вздрогнул, не сошел с ума,
Не проклял все, что было в прошлом.

Когда он поднимал бойцов
В атаку у руин вокзала,
Нагая грубость ваших слов
Его, по счастью, не терзала.

Когда шагал он тяжело,
Стянув кровавой тряпкой рану,
Письмо от вас еще все шло,
Еще, по счастью, было рано.

Когда на камни он упал
И смерть оборвала дыханье,
Он все еще не получал,
По счастью, вашего посланья.

Могу вам сообщить о том,
Что, завернувши в плащ-палатки,
Мы ночью в сквере городском
Его зарыли после схватки.

Стоит звезда из жести там
И рядом тополь — для приметы...
А впрочем, я забыл, что вам,
Наверно, безразлично это.

Письмо нам утром принесли...
Его, за смертью адресата,
Между собой мы вслух прочли, —
Уж вы простите нам, солдатам.

Быть может, память коротка
У вас. По общему желанью,
От имени всего полка
Я вам напомню содержанье.

Вы написали, что уж год,
Как вы знакомы с новым мужем,
А старый, если и придет,
Вам будет все равно не нужен.

Что вы не знаете беды,
Живете хорошо. И кстати,
Теперь вам никакой нужды
Нет в лейтенантском аттестате.

Чтоб писем он от вас не ждал
И вас не утруждал бы снова...
Вот именно: «не утруждал»...
Вы побольней искали слова.

И все. И больше ничего.
Мы перечли их терпеливо,
Все те слова, что для него
В разлуки час в душе нашли вы.

«Не утруждай». «Муж». «Аттестат»...
Да где ж вы душу потеряли?
Ведь он же был солдат, солдат!
Ведь мы за вас с ним умирали.

Я не хочу судьею быть,
Не все разлуку побеждают,
Не все способны век любить, —
К несчастью, в жизни все бывает.

Но как могли вы, не пойму,
Стать, не боясь, причиной смерти,
Так равнодушно вдруг чуму
На фронт отправить нам в конверте?

Какой холодною рукой
Вы на письмо клеили марки,
Какой палаческий покой
Был в строчках без одной помарки!

Ну хорошо, пусть не любим,
Пускай он больше вам не нужен,
Пусть жить вы будете с другим,
Бог с ним там, с мужем ли, не с мужем.

Но ведь солдат не виноват
В том, что он отпуска не знает,
Что третий год себя подряд,
Вас защищая, утруждает.

Что ж, написать вы не смогли
Пусть горьких слов, но благородных.
В своей душе их не нашли —
Так заняли бы, где угодно.

В отчизне нашей, к счастью, есть
Немало женских душ высоких,
Они б вам оказали честь —
Вам написали б эти строки;

Они б за вас слова нашли,
Чтоб облегчить тоску чужую.
От нас поклон им до земли,
Поклон за душу их большую.

Не вам, а женщинам другим,
От нас отторженным войною,
О вас мы написать хотим,
Пусть знают — вы тому виною,

Что их мужья на фронте тут,
Подчас в душе борясь с собою,
С невольною тревогой ждут
Из дома писем, перед боем.

Мы ваше не к добру прочли,
Теперь нас втайне горечь мучит:
А вдруг не вы одна смогли,
Вдруг кто-нибудь еще получит?

Вы попытались запятнать
Своими строками пустыми
Тот образ женщины, что знать
Хотим мы только как святыню.

На суд далеких жен своих
Мы вас пошлем. Вы клеветали
На них. Вы усомниться в них
Нам на минуту повод дали.

Пускай поставят вам в вину,
Что душу птичью вы скрывали,
Что вы за женщину, жену,
Себя так долго выдавали.

А бывший муж ваш — он убит.
Все хорошо. Живите с новым,
Уж мертвый вас не оскорбит
В письме давно не нужным словом.

Живите, не боясь вины.
Он не напишет, не ответит,
И, в город возвратясь с войны,
С другим вас под руку не встретит.

Лишь за одно еще простить
Придется вам его, — за то, что,
Наверно с месяц приносить
Еще вам будет письма почта.

Уж ничего не сделать тут —
Письмо медлительнее пули.
К вам письма в сентябре придут,
А он убит еще в июле.

О вас там каждая строка,
Вам это, верно, неприятно —
Так я от имени полка
Беру его слова обратно.

Примите же в конце от нас
Презренье наше на прощанье.
Не уважающие вас
Покойного однополчане.

Постскриптум:
Извещаем вас,
Что список с этих строк послали
Мы всюду, чтоб на этот раз
Вас, где б вы не жили, узнали.

По поручению офицеров полка

К. Симонов

1943

СЫН АРТИЛЛЕРИСТА

Был у майора Деева
Товарищ — майор Петров,
Дружили еще с гражданской,
Еще с двадцатых годов.
Вместе рубали белых
Шашками на скаку,
Вместе потом служили
В артиллерийском полку.

А у майора Петрова
Был Ленька, любимый сын,
Без матери, при казарме,
Рос мальчишка один.
И если Петров в отъезде, —
Бывало, вместо отца
Друг его оставался
Для этого сорванца.

Вызовет Деев Леньку:
— А ну, поедем гулять!
Сыну артиллериста
Пора к коню привыкать!
С Ленькой вдвоем поедет
В рысь, а потом в карьер.
Бывало, Ленька спасует,
Взять не сможет барьер,

Свалится и захнычет.
— Понятно, еще малец! —
Деев его поднимает,
Словно второй отец.
Подсадит снова на лошадь:
— Учись, брат, барьеры брать!
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.

Прошло еще два-три года,
И в стороны унесло
Деева и Петрова
Военное ремесло.

Уехал Деев на Север
И даже адрес забыл.
Увидеться — это б здорово!
А писем он не любил.
Но от того, должно быть,
Что сам уж детей не ждал,
О Леньке с какой-то грустью
Часто он вспоминал.
Десять лет пролетело.
Кончилась тишина,
Громом загрохотала
Над родиною война.
Деев дрался на Севере;
В полярной глуши своей
Иногда по газетам
Искал имена друзей.

Однажды нашел Петрова:
«Значит, жив и здоров!»
В газете его хвалили,
На Юге дрался Петров.

Потом, приехавши с Юга,
Кто-то сказал ему,
Что Петров, Николай Егорыч,
Геройски погиб в Крыму.

Деев вынул газету,
Спросил: «Какого числа?» —
И с грустью понял, что почта
Сюда слишком долго шла...
А вскоре в один из пасмурных
Северных вечеров
К Дееву в полк назначен
Был лейтенант Петров.

Деев сидел над картой
При двух чадящих свечах.
Вошел высокий военный,
Косая сажень в плечах.
В первые две минуты
Майор его не узнал,
Лишь басок лейтенанта
О чем-то напоминал.

— А ну, повернитесь к свету, —
И свечку к нему поднес.
Все те же детские губы,
Тот же курносый нос.
А что усы — так ведь это
Сбрить! — и весь разговор.
— Ленька? — Так точно, Ленька,
Он самый, товарищ майор!

— Значит, окончил школу,
Будем вместе служить.
Жаль, до такого счастья
Отцу не пришлось дожить. —
У Леньки в глазах блеснула
Непрошенная слеза.
Он, скрипнув зубами, молча
Отер рукавом глаза.

И снова пришлось майору,
Как в детстве, ему сказать:
— Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.

А через две недели
Шел в скалах тяжелый бой,
Чтоб выручить всех, обязан
Кто-то рискнуть собой.
Майор к себе вызвал Леньку,
Взглянул на него в упор.
— По вашему приказанью
Явился, товарищ майор. —

Ну, что ж, хорошо, что явился,
Оставь документы мне.
Пойдешь один, без радиста,
Рация на спине.
И через фронт, по скалам,
Ночью в немецкий тыл
Пройдешь по такой тропинке,
Где никто не ходил.

Будешь оттуда по радио
Вести огонь батарей,
Ясно? — Так точно, ясно. —
Ну, так иди скорей.
Нет, погоди немножко, —
Майор на секунду встал,
Как в детстве, двумя руками
Леньку к себе прижал: —
Идешь на такое дело,
Что трудно притти назад.
Как командир тебя я
Туда посылать не рад.
Но как отец... Ответь мне:
Отец я тебе иль нет? —

Отец, — сказал ему Ленька
И обнял его в ответ.

— Так вот, как отец, раз вышло
На жизнь и смерть воевать,
Отцовский мой долг и право
Сыном своим рисковать;
Раньше других я должен
Сына вперед посылать.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была. —
Понял меня? — Все понял.
Разрешите итти? — Иди! —
Майор остался в землянке,
Снаряды рвались впереди.

Где-то гремело и ухало.
Майор следил по часам,
В сто раз ему было б легче,
Если бы шел он сам.
Двенадцать... Сейчас, наверно,
Прошел он через посты.
Час... Сейчас он добрался
К подножию высоты.
Два... Он теперь, должно быть,
Ползет на самый хребет.
Три... Поскорей бы, чтобы
Его не застал рассвет.
Деев вышел на воздух —
Как ярко светит луна,
Не могла подождать до завтра,
Проклята будь она!

Всю ночь, шагая как маятник,
Глаз майор не смыкал,
Пока по радио утром
Донесся первый сигнал:

— Все в порядке, добрался.
Немцы левей меня,
Координаты три, десять,
Скорей давайте огня!

Орудия зарядили,
Майор рассчитал все сам,
И с ревом первые залпы
Ударили по горам.
И снова сигнал по радио:
— Немцы правей меня,
Координаты пять, десять,
Скорее еще огня!

Летели земля и скалы,
Столбом поднимался дым,
Казалось, теперь оттуда
Никто не уйдет живым.
Третий сигнал по радио:
— Немцы вокруг меня,
Бейте четыре, десять,
Не жалейте огня!

Майор побледнел, услышав:
Четыре, десять — как раз
То место, где его Ленька
Должен сидеть сейчас.
Но, не подавши виду,
Забыв, что он был отцом,
Майор продолжал командовать
Со спокойным лицом:
«Огонь!» — летели снаряды.
«Огонь!» — заряжай скорей!
По квадрату четыре, десять
Било шесть батарей.
Радио час молчало,
Потом донесся сигнал:
— Молчал: оглушило взрывом.
Бейте, как я сказал.
Я верю, свои снаряды
Не могут тронуть меня.

Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня!
И на командном пункте,
Приняв последний сигнал,
Майор в оглохшее радио,
Не выдержав, закричал:

— Ты слышишь меня, я верю:
Смертью таких не взять,
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.

В атаку пошла пехота —
К полудню была чиста
От убегавших немцев
Скалистая высота.
Всюду валялись трупы,
Раненый, но живой
Был найден в ущелье Ленька
С обвязанной головой.
Когда размотали повязку,
Что наспех он завязал,
Майор поглядел на Леньку
И вдруг его не узнал:
Был он как будто прежний,
Спокойный и молодой,
Все те же глаза мальчишки,
Но только... совсем седой.

Он обнял майора, прежде
Чем в госпиталь уезжать:
— Держись, отец: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
Теперь у Леньки была...

Вот какая история
Про славные эти дела
На полуострове Среднем
Рассказана мне была.
А вверху, над горами,
Все так же плыла луна,
Близко грохали взрывы,
Продолжалась война.
Трещал телефон, и, волнуясь,
Командир по землянкам ходил,
И кто-то так же, как Ленька,
Шел к немцам сегодня в тыл.

1941

ДРУЖБА

Солдат устал. Десятый день не спали,
Десятый день шли первые бои,
Когда солдат услышал на привале:
«Друзья мои!» —

Вернее клятвы и сильней приказа
Слова, что этот человек сказал, —
Хоть не видал солдат его ни разу,
Лишь сердцем знал,

Но был уверен в этом человеке
Сильнее, чем в соседях и родных,
Судьба свела и сделала навеки
Друзьями их.

И шел солдат в боях до Сталинграда,
И, насмерть став, готовый к смерти сам,
Во имя дружбы, не давал пощады
Своим врагам.

Во имя дружбы, не во имя славы,
Шел снова, раны залечив свои,
Во имя слов простых и величавых:
«Друзья мои».

Сто раз солдат был ранен и контужен,
Тонул, горел, не захотел сгореть.
С тем человеком был он слишком дружен,
Чтоб умереть.

Когда на танк в три человечьих роста
Он, как на зверя, шел, чтоб порешить,
Не потому, что был герой, а просто
Умел дружить.

Когда в трудах солдатских нес он службу,
По десять суток мерз, не ел, не спал,
Богатырем он не был. Просто дружбу
Так понимал.

И где б его сраженья ни встречали,
У волжской, у дунайской ли струи,
Ему слова бессмертные звучали:
«Друзья мои!»

В своем окопе, заметенный снегом,
В воде по горло, в грохоте гранат,
Был дружбою с великим человеком
Велик солдат.

Зато и в самый трудный день когда-то
Тот человек, с кем подружился он,
В своих решеньях дружбою солдата
Был укреплен.

1944

ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.

В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кров пополам —
Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом

Найдем средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей.

Но мы складчину соберем
И вновь построим этот дом.

С такой же печкой и столом
И накрест клееным стеклом.

Чтоб было в доме все точь-в-точь,
Как в ту, нам памятную, ночь.

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжет или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых, —

Мы суд солдатский соберем
И в этот дом его сошлем.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему,

Как будто, если лжет сейчас,
Он, может, лжет в последний раз.

Как будто хлеба не дает
Тому, кто к вечеру умрет,

И палец подает тому,
Кто завтра жизнь спасет ему.

Пусть вместо нас лишь горький стыд
Ночь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам
Прочтем: он был иль не был там.

Коль не был, — значит, круг друзей
На одного еще тесней.

Но если был, мы ничего
Не спросим больше у него.

Он вновь по гроб нам будет мил,
Пусть просто скажет: — Я там был.

1943

СЫНОВЬЯМ

В разлуке были. Смерть видали.
Учились скрипу костылей.
Свой дом своей рукой сжигали.
В последний путь несли друзей.

Того, кем путь наш честно прожит,
Согнуть труднее, чем сломать.
Чем, в самом деле, жизнь нас может,
Нас, все видавших, испугать?

И если нет других путей,
Мы сами вновь пойдем в сраженья,
Но наших судеб повторенья
Не будет в судьбах сыновей!

1946

ЛИРИКА

* * *

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души. . .
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет — повезло!
Не понять неждавшим, им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, — будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

* * *

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой.
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Здесь это горе знают понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой притти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

За тридевять земель, в горах Урала
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю, мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.

Но если нет, когда наступит дата.
Ему, как мне, итти в такие дни, —
Вслед за отцом, по праву, как солдата,
Прощаясь с ним, меня ты помяни.

1941, июль, Минское шоссе

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси».
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть, одетый старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

Мы вас подождем! — говорили нам пажити.
Мы вас подождем! — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

* * *

Я не помню, сутки или десять
Мы не спим, теряя счет ночам.
Вы, в похожей на Мадрид Одессе,
Пожелайте счастья москвичам.

Днем, по капле нацедив во фляжки,
Сотый раз переходя в штыки,
Разодрав кровавые тельняшки,
Молча умирают моряки.

Ночью бьют орудья корпусные...
Снова мимо. Значит, в добрый час.
Значит, вы и в эту ночь в России,
Засыпая, вспомнили о нас.

Может, врут приметы, кто их знает!
Но в Одессе люди говорят:
Тех, кого в России вспоминают,
Пуля трижды бережет подряд.

Третий раз нам всем еще не вышел,
Мы под крышей примостились спать,
Не тревожьтесь — ниже или выше,
Здесь ведь все равно не угадать.

Мы сегодня выпили, как дома,
Коньяку московский мой запас;
Здесь ребята с вами не знакомы,
Но с охотой выпили за вас,

Выпили за свадьбы золотые,
Может, еще будут чудеса...
Выпили за ваши голубые,
Дай мне бог увидеть их, глаза.

Помню, что они у вас другие,
Но ведь у солдат, во все века,
Что глаза у женщин — голубые,
Принято считать издалека.

Мы вас просим, я и остальные,
Лучше, чем напрасная слеза,
Выпейте вы тоже за стальные
Наши, смерть видавшие глаза.

Может быть, они у нас другие,
Но ведь у невест, во все века,
Что глаза у воинов — стальные,
Принято считать издалека.

Мы не все вернемся, так и знайте.
Но ребята просят — в черный час
Заодно со мной их вспоминайте,
Даром, что ли, пьют они за вас!

1941, Одесса

* * *

Я пил за тебя под Одессой в землянке,
В Констанце под черной румынской водой,
Под Вязьмой на синем ночном полустанке,
В Мурманске под белой полярной звездой.

Едва ль ты узнаешь, моя недотрога,
Живые и мертвые их имена,
Всех добрых ребят, с кем меня на дорогах
Недолгою дружбой сводила война.

Подводник, с которым я плавал на лодке,
Разведчик, с которым я к финнам ходил,
Со мной вспоминали за рюмкою водки
О той, что товарищ их нежно любил.

Загадывать на год война нам мешала,
И даже за ту, что как жизнь мне мила,
Сегодня я пил, чтоб сегодня скучала,
А завтра мы выпьем, чтоб завтра ждала.

И кто-нибудь, вспомнив чужую, другую,
Вздохнув, мою рюмку посмотрит на свет
И снова нальет мне: — Тоскуешь? — Тоскую. —
Красивая, верно? — Жаль, карточки нет.

Должно быть, сто раз я их видел, не меньше,
Мужская привычка — в тоскливые дни
Показывать смятые карточки женщин,
Как будто и правда нас помнят они.

Чтоб всех их любить, они стоят едва ли,
Но что ж с ними делать, раз трудно забыть!
Хорошие люди о них вспоминали,
И, значит, дай бог им до встречи дожить.

Стараясь разлуку прожить без оглядки,
Как часто, не веря далекой своей,
Другим говорил я: «Все будет в порядке,
Она тебя ждет, не печалься о ней».

Нам легче поверить всегда за другого,
Как часто, успев его сердце узнать,
Я верил: такого, как этот, такого
Не смеет она ни забыть, ни предать.

Как знать, может, с этим же чувством знакомы
Все те, с кем мы рядом со смертью прошли,
Решив, что и ты не изменишь такому,
Без спроса на верность тебя обрекли.

1941

* * *

Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.

Я помню зал для репетиций,
И свет, зажженный, как на грех,
И шопот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.

Твой звездный плащ из старой драмы
И хлыст наездницы в руках.
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на легких каблуках.

Нет, не. тогда. Так, может, летом,
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом,
Машину за ночь доконав.

Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропыленной
Как прижималась ты лицом.

Как бились жилки голубые
На шее под моей рукой.
В то утро, может быть впервые,
Ты показалась мне женой.

И все же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледенелая скала...

Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать;
Когда придется, безымянным
Разведчик должен умирать.

Мы к полночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далекие бежали
На том, на русском берегу...

Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я все-таки с собой в кармане
Нес фотографию твою.

Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось: вот сейчас мы встанем
И об руку пойдем с тобой.

Казалось, в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.

За смелость не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобою вместе назову.

1941, Рыбачий полуостров

* * *

Не раз видав, как умирали
В боях товарищи мои,
Я утверждаю: не витали
Над ними образы ничьи.

На небе, средь дымов сраженья,
Над полем смерти до сих пор
Ни разу женского виденья
Нежданно мой не встретил взор.

И в миг кровавого тумана,
Когда товарищ умирал,
Воздушною рукою раны
Ему никто не врачевал.

Когда он с жизнью расставался,
Кругом него был воздух пуст,
И образ нежный не касался
Губами холодевших уст.

И если даже с тайной силой
Вдали, в предчувствиях, в тоске
Она в тот миг шептала — «Милый»
На скорбном женском языке,

Он не увидел это слово
На милых дрогнувших губах,
Все было дымно и багрово
В последний миг в его глазах.
. . . .

Со мной прощаясь на рассвете
Перед отъездом, раз и два
Ты повтори мне все на свете
Неповторимые слова.

Я навсегда возьму с собою
Звук слов твоих. вкус губ твоих.
Пускай не лгут. На поле боя
Ничто мне не напомнит их.

1943

* * *

Когда на выжженном плато
Лежал я под стеной огня,
Я думал: слава богу, что
Ты так далеко от меня,
Что ты не слышишь этот гром,
Что ты не видишь этот ад,
Что где-то в городе другом
Есть тихий дом и тихий сад.
Что вместо камня — там вода,
А вместо грома — кленов тень,
И что со мною никогда
Ты не разделишь этот день.

Но стоит встретиться с тобой,
И я хочу, чтоб каждый день,
Чтоб каждый час и каждый бой
За мной ходила ты, как тень.
Чтоб ты со мной делила хлеб,
Делила горести до слез,
Чтоб слепла ты, когда я слеп,
Чтоб мерзла ты, когда я мерз,
Чтоб страхом был твоим — мой страх,
Чтоб гневом был твоим — мой гнев.
Мой голос — на твоих губах
Чтоб был, едва с моих слетев.

Чтоб не сказали мне друзья,
Все разделявшие в судьбе:
Она вдали, а рядом — я.
Что эта женщина тебе?
Ведь не она с тобой была
В тот день в атаке и пальбе,
Ведь не она тебя спасла, —
Что эта женщина тебе?
Зачем теперь все с ней да с ней,
Как будто в горе и беде
Всех заменив тебе друзей,
Она с тобой была везде?

Чтоб я друзьям ответить мог:
Да, ты не видел, как она
Лежала, съежившись в комок,
Там, где огонь был, как стена.
Да, ты забыл, она была
Со мной три самых черных дня,
Она тебе там помогла,
Когда ты вытащил меня.
И за спасение мое,
Когда я пил с тобой вдвоем,
Она — ты не видал ее —
Сидела третьей за столом.

1942

* * *

Был у меня хороший друг —
Куда уж лучше быть, —
Да все, бывало, недосуг
Нам с ним поговорить.

То уезжает он, то я,
Что сделаешь — война...
Где настоящие друзья —
Там дружба не видна.

Такой не станет слезы лить,
Что не видал давно,
При всех не будет громко пить
Он за меня вино.

И на пирушке за столом
Не расцелует вдруг...
Откуда ж знать тебе о нем,
Что он мой лучший друг?

Что с ним видали мы беду
И расквитались с ней,
Что с ним бывали мы в аду,
А рай — не для друзей.

Но встретится в Москве со мной —
Весь разговор наш с ним:
— Еще живой? — Пока живой. —
Когда же посидим?

Опять не можешь, чортов сын,
Совсем забыл друзей?
Шучу, шучу, ведь я один,
А ты, наверно, к ней.

К ней? Может, завтра среди дня
Зайду к вам. Или нет,
Вам хорошо и без меня,
Передавай привет.

А впрочем, и привет не шли,
С тобою на войне
Сошлись мы от нее вдали,
Где ж знать ей обо мне? —

Да, ты не знаешь про него
Почти что ничего,
Ни слов его, ни дел его,
Ни верности его.

Но он, он знает о тебе
Всех больше и верней,
Чем стать могла в моей судьбе
И чем не стала в ней.

Всех мук и ревностей моих
Лишь он свидетель был,
И, правду говоря, за них
Тебя он не любил.

Но он меня не осудил,
Когда, забыв о нем,
Я, все узнав, опять ходил
К тебе играть с огнем.

И если бы из боя он
Один пришел домой,
Он все равно б мой медальон
Принес тебе одной.

. . . .

Был у меня хороший друг, —
Куда уж лучше быть, —
Да все, бывало, недосуг
Нам с ним поговорить.

Теперь мне дан досуг навек,
Чтоб вспоминать, скорбя:
Он был хороший человек,
Хоть не любил тебя.

Давай же помянем о нем
Теперь с тобой вдвоем
И горькие слова запьем,
Как он любил, вином.

Тем самым, что он нам принес,
Когда недавно был.
Ну, и не надо слез. Он слез
При жизни не любил.

1942

* * *

Мы не увидимся с тобой,
А женщина еще не знала;
Бродя по городу со мной,
Тебя, живого, вспоминала.

Но чем ей горе облегчить,
Когда солдатскою судьбою
Я сам назавтра, может быть,
Сравняюсь где-нибудь с тобою.

И будет женщине другой —
Все повторяется сначала —
Вернувшийся товарищ мой,
Как я, весь вечер лгать устало.

Печальна участь нас, друзей,
Мы все поймем и не осудим
И все-таки о мертвом ей
Напоминать некстати будем.

Ее спасем не мы, а тот,
Кто руки на плечи положит,
Не зная мертвого, придет
И позабыть его поможет.

1941

ХОЗЯЙКА ДОМА

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.
Хочу, чтоб ты и в эту ночь была
Опять той женщиной, вокруг которой
Мы изредка сходились у стола
Перед окном с бумажной синей шторой.
Басы зениток за окном слышны,
А радиола старый вальс играет,
И все в тебя немножко влюблены,
И половина завтра уезжает.
Уже шинель в руках, уж третий час,
И вдруг опять стихи тебе читают,
И одного из бывших в прошлый раз
С мужской ворчливой скорбью вспоминают.
Нет, я не ревновал в те вечера,
Лишь ты могла разгладить их морщины.
Так краток вечер. И — пора, пора!
Трубят внизу военные машины.

С тобой наш молчаливый уговор —
Я выходил, как равный, в непогоду,
Пересекал со всеми зимний двор
И возвращался после их ухода.
И даже пусть догадливы друзья. —
Так было лучше, это б нам мешало.

Ты в эти вечера была ничья.
Как ты права, что прав меня лишала!
Не мне судить, плоха ли, хороша,
Но в эти дни лишений и разлуки
Лишь ты была та женская душа,
Тот нежный голос, те девичьи руки,
Которых так недоставало им,
Когда они под утро уезжали
Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.
Им девушки платками не махали,
И трубы им не пели, и жена
Далеко где-то ничего не знала.
А утром неотступная война
Их вновь в свои объятья принимала.
В последний час перед отъездом ты
Для них вдруг становилась всем на свете,
Ты и не знала страшной высоты,
Куда взлетала ты в минуты эти.
Быть может, не любимая совсем,
Лишь для меня красавица и чудо,
Перед отъездом ты была им тем,
За что мужчины примут смерть повсюду, —
Сияньем женским, девочкой, женой,
Невестой — всем, что уступить не в силах,
Мы умираем, заслонив собой
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.
Знакомый с детства простенький мотив,
Улыбка женщины — как много и как мало...
Как ты была права, что, проводив,
При всех мне только руку пожимала.
. . . .

Но вот наступит мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.
Они придут еще в шинелях и ремнях
И будут долго их снимать в передней, —
Еще вчера война, еще всего на-днях
Был ими похоронен тот, последний,
О ком ты спросишь — что ж он не пришел?

И сразу оборвутся разговоры,
И все заметят, как широк им стол
И станут про себя считать приборы.
А ты, с тоской перехватив их взгляд,
За лишние приборы, в оправданье,
Шепнешь: «Я думала, что кто-то из ребят
Издалека приедет с опозданьем...»
Но мы не станем спорить, мы смолчим,
Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали,
Так далеко уехали, что им
На эту землю уж поспеть едва ли.

Ну что же, сядем, сколько нас всего?
Два, три, четыре... Стулья ближе сдвинем,
За тех, кто опоздал на торжество,
С хозяйкой дома первый тост поднимем.
Но если опоздать случится мне,
И ты, меня коря за опозданье,
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине
Шепнет, что бесполезно ожиданье, —
Не отменяй с друзьями торжество.
Что из того, что всех тебе я ближе,
Что из того, что я любил, что из того,
Что глаз твоих я больше не увижу?
Мы собирались здесь как равные, потом
Вдвоем — ты только мне была дана судьбою,
Но здесь, за этим дружеским столом,
Мы были все равны перед тобою.
Потом ты можешь помнить обо мне,
Потом ты можешь плакать, если надо,
И, встав к окну в холодной простыне,
Просить у одиночества пощады.
Но здесь не смей слезами и тоской
По мне по одному лишать их равной чести,
Всех тех, кто вместе уезжал со мной
И кто со мною не вернулся вместе.

Поставь же нам стаканы заодно
Со всеми! Мы еще придем нежданно.
Пусть кто-нибудь живой нальет вино
Нам в наши молчаливые стаканы.

Еще вы трезвы. Не пришла пора
Нам приходить, но мы уже в дороге,
Уж била полночь... Пейте ж до утра!
Мы будем ждать рассвета на пороге.
Кто лгал, что я на праздник не пришел?
Мы здесь уже. Когда все будут пьяны,
Бесшумно к вам подсядем мы за стол
И сдвинем за живых бесшумные стаканы.

1942

ДАЛЕКОМУ ДРУГУ

И этот год ты встретишь без меня.
Когда б понять ты до конца сумела,
Когда бы знала ты, как я люблю тебя,
Ко мне бы ты на крыльях долетела.

Отныне были б мы вдвоем везде,
Метель твоим бы голосом мне пела
И отраженьем в ледяной воде
Твое лицо бы на меня смотрело.

Когда бы знала ты, как я тебя люблю,
Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья,
Стояла тут, в землянке, где я сплю,
Одну себя пуская в сновиденья.

Когда б одною силою любви
Мог наши души поселить я рядом,
Твоей душе сказать: приди, живи,
Бесплотна будь, будь недоступна взглядам,

Но ни на шаг не покидай меня,
Лишь мне понятным будь напоминаньем:
В костре — неясным трепетом огня,
В метели — снега голубым порханьем.

Незримая, смотри, как я пишу
Листки своих ночных нелепых писем,
Как я слова беспомощно ищу,
Как нестерпимо я от них зависим.

Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу,
Свое ты редко здесь услышишь имя.
Но если я молчу — я о тебе молчу,
И воздух населен весь лицами твоими.

Они кругом меня, куда ни кинусь я,
Все ты в мои глаза глядишь неутомимо.
Да, ты бы поняла, как я люблю тебя,
Когда б хоть день со мной тут прожила незримо.
. . . .

Но ты и этот год встречаешь без меня...

1943

ВСТРЕЧА НА ЧУЖБИНЕ

Пускай в Москве иной ворчлив и сух,
Другого осуждают справедливо
За то, что он бранил кого-то вслух,
Кого-то выслушал нетерпеливо;

А третий так делами осажден,
Что прячется годами от знакомых,
И старый лгун, охрипший телефон,
Как попугай, твердит все: «Нету дома».

Да ты и сам, на чей-то строгий взгляд,
Уж слишком тороплив и озабочен,
А главное, как люди говорят,
Когда-то лучше был, — как все мы, впрочем.

Но вдруг в чужой земле, куда войной
Забросило тебя, как в преисподню,
Вдруг скажет кто-то, встретившись с тобой,
О москвичах, приехавших сегодня.

Ты с ними был в Москве едва знаком,
Два-три кивка, случайных разговора;
Но здесь, не будь машины, хоть пешком...
— Где, где они? И, разбудив шофера,

Ты оглашаешь ночь сплошным гудком,
Ты гонишь в дождь свой прыгающий «виллис»

В немецкий город, в незнакомый дом,
Где, кажется, они остановились.

Ты долго светишь фарой на дома,
Чужую тарабарщину читаешь.
Прохожих нет и, хоть сойди с ума,
Где этот дом, ты сам не понимаешь.

Костел, особняки, еще костел,
Пустых домов визжащие ворота.
Но вот ты, наконец, нашел, нашел,
Тебя по-русски окликает кто-то.

И открывают дверь и узнают,
Как, может быть, в Москве бы не узнали.
— Ну, как вы тут? — А вы, давно вы тут? —
А мы как раз сегодня вспоминали...

Тот сумасшедший русский разговор
С радушьем, шумом, добрыми словами.
Как странно, что в Москве мы до сих пор,
Я и они, мы не были друзьями.

А женщины уж в кухне жгут костер.
— Нет, с нами ужинать, а то еще уедем! —
И пожилой, с одышкою, актер
Бегом бежит за водкою к соседям.

Кого-то будят, чтоб и он пришел,
Да чтоб с гитарой. — Будем петь. Хотите? —
Как не хотеть! — Ну, а пока за стол.
За стол, за стол скорее проходите!

И мы сидим у сдвинутых столов,
И тесно нам, и водка в чашках чайных,
И я ищу каких-то добрых слов,
Каких-то слов совсем необычайных,

Чтоб им сказать, что я не тот, не тот,
Каким они меня в Москве видали,
Что я — другой. И кто из нас поймет,
Как раньше мы друг друга не узнали!

Еще кого-то будят и зовут.
— Пусть все придут, мы можем потесниться,
Мы всех усадим, потому что тут
Россия, а за дверью — заграница.

Приходит женщина, совсем со сна,
На босу ногу туфли — и с гитарой.
И вот уже поет, поет она,
Начав с какой-то песни, с самой старой.

Про дом, про степь, про снег, про ямщика.
Она щемит и сердце рвет на части.
Но это ж наша, русская тоска,
А на чужбине и тоска, как счастье.

Лишь домом бы пахнуло, лишь бы речь
Дохнула русской акающей лаской.
Скажи, ты будешь эту ночь беречь,
Как матерью рассказанную сказку?

Скажи, скажи, ты не забудешь их,
С кем ночь тебя свела своею волей,
Совсем родных тебе, совсем чужих
И наших, наших, аж до слез, до боли?

Ты ведь не будешь там, в Москве, опять
Забывчивым, ты сердца не остудишь?
Нет, обещай! Ты должен обещать!
Скажи, не будешь? Ну, скажи, не будешь?

Как знать? В Москве, быть может, через год
Друг друга встретим мы кивком, как прежде?
Скорей всего, что так, что он кивнет,
И ты кивнешь. И вот конец надежде.

А все-таки сквозь старость и метель
Мелькнут в душе неясные картины:
Гитара, ночь и русская артель
Средь ледяного холода чужбины.

1945, Германия

* * *

Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?

Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, —

Злую, ветреную, колючую,
Хоть не надолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.

В рай, наверно, таких отчаянных
Мало кто приведет с собой,
Будут праведники, нечаянно,
Там подглядывать за тобой.

Взял бы в рай с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при расставании
Боль сведенных на шее рук.

Взял бы в рай с собой все опасности,
Чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности
Дома трусу не отдала.

Взял бы в рай с собой друга верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту скверную
По-земному с ним враждовать.

Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я.

Даже смерть, если б было мыслимо,
Я б на землю не отпустил,
Все, что к нам на земле причислено,
В рай с собою бы захватил.

И за эти земные корысти,
Удивленно меня кляня,
Я уверен, что бог бы вскорости
Вновь на землю столкнул меня.

1941

* * *

Над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера — странная звезда,
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.

Она, как ты, восходит все позднее,
И, нарушая бег небесных тел,
Другие звезды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.

Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пускай они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.

Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе мерзнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездою,
Ко мне на землю руки протяни.

На небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя...
Ты упадешь ко мне в земные руки,
Я не звезда. Я удержу тебя.

1941, Черное море

* * *

Не сердитесь — к лучшему,
Что, себя не мучая;
Вам пишу от случая
До другого случая.

Письма пишут разные:
Слезные, болезные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные.

В письмах все не скажется
И не все услышится,
В письмах все нам кажется,
Что не так напишется.

Коль вернусь — так суженых
Некогда отчитывать,
А умру — так хуже нет
Письма перечитывать.

Чтобы вам не бедствовать,
Не возить их тачкою,
Будут путешествовать
С вами тонкой пачкою.

А замужней станете,
Обо мне заплачете —
Их легко достанете
И легко припрячете.

От него, ревнивого,
Запершись в комнате,
Вы меня, ленивого,
Добрым словом вспомните.

Скажете, что к лучшему,
Память вам не мучая,
Он писал от случая
До другого случая.

КАРТОЧКА

Я карточку увез твою,
Я верил в то, что нет забвенья,
Что, как броня, меня в бою
Спасет твое изображенье.

Я знал по ней: ты мне верна,
Она при мне солгать не смеет.
Когда изменишь ты, она
Здесь от измены почернеет.

Я на нее смотрел сто раз,
Ища на ней измен приметы,
И все же не узнал ни час,
Ни день, когда случилось это.

Был хор примет, должно быть, лжив
(Приметы лгут ведь то и дело),
И я попрежнему все жив,
И карточка не почернела.

Не слушай желчи этих слов:
В них меньше злости, чем печали.
Мне трудно отвыкать от снов,
Нам вместе снившихся вначале.

Тебе, и больше никому,
Я повинюсь перед рассветом.
Как я завидую тому,
Кто верит все еще приметам!

1942

* * *

Я помню двух девочек, город ночной. . .
В ту зиму вы поздно спектакли кончали.
Две девочки ждали в подъезде со мной,
Чтоб вы, проходя, им два слова сказали.
Да, я увозил вас. И все-таки к ним,
Пожалуй, щедрей, чем ко мне, вы бывали.
Двух слов они ждали. А я б и одним
Был счастлив, когда б мне его вы сказали.

Я помню двух девочек; странно сейчас
Вдруг вспомнить две снежных фигурки у входа. . .
Подъезд театральный надолго погас.
Вам там не играть в зиму этого года.
Я очень далеко. Но, может, они
Вас в дальнем пути без меня провожают
И с кем-то другим в эти зимние дни,
Совсем как со мной, у подъезда скучают.

Я помню двух девочек. Может, живым
Я снова пройду вдоль заснеженных улиц
И, девочек встретив, поверю по ним,
Что в старый наш город вы тоже вернулись.
Боюсь, что мне незачем станет вас ждать,
Но будет все снежная, та же погода,
И девочки будут стоять и стоять,
Как вечные спутницы ваши, у входа. . .

1941

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

На годовщине свадьбы был
Я у друзей, что издавна
Я больше всех других любил,
Как книгу, что не издана.

Был чай у круглого стола,
И сад в июльском шелесте.
Хозяйка мне была мила
Той поздней женской прелестью,

Той чуть усталой красотой,
Где молодость кончается,
Но за щемящею чертой
Где все еще случается,

И той страстей сберегшей след
Особенной улыбкою,
Когда прожить и двадцать лет
Не будет с ней ошибкою.

Я вспоминал про нас с тобой,
Про наши опасения
Вдруг разлученными судьбой
Быть в наши дни осенние,

Как, вздумав вдруг меня корить,
Страшась за расстояния,
Боясь разлюбленною быть,
Ты сердишься заранее.

Но боже, как мне всех милей
Хозяйка дома этого,
Как жадно я слежу за ней,
Что не одни мы, сетуя.

Как знаю я давным-давно
Ее ночные лепеты
И как не в силах, все равно,
Следить за ней без трепета.

Но не ревнуй к ней, ангел мой,
Моя вина уменьшена
Тем, что рассказ — про нас с тобой,
Что ты и есть та женщина,

Какой еще ни белый свет,
Ни я тебя не видывал,
Какой вперед на двадцать лет
Тебя сейчас я выдумал.

1945

КАРЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК

За окном пепелища, дома чернореберные,
Снова холод, война и зима...
Написать тебе что-нибудь доброе, доброе?
Чтобы ты удивилась сама.

До сих пор я тебя добротою не баловал,
Не умел ни жалеть, ни прощать,
Слишком горькие шутки в разлуке откалывал,
Злом на зло привыкал отвечать.

Но сегодня тебя вдруг не злой, не упрямою,
Словно при смерти вижу, родной,
Словно это письмо вдруг последнее самое,
Словно кончил все счеты с тобой.

Начинаются русские песни запевочкой.
Ни с того, ни с сего о другом:
Я сегодня хочу увидать тебя девочкой
В переулке с московским двором.

Увидать не любимой еще, не целованной,
Не знакомою, не женой,
Не казнимой еще и еще не балованной
Переменчивой женской судьбой.

Мы соседями были. Но знака секретного
Ты мальчишке подать не могла:
Позже на пять минут выходил я с Каретного,
Чем с Садовой навстречу ты шла.

Каждый день пять минут, так составилась разница,
Снова дни заходили за дни.
Пять минут не могла подождать, безобразница,
В десять лет обернулись они.

Нам по-взрослому любится и ненавидится,
Но, быть может, все эти года
Я бы отдал за то, чтоб с тобою увидеться
В переулке Каретном тогда.

Я б тебя оберег от тоски одиночества,
От измены и ласки чужой...
Впрочем, все это глупости. Просто мне хочется
С непривычки быть добрым с тобой.

Даже в горькие дни на судьбу я не сетую.
Как заведено, будем мы жить...
Но семнадцатилетним я все же советую
Раньше на пять минут выходить.

1942

* * *

Плюшевые волки,
Зайцы, погремушки,
Детям дарят с елки
Детские игрушки.

И, состарясь, дети
До смерти без толку
Все на белом свете
Ищут эту елку.

Где жар-птица в клетке,
Золотые слитки,
Где висит на ветке
Счастье их на нитке.

Только дед-мороза
Нету на макушке,
Чтоб в ответ на слезы
Сверху снял игрушки.

Желтые иголки
На пол опадают...
Все я жду, что с елки
Мне тебя подарят.

1941

* * *

Тринадцать лет. Кино в Рязани,
Тапер с жестокою душой,
И на заштопанном экране
Страданья женщины чужой;

Погоня в Западной пустыне,
Калифорнийская гроза,
И погибавшей героини
Невероятные глаза.

Но в детстве можно все на свете,
И за двугривенный. в кино,
Я мог, как могут только дети,
Из зала прыгнуть в полотно,

Убить врага из пистолета,
Догнать, спасти, прижать к груди.
И счастье было рядом где-то,
Там, за экраном, впереди.

Когда теперь я в темном зале
Увижу вдруг твои глаза,
В которых тайные печали
Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,
Чтоб счастье было впереди,
Чтоб хоть на час вернуться в детство,
Догнать, спасти, прижать к груди...

1941

* * *

Когда со мной страданьем
Поделятся друзья,
Их лишним состраданьем
Не обижаю я.

Я их лечу разлукой
И переменой мест,
Лечу дорожной скукой
И сватовством невест.

Учу, как чай в жестянке
Заваривать в пути,
Как вдруг на полустанке
Красавицу найти;

Чтоб не скучать по году
О той, что всех милей,
Как разложить колоду
Из дам и королей,

И назло той, упрямой,
Наоборот, не в масть,
Найдя в колоде, даму
У короля украсть.

Но всю свою науку
Я б продал за совет,
Как самому мне руку
Не дать тебе в ответ,

Без губ твоих, без взгляда
Как выжить мне полдня,
Пока хоть раз пощады
Запросишь у меня.

1941

* * *

Чтобы никогда не думала,
Что ты связан с ней порукою,
Чтоб нет-нет, да вдруг и дунуло
Неожиданной разлукою.

Чтобы так и не увидела
Расставанья невозможности,
Чтобы никогда не выдала
Аттестат благонадежности.

Чтоб ты был тропою около,
А не мостовою хоженой,
Чтоб могла держать, как сокола,
Лишь на рукавице кожаной.

Чтоб с тобой, сдержав дыхание,
Шла, как со свечой рискованной,
Чтобы было это здание
От огня не застраховано.

1947

* * *

Барашек родился хмурым осенним днем
И свежим апрельским утром стал шашлыком.
Мы обвили его веселым желтым огнем
И запили его черным кизлярским вином.

Мы обложили его тархуном — грузинской травой
И выжали на него целый лимон.
Он был так красив, что даже живой
Таким красивым не мог быть он.

Мы пили вино, глядя на горы и дыша
Запахом уксуса, перца и тархуна,
И, кажется, после шестого стакана вина
В нас вселилась его белая прыгающая душа.

Нам хотелось скакать по зеленым горам,
Еще выше, по синим ручьям, по снегам,
Еще выше, над облаками,
Проходившими под парусами.

Вот как гибельно пить бывает вино,
Вот до чего нас доводит оно,
А особенно, если баклажка
Упраздняется под барашка.

Но женщина, бывшая там со мной,
Улыбалась одними глазами,
Твердо зная, что только она виной
Всему, что творилось с нами.

Это так, и в этом ни слова лжи,
У нее были волосы цвета ржи
И глаза совершенно зеленые.
Совершенно зеленые
И немножко влюбленные.

1947

* * *

Нет, я не прошу пощады,
Запоздалой доброты.
Мы уже скрестили взгляды,
Я во прахе, в счастье ты.

Лучше я умру, как в сказке,
Как в сраженье ветеран,
Лучше я сорву повязки
Со своих сердечных ран,

Лучше в судорогах биться,
Бредить при смерти в ночи,
Чем вчерашнего убийцу
Взять в домашние врачи.

Чем ленивое леченье
И терпение твое,
Лучше пусть умрет в мученьях
Сердце бедное мое.

1945

* * *

Бывает иногда мужчина —
Всех женщин безответный друг,
Друг бескорыстный, беспричинный,
На всякий случай, словно круг,
Висящий на стене каюты.
Весь век он старится и ждет,
Потом в последнюю минуту
Его швырнут — и он спасет.
. . . .
Неосторожными руками
Меня повесив где-нибудь,
Не спутай. Я не круг. Я камень.
Со мною можно потонуть.

1946

* * *

Сойдясь под трудною звездой,
Прощаться не годится,
Хоть как соседям нам с тобой
Пора бы помириться.

И если мир и благодать
Не суждены обоим,
Хотя бы должное отдать,
Что мы друг друга стоим.

Мой старый враг, зачем опять
Передвигать границу,
Зачем нам снова воевать,
Чтоб снова породниться?

Чтоб снова ты, меня кляня,
Устав в войне со мною,
Лежала к югу от меня
Соседнею страною.

1946

* * *

Мы оба из честного племени,
Где если дружить — так дружить,
Где смело прошедшего времени
Не терпят в глаголе «любить».

Так лучше представь меня мертвого,
Такого, чтоб вспомнить добром,
Не осенью сорок четвертого,
А где-нибудь в сорок втором.

Где мужество я обнаруживал,
Где строго, как юноша, жил,
Где, верно, любви я заслуживал
И все-таки не заслужил.

Представь себе Север, метельную
Полярную ночь на снегу,
Представь себе рану смертельную
И то, что я встать не могу;

Представь себе это известие
В то страшное время мое,
Когда еще дальше предместия
Не занял я сердце твое,

Когда за горами, за долами
Жила ты, другого любя,
Когда из огня да и в полымя
Меж нами бросало тебя.

Давай с тобой так и условимся:
Тогдашний — я умер. Бог с ним.
А с нынешним мной — остановимся
И заново поговорим.

1945

* * *

Стекло тысячеверстной толщины
Разлука вставила в окно твоей квартиры,
И я смотрю, как из другого мира,
Мне голоса в ней больше не слышны.

Вот ты прошла, присела на окне,
Кому-то улыбнулась, встала снова,
Сказала что-то... Может, обо мне?
А что? Не слышу ничего, ни слова...

Какое невозможное страданье
Опять, уехав, быть глухонемым!
Но что, как вдруг дана лишь в оправданье
На этот раз разлука нам двоим?

Ты помнишь честный вечер объясненья,
Когда, казалось, смеем все сказать...
И вдруг — стекло. И только губ движенье,
И даже стука сердца не слыхать.

1946

* * *

Пусть прокляну впоследствии
Твои черты лица, —
Любовь к тебе — как бедствие,
И нет ему конца.
Нет друга, нет товарища,
Чтоб среди бела дня
Из этого пожарища
Мог вытащить меня.
Отчаявшись в спасении,
Сны видя наяву,
Как при землетрясении
Я при тебе живу.
Когда ж от наваждения
Себя освобожу,
В ответ на осуждения
Я про тебя скажу:
Зачем считать грехи ее?
Ведь не добра, не зла,
Не женщиной — стихиею
Вблизи она прошла.
И грозный шаг заслыша, я
Пошел грозу встречать,
Не став, как все, под крышею
Ее пережидать.

1942

* * *

Первый снег в окно твоей квартиры
Заглянул несмело, как ребенок,
А у нас лимоны по две лиры,
Красный перец на стенах беленых.
Мы живем на вилле ди Веллина,
Трое русских, три невольных друга.
По ночам стучатся апельсины
В наши окна, если ветер с юга.
На березы вовсе не похожи —
Кактусы под окнами маячат,
И, как всё кругом, чужая тоже
Женщина по-итальянски плачет.
Пароходы грустно по-собачьи
Лают, сидя на цепи у порта.
Продают на улицах рыбачки
Осьминога и морского чорта.
Юбки матерей не отпуская,
Бродят черные, как галки, дети...

Никогда не думал, что такая
Может быть тоска на белом свете.

1944, Бари

* * *

Не странно ль, веря в то, что есть рассвет,
Вдруг усомниться, что закат наступит,
Что из спокойной скорости планет
Никто нам ни минуты не уступит.

Что ж делать нам со словом «навсегда»?
Ты говорила мне его с рассветом.
Но солнце ты, и та же череда
Присуждена тебе, что всем планетам.

Что ж делать нам? Скажи, что ж делать нам?
Как дальше жить, скажи, мое светило, —
На север чувств уехать, чтобы там
Ты весь полярный день не заходила?

Нет, я придумал: я останусь там,
Где жил, на той же южной параллели,
Где целый день казался полднем нам,
Где времени считать мы не умели,

Где добр, как все влюбленные, я был,
И слеп, как все незрячие, и жаден,
Как все счастливые, где я тебя любил,
Всю, вплоть до солнечных родимых пятен.

И где так неожиданен закат,
Дня в ночь мгновенно так передвиженье,
Что в темноту, как в смерть свою солдат, —
Я не поверю до ее мгновенья.

1946

ЛЕТАРГИЯ

В детстве быль мне бабка рассказала
Об ожившей девушке в гробу,
Как она металась и рыдала,
Проклиная страшную судьбу,

Как, услышав неземные звуки,
Сняв с усопшей тяжкий гнет земли,
Выраженье небывалой муки
Люди на лице ее прочли.

И в жару, подняв глаза сухие,
Мать свою я трепетно просил,
Чтоб меня, спася от летаргии,
Двадцать дней никто не хоронил.
. . . .

Мы любовь свою сгубили сами,
При смерти она, из ночи в ночь
Просит пересохшими губами
Ей помочь. А чем нам ей помочь?

Завтра отлетит от губ дыханье,
А потом, осенним мокрым днем,
Горсть земли ей бросив на прощанье,
Крест на ней поставим и уйдем.

Ну, а вдруг она, не как другие,
Нас навеки бросить не смогла,
Вдруг ее не смерть, а летаргия
В мертвый мир обманом увела?

Мы уже готовим оправданья,
Суетные круглые слова,
А она еще в жару страданья
Что-то шепчет нам, полужива.

Слушай же ее, пока не поздно,
Слышишь ты, как хочет она жить,
Как нас молит — трепетно и грозно —
Двадцать дней ее не хоронить!

1944

* * *

В чужой земле и в городе чужом
Мы, наконец, живем почти вдвоем,
Без званых и непрошенных гостей,
Без телефона, писем и друзей.
Нам с глазу на глаз можно день прожить
И, слава богу, некому звонить.

Как на заре своей, сегодня вновь
Беспомощно идет у нас любовь.
Совсем одна от стула до окна,
Как годовалая, идет она,
И смотрим мы, ее отец и мать,
Готовясь за руки ее поймать.

1945, Мукачево

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Поздравляю тебя с днем рожденья, —
Говорю, как с ребенком:
Пусть дыханье твое и пенье
Будет чистым и звонким.

Чтобы были тебе не метели
Злой купелью,
А чтоб вечно грачи летели
Над капелью.

Всё еще впереди — обаянье
Первых книжек,
И выстукивание на рояле
«Чижик-пыжик».

Бесконечные перемены
Тьмы и света,
И далеко, но непременно
Я там где-то.

Поздравляю тебя с днем рожденья, —
Говорю, как с большой,
Со своей единственной тенью
И второю душой:

Поздравляю тебя с сединой,
С первой прядью, что я замечаю,
Даже если я сам ей виной,
Все равно поздразляю.

Поздравляю со снегом большим
До окон, с тишиною
И со старым знакомым твоим,
Что тут в доме с тобою.

Сыплет, сыплет метель, как вчера,
На дорогу,
И ни следа с утра
Нет к порогу.

Наконец мы с тобою вдвоем
В этой вьюге,
У огня оба молча поем
Друг о друге.

А в огне чудеса:
Там скитаются воспоминанья.
Как моря и леса,
Дров сухое пыланье.

Поздравляю тебя с днем рожденья.
Как давно мы знакомы с тобой!
Начинает темнеть, а поленья
Все трещат и все пахнут смолой.

Надо будет послать
За свечою к соседу.
Дай мне руку поцеловать.
Скоро гости приедут.

1947

* * *

Пью за твое здоровье
Один-на-один с огнем.
Все, что я звал любовью,
Мелькая, проходит в нем.

Как утром над мокрым лугом
Ветром издалека
Гонимые друг за другом
Рваные облака,

Не замедлив движенья
Над красным огнем углей,
Проходят изображенья
Прежних моих страстей.

Но спокойно, как утро,
Их мимо себя гоня,
Одно лицо твое мудро
Живет в глубине огня.

1947

* * *

Трубка после обеда,
Конец трудового дня.
Тихая победа
Домашнего огня.

Крыши над головою
Рук веселых твоих —
Над усталой толпою
Всех скитаний моих.

Дров ворчанье,
Треск сучков,
Не обращай вниманья,
Я здоров.

Просто я по привычке —
Это сильней меня —
Смотрю на живые стычки
Дерева и огня.

Огонь то летит, как бедствие,
То тянется, как лишение,
Похожий на путешествие,
А может быть, на сражение.

Похожий на чьи-то странствия,
На трепет свечи в изгнании,

Похожий на партизанские
Костры на скалах Испании.

Дров ворчанье,
Треск сучков,
Не обращай внимания,
Я здоров.
Я просто смотрю, как пылают дрова.
А, впрочем, да, ты права.

Сейчас я не здесь, я где-то
У другого огня,
У костра.
Ну, а если как раз за это
Ты и любишь меня. А?

1947

* * *

Когда ей что б ни подарить.
Страсть или муку, —
Как из руки переложить
В другую руку.

Когда на боль обречь ее
Иль на мученье —
Как в зеркале толкнуть свое
Изображенье.

Когда пылинкой упрекнуть
Ее всю в белом, —
Как самого себя швырнуть
На камни телом.

Когда с ней можно рядом встать
Тесней, чем с тенью,
И без опаски ей отдать
Свой слух и зренье.

Когда уже ее любить
Не просто счастье —
А молчаливо с нею быть
Друг друга частью, —

Тогда, на честный суд любви
Представши с нею,
Ее пожизненно зови
Женой своею.

1944

В КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ КЛУБЕ

В чужих газетах пишут о войне,
Опять ругают русских и Россию,
И переводчик переводит мне
С чужим акцентом их слова чужие.

Китайский журналист, прохвост из «Чайна-Ньюс»,
Идет ко мне с бутылкою. Наверно,
Мечтает втайне, что я вдруг напьюсь
И что-нибудь скажу о «кознях» Коминтерна...

Потом он сам напьется и уйдет. —
Все, как вчера... Терпенье, брат, терпенье!
Дождь выступает на стекле, как пот,
И стонет паровое отопленье.

Что ж мне сказать тебе, пока сюда
Он до меня с бутылкой не добрался?
Что я люблю тебя? — Да. Что тоскую? — Да.
Что тщетно я тебя забыть старался? —

Да. Если женщину уже не ранней страстью
Ты держишь спутницей своей души,
Не легкостью тревог, а трудной старой властью
Любви, где уж давно все средства хороши,

Когда она — не просто ожиданье
Чего-то, что, быть может, в общем, вздор,
А всех разлук и встреч чередованье
Сквозь строй обид, раскаяний и ссор,

Тогда разлука с ней совсем трудна,
Платочком ей ты не помашешь с борта,
Осколком родины в груди сидит она,
Всегда готовая проткнуть аорту.

Не выслушать, в рентген не разглядеть...
А на чужбине в сердце перебои.
Не вынуть — смерть всегда таскать с собою,
А вынуть — сразу умереть.

— Хэлло! Не помешал вам? Как дела?
Что пьем сегодня? Виски? Ром? — Любое.
Сейчас под стол свалю его со зла,
И мы еще договорим с тобою.

1946, Токио

ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА В БУХТЕ МАЙДЗУРА

Бухта Майдзура! Снег и чайки
С неба наискось вылетают,
И барашков белые стайки
Стайки птиц на себе качают.

Бухта длинная и кривая,
Каждый звук в ней долог и гулок,
Словно в каменный переулок
Я на лодке в нее вплываю.

Эхо десять раз прогрохочет,
Но еще умирать не хочет,
Словно долгая жизнь людская, —
Все еще шумит, затихая.

А потом тишина такая,
Будто слышно с далекой кручи,
Как, друг друга под бок толкая,
Под водой проплывают тучи.

Небо цвета пепла, а море
Цвета чуть разведенной туши.
Надоело людское горе,
Надоели чужие уши.

Надоел лейтенант О'Квисли
Из разведывательной службы,
Под предлогом солдатской дружбы
Выясняющий наши мысли.

Он нас бьет по плечам руками,
Хвалит русские папиросы
И, считая всех дураками,
День-денской задает вопросы.

Утомительное условье
Каждый день, вот уж полгода,
Пить с разведчиком за здоровье
«Представляемого им народа».

До безумия осточертело
Делать это с наивным видом,
Но О'Квисли душой и телом
Всем нам предан, вернее, придан.

Он нас будет травить вниманьем
До отплытия парохода
И в последний раз с содроганьем
Улыбнется нам через воду.

Бухта Майдзура! Птичьи крики,
Снег над грифельными горами,
Мачты, выставленные, как пики,
Над японскими крейсерами.

И немецкая субмарина,
Обогнувшая шар когда-то,
Чтоб в последние дни Берлина
Привезти сюда дипломата.

Волны, как усталые руки,
Тихо шлепают в ее люки.

Где сейчас вы, наш провожатый,
Джемс О'Квисли, наш добрый гений?
Славный малый и аккуратный
Собиратель всех наших мнений.

Как бы, верно, вас удивила
Моя клятва спустя два года,
Что мне в Майдзуре нужно было
Видеть просто небо и воду,

Просто пасмурную погоду,
Просто северную природу,
Просто снега хлопья косые,
Мне напомнившие Россию.

Угадав этот частный случай,
Чем скитаться со мною в паре,
Вы могли бы гораздо лучше
Провести свое время в баре.

Ну, а в общем-то дело скверно:
Успокаивать вас не буду.
Коммунизм победит повсюду,
Вы тревожьтесь.
Это вы верно.

1946, Япония

ХИБАЧИ

В тонком доме над рекою
У хибачи греем руки.
Спросишь, что это такое
Ты об этой штуке.
Это — лакированный горшок
С медью красною внутри,
Сверху — пепла на вершок,
А под ним — углей на три.
На цыновках мы сидим
Босиком вокруг горшка,
Руки греем и молчим
По незнанью языка.
Впрочем, это даже лучше —
Никому не отвечать
И иметь удобный случай
Помолчать.
В доме холодно, спасенья
Нет.
Потому что отопленья
Нет.
Дорогого,
Дарового,
Дровяного,
Парового —
Никакого
Нет.
Говорят, что потепленье

В феврале,
А пока все отопленье
Тут, в золе.
Под золой три угля тлеют,
Легкий чад.
Трое русских руки греют,
Молчат.
Впрочем, говорят, не для обиды
Бедных
Нас
Сделан этот деревом обитый
Медный
Таз.
Не из прихоти он скован,
Не с отчаянья,
А нарочно, для мужского
Молчания.
Чтоб всю ночь над ним
Сидеть,
Молчать,
Не говорить,
Только уголь брать,
Чтоб прикурить,
Да смотреть, как под золой
Огонь
Пролетит, как голубой
Конь.

1946, Япония

ФУТОН

Чтоб ты знала жестокие
Наши мучения,
Хоть мысленно съезди в Токио
Для их изучения.

Живем в японской скворешне,
Среди пожарища,
Четверо: я, грешный,
И три товарища.

На слово нам поверя,
Войди в положение:
Надпись над нашей дверью —
Уже унижение.

Иероглифами три имени,
Четвертое — мое,
Но так и не знаем именно,
Где — чье?

Где вы: Аз, Буки, Веди?
Забыли мы обо всем.
Живем, как зимой медведи,
Лапы сосем.

У каждого есть берлога,
Холодная, как вокзал.
Вот, не верили в бога —
Он нас и наказал.

Но чтоб тепла лишение
Не вызвало общий стон,
Как половинчатое решение
Принят у нас футон.

Футоном называется
Японское одеяло,
Которое отличается
От нашего очень мало.

Просто немножко короче,
Примерно наполовину;
Закроешь ноги и прочее —
Откроешь спину...

А в общем, если по совести
Этот вопрос исследовать, —
Футон, он вроде повести,
Где «продолжение следует».

Конечно, в сравнении с вечностью,
Тут не о чем говорить,
Но просто, по-человечеству,
Хочется поскулить.

Особенно, если конечности
Мерзнут до бесконечности.

Мы вспомнить на расстоянии
Просим жен
О нашем существовании,
Положенном под футон,

Где тело еще отчасти
Согреется как-нибудь,

Но у души, к несчастью,
Ноги не подогнуть.

И все бы решалось запросто,
Все б легко,
Когда бы ты, просто-напросто,
Была не так далеко.

1946, Япония

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Рядом с кухней отеля «Миако»,
Где нас кормят морской капустой,
Есть бассейн и рыбы. Однако
Их никто не ест, — будь им пусто!

Потому что это не просто,
А золотые, священные рыбы,
Стой над ними, считай хоть до ста,
И за то спасибо.

Они плавают с сытыми мордами,
Раздувая хвосты,
Очевидно, дьявольски гордые
Независимостью от плиты.

Они очень надменны, ибо
Презирают до содрогания
Прочую просто рыбу,
Предназначенную для питания.

Они держатся даже в воде
Друг с другом несколько сухо,
Оттого, что они — в пруде
Аристократия духа.

Так изысканно и рассеянно
Живут они всю неделю,
Но каждое воскресение
Приходит повар отеля

И, принеся извинения
Всем предкам на случай уж
Чертовского совпадения
С переселением душ,

В кимоно с двумя поясами
Он стоит над водой и в ней
Долго ищет глазами,
Которая пожирней.

Потом с ужасной улыбкой,
Взмахнув сачком, как ужаленный,
Берет золотую рыбку
И делает ее жареной.

Другие рыбы потопчутся,
Поспорят, посокрушаются
И расплывутся. В обществе
Рыб это наблюдается.

А, может, пруда население
Тоже не без идей
И верит в переселение
Своих душ в людей.

И в этом есть вероятие.
Разве вы не могли бы
Сказать об одном приятеле,
Что в нем душа рыбы?

1946, Япония

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Лирическая поэма

I

В ту осень я, еще робея,
С тобою был едва знаком,
И жил, похвастаться не смея
Улыбкою или кивком.

Еще никто не знал в ту пору,
Что, бредя именем твоим,
Схожу с ума я год уж скоро, —
Не болен, а неизлечим.

Не требуя беседы пылкой,
Текла осенняя пора.
Со старым другом за бутылкой
Мы коротали вечера.

Деревья осыпали воду
Последней красною листвой.
Неясности полна природа
В дни поздней осени такой.

Был сад набит пиковой мастью
Кричащих галок и галчих.
Хотелось стасовать на счастье
И погадать под крики их.

В пустынном доме было скучно
И тихо. И немудрено:
Мы пили слишком равнодушно,
Чтоб веселить могло вино.

Порою лечат нас от скуки
Бутылка да мужской совет.
Есть друг — ему и карты в руки,
И хорошо, что женщин нет.

Мы с ним лениво вспоминали
Простор пустыни, запах юрт,
Войну, что снова нас едва ли
Сведет в поселке Баин-Бурт.

Мы вспоминали осень, рыжих
Степных коней, тепло овчин,
Не трогая того, что ближе,
Как водится между мужчин.

В тот вечер сразу после чая
Мы с ним лениво шли к пруду,
Тростями молча ковыряя
Шуршавший гравий на ходу.

И вдруг, нелюбопытный прежде
К нескладицам в чужой судьбе,
Со мной о женщине небрежно
Заговорил он, — о тебе.

Он иногда любил некстати,
Как лошадь, женщину судить —
С мужскою грубостью по статьям
Ее придирчиво ценить.

Но в этот вечер, против правил,
Перебирая имена,
Тебя в покое он оставил,
Спросив лишь: «Как тебе она?»

Да, как ты мне? Кем там в Москве
Ты мне доводишься? С тобою
В каком троюродном родстве
Я состою сейчас душою?

В тобой непрошенной тоске
Зачем сижу я в этом доме,
Где ни куска тебя нет, кроме
Букв палкой, палкой на песке.

Предчувствие любви страшнее
Самой любви. Любовь, как бой.
Глаз-на-глаз ты сошелся с нею,
Ждать нечего, она с тобой.

Предчувствие любви, как шторм,
Уже чуть-чуть влажнеют руки,
Но тишина еще, и звуки
Рояля слышны из-за штор.

А на барометре к чертям
Все вниз летит, летит давленье,
И в страхе светопреставленья
Уж поздно жаться к берегам.

Нет, хуже. Это, как окоп.
Ты, сидя, ждешь свистка в атаку,
А там, за полверсты, там знака
Тот тоже ждет, чтоб пулю в лоб.

В таком предчувствии я жил
Всю эту осень в Подмосковьи,
Пустого дома старожил.
Ко встречам нашим предисловье.

Но к предисловьям равнодушен,
Мой друг не брал меня читать,
Не пробовал влезать мне в душу,
Ни состраданьем допекать.

И оглушительно странна
Была, как первый выстрел, фраза,
Над самым ухом, громко, сразу:
— Да, кстати, как тебе она?

Я промолчал. — Молчишь, я знаю,
Она ведь нравится тебе?
— Немножко. — Лжешь; пока чужая,
Немножко. Но представь себе,

Что завтра этой же порою
Она приедет вот сюда
Сказать три слова: «Будь со мною».
Ведь ты пойдешь за нею? Да?

— Не знаю. — Лжешь. Отдашь за это
Все, чем богат весь белый свет.
Да или нет? — Он ждал ответа,
И я солгал тогда, что нет.

II

По улицам зима бежала.
Уж новый год был за углом.
Навеки я в друзьях, пожалуй,
С тем тридцать первым декабрем.

Число как счастия примета,
В нем для меня зима и ты,
Смесь поцелуев, ветра, света
И хлопьев белые кресты.

На Пушкинской пылали елки,
Весь вечер сумасшедшим был.
Пожары свечек, снег, иголки
И поцелуев зимний пыл.

Ты в сумасшествии повинна
Со мной в тот вечер пополам,
Оно, как снежная лавина,
Обрушилось к твоим ногам.

Но ты его и не держала,
Ты, как веселая зима,
Со мною об руку бежала
По зимним улицам сама.

Мороз, далекой песни звуки,
Дверь в ледяных цветах зимы,
Зайдем — скорей бокалы в руки,
И стойка, и за стойкой мы.

Крутящиеся табуретки,
И, словно веер, в сто мастей
До потолка все этикетки
В стекло упрятанных чертей.

Двенадцать бьет за три квартала!
Последний в том году глоток.
И сквозь вспотевшие бокалы
На дне оставшийся ледок.

Как славно в новогоднем зале,
Хруст скатертей и звон столов.
И что б друг другу ни сказали,
Никто твоих не слышит слов.

Какая странная отрада —
Весь вечер медлить средь людей,
Как будто нам спешить не надо,
И век не станешь ты моей.

А сердце, как колдун, стучится
И мне предсказывает... верь,
Что это все равно случится
Сегодня, в эту ночь, теперь.

Еще покусывая льдинку,
Ты медлишь, медлишь, медлишь, но
Я жду тебя, как поединка,
Он состоится, все равно.

Я жду, когда удастся мимо
Лукавых слов вдруг уловить
Миг, за которым нестерпимо
Тебе со мной на людях быть.

А здесь уже без промедленья
К дверям, без спроса, как свою...
И рук покорное движенье,
Когда я шубу подаю.

Мороза голубое чудо,
Дверь настежь, иней, снег в лицо.
И твой вопрос: — Куда ж отсюда?
Как обручальное кольцо.
. . . .

В машине белый вихрь сквозь дверцы,
Сигнала сонная труба.
Сквозь шубу слышный грохот сердца,
И, словно иней — прядь со лба.

Снять шубу, бросить на сиденье,
Закутать всю, до каблуков,
Смотреть тебя, как сновиденье,
Почти лишившись чувств и слов.

Взять пальцы и, по-детски дуя,
Горячими губами сжать
И всю дорогу, не целуя,
Дыханьем их отогревать.

Как в старой сказке от погони
Лететь к заставе за попом...
Мотор храпит, как конь в попоне,
И паром пышет за стеклом.

На сумасшедших поворотах
Возок наш в хлопьях снега весь,
Огни, огни, огни, ворота
И обе дверцы настежь. Здесь!

Двор со старинной канителью
Пристроек, служб и флигелей
И ручки медные метелью
Полузанесенных дверей.

Вдруг — то последнее молчанье,
Где никогда и навсегда,
Где ты еще — вся обещанье,
Вся свет и тьма, вся нет и да.
. . . .

Рассвет. Как винограда листья,
Мороз на стеклах. Я не сплю.
Какое грозное открытье —
Узнать, что я тебя люблю.

Еще вчера умел я грубо
Тебя рассматривать в упор,
Отдельно руки, плечи, губы
Я крал на память, точно вор.

Еще вчера, всю без изъятья,
Я смел тебя вести на суд.
Я знал цвета, прически, платья,
Которые тебе идут.

Но пробил час, и я не знаю,
Красива ль, безобразна ль ты,
Чем очарован был вчера я,
Чем мне милы твои черты.

Ты можешь быть усталой, сонной,
Небрежной, ветреною, злой,
Сговорчивою, непреклонной,
Почти моей, почти чужой,

Ты можешь быть к лицу одета
И не к лицу. Ты можешь слыть,
Кем хочешь. С этого рассвета
Мне все равно с тобою быть.
. . . .

Рассвет над оголенным садом...
Снежок тихонько порошит,
И синий воздух снегопадом,
Как белой ниткою, прошит.

Уйти, пока никто не слышит,
Обнявшись, в холод на крыльцо.
Еще румянцем сонным дышит
Твое прелестное лицо.

Ты замерла, как из теплицы
В снега занесенный цветок,
И лишь чуть слышно шевелится
Под шубой теплый локоток.

Стяни скорее рукавички,
Дай мне ладони рук твоих,
Навек пусть будет не привычкой,
А счастьем целовать мне их.

Да, если я хочу, до муки,
До сумасшествия, опять
Едва отпущенные руки
К губам холодным прижимать,

Наверно эта ночь в предместье,
Пушок на вздернутой губе,
Крыльцо, метель, заря — все вместе
И есть моя любовь к тебе.

III

Опять сегодня утром будет
Почтовый самолет в Москву.
Какие-то другие люди
Летят. А я все здесь живу.

Могу тебе сказать, что тут
Все так же холодно и скользко,
Весь день дожди идут, идут,
Как растянувшееся войско.

Все по колени стало в воду,
Весь мир покрыт водой сплошной,
Такой, как будто бог природу
Прислал сюда на водопой.

Мы только полчаса назад
Вернулись с рекогносцировки,
И наши сапоги висят
Вверх дном у печки на веревке.

И сам сижу у печки, сохну.
Занятье глупое — с утра
Опять поеду и промокну,
В степи ни одного костра,

Лишь дождь, как будто он привязан
Навеки к конскому хвосту,
Да свист снаряда, сердце разом
Обрушивающий в пустоту.

А здесь в халупе нашей все же
Мы можем сапоги хоть снять,
Подсохнуть на соломе лежа,
Как видишь — письма написать.

Мое письмо тебе свезут
И позвонят с аэродрома,
И ты в Москве сегодня ж дома
Его прочтешь за пять минут.

Я вижу все: лицо твое,
Как ты в разлуке вечерами
Вдруг в кресло старое мое
Залезешь, как при мне, с ногами.

И на коленях разложив
Бессильные листочки писем,
Гадаешь: жив или не жив,
Как будто мы от них зависим.

Что ж, напишу еще одно,
Чтоб не были гаданья лживы,
Чтоб в день, когда пришло оно,
Ты знала: утром были живы.

Во-первых, чтоб ты знала, мы
Уж третий день как наступаем;
Железом взрытые холмы
То вновь берем, то оставляем.

Нам чòртовски не повезло:
Дождь рухнул с неба нам назло,
Как только, кончивши работу,
Замолкли пушки и пехота
Пошла вперед. А через час
Среди неимоверной, страшной
Воды увязнувший по башню
Последний танк отстал от нас.

Есть в неудачном наступленье
Несчастный час, когда оно
Уже остановилось, но
Войска приведены в движенье.

Еще не отменен приказ,
И он с жестоким постоянством
В непроходимое пространство,
Как маятник, толкает нас.

Но разве можно знать отсюда?
Вдруг эти наших три версты,
Две взятых кровью высоты
Нужны за двести верст, где чудо
Прорыва будет завтра в пять,
Где уж в ракетницах ракеты...
Москва запрошена. Ответа
Нет. Надо ждать и наступать.
Все свыклись с этой трудной мыслью —
И штаб, и мрачный генерал,
Который молча, крупной рысью
Поля сраженья объезжал.

Мы выехали с ним верхами
По направленью к Джантаре,
Уже синело за холмами,
И дело близилось к заре.

Над Акмонайскою равниной
Шел зимний дождь, и все сильней;
Все было мокро, сбруя, спины
Понуро несших нас коней.

Однообразная картина
Трех верст, что мы прошли вчера,
В грязи ревущие машины,
Рыдающие трактора.

Воронок черные болячки,
Грязь и вода, смерть и вода.
Оборванные провода
И кони в мертвых позах скачки.

На минном поле вперемежку
Тела то вверх, то вниз лицом,
Как будто смерть в орла и решку
Играла с каждым мертвецом.

А те, что при дороге самой
Вдруг так похожи на детей,
Что, не поверив в смерть, упрямо
Все хочется спросить: ты чей?

Как будто их тут не убили,
А ехали из дома в дом
И уронили, и забыли
С дороги подобрать потом.

А дальше мертвые румыны,
Где в бегстве их застиг снаряд,
Как будто их толкнули в спину,
В грязи на корточках сидят.

Среди развалин Джантары,
Вдоль южной глиняной ограды,
Как в кегельбане для игры,
Стоят забытые снаряды.

Но словно все кругом обман,
Когда глаза зажмуришь с горя,
Вдруг солью, рыбой сквозь туман
Нет-нет, да и потянет с моря.

И снова грязь из-под копыт
И слух уж сотый за неделю
О ком-то, кто вчера убит,
И грустный возглас: «Неужели?»

Однако мне пора кончать.
Ну что ж, последние приветы,
Пока фельдъегеря печать
Не запечатала пакеты.

Мать поцелуй, а с остальными
Кому и что там передать,
Решай сама. Ты рядом с ними,
Тебе в Москве их лучше знать.

Еще одно. Два дня назад,
Как в детстве, подогнувши ноги,
Лежал в обочине дороги
И ждал, когда нас отбомбят.

Я, кажется, тебе писал,
Что под бомбежкой, свыкшись с нею,
Теперь лежу там, где упал,
И вверх лицом, чтобы виднее.

Так я лежал и в этот раз.
Грязь, прошлогодняя осока,
И бомбы прямо и высоко,
И, значит, лягут сзади нас.

Я думал о тебе сначала,
Потом привычно о войне,
Что вот опять зениток мало,
Застряли где-то в целине.

Что танки у села Корпеча
Стоят в грязи, а дождь все льет.
Потом я вспомнил нашу встречу
И ссору в прошлый Новый год.

Был глупый день, и злые споры,
Но до смешного, как урок,
Я, в чем была причина ссоры,
Пытался вспомнить и не мог.

Как мелочно все было это
Перед лицом большой беды —
Вот этой каторжной воды,
Нас здесь сживающей со света,

Перед лицом того солдата,
Что здесь со мной атаки ждет
И молча мокрый хлеб жует,
Прикрыв полой ствол автомата.

А бомбы, не спеша, летели,
Как на замедленном кино.
Как много глупой канители
С тобой нам было суждено!

Нет, в эти долгие минуты
Я, глядя в небо, не желал
Ни обойтись с тобою круто,
Ни попрекнуть всем, что я знал.

Не укротить и не обидеть,
А, ржавый стебель теребя,
Я просто видеть, видеть, видеть
Хотел тебя, тебя, тебя.

И я боюсь, что это чувство —
Все помня, вдруг про все забыть,
И есть счастливое искусство
Тебя без памяти любить.

Все. Даль над серыми полями
С утра затянута дождем,
Бренча тихонько стременами,
Скучают кони под окном,

Сейчас поедем. Коноводы,
Собравшись в кучку у крыльца,
Ругают на чем свет погоду
И курят, курят без конца.

IV

Я в эмигрантский дом попал
В сочельник, в Рождество.
Меня почти никто не знал,
Я мало знал кого.

Хозяин дома пригласил
Всех, кого мог созвать, —
Советский паспорт должен был
Он завтра получать.

Сам консул был. И, как ковчег,
Трещал японский дом:
Хозяин — русский человек, —
Последний рубль ребром.

Среди рождественских гостей,
Мужчин и старых дам,
Наверно, люди всех мастей
Со мной сидели там:

Тут был игрок, и спекулянт,
И продавец собак,
И просто рваный эмигрант,
Бедняга из бедняг.

Когда вино раз пять сквозь зал
Прошлось вдоль всех столов,
Хозяин очень тихо встал
И так стоял без слов.

В его руке бокал вина
Дрожал. И он дрожал:
— Россия, господа... Она...
До дна!.. — И зарыдал.

И я поверил вдруг ему,
Хотя, в конце концов,
Не знал, кто он и почему
Покинул край отцов.

Где он скитался тридцать лет,
Чем занимался он,
И справедливо или нет
Он был сейчас прощен?

Нет, я поверил не слезам, —
Кто ж не прольет слезы! —
А старым, выцветшим глазам,
Где уже нет грозы,

Но, как обрывки облаков,
Грозы последний след,
Иных полей, иных снегов
Вдруг отразился свет;

Прохлада волжского песка,
И долгий крик с баржи,
Неумолимая тоска
По василькам во ржи,

По песне, петой где-то там,
Уже, бог весть, когда,
А все бредущей по пятам
В Харбин, в Шанхай, сюда.

Так плакать бы, закрыв лицо,
Да не избыть тоски,
Как обручальное кольцо,
Что уж не снять с руки.
. . . .

Все было дальше, как всегда,
Стук вилок и ножей,
И даже слово «господа»
Не странно для ушей.

И сам хозяин, как ножом
Проткнувший грудь мою,
Стал снова просто стариком,
Всплакнувшим во хмелю.

Еще кругом был пир горой,
Но я сидел в углу,
И шла моя душа босой
По битому стеклу

К той женщине, что я видал
Всегда одну, одну,
К той женщине, что покидал
Я, как беглец страну,

Что недобра была со мной,
Любила ли — бог весть...
Но нету родины второй,
Одна лишь эта есть.

А может, просто судеб суд
Есть меж небес и вод,
И там свои законы чтут
И свой законов свод.

И на судейском том столе
Есть век любить — закон
Ту женщину, на чьей земле
Ты для любви рожден.

И все на той земле не так,
То холод, то пурга...
За что ж ты любишь, а, земляк,
Березы да снега?
. . . .

А в доме открывался бал;
Влетев во все углы,
За вальсом вальс уже скакал,
Цепляясь за столы.

Давно зарывший свой талант,
Наемник за сто иен,
Теперь был старый музыкант —
Комок из вспухших вен.

Ночь напролет сидел я с ним,
Лишь он мне мог помочь.
Твоим видением томим
Я был всю эту ночь.

Был дом чужой, и зал чужой,
Чужой и глупый бал.
А он всю ночь сидел со мной
И о тебе играл.

И, как изгнанник, слушал я,
Упав лицом на стол,
И видел дальние края
И пограничный столб.

И там, за ним, твое лицо
Опять, опять, опять...
Как обручальное кольцо,
Что уж с руки не снять.

Я знаю, ты меня сама
Пыталась удержать,
Но покаянного письма
Мне не с кем передать.

И, все равно, до стран чужих
Твой не дойдет ответ,
Я знаю, консулов твоих
Тут не было и нет.

Но если б ты смогла понять
Отчаянье мое,
Не откажись меня принять
Вновь в подданство твое.

1940—1946

ПОЭМЫ

ПОБЕДИТЕЛЬ

Памяти Николая Островского

Над крышею липы шумят бесконечно,
Цветут и желтеют. За тонкой стеной
На узкой кровати, железной и вечной,
Лежит человек слепой и больной.
Он пристально смотрит на белое что-то,
Где ничего, кроме стенки, нет,
Туда, где по прежним зрячим расчетам
Должен висеть его старый портрет.
Портрет перевешен. В комнате душно,
Сквозь ставни просачивается жара;
В портрете отражены подушки,
Кровать, два никелевых шара,
И, поднимаясь над их сияньем,
Петлицы, ремни и высокий шлем...
Какое грозное расстоянье
Между хозяином дома и тем,
Тем безусым, тем круглоглазым,
Тем, чья юношеская рука
Лежит на огромной и безотказной,
Донельзя сверкающей грани клинка.
Вечером, где-то на полустанке,
Между сраженьем и мертвым сном,
Бродячий фотограф за полбуханки
Заснял его с шашкой, на вороном.

И тою же ночью, когда на привале,
Сложив трехлинейки в ближнем углу,
Скудный ужин бойцы жевали,
Разувшись, придвинув ноги к теплу,
В местечко ворвался израненный конник,
Лежа ничком на спине коня.
Следом влетели польские кони
И, рассыпаясь, пошли по камням.
Конник хрипел: «Поляки! поляки!»
Кровью плевал через уши коня.
И прыгали люди во рвы и овраги,
Ложились плашмя на пыльных кремнях,
Вбивали обоймы, и выстрелы быстро
Крестили дорогу, о камень стуча.
И, выбивая колесами искры,
Максим откатывался и рычал.
Вцепившись в шершавые ручки максима,
Он бил наугад от стены до стены.
Словно их ветром с коней сносило,
Шарахались к изгородям паны,
Кони бесились, взмывали круто,
С ходу повертывали назад.
Тогда комиссар, улучив минуту,
Поднял и бросил вперед отряд...
А он, чертыхаясь, бежал с пулеметом,
Отстав от своих на сотню шагов,
Когда на рысях из-за поворота
Лошади вынесли трех врагов.
Он покачнулся, остановился.
В глаза их шляхетские поглядел,
Железную тыкву системы Мильса
Бросил под ноги лошадей.
Кони стали в пыли и в мыле,
Шар завертелся, подпрыгнул, и
Трое панов в поднебесье взмыли,
Отдали богу души свои.
А он, завалясь в придорожную глину,
От небывалой боли дрожа,
Услышал, как будто в мокрую спину
Врезались два стеклянных ножа.

2

Год с небольшим пролежал в лазарете.
Врач на прощанье сказал: «Держись!
Помни, чтоб дольше прожить на свете,
Придется тебе отдыхать всю жизнь».
Состав по разбитым рельсам и шпалам
Его дотащил до родимых мест,
Целые сутки, тревожась, не спал он,
Из окон рассматривая окрест
Кусок опустелого ржавого фронта;
Теплушки разбитые лезли в глаза —
Страна молчаливо ждала ремонта,
И отказать ей было нельзя.
В тысячный раз за окно поглядел он,
Не хуже, чем в школьные времена,
Из смятых рецептов голубя сделал,
И, свистнув, пустил его из окна.
С грехом пополам добрался до дома,
Кобель, не узнав, принялся брехать,
Все дома знакомо и незнакомо,
Дверь отперла постаревшая мать.
Часок повалялся на узкой кушетке,
По двору побродил босиком. . .
И под вечер тронулся на разведку —
Вставать на партийный учет в губком.

3

А после был медленный мартовский вечер.
В злосчастном двадцать восьмом году,
Когда болезнь навалилась на плечи
И властно сказала ему: «Не уйду».
Утром его укачало в дороге.
Едва он вернулся к себе в райком,
Как все завертелось, и на пороге,
Попятившись, рухнул при всех ничком.
Очнулся при электрическом свете,
Поднялся. Кругом зашептали: «Ложись».

Озлобленно вспомнил: «Чтоб жить на свете,
Придется лекарства жевать всю жизнь!»
В девятом часу привезли на квартиру.
Стянул сапоги; тяжело дыша,
Послал проклятье целому миру
Вещей, решивших ему мешать:
Лестницам с недоступной вершиной,
Порогам, которых не переступить,
Дорогам, болтавшим его машину
С явной целью его убить.
Проклял и вдруг задумался — что же,
Это проклятье значит, что он
На лестницы больше вползать не может,
Переступать порогов не может,
На форде своем объезжать не может
Им же вынянченный район.
Калека! — которого держат на службе
Щадя, пока еще можно щадить,
Которому скажут назавтра по дружбе:
«Пора и на пенсию выходить.
Подлечишься годик — быть может, поможет,
Быть может, вернешься опять, а пока...»
И верно! Он знает: работа не может
Держаться в дрожащих его руках.
А что же останется? Он огляделся:
Столик, пол-этажерки книг —
За недосугом и войнами с детства
Он слишком редко заглядывал в них, —
Навзничь лежащая гимнастерка,
Старые хромовые сапоги,
Диван, на котором локтями протерты
Примелькавшиеся круги...
Осталась надежда подольше держаться,
Подольше прожить в безнадежно больных:
Но отнимите надежду сражаться, —
Нам даром не надо надежд остальных.
Ему надоело перемогаться
Пять с половиною лет подряд!
Наутро с поездом десять двадцать
Он выехал в Ленинград.

4

У двери холодного черного дома
Дважды нажал старомодный звонок.
«Дома ли доктор?» — «Профессор дома».
Он святотатственно пренебрег
Ковриком для вытирания ног...
Потом возвращался неторопливо,
Минуя проспекты, каналы, мосты.
На Марсовом поле от долгих поливок
Взошли удивительные цветы.
Он сел на скамейку и осторожно
Вдыхал левкои и табаки.
Дети сновали по узким дорожкам,
Лепили песочные пирожки.
А завтра больница... Отрывисто, близко
Бьет в отдаленный гранит волна.
Ему ли, солдату, бояться риска,
Леченье — это почти война.
Как в дверь, вошел в два года мучений —
Операционных столов, врачей,
Приступов, маленьких облегчений,
Свирепых больничных дней и ночей.
Он верил: кончится эта мука.
Как ни копались в его спине,
Ни разу не издал еще ни звука —
Только глаза отводил к стене.
А спину так часто сшивают и рубят.
Что в промежутках всегда живут:
Привычка облизывать черствые губы,
Привычка подушку свертывать в жгут.
Тот, кто выздоровления жаждет,
Все позволяет рукам врача.
Врачи не решились его однажды
Хлороформировать. Не крича,
Лежа в не смоченной хлороформом
Сухой повязке, лицо к полотну,
Он слышал, как кожа расторглась покорно,
Когда ланцет ее полоснул.
Он видел пустыми от боли глазами,
Как мир становился тесней и темней,

Если бы сердце ему вырезали —
Наверное не было бы страшней.
Но к третьему году он больше не верил.
Довольно. Зачем было ехать сюда,
Когда он не может дойти до двери,
Когда ему палка нужна, когда
После десятков стаканов крови,
Отданных жадным больничным тазам,
Стали седыми виски и брови,
Высохли щеки, ввалились глаза...
Довольно мучиться! Даже птицы
На родину трогаются весной...
Он повернулся ко всем больницам
Своею израненною спиной.
Он в поезде. Ливень о крышу бьется,
Стекла дрожат и гремят, как жесть.
А место с соседом менять придется —
На верхнюю полку теперь не залезть...

5

Медленно, словно влезая в гору,
Добрался до города своего.
Милый город. Любимый город...
Собрать пожитки и вон из него!
Город, свидетель его здоровья,
Теперь, когда он от бессилья стонал,
Вечно стоял бы у изголовья,
О прежней работе напоминал.
Уехать! И вот в городке на Волге
Нашелся ему постоянный приют.
Летом за окнами парни подолгу
Протяжные волжские песни поют.
Зимою за окнами бури подолгу
Ветром и снегом о землю бьют.
Стоит на обрыве над самой Волгой
Одноэтажный дощатый приют:
Он жил в этом доме, еще не веря,
Что правы болезни и доктора.
Как птица, спалившая крылья и перья,
Он пал в этот город. Была пора

Ветров и волнений. Река взрывалась
И выла, когда он попал сюда,
И красное пламя листьев врывалось
И плыло по опустелым садам.
Как ждал он! Нетерпеливо, ужасно,
Необъяснимо, упорно ждал,
В постели, на улице, ежечасно,
Ежеминутно, везде, всегда.
Он ждал потому, что ему невозможным
Казалось безделье. Он ждал потому,
Что слишком невыносимо тревожной
Была тишина в этом тихом дому.
Он знал — не будет выздоровленья...
Но ждал его. Каждое утро ему
Казалось: не так трясутся колени,
Не так он болен. Ждал потому,
Что не поверил в свою тюрьму.
Но в душную полночь под Первое мая
Паралич к стенке его припер.
Всю ночь прометался, не понимая —
На что надеялся до сих пор?
Он вспомнил: цветы на Марсовом поле...
Зеленая утренняя вода...
Ему казалось тогда, что он болен,
Но разве он мог представить тогда:
Пол, потолок и четыре стенки,
Подушки за высохшею спиной,
Чужие, негнущиеся коленки,
Смирно лежащие под простыней.
Светало... За окнами праздничный лагерь;
Единственный форд повсюду сновал,
Натиск плакатов, цветов и флагов
В узкую улицу заплывал.
Вот полковые трубы узнал он —
Врывается в окна их медный закон...
Властные звуки «Интернационала»
В постели навытяжку слушает он.
Их братская медь поднимает и будит,
Сурово толкает его вперед,
И, кажется, долго он жить еще будет
И не скоро еще умрет.

6

Под вечер заехал товарищ хороший,
Большой, неуклюжий, еще молодой,
С усами, торчащими над заросшей
Тронутой проседью бородой.
Они обнялись. На одно мгновенье
Гость испугался, что закричит
От страшного птичьего прикосновенья
Колких плечей и худых ключиц.
Ему неожиданно захотелось
Сжаться, сузиться самому,
Спрятать свое огромное тело —
Здоровье свое показалось ему
Почти оскорбительным в этом доме,
Где умирали. И стало вдруг
Стыдно своих железных ладоней,
Каменных бицепсов, длинных рук.
Как неуютно и одиноко...
Товарищ долго стоял у стены,
Где жили давно отслужившие сроки
Армейские френчи, шинели, штаны.
Там из проношенного кармана,
Словно за старым владельцем следя,
Торчала тяжелая ручка нагана,
На искушение наводя.
Больной, приподнявшись на изголовьи,
Увидел, как робко, исподтишка,
Шершавую ручку нагана ловит
Неловкая дружеская рука
И, выловив, прячет его небрежно
В свой широченный синий карман,
Первое чувство — большая нежность
За этот неловкий и милый обман.
И сразу же чувство пренебреженья
К тому, кто посмел испугаться, что он
В минуту горечи и раздраженья
Использует в личных целях патрон.
Сердито сказал: «Положи на место,
Меня рановато еще стеречь...»
И так взволновался, что с этого места

У них не клеилась дальше речь.
Больного отчаянно раздражало
И передергиванье в плечах,
И сожаленье, почти что жалость,
Едва прорывавшаяся в речах,
И безнадежность, с какой, очевидно,
Старый товарищ отнесся к нему;
Безнадежность была обидна,
Жалость была ему ни к чему.
Хотел в лицо закричать, что, быть может,
Еще неизвестно, кто больше из них
Назавтра партийному делу поможет
По мере сегодняшних сил своих.
И, подтянуться стремясь наружно,
Кашель пытался прикрыть платком.
Они расстались раньше, чем нужно,
С обидным, отчетливым холодком.

7

Пока еще много дневного света,
Пока еще только ночами темно,
Пока еще ливни листьев и веток
Врываются в узкое окно,
Пока еще зренье не ослабело,
И веки еще не в слепых слезах,
И мир не сделался вечно белым,
Не потускнел на твоих глазах —
Надо начать учиться, учиться,
Школьником надо себя считать.
Пока слепота еще только стучится,
Долго и яростно надо читать. . .
Книги, прошедшие сквозь его руки,
Как будто лесник прошел с топором,
Носили на теле своем зарубки
Ногтем, карандашом и пером.
Болезнь не дремала все это время.
Едва приподнявшись, его рука
Падает, как непосильное бремя,
В яму пружинного тюфяка.
Глаза его слепнут. Все реже и реже

Они отдыхают. При свете огня
Зрачки нестерпимо мучительно режет,
Зато он читает по целым дням.
И что ж о глазах толковать впустую —
Врачами сосчитаны зрячие дни.
Пускай хоть они у него не пустуют,
Пусть подлинно зрячими будут они.
Но по ночам, несмотря на старанье
Жадно и несговорчиво жить,
Сознание скорого умиранья
Руки спешит на него наложить.
И сразу нелепо, непостижимо —
К чему он читает книги, к чему?
Он, ослабевший и недвижимый,
Хочет все новых знаний — кому
Вручит он свои запоздалые знанья?
Если, всего безногий пока,
Не нынче, так завтра в полном сознанье
Лишится зренья и языка
И, обладая единственно слухом,
Станет бездонным колодцем, куда
Последние мысли скатятся глухо,
Но из которого — никогда!

8

В августе слег с воспалением легких,
Если к нему применимо — слег.
Совсем исхудавши, сделался легким,
Неощутимым, как мотылек.
Таким, что, когда освежали воздух,
Сосед, легко приподняв с тюфяка,
Его выносил осторожно, как воду,
Держа на вытянутых руках.
Так слепота его и застала
В жару и беспамятстве. Сквозь забытье
Он слышал, как книгу сиделка листала,
Смотрел и не видел пальцев ее.
Очнувшись, взглянул в потолок. Показалось,
Что потолок, как всегда, над ним
Темный и низкий. Но оказалось,

Что потолком, неизменным, одним,
Покрыты все окна, двери и вещи...
С правой и левой его руки,
Снизу и сверху в глазах зловеще
Стоят почерневшие потолки.
Пришла слепота. Задыхаясь и плача,
Он неотступно думал о ней.
И. ничего для него не знача,
Шли перемены ночей и дней.
Бессилье росло в его теле усталом,
Но, сжатый усталостью этой в тиски,
Единственно, кажется, что не устал он, —
Надеяться всем и всему вопреки.
Давно не мог он без гнева и горя
В газетные вглядываться листы,
Там строили шлюзы, там грызли горы,
Там все его спрашивало: а ты?
Давно уж без горечи видеть не мог он,
А все же глядел, затаясь, не дыша,
На роты, ходившие мимо окон,
Штыками полязгивая и спеша.
В медленных гусеничных разговорах,
В шуме моторов он слышал укор
Себе, командиру запаса, который
Не сможет явиться на лагерный сбор,
Себе, которого старые раны
Лишили почетного званья бойца...
С какой бы охотой рубцы ветерана
Сменил он на крепкие руки юнца,
С какой бы охотой по первой тревоге
В мешок положил консервы и хлеб —
И снова на Запад по старой дороге...
Но это химеры! Он болен. Он слеп.
Он должен подумать о том, что осталось!
Он думал. Он трезво учел слепоту.
Ему не спалось. Не жилось. Не читалось.
Ему надоело смотреть в темноту.
Душными летними вечерами
Он оставался один-на-один
С грохочущим радио. И в мембране
Слышался треск раздираемых льдин.

Шли ледоколы. Ворчал экскаватор.
Катились цистерны. Потом тишина.
Откуда-то из-за Альп глуховато
К нему догромыхивала война.
Потом на седьмом пограничном знаке
Отрывисто тявкал чужой пулемет —
Желтые люди в мундирах хаки
Кричали «банзай», бежали вперед
И падали, сбитые пограничной
Тяжелою пулей. Амур скрежетал.
Пахло войной. В мембране привычной
Тревожно и зло сотрясался металл.
Война! .. Ловя содроганье металла,
Больной себя чувствовал на часах:
Война! .. А у юношей нехватало
Мужской суровости в голосах,
Предгрозья холодного ощущенья.
Спокойствия пополам со смешком,
Даваемых только ближайшим общеньем
С винтовкою и вещевым мешком.
А он это знал! В нем скопилось за годы
Все то, что, как хлеб, им нужно сейчас,
Из опыта битв, переходов, походов
Готов уделить он львиную часть.
Проклятая немощь! Как долго и сложно!
Как сможет он людям теперь одолжить
Все, что пришлось коммунисту в тревожной,
В трудной жизни своей нажить.
Как передать привычку сражаться,
Острое фронтовое чутье,
Умение жадно за жизнь держаться
И отдавать, когда нужно, ее.
Старую дружбу свою с поездами,
Хорошую странность бродить пешком,
Привычку к легкому чемодану
Со сменой белья и зубным порошком. . .
Про все рассказать. Чтоб поняли, чтобы
Их за душу взяли его слова,
Чтоб, перед смертью, упрям до гроба,
Он снова вошел бы в свои права
Бойца. Но для этого надо, однако,

Писать. Сочинять. Составлять дневники.
А он не писатель — он старый вояка.
Строчить сочиненья ему не с руки.
Но все, чему был он в жизни свидетель,
Ему говорило, как дважды два:
Не счастье, не кислая добродетель,
Не ловко расставленные слова, —
Сегодня на свете чего-то стоят
Люди, прошедшие гром и дым.
Мужество века, как штык простое,
Сегодня дорого молодым.
Он заработал суровое право —
По жизни людей провести за собой:
Вот здесь я направо пошел — направо,
Вот здесь я сражался — идите в бой!
Так, значит, писать! Может, очень просто,
Гораздо проще, чем их пережить,
Своих поступков жестокую поступь
В такие же строчки переложить?

9

Каждое утро жена терпеливо,
В молчанье, боясь его мысли прервать,
Ждала, пока он не начнет торопливо,
Захлебываясь, диктовать.
А он отдиктует и вновь собирает,
Залпом бросает пятнадцать фраз,
Снова трагически не поспевает
Их карандаш записать зараз.
Снова длительное молчанье.
Женщина, думая — он уснул,
Скрывается, мягко пожав плечами,
Боясь помешать короткому сну.
А он, наконец, совладав с изложеньем,
Страницу отдиктовав не спеша,
Вдруг слышит, что в комнате нет скольженья,
Короткого скрипа карандаша...
Фразы перемежались с молчаньем,
Слова вылетали из головы.
Между началом и окончаньем

Ложились шершавые грубые швы.
Тогда он подыскивал фразы короче,
Слова подгонял одно к одному,
Так, чтобы строй их был прост и прочен
И сразу запоминался ему.
Он много писал о друзьях, о погодках,
Но даже займись он собою одним,
Все поколенье военной походкой
Пришло бы и стало в затылок за ним.

10

Полдень. За окнами душное лето.
Скорей бы уже разразилась гроза!
Он от невидимого портрета
Отводит невидящие глаза.
Он чувствует — близкий конец наступает.
На маленьком столике в головах
Лежит еще мокрая и слепая,
Последняя начатая глава.
Он чувствует — близкий конец наступает.
Он даже не может поднять руки,
Болезнь, неотвязная и тупая,
Ему продавливает виски.
Домашние, с вечными их слезами,
Подчеркнуто бодрые доктора...
Он видит своими слепыми глазами —
Лафет приготовлен. Ему пора.
Но он не желает. Еще неделю!
Он должен докончить работу. И вот,
Как бы врачи на него ни глядели,
Он против всех правил еще живет.
Они предлагали с ненужной заботой
Оставить писанье — наивный народ.
Для них непонятно, что, бросив работу,
Он в ту же минуту, наверно, умрет.
Все удивляются! Щупают тело —
Где жизнь в нем засела? Им невдомек,
Что человек, не докончив дела,
В могилу сойти не хотел и не мог.

А дом еще спит... Поскорее! Снова...
Не чинены с вечера карандаши.
«Не обижайся, прости больного,
Мне очень некогда! Сядь, пиши!»

11

Вчера, опровергнув никчемные сроки,
Он умер. С улыбкой на желтом лице
Лежит он, докончив последние строки,
Последнюю точку поставив в конце.
Его через город везут на лафете,
Как павших на службе народу бойцов.
Он улыбается. Даже дети
Без страха смотрят ему в лицо.
Мне кажется, он подымается снова,
Мне кажется, жесткий, сомкнутый рот
Разжался, чтоб крикнуть последнее слово,
Последнее гневное слово — вперед!
Пусть каждый, как найденную подкову,
Себе это слово на счастье берет.
Суровое слово, веселое слово,
Единственно верное слово — вперед!
Слышишь, как порохом пахнуть стали
Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки.

1937

МУРМАНСКИЕ ДНЕВНИКИ

У окружкома на виду
Висела карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкали маленький флажок.
Гостиница полным-полна.
Портье метались дотемна,
Распределяя номера.
Швейцары с заднего двора
Наверх тянули тюфяки.
За ними на второй этаж,
Стащив замерзшие очки,
Влезал воздушный экипаж.
Пилоты сутки шли впотьмах,
Они давно отвыкли спать,
Им было странно, что в домах
Есть лампа, печка и кровать.
Да, прямо скажем, этот край
Нельзя назвать дорогой в рай.
Здесь жестко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.
Здесь, приступив к любым делам,
Мы мир делили пополам:
Врагов встречаешь — уничтожь,
Друзей встречаешь — поделись.
Мы здесь любили и дрались,
Мы здесь страдали. Ну и что ж?
Не на кисельных берегах

Рождалось мужество. Как мы,
Оно в дырявых сапогах
Шло с Печеньги до Муксольмы.
У окружкома на виду
Большая карта. Там на льду,
В том самом месте, где в кружок
Воткнули маленький флажок,
Там, где, мозоля нам глаза,
Легла на глобус бирюза,
На деле там черным-черно,
Там солнца не было давно.
За тыщу верст среди глубин
На льду темнеет бивуак.
Но там, где четверо мужчин
И на древке советский флаг,
Там можно встать к руке рука,
Касаясь спинами древка,
И, как испытанный сигнал,
Запеть «Интернационал».
Пусть будет голос хрипл и груб,
Пускай с растрескавшихся губ
Слетает песня чуть слышна —
Ее и так поймет страна.
Гостиница полным-полна.
Над низкой бухтою туман,
Девятибальная волна
Ревет у входа в океан.
К Ял-Майнену, оставив порт,
В свирепый шторм ушли суда.
Семисаженная вода
Перелетает через борт.
Бушует норд. Вчера Москва
Послала дирижабль. Ни зги!
По радио сквозь вой пурги
Едва доносятся слова.
Бушует норд. Радист в углу,
Охрипнув, кроет целый мир:
Он разгребает, как золу,
Остывший и пустой эфир.
Где дирижабль? Стряслась беда...
Бушует норд. В двухстах верстах

Был слышен взрыв. Сейчас туда
Отправлен экстренный состав.
За эту ночь еще пришло
Два самолета. Не до сна.
Весь окружком не спит. Светло,
Гостиница полным-полна.
Сегодня в восемь пять утра
Нашли разбившихся. В дугу
Согнулся остов. На снегу
Живые грелись у костра.
Был выполнен солдатский долг,
В гробы положены тела.
Их до ближайшего села
Сопровождает местный полк.
Другим летели помогать —
Погибли сами. Чтоб не лгать, —
Удар тяжел. Но на земле
Есть племя храбрых. Говорят,
Что в ту же ночь другой отряд
Ушел на новом корабле.
У окружкома на виду
Большая карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкают маленький флажок.
Всю ночь с винтовкой, как всегда,
Вдоль рейда ходит часовой.
Тут ждут ледовые суда
В готовности двухчасовой.
До кромки льда пять дней пути,
Крепчает норд. Еще в порту,
Товарищ, крепче прикрути
Все, что нетвердо на борту.
Поближе к топкам и котлам
Всю ночь механики стоят,
Всю ночь штормит — быть может, нам
Большие жертвы предстоят.
В больницу привезен пилот,
Он весь один сплошной ожог.
Лишь от бровей — глаза и рот —
Незабинтованный кружок.
Он говорит с трудом: «Когда

Стряслась с гондолою беда,
Когда в кабине свет погас,
Я стал наощупь шарить газ,
Меня швырнуло по борту.
Где ручка газа? Кровь во рту,
Об радиатор, об углы,
Об потолки и об полы.
Где ручка? На десятый раз
Я выключил проклятый газ.
Напрасный труд! Сквозь верхний люк
Врывалось пламя. Через щель
Внизу я видел снег и ель.
Тогда, сдирая кожу с рук,
Я вылез вниз. Кругом меня
Свистало зарево огня.
Я в снег зарылся с головой,
Не чувствуя ни рук, ни ног,
Я полз по снегу чуть живой,
Трясясь от боли, как щенок.
Меня перенесли к костру,
Нас всех в живых осталось шесть.
Всем было плохо. Лишь к утру
Мы захотели спать и есть.
Обломки тлели. Тишина.
Лишь изредка в полночный мрак
Взлетал нагретый докрасна
Еще один запасный бак.
Всю ночь нас пробирала дрожь.
Нам было всем, как острый нож,
Смотреть туда, где на снегу
Тлел остов, выгнутый в дугу.
Забыв на миг свою беду,
Мы представляли, что на льду,
Вот так же сидя, как и мы,
К огню поидвинувши пимы,
Четыре наших парня ждут,
Когда им помощь подадут.
Нам холодно. Им холодней:
Они сидят там много дней.
Уже кончается зима.
А где же мы? Вода кругом...

Чтоб не сойти совсем с ума,
Нам надо думать о другом.
Что ж, о другом, так о другом!
Давай о самом дорогом.
Но что ж и мне и всем другим
Казалось самым дорогим?
Вот так же сидя, как и мы,
К огню придвинувши пимы,
Четыре парня молча ждут,
Когда им помощь подадут...»
Ночь. На кровати летчик спит.
Сестра всю ночь над ним сидит.
Он беспокойный, он такой —
Он может встать. Да что покой?
Как может предписать покой
Тот врач, который в свой черед
С утра дрожащею рукой
Газету в ящике берет?
На старой милой нам земле
Есть много мужества. Оно
Не в холе, воле и тепле,
Не в колыбели рождено.
Лишь мещанин придумать мог
Мир без страстей и без тревог:
Не только к звукам арф и лир
Мы будем приучать детей.
Мир коммунизма — дерзкий мир
Больших желаний и страстей.
Где пограничные столбы, —
Там встанут клены и дубы.
Но яростней, чем до сих пор,
Затеют внуки день за днем
Жестокий бой, упрямый спор
С водой, землею и огнем.
Чтоб все стихии нам взнуздать,
Чтоб все оковы расковать,
Придется холодать, страдать,
Быть может, жизнью рисковать.
На талом льду за тыщу верст,
Где снег колюч и ветер черств,
Четыре наших парня ждут,

Когда им помощь подадут.
Есть в звуке твердых их имен,
В чертах тревожной их судьбы
Начало завтрашних времен,
Прообраз будущей борьбы.
Я вижу: где-то вдалеке,
На льду, на утлом островке,
На стратоплане, на луне,
В опасности, спиной к спине,
Одежду, хлеб и кров деля,
Горсть земляков подмоги ждет.
И вся союзная земля
К своим на выручку идет.
И на флагштоках всех судов
Плывет вперед сквозь снег и мрак,
Сквозь стаи туч, сквозь горы льдов
Земного шара гордый флаг.

1938

СУВОРОВ

П. Антокольскому

I. ОПАЛА

1798 год

1

Зима. Проспекты все впотьмах,
То снег, то ростепель напала.
Бьют барабаны. На домах
Расклеены указы Павла.
Их много этою зимой, —
Один еще не пожелтеет,
Глядишь, другой уж сверху клеят:
«Размер для шляп — вершок с осьмой,
Впредь не носить каких попало,
Впредь вальс в домах не танцовать,
Впредь Машками, под страхом палок,
Не сметь ни коз, ни кошек звать».

Перед дворцом помост сосновый.
На невском ледяном ветру
Здесь второпях возводят новый
Пристойный памятник Петру.
Должно быть, в пику Фальконету
В нем будет все наоборот:
В проекте памятника нету

Руки, протянутой вперед,
Ни змия, ни скалы отвесной, —
Он грузно станет на плите,
Казенный и тяжеловесный.
Да, времена теперь не те,
Чтоб царь, раздетый, необутый,
Скакал в опор бог весть куда...
Из всех петровских атрибутов
Вы палку взяли, господа;
Ей освященные уставы
Нейдут у вас из головы.
Давно развеян дым Полтавы,
Еще далек пожар Москвы.
Ржавеют в арсеналах пушки,
Зато сияют кивера...
Пять лейб-гвардейцев на пирушке
Решили, что царя пора...
Пора, а что — нам неизвестно,
Но у Гостиного двора
Кинжал какой-то житель местный
Купил, примолвивши: «Пора...»
Пора, а что — мы не дознались,
Но есть донос, что до утра
В трактире, в нумере, шептались,
Все повторяли: мол, пора...

И в снег, и в хлябь, и в непогоду
Возводят замок у Невы;
Еще в сырых подтеках своды,
А уж кругом копают рвы.
До света, обогнав зарю,
Везут кирпич дорогой зимней, —
Такая спешка, словно Зимний
Стал подозрителен царю.
В вороньем гаме, в птичьем грае
И в неразборчивом «ура-а!»,
То каркая, то замирая,
К нему доносится: «Пор-р-а...»
Он с детства помнит это слово,
Он в страхе ищет до сих пор,
Где тот гвардеец, тот актер

На роль Григория Орлова?
Как наперед его узнать?
И ночью, в поисках измены,
Он сам выстукивает стены
И шпагой тычет под кровать.
И, съежившись, поджав колена,
Не в силах до утра уснуть,
Решается попеременно
То всех сослать, то всех вернуть.
Санкт-петербургской ночью серой,
Пугая сторожей ночных,
Осатаневшие курьеры
Несутся на перекладных;
Их возвращают с полдороги,
Переправляют имена:
«Снять ордена. Запечь в остроги».
«Вернуть. Простить. Дать ордена».
И в эту ночь к Ямской заставе
Курьер скакал во весь опор.
Он, у ворот коней оставив,
Вбежал на постоялый двор,
Потребовал стакан спиртного
И на закуску что-нибудь
И, нахлобучив шляпу, снова
Готов был ехать в дальний путь.
Но два проезжих офицера,
Пока не улетел в карьер,
Схватили за полу курьера:
«К кому вы, господин курьер?» —
«Да что вы, господа, как можно!
Язык казенный под замком,
Но так и быть...» Он осторожно,
Чуть слышно крикнул петухом...

2

Господский дом в селе Кончанском
С обеда погружен во тьму.
Везде лампадки, как в мещанском
Добропорядочном дому.
Хозяин экономит свечи,

Он скуповат по мелочам;
Когда не спится, возле печи
Он греться любит по ночам;
Бывает — примостив лучину,
В ночном шлафроке, босиком,
Сев по-турецки на овчину,
Играет в шашки с денщиком.
«Опять ты, Прошка, пересилишь,
Опять мне в дамках не бывать. . .» —
«Тут нужен ум, Лексан Василич,
Ведь это вам не воевать.
Ну, проигрались, что за горе?
Вам нынче в шашки не с руки,
По нонешним годам в фаворе
Те, кто умеет в поддавки. . .»
Суворов знает — Прошка снова
Все то же скажет, что вчера,
И все ж готов он до утра
Сидеть и слушать слово в слово,
Что Прошка скажет, как польстит.
Нет, Прошка лестью не унижен;
Его хозяин стар, обижен,
На батюшку-царя сердит.
При матушке Екатерине
Он на другой манер серчал:
Прижмут ли, обойдут ли в чине,
Бывало бегал да кричал.
А нынче счет забыл обидам,
Сидит молчит, не дует в ус.
Но Прошку не обманешь видом,
Он знает твой и нрав и вкус.
Пусть для других умен да тонок,
Пусть для других ты генерал,
А с Прошкой в бабки ты играл,
Для Прошки ты всю жизнь ребенок,
Он знает, чем утешить кстати:
То вдруг с три короба наврет,
То петь начнет, то Павла татем,
Курносым немцем назовет.
И, в Прохоре души не чая,

Ты только для порядку, зря,
Прикрикнешь, будто бы серчая,
Чтобы не смел так про царя;
А сам уж шлешь его к буфету,
Пусть там пошарит по углам
Да принесет графинчик к свету —
Запить обиду пополам.
Вот и сейчас — слыхать отсюда —
Он отмыкает поставец,
И тихо тренькает посуда,
Как еле слышный бубенец...
Но что за наважденье! Прошка
Уже давно пришел с вином,
А звон стеклянный за окном
Еще летит по зимним стежкам.
Еще летит — и вдруг к дверям
Так громко, словно бьют бокалы,
И если б волю дать коням,
Так тройка б в двери проскакала...
Дверных запоров треск мгновенный,
Шум раздвигаемых портьер,
И в дверь полуторасаженный
Влезает, весь в снегу, курьер.
Лампадки словно ветер сдул,
Во всем дому дрожат стаканы,
И сам Суворов, встав на стул,
Целует в щеку великана:
«Скакал? Коням намылил холки?
Небось, война, коли за мной?
Эй, Прошка! Дай мундир мне с полки,
Готовь карету четверней!»
Он наискось рванул пакет —
Там был рескрипт о возвращенье,
Не прошенное им прощенье,
А про войну — и слова нет.
«Эх вы, гоняете без толку,
Напрасно будите людей!
Не надо, Прошка, лошадей,
Мундир обратно спрячь на полку!
А ты, курьер, моя душа,

Не сетуй, что скакал задаром.
Березовым кончанским паром
Попарься в баньке не спеша;
Поспишь, управишься с обедом,
Пропустишь стопку, и лети,
Глядишь, по твоему пути
И я в субботу тронусь следом.
А что сердито говорю,
Ты не горюй. Не ты в ответе.
Что б ни привез курьер в пакете,
За быстроту благодарю».

. . . .

В субботу, взяв с собой рескрипт,
Суворов выехал в столицу.
И вот полозьев мерзлый скрип —
И по бокам пошли стелиться
Поля... поля. Через поля
Весь день трусить своей дорогой
И к ночи, печку запаля,
Заснуть в избе. А утром: трогай!
Да не спеша. Чай, позван он
Не для войны, не для похода...
А коли так, то есть резон
Сослаться на болезнь, на годы,
На что угодно. Подождут.
На что ты им? У них в наградах
Не тот, кто штурмом брал редут,
А тот, кто мерз на вахтпарадах.
Уж не за тем ли нам спешить,
Чтоб в первый день, боясь доноса,
Мундирчик с фалдочками сшить
И прицепить к railsинам косу?
Слуга покорный! Он глядит
В заиндевевшее окошко.
В кибитке рядом с ним сидит
Его денщик и нянька — Прошка.
«Эй, Прошка! Прошка!» Прошка спит,
Он пахнет водкой и капустой.
Опять напился! Стук копыт, —
То столб, то крест, то снова пусто.

Копыта месят снег и грязь,
Возок то вниз, то вверх взлетает.
Фельдмаршал, к стенке привалясь,
Плутарха медленно листает.

3

Он под военною трубой
Был вскормлен, вспоен и воспитан.
И добрый барабанный бой
Не раз в бою им был испытан.
На неприступный Измаил
Ведя полки под вражьи клики,
Он барабанный бой ценил
Превыше всяческой музыки.
Но то, что нынче над Невой,
На барабан не походило:
И день и ночь по мостовой
Как будто градом колотило,
Сквозь снег, сквозь волн балтийских плеск
Однообразно, как машина,
Воловьих шкур унылый треск
И прусских дудок писк мышиный.
Фельдмаршал ждал в приемном зале
И слушал барабанный стук.
«И так всю жизнь?» Ему сказали,
Что так всю жизнь, что от потуг
На барабанах рвутся шкуры,
В них снова лупят, починя.
На потолках дрожат амуры, —
Один упал третьёго дня.
Сильнее прежнего курнос,
Царь в зал вбежал, заткнув за лацкан
Еще нечитанный донос.
Фельдмаршал был весьма обласкан,
Еще с порога спрошен: «Где же
Наш русский Цезарь?» Обольщен,
И надо ж быть таким невежей
И грубым чудаком, как он,
Чтобы, зевнув на комплименты,
Перевести тотчас же речь

На контрэскарпы, ложементы,
Засеки, флеши и картечь;
Ворчать, что зря взамен атак
На смотры егерей гоняют,
И долго шмыгать носом так,
Как будто во дворце воняет.
Здесь все по-прусски, не по нем.
Царь вышел вместе с ним на площадь;
Там рядом с Павловым конем
Ему была готова лошадь.
И, вылетев во весь карьер,
Проехали вдоль фронта рядом
Курносый прусский офицер
С холодным оловянным взглядом
И с ним бок-о-бок старичок,
Седой, нахохленный, сердитый,
Одетый в легкий сюртучок
И в старый плащ, в боях пробитый.
Нет, он не может отрицать —
Войска отличный вид имели,
Могли оружием бряцать
И ноги поднимать умели.
Не просто поднимать, а так,
Что сбоку видишь ты — ей-богу! —
Один шнурок, один башмак,
Одну протянутую ногу.
А косы, косы, а мундир,
Крючки, шнурки, подтяжки, пряжки,
А брюки, пригнанные к ляжкам
Так, что нельзя попасть в сортир.
Но это ничего. Солдат
Обязан претерпеть лишенья.
Мундирчик тоже тесноват —
Неловко в нем ходить в сраженья.
Зато красив! Вселяет страх!
Тотчас запросят турки миру,
Завидев полк в таких мундирах,
В таких штанах и галунах.
Но дальше было не до шуток.
Полк за полком и снова полк —
И все как дерево, и жуток

Вид плоских шляп, кургузых пол,
Нелепых кос. Да где ж Россия?
Где настоящие полки,
Подчас раздетые, босые,
Полмира бравшие в штыки?
Фанагорийцы, гренадеры,
Суворовцы? Да вот они —
Им дали прусские манеры
И непотребные штаны;
Им гатчинцы даны в капралы,
Их отучили воевать,
Им старого их генерала
Приказано не узнавать.
Но сквозь их косы, букли, пудру
Он сам их узнает. И — врешь! —
Еще придет такое утро,
Когда он станет вновь хорош
И, наплевав на все доносы,
В походе в первый день войны
Рассыплет пудру, срежет косы
И перешить велит штаны.
Он рысью тронул вдоль квадрата
Молчавших войск. Но за спиной
Уже кричал ему штабной:
«Велит вернуться император!» —
«Скажи царю, что я не волен
Исполнить то, что он велит.
Скажи царю: Суворов болен,
Мол, брюхо у него болит...»

4

На целый город разговору —
Кого фельдмаршал посетил,
Что нынче говорил Суворов,
Над чем он давеча шутил.
О шпагах вышло повеленье
Носить их, как у пруссаков, —
Ремень по самые колени,
Эфес почти у башмаков;
Она по пяткам била вечно

И с громом путалась у ног.
Такого случая, конечно,
Фельдмаршал упустить не мог.
Намедни, отворив карету,
Он вдруг застрял на полпути,
Представясь, будто шпага эта
В карету не дает взойти.
Уж он со шпагой так и эдак:
Карету обходил кругом,
И в дверцу лез, и, напоследок
Махнув рукой, пошел пешком.
Да где ж он сам? В дому Хвостова
Живет, молвою окружен;
Держась обычая простого,
С утра больную ногу он
Оденет в туфель крымский красный,
А на здоровую — сапог,
Камзол натянет канифасный,
Чтоб не простыл пробитый бок.
Напьется вместе с Прошкой чаю,
Газету спросит. У окна,
Своим бездействием скучая,
Сидит почти что дотемна.
Весь день, сведенные в квадраты,
По улице идут солдаты.
У них то нос, то рот, то лоб
От частого битья опухли.
Их лакированные туфли
По русской грязи шлеп да шлеп.
Да что греха таить! Как прежде,
Он жаждет славы, звезд, крестов
И геральдических листов,
И громких титлов. Он в надежде
Еще служить. И в час, когда
В дому клевретов не бывает,
Достав мундир, он иногда
Его по форме одевает.
Пока Суворов жив, пока
Не гнет он старые колена,
Еще надежда есть в полках,
Что армия уйдет из плена

Голштинских палок и затей,
Что гатчинцев еще удавят.
И в гарнизонах ждут вестей,
Что вновь Суворов службу правит.
Просить пардону? Не дождутся.
Зато он нынче попросил
Пустить домой. Мол, обойдутся
И без него... Дождь моросил;
С залива ветер креп; под вечер
Кругом ни плошек, ни огней.
Давно пора зажечь бы свечи,
Да при свечах еще тошней.

5

Взяв дозволенье на дорогу,
Он утром выехал. Кругом
Бой барабанов. Трогай, трогай!
Вот дом с последним кабаком;
Мелькают фалды, шляпы, шубы...
Вот и шлагбаум промелькнул.
Присвистнув, кучер вскинул чубом
И в поле круто завернул.
Копыта месят снег и грязь;.
Возок то вниз, то вверх взлетает.
Фельдмаршал, к стенке привалясь,
Плутарха медленно листает.

II. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

1799 ГОД

1

В швейцарском городке Таверна
Суворов дал привал войскам.
Ночь выдалась дождливой, скверной,
Туман сползал по ледникам;
Ветра с предгорий, как в мешок,
В тавернскую долину дули;
Как будто в Пскове или в Туле,

Холодный сыпался снежок.
И новобранцам было странно,
Что здесь, за тридевять земель,
В заморских иностранных странах,
Бывает тульская метель,
Что здесь у речки мужики,
Как под Калугой, сено косят,
Что бабы в праздники здесь носят
Почти рязанские платки.
Уже не первый день в походе,
Далеко занесло солдат.
Они привыкли и к погоде
И к виду итальянских хат,
Они привыкли каждый раз
В обед, по-здешнему в сиесту,
Пить виноградный кислый квас,
Есть длинное, как нитки, тесто.
Но как привыкнуть им к тому,
Что, сединами убеленный,
Прямой сенатор по уму,
Сам ихний писарь батальонный,
И тот не мог ответить им,
Чего они здесь не видали,
Зачем они в такие дали
Зашли с фельдмаршалом своим!
Эх! Если б им сказать, что дома
Их встретит завтра теплый кров,
Жена и дети, жар соломы,
Березовое пенье дров!
Но где там! Вместо бани парной,
Родного дома и жены, —
Со старой девою-казармой
Они навек обручены;
Вновь будет тот же плац в предместье,
Где палки дискантом поют,
Где то тебя другие бьют,
То ты других, то всех вас вместе.
Нет хуже лямки гарнизонной!
Нам легче десять ран в бою,
Ночлег бездомный, марш бессонный
И даже смерть в чужом краю.

Здесь штык ценней, чем галуны,
Здесь даже ротный бросил драться:
Как мир, так — «сукины сыны»,
А как война, так сразу — «братцы».
Здесь если фуражир крадет
И квартирмейстер нас не кормит,
Суворов сук для них найдет
И по солдатской просьбе вздернет.
Фельдмаршал впереди полка
Летает на коньке крылатом:
«Вперед, орлы! Вперед, ребята!
Не подведите старика!»
Что ж, мы его не подведем,
Все сделаем, как он прикажет,
Да только жаль — домой придем,
Спасибо нам никто не скажет.
По дому так грызет тоска,
Что офицеров не спросили,
От них секретом два лужка
Швейцаркам здешним накосили.
Поднялись рано, до зари;
Свистели травы луговые
Так, словно вновь мы косари,
А не солдаты фрунтовые.

2

Георгий прицепив к рубашке,
Зевнув, перекрестивши рот,
Суворов вышел нараспашку
И сел на лавке у ворот.
Штабной принес ему газеты.
Суворов, посмотрев мельком,
Свернул газету колпаком
И голову прикрыл от света.
Как под Москвой, с горы Поклонной,
Был сразу виден целый край;
Путь вниз — в оливковый, лимонный,
Заросший виноградом рай,
Путь вверх — по грифельным отрогам,
По снежным голубым венцам,

По зажигавшимся, багровым
И снова гаснувшим зубцам.
А здесь, еще как до войны,
Все так же засевают нивы,
В фаянсовые кувшины
Поджарых коз доят лениво.
Суворов нехотя смотрел
На коз, на девочку-швейцарку...
Он за год сильно постарел;
Ему то холодно, то жарко,
Все чаще тянет на сенник,
Все реже посреди беседы
В нем оживает озорник —
Седой буян и непоседа.
А, кажется, еще недавно,
Когда он Вену посетил,
Там над приезжим лордом славно
Он по старинке подшутил:
Четыре дня подряд являлся
К обеду в спущенном чулке,
И англичанин удивлялся
Такой причуде в старике.
Ну что же, пусть предаст огласке,
Чтоб знал британский кабинет,
Что у фельдмаршала подвязки,
Бишь, ордена Подвязки нет...
Теперь не то: он сам теперь
Стал подозрительней и суше —
Нет-нет и вдруг отворит дверь,
Грозясь отрезать чьи-то уши.
Австрийский генерал-бездельник
Опять недодал лошадей,
А из России ни вестей,
Ни пушек, ни полков, ни денег.
Ну что же, ладно! Только жаль,
Никак солдатам не втолкуешь,
Зачем зашел в такую даль,
За что с французами воюешь.
Бывало скажешь им: за степи,
За Черноморье, за Азов!
Вослед полкам тянулись цепи

Переселенческих возов...
А тут — как об стену горохом,
Тут говоришь, не говоришь —
Рязанцы понимают плохо,
На кой им шут сдался Париж.
«Эй, Прошка!» — «Что?» — «Послушай,
Прошка,
Ведь все-таки фельдмаршал я,
А ты мне, старый чорт, белья
Не хочешь постирать ни крошки.
Вот царь велит мне взять Париж,
Одержим мы с тобой победу,
А ты напьешься, задуришь —
Так без рубашки я и въеду?» —
«Я б рад стирать, да не легко:
Погода все стоит сырая.
А до Парижа далеко —
Весь гардероб перестираю,
Да вы бы лучше, чем сердиться,
Сапожки б взяли да палаш
Да сверху б натянули плащ, —
Недолго ведь и простудиться».
Снег перестал. Шел ветер с моря,
Дрожали первые лучи.
Надувши щеки, трубачи
По всем полкам играли зорю.
И конский храп и трубный плач
Летел по сонным переулкам
И, отскочив от стен, как мяч,
Об землю ударялся гулко.
На горном голубом ветру,
Как пробки, хлопали знамена;
За пять минут, как на смотру,
Выстраивались батальоны.
Суворов вышел на задворки.
Там запоздавшие; одни
Белили второпях ремни,
Другие штопали опорки.
Какой-то рослый новобранец
Вспотевши, расстегнув мундир,
Никак не мог засунуть в ранец

Дареный жителями сыр.
«Не можешь, Немогуузнайка!
Ну, ладно. Счастье, брат, твое,
Что мне попался. Сыр подай-ка
Да крепче в пол упри ружье».
Суворов, как татарин, важно
Приготовляющий шашлык,
Взял сыр, слезящийся и влажный,
И насадил его на штык.
«А коли будут разговоры,
Начнет тебя бранить сержант,
Скажи ему, что сам Суворов
Отвел штыки под провиант».
. . . .
Последний егерский отряд
Поспешно втягивался в горы.
Почти над каждым из солдат,
Как раз на штык пришедшись впору,
Слезами молча обливаясь,
Изнемогая от жары,
Шагали в ногу, не сбиваясь,
Русско-швейцарские сыры.

3

Уже в горах ему сказали,
Что путь на Сен-Готард закрыт.
Он огляделся — грозный вид!
По скалам в пропасти сползали
И пропадали облака,
Внизу орел парил устало,
И узкая, как нож, река,
С камней срываясь, клокотала.
Тогда, оборотясь к солдатам,
Он крикнул: «Русские снега
От нас далеко! Что ж, ребята,
Возьмем хоть эти у врага!»
Старик шутил, но всякий знал:
Коль шутит он, так жди, что скоро
Махнет рукой, подаст сигнал
Напропалую через горы.

Фельдмаршал наш — орел-старик,
Один грешок за ним — горячка:
Хоть на локтях, хоть на карачках
Ползти заставит напрямик;
Он на биваке дров достанет,
Из-под земли харчи найдет,
Зато беда — кто в бой отстанет,
В атаку мешкотно пойдет.
Под ядрами, не дуя в ус,
На роту роту полк уложит
И полк на полк, пока доложат,
Что тыл нам показал француз.
При Нови жаркий приступ был,
Мы трижды их атаковали,
Они нас трижды выбивали.
Завидев полк, идущий в тыл,
Старик примчал в одной рубахе;
Слетев с казацкого седла,
Перед полком, молчавшим в страхе,
Катался по земле со зла.
...Что ж, мы пошли в четвертый раз
И взяли Нови! .. Шли солдаты.
Сержант припоминал Кавказ,
Где он с полком бывал когда-то.
Кусая ус, седой капрал
Глядел на выси Сен-Готарда
И новобранцам бойко врал,
Что заготовлена петарда, —
Вот как забьют да запалят...
Скользя, взбирались вверх по тропке,
Суворов объезжал отряд;
На вьючной лошади в коробке
Везли и жезл и ордена, —
Они нужней ему в столице.
С одним Георгием в петлице,
В мундире грубого сукна,
Он проскакал вперед по мосту.
Дощечки тонкие тряслись,
Свистали пули. Аванпосты
Уже с французами сошлись
И первый натиск задержали.

Так начинался Сен-Готард.
Костров, иль господин Державин,
Или иной российский бард
Уже пальбу оттуда слышит
И, вдохновением горя,
Уже, наверно, оду пишет,
С железной лирой говоря:
«Се мой (гласит он) воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь, полночного народа,
Девятый вал в морских волнах».
Средь воинских трудов суровых
Фельдмаршал муз не забывал,
Пиите бедному, Кострову,
По сто червонцев выдавал,
И все эпистолы и оды,
Все, в чем пиита льстил ему,
В секретном ящике комода
Хранилось в кобринском дому.

По черным скалам стлался дым.
Уж третий час, как батальоны
Вслед за фельдмаршалом своим
Карабкались по горным склонам.
Скользили ноги лошадей,
Вьюки и люди вниз летели.
Француз на выбор бил. Потери —
Давно за тысячу людей.
Темнело... А Багратион
Еще не обошел французов.
Он, бросив лошадей и грузы,
Взял гренадерский батальон
И сам повел его по кручам
Глубоко в тыл. Весь день с утра
Они ползли все ближе к тучам;
Со скал сдували их ветра,
С откосов обрывался камень,
Обвал дорогу преграждал...
Вгрызаясь в трещины штыками,
Они ползли. Суворов ждал.
А время шло, тумана клочья

Спускались на горы. Беда!
Фельдмаршал приказал хоть ночью
Быть в Сен-Готарде. Но когда
Последний заходящий луч
Уже сверкнул за облаками,
Все увидали: выше туч,
Край солнца зацепив штыками,
Там, где ни тропок, ни следов,
От ветра, как орлы, крылаты,
Стоят на гребне синих льдов
Багратионовы солдаты.

4

Француз бежал. И, на вершину
Пешком взобравшись по горе,
У сен-готардских капуцинов
Заночевав в монастыре,
Суворов первый раз за сутки
На полчаса сомкнул глаза.
Сквозь сон ловил он слухом чутким,
Как ветер воет, как гроза
Гремит внизу у Госпиталя.
Нет, не спалось... Затмив луну,
По небу клочья туч летали.
Он встал к открытому окну
В одном белье и необутый.
Холсты палаток ветер рвал,
Дождь барабанил так, как будто
На вахтпараде побывал.
Нет, не спалось... Впервые он
Такую чувствовал усталость.
Что это? Хворь иль скверный сон?
И догадался: просто старость.
Да, старость! Как ни говори,
А семь десятков за плечами!
Все чаще долгими ночами
Нетерпеливо ждет зари;
И чтоб о старости не помнить,
Где б штабквартира ни была,
Завешивать иль вон из комнат

Велит нести он зеркала.
«Послушай, Прошка!» Все напрасно:
Как ни зови — ответа нет.
Лишь прошкин нос, от пьянства красный,
Посвистывает, как кларнет.
И всем бы ты хорош был, Прохор,
И не было б тебе цены,
Одно под старость стало плохо:
Уж больно часто видишь сны.
И то ведь правда: стар он стал —
То спит, то мучится одышкой.
И ты давно уж не капрал,
И Прошка больше не мальчишка.
И старость каждого из вас
Теперь на свой манер тревожит:
Один — сомкнуть не может глаз,
Другой — продрать никак не может.
Из темноты с доски каминной
Вдруг начали играть часы.
Сперва скрипучие басы
Проскрежетали марш старинный,
Потом чуть слышная свирель
В углу запела тонко-тонко.
Суворов вспомнил: эту трель
Он слыхивал еще ребенком.
Часы стояли у отца
На полке, возле русской печки;
Три белых глиняных овечки
Паслись у синего дворца.
На башне начинался звон,
Вверху распахивалась рама,
И на фарфоровый балкон
Легко выскакивала дама...
Нащупав в темноте шандал,
Он подошел к часам со свечкой.
Все было так, как он и ждал, —
И луг, и замок, и овечки,
Но замок сильно полинял,
И три овечки постарели,
И на условленный сигнал
Охрипшей старенькой свирели

Никто не вышел на балкон.
Внутри часов заклокотало,
Потом раздался хриплый звон,
Пружина щелкнула устало...
Часы состарились, как он,
Они давно звонили глухо,
И выходила на балкон
Уже не дама, а старуха.
Потом старуха умерла,
Часы стояли опустело,
И лишь пружина все гнала
Вперед их старческое тело.
«Глагол времен — металла звон».
Он знал, прислушавшись к их ходу,
Что в Сен-Готарде начал он
Последний из своих походов.

5

Прорвавшись в Муттен, он узнал
От муттентальского шпиона,
Что Римский-Корсаков бежал,
Оставив пушки и знамена,
Что все союзники ушли, —
Кругом австрийская измена,
И в сердце вражеской земли
Ему едва ль уйти от плена.
Что значит плен? Полвека он
Учил полки и батальоны,
Что есть слова: «давать пардон»,
Но нету слов «просить пардону».
Не переучиваться ж им!
Так, может, покориться року
И приказать полкам своим
Итти в обратную дорогу?
Но он учил за годом год,
За поколеньем поколенье,
Что есть слова: «итти вперед»,
Но нету слова: «отступленье».
Пора в поход вьюки торочить!
Он верит: для его солдат

И долгий путь вперед короче
Короткого пути назад.
На утро созван был совет.
Все генералы крепко спали,
Когда фельдмаршал, встав чуть свет,
Пошел бродить по Муттенталю.
В отряде больше нет, хоть плачь,
Ни фуража, ни дров, ни хлеба.
Четыреста голодных кляч
Трубят, задравши морды к небу.
В разбитой наскоро палатке
Вповалку егеря лежат,
У них от холода дрожат
Кровавые босые пятки.
Пять суток без сапог, без пищи,
По острым, как ножи, камням;
Кто мог, обрывки голенища
Бечевкой прикрутил к ступням.
Где повалились, там и спали.
Иные, встав, уже с утра
Сырые корешки копали,
Сбирали ветки для костра
И шкуру павшего вола
Штыками на куски делили
И, навернув на шомпола,
На угольях ее палили.
Пусты сухарные мешки.
Ремнем затянуты покорно,
Гудят голодные кишки,
Как гренадерская валторна.
Поправив драную одежду,
Встают солдаты с мест своих
И на него глядят с надеждой,
Как будто он накормит их.
Но сам он тоже корки гложет,
Он не Христос, а генерал, —
Из корок, чорт бы их побрал,
Он сто хлебов испечь не может!
Он видел раны, смерть, больницы,
Но может прошибить слеза,
Когда глядишь на эти лица,

На эти впалые глаза.
На ворохе гнилой соломы
Стоял у полковой казны
Солдат, фельдмаршалу знакомый
Чуть не с турецкой ли войны,
Еще с Козлуджи, с Туртукая...
Стоит солдат, ружье в руках.
Откуда выправка такая,
Такая сила в стариках?!
Виски зачесаны седые,
Ремень затянут вперехват,
И пуговицы золотые,
Мелком начищены, горят.
Как каменный, на удивленье,
Стоит солдат, усы торчком;
В парадной форме по колени,
А ниже формы — босиком.
Подгреб себе клочок соломы,
Ногой о ногу не стучит.
А день-то свеж, а кости ломит,
А брюхо старое бурчит,
А на мундире десять дыр,
Из всех заплаток лезет вата.
Суворов подошел к солдату,
Взглянул на кивер, на мундир,
Взглянул и на ноги босые...
И, рукавом содрав слезу, —
От ветра, что ль, она в глазу? —
Спросил солдата: «Где Россия?»
Когда тебя спросил Суворов,
Не отвечать — помилуй бог!
И гренадер без разговоров
Махнул рукою на восток.
Суворов смерил долгим взором
Отроги, пики, ледники.
По направлению руки
На сотни верст тянулись горы;
Чтоб через них пробиться грудью,
Придется многим лечь. Жесток
Путь через Альпы на восток.
Вздымая на горбах орудья,

Влезать под снегом, под дождем
На стосаженные обрывы...
«И все-таки ты прав, служивый.
Как показал, так и пойдем!»

. . . .

С рассветом возвратившись в дом,
Где ждал совет его, впервые
Он все отличья боевые
Велел достать себе. С трудом
Одел фельдмаршальский парадный
Мундир из тонкого сукна,
Поверх мундира все награды,
Все звезды, ленты, ордена:
За Ланцкорону, Прагу, Краков,
За Рымник, Измаил и Брест,
Перо с алмазом за Очаков
И за Кинбурн — алмазный крест.
Подул на орденские ленты,
Пылинки с обшлагов стряхнул,
Потом, оправив эполеты,
С усмешкой на ноги взглянул:
Не лучше своего солдата
Стоял он, чуть не босиком, —
Обрывком прелого шпагата
Подметка сшита с передком.
Еще спасибо верный Прошка,
Как только станешь на привал,
Глядишь — то плащ зашил немножко,
То сапоги поврачевал.
За дверью ждали господа —
Полковники и генералы;
Его счастливая звезда
Их под знамена собирала.
Дерфельден, и Багратион,
И Трубников... Но даже эти
Молчали, присмирев, как дети,
И ждали, что им скажет он.
Казалось, недалеко сдача.
Кругом обрывы, облака...
Ни пуль, ни ядер. Старика
В горах покинула удача,

Войска едва бредут, устав.
Фельдмаршал стар, а горы круты...
Но это все до той минуты,
Как он явился. Увидав
Его упрямо сжатый рот,
Его херсонский плащ в заплатах,
Его летящую вперед
Походку старого солдата,
И волосы его седые,
И яростные, как гроза,
По-стариковски молодые,
Двадцатилетние глаза,
Все поняли: скорей без крова
Старик в чужой земле умрет,
Чем сменит на другое слово
Свое любимое — вперед!

6

Последний горный перевал...
На Рингенкопфе пела вьюга,
Холодный ветер завывал,
Гуськом, хватаясь друг за друга,
Ползли солдаты. Ни кирки,
Ни альпенштока. Ветер в спину.
Перевернувши карабины,
Шли, опираясь на штыки,
Подряд, как волны в океане.
У ног катились облака.
Протянешь руку — и рука
Сейчас же пропадет в тумане.
По сторонам тропы лежали
Обледеневшие тела.
Эй, чур, не плакать! Как ни жаль их,
Но где добудешь им тепла,
Где шуба, чтобы их согреть,
Где заступ — вырыть им могилу.
Где хоть фонарь, чтоб через силу
В глаза умершим посмотреть?!

Сегодня, заклепавши туго,
Швырнули пушки под откос.
Вся орудийная прислуга
Глядела вниз, давясь от слез.
А пушки падали, стуча,
Подпрыгивая на откосах,
Теряя в воздухе колеса
И медным голосом крича.
Суворов едет рядом с нами.
Он еле жив; два казака,
Вплотную съехавшись конями,
Подмышки держат старика.
Пускай тиранит лихорадка,
Горит в груди, во рту горчит —
Суворов по своей повадке
Все ерничает да ворчит.
Артиллеристам помогая
Забыть про гибель батарей,
Австрийцев матерно ругает
Под громкий хохот егерей.
И вдруг, заметив, что отряд
Опять в дороге унывает,
Он для босых своих солдат
Тверскую песню запевает:
«Ах, что же с девушкой случилось?
Ах, что же с красной за беда?
Она все лапотки стоптала,
Не может выйти никуда».
Ни разу ни одни войска
Еще не шли по этим тропам.
На них взирает вся Европа.
Во всех углах материка
Гадают, спорят и судачат:
Пройдут они иль не пройдут,
Что ждет их — гибель или сдача? ..
Пусть их гадают! Только тут,
Среди лишений и страданий,
Среди камней и снежных груд,
Солдаты знали без гаданий,
Что русские везде пройдут!

7

Последний ледяной ночлег,
Вповалку с ружьями, с конями.
Друг друга прикрутив ремнями,
Плашмя ложились прямо в снег.
Где не улечься — долго щели
Искали в каменной стене
И, штык всадивши, на ремне
Всю ночь над пропастью висели.
Два неизменных казака,
Как ехали весь день, так оба
Легли с Суворовым бок-о-бок,
Не выпуская старика.
У казаков глаза слипались,
А он никак заснуть не мог.
Ночь непроглядная, слепая
Закрыла от него восток.
Он неподвижными глазами
Смотрел вперед на гребень льда,
За край последних туч, туда,
Где за горами, за долами,
За пограничными столбами,
В слезах, в распутице, в морозах
В сквозных владимирских березах,
В зеленых волнах ковыля
Лежала битая, штрафная,
Стократ проклятая, родная,
До слез знакомая земля.

III. ОДИНОЧЕСТВО

1800 год

1

По крайним улицам, без света,
Стараясь проскочить скорей,
В столицу въехала карета
Без гайдуков и фонарей.
Солдат, стоявший у заставы,
Ей путь загородил штыком,

Намереваясь, по уставу,
Дознаться, кто в ней седоком.
Но кучер с козел наклонился
И что-то на ухо шепнул:
Солдат с пути посторонился
И молча взял на караул.
Минуя караульный пост,
Карета быстро поскакала
Сперва через Торговый мост,
Потом вдоль Крюкова канала
И с громом стала у крыльца.
Два денщика, согнувши спины,
Из дверец вынесли перину
И, взяв ее за два конца,
Пройдя вдоль темных коридоров,
Внесли в покой. Под простыней.
В жару, простуженный, больной,
Закрыв глаза, лежал Суворов.
Он, застонав от боли, Прошку
Костлявым пальцем поманил,
Чтоб тот белье переменил
И в кресло посадил к окошку.

2

Суворов при смерти. С утра,
К нему слетевшись, как вороны,
Шныряют в доме доктора,
Прогуливаются шпионы;
А ближние зайти не смеют,
Боясь немилости двора.
Один лишь Прошка вечера
С ним коротает, как умеет.
Прозябнув, съежившись в комок,
Больной укутан в две шинели;
Уже которую неделю
Никак согреться он не мог.
То одеялом и платком
Прикроет Прошка, то к затылку
Из-под шампанского бутылку
Прижмет, наливши кипятком,

То руки, синие, как лед,
Себе за пазуху положит
И держит ночи напролет,
Как будто отогреть их может.
Но, как ни грей их, все равно,
Что пользы в том, когда наружу
Весь день отворено окно
И в комнате такая стужа...
«Скорей закрой окно!» — «Да что вы,
Вам померещилось! Окно?
Чай, с осени на все засовы
Уж заколочено оно».
И Прошка пальцем сколупнет
Кусок замазки с зимней рамы
И в доказательство упрямо
Ее показывать начнет.
«Да, показалось... Но откуда
Так дует ветер, словно с гор?
Еще альпийская простуда
Не отпускает до сих пор,
Метель кружится по отрогам, —
Того гляди, сметет на дно...
Пока не поздно, ради бога,
Закройте кто-нибудь окно!..»
И чтобы не сердить больного,
Придется Прошке стать к окну
И, створку отодрав одну,
Тотчас ее захлопнуть снова.
«Ну вот, как будто и теплей,
Теперь совсем другое дело...
Да кипятку в бутыль подлей,
Чтоб кровь в висках не холодела.
Сейчас тряхнуть бы стариною:
Воды черпнувши из Невы,
Вдруг нестерпимой, ледяною
Обдаться с ног до головы.
Клин клином вышибить!» Но где там,
Когда не шевельнуть рукой,
Когда, небось, уж гроб с глазетом
Давно заказан в мастерской!
Все можно взять у человека:

Чины, награды, ордена,
Но та холодная страна,
Где прожил он две трети века,
И синие леса вдали,
И речки утренняя сырость,
И три аршина той земли,
Скупой и бедной, где он вырос,
Земли, в которую его
Вдвоем со шпагою положат, —
Ее ни месть, ни плутовство,
Ничто уже отнять не сможет!
Среди хлопот, обычных дел
Он редко замечал природу,
Но вдруг сегодня захотел
К песчаному речному броду
Подъехать на рысях в жару
И жадно воду пить из горсти;
Или к своим оброчным в гости;
С ружьем забравшись поутру,
Из камышей пальнуть по уткам;
А коли на дворе зима —
По новгородским первопуткам
Скакать в лесу, чтоб бахрома
С ветвей за шиворот, чтоб тело
Кололо снегом, чтоб лиса,
Как огненная полоса,
Вдоль за стволами пролетала...
Разжечь костер, чтоб вдруг в дыму
Вспорхнула вспугнутая галка...
Все это вовсе ни к чему —
Да умирать уж больно жалко!
И, Прошку с толку сбив, теперь,
Когда все щелочки заткнули,
Он просит, чтоб открыли дверь
И окна настежь распахнули.
«А помнишь, Прошка, в Измаиле
Как ты горячкою хворал?» —
«Еще б не помнить! Был в могиле,
Да бог раздумал, не прибрал». —
«Ты вспомни, Прошка, ты, похоже,
Почти как я, болел в те дни:

Я рук не подниму — ты тоже
Не мог поднять их с простыни,
И кости у тебя болели,
И лоб, как у меня, потел...
И уж не думал встать с постели,
А помирать все не хотел.
Сперва садился на кровать,
Потом ходил, держась за стену...
Вот так и я, глядишь, опять
И встану и мундир надену...
Что плачешь? Думаешь, не встать?
Сам знаю — время в путь-дорожку.
Начнет за окнами светать,
Один, как перст, ты будешь, Прошка.
Да разве ты один такой?
Пересчитай полки и роты —
Как только выйду на покой,
Все будут без меня сироты...»
Но Прошка, привалясь к стене,
Не выдержав ночей бессонных,
Уже дремал и монотонно
Поддакивал ему во сне...
И ни души кругом... Ну что же,
Пока ты важный господин,
Так все готовы лезть из кожи,
А умирать — так ты один...
Он поспешил глаза смежить,
Чтоб не прочли в последнем взоре
Безумную надежду жить,
Людское будничное горе.

5

Вдоль долгих улиц гроб несли.
На бархате ряды регалий,
Оркестры медным шагом шли,
Полки армейские шагали.
Чтоб этим оскорбить хоть прах,
В эскорт почетный, против правил
В тот день заняв их на смотрах,
Полков гвардейских не дал Павел.

Ну что ж! Суворов, будь он жив,
Не счел бы это за обиду;
Он, полстолетья прослужив,
Привык к походному их виду,
Он с ними не один редут
Взял на веку. И, слава богу,
За ним в последнюю дорогу
Армейские полки идут.

1938—1939

ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ...

О ПОГИБШИХ

Я там не был зимой.
Но я знаю: с утра
ветер бьет о замерзшую воду.

Снега нет и в помине.
Ветра. Ветра.
Адовая погода.

В эту продрогшую землю
В мелких порошинках инея,
словно их тронула проседь,
вдавлены танков следы.

Они, как тульская сталь, холодные, синие,
ползут
на Восток,
на Восток,
от замерзшей воды.

А над ними,
над ущельем, где разбитые грузовики
вверх колесами спят,
дожидаясь своих мертвых шоферов,
где торчат из-под льда железные лепестки

изорванных взрывом моторов,
над ущельем, которое
между нами
и ими,
как рваная рана,
встал высокий откос,
острый, как нос корабля.

Он стоит,
глядя прямо в лицо
желтым отрогам Хингана.
Нет!
Земля не кругла.
Здесь кончается наша земля
неприступным обрывом,
огнем,
острием,
параллелям и меридианам
здесь не дано сохраниться.
Здесь их сетка отчеркнута нашим штыком.
Здесь граница.

И над этим штыком
высоко, как гнездо орлов,
наше братское кладбище,
в горной дымке мороза.

Что скрывать,
деревянные доски и несколько слов
слишком многим здесь заменили пролитые
матерью слезы,
но мне кажется — тут похоронен только один:
он был русый парень с голубыми глазами,
он погиб,
не дожив до первых седин,
до славы,
которая не за горами.

Он летчиком был.
А, впрочем, не так:
он был сапером,

он мост наводил под обстрелом.
Нет, он не был сапером.
В одной из атак
он майора от пули прикрыл своим телом.

Нет, неправда!
Тогда он выжил на счастье.
Он в пехоте и не был.
Скорее всего,
говорят, он был из танковой части,
потом ей дали имя его.

Много слухов идет о его кончине:
говорят,
что от смерти за два шага,
на своей курносой горящей машине,
он, и рушась,
еще протаранил врага.

Говорят, он, в сплющенном танке зажатый,
перед смертью успел, обожженным ртом,
объяснить экипажу,
как можно последней гранатой
кончить сразу троим,
если лечь на нее животом.

Говорят,
что, когда его ранили в ногу,
недвижим,
окружен,
далеко от своих,
он, взмахнув над собой пулеметной треногой,
уложил перед смертью последних троих.

Много слухов идет о его кончине.
Верно, был он героем, если столько о нем говорят:
как в их полк мать из дому, рыдая, писала о сыне,
как его гимнастерку надевал его младший брат.

Говорят,
его имя
дают городам
и рекам.
То жестоко,
то нежно
имя это звучит,
потому что в бою был он очень крутым человеком,
но к друзьям и к любимым по-детски был сердцем открыт.

Так был волосом рус он,
а глаза голубые,
так любим он везде был, где довелось ему жить,
что все девушки плакали,
даже чужие,
и все парни клялись за него отомстить.

Он лежит под землей, на границе.
Но он сам, как граница.
Он лежит на орлином утесе.
Но он сам, как орлиный утес.

Он описан на книжных страницах,
но он сам, как живая страница.
Он убит.
Но довольно,
не плачьте —
он не любил слез.

Он любил,
чтобы, с глаз их рукавом сдирая,
шли вперед,
скупыми словами
написав о смерти жене.

Это он окровавленным ногтем,
заживо в танке сгорая,
«Большевики не сдаются»
нацарапал на дымной броне.

О ЖИВЫХ

Но довольно о мертвых.
Мы живы,
мы победили.
Он был героем,
но все-таки —
лишь одним из многих других.

Говорят, при жизни в друзьях его
сходство с ним находили,
а если так,
значит, стоит
поговорить и о них.

Майор, который командовал танковыми частями
в сраженье у плоскогорья Баин-Цаган,
сейчас в Москве
на Тверской,
с женщиной и друзьями,
сидит за стеклянным столиком
и пьет коньяк и нарзан.
А трудно было представить себе
это кафе на площади,
стеклянный столик,
друзей,
шипучую воду со льдом,
когда за треснувшим триплексом
метались баргутские лошади
и прямо под танк бросался смертник с бамбуковым
шестом.

Вода. . .
В ней мелкие пузырьки.
Дайте льду еще!
Походней!
А тогда — хотя бы пригоршню
болотной,
в грязи,
в иле!

От жары шипела броня.
Он слыхал, как сверху по ней
гремела бутылка с горящим бензином,
сейчас соскользнет.

Или...
Что или?
Ночная Тверская тихо шуршит в огне...
Поворот рычага — соскользнула!
— Ты сидишь за столом, с друзьями.
А сосед не успел. Ты недавно ездил в Пензу
к его жене,
отвозил ей часы и письма с обугленными краями.

За столом в кафе сидит человек с пятью орденами:
большие монгольские звезды
и золотая звезда.
Люди его провожают внимательными глазами,
они его где-то видели,
но не помнят,
где и когда.

Может быть, на первой странице «Правды»?
Может быть, на параде?
А может быть, просто с юности откуда-то им
знаком?
Нет, еще раньше,
в детстве списывали с тетрадей;
нет, еще раньше,
мальчишками, за яблоками, тайком...

А если бы
он
и другие
тогда, при Баин-Цагане,
тот страшный километр,
замешкавшись,
на минуту позднее прошли,
сейчас был бы только снег,
только фанерные звезды на монгольском кургане,
только молчание ничего обратно не отдающей земли.

По-разному смотрят люди в лицо солдату:
для иных,
кто видал его
только здесь, в Москве, за стаканом вина,
он только счастливец,
который
где-то
когда-то
сделал что-то такое,
за что дают ордена.

Вот он сидит, довольный, по праву увенчанный,
он видел смерть
и она видала его.
Но ему повезло,
он сидит за столом,
с друзьями,
с влюбленной женщиной,
посмотрите в лицо ему — как ему хорошо и тепло!

Да! Ему хорошо.
Но я бы дорого дал, чтоб они
увидали его лицо не сейчас,
а когда он вылезал из своей машины,
не из этой,
которая там у подъезда,
а из той,
где нет сантиметра брони
без царапин от пуль,
без швов от взорвавшейся мины.

Вот тогда пускай бы они посмотрели в лицо ему:
оно было усталым,
как после тяжелой работы,
оно было черным,
в пыли и в дыму,
в соленых пятнах
присохшего пота.
И таким
усталым
и страшным

оно было тридцать семь раз,
и не раз еще будет —
«Если завтра война»,
как в песнях поется.

Надо было лицо его видеть
тогда,
а не сейчас.
Надо о славе судить,
только зная,
как она достается.

О МИРАЖАХ

Бригада шла по барханам.
От самого Ундурхана
был только зной и песок,
только зной и песок,
песок
сквозь броню и чехлы.
Приходилось мокрыми тряпками затыкать кобуру
нагана,
как детей,
пеленать крест-накрест орудийные стволы.
Но глаза, —
их не забинтуешь,
они были красными до ожога,
хотелось их разодрать ногтями,
чтоб вынуть песок из-под век.
Он будет сыпаться долго-долго,
как в песочных часах.
В глазах его так много,
что можно,
высыпав весь,
сделать
песчаные берега для нескольких рек,
а всю воду выпить.

Или нет,
оставить немного на дне,

чтоб потом,
на обратном пути,
хоть горстку, глоточек...
Майор просыпается от ожога —
он прижался щекой к броне —
шестьдесят градусов Цельсия.
В небе несколько точек.
Это — орлы ушли вверх от жары.
В броневом зеленом стекле
через цепи низких барханов, переваливаясь, как
утки,
под абсолютно красным солнцем,
по абсолютно желтой земле,
абсолютно черные танки
идут уже третьи сутки.
Все цвета давно исчезли.
Остались только три:
желтое...
красное...
черное... —
цвет жары,
цвет крови,
цвет стали.

Майор вылезает на башню.
Он слышит, как там, внутри,
хрипло кашляют люди.
Они чертовски устали,
надо будет сесть самому,
а их
наверх, сюда.
Но сначала,
сначала,
чорт возьми, как красиво:
как это ни странно — с башни видна вода,
настоящая
вдруг, голубая,
а над ней — ивы.
Да, ивы,
они нагнулись, как дома, где-нибудь на Оке.
Но только они почему-то красного цвета.

И только что голубая,
вода в реке
начинает краснеть,
краснеть,
как лес на исходе лета.
— Эй, погодите!
Кто поджег воду?
А ивы гнутся так низко,
так плоско,
что вот они уже, как тростник,
как трава.
Заливные луга...
Но сейчас же острой полоской,
как косой, вдоль всего горизонта подрезает их
синева.
И луга уплывают в иссиня-черное небо,
а вместо них, прямо в землю сверху, втыкается лес,
острый, сосновый,
давно он в таком не был...

Сейчас бы туда,
под сосну,
в холод.
Скорей, пока не исчез!
Скорей, дайте двухверстку!
Я нанесу — тут лес и река,
тут лес и река,
а топографы и забыли!

— Что, товарищ майор?
— Нет, ничего.
Опять одни облака
желтой, как шар, туго скатанной пыли.
И еще молоко солончаковых озер,
соль,
соль,
соль,
остальное мираж,
ничего нету.
Он, как все, сначала не верил в эти цепи тающих
гор,

в этот пар над мнимой водой,
в эти речные расцветы.
Но всё, чего нехватало в этой пустыне,
сводя нас с ума,
катилось перед глазами:
вода,
и деревья,
деревья,
деревья,
с густыми,
с очень густыми,
с такими густыми, как хочется,
ветвями,
ветвями,
ветвями.

— Денисов, на башню!
— Да, товарищ майор.
— Смотри!
Видишь реку?
— Нет, не вижу.
И правда — пропала, одна просинь.
До Баин-Цагана осталось семьдесят три,
семьдесят два,
семьдесят,
шестьдесят восемь.

Кого-то хватил удар.
За бугром, в стороне
экипаж ему наспех роет могилу.
Земля пересохла,
она не желает,
по ней, как по броне,
с лязгом скользят лопаты.
Она мертвых берет через силу.
А живым —
им некогда,
некогда,
им надо в танк сесть,
молча сдернуть шлемы
и ехать.

Им нет времени на слова.
До Баин-Цагана осталось шестьдесят шесть,
шестьдесят пять,
шестьдесят три,
шестьдесят два.

ОБ УТРЕ ПЕРЕД БОЕМ

Новобранца приводят в роту отец и мать.
Они благовоспитанно улыбаются,
старые, грустные люди.
Не улыбнуться невежливо,
даже если заранее знать,
что он завтра будет зарыт в песок
с простреленной грудью.

Их сын
матрос с краболова,
большой,
молчаливый,
смотрит в лицо отцу
и не верит
его улыбающимся губам.

— Господин поручик, мы благословляем этот счастливый
день,
когда он переходит
от нас
к вам.

Поручик завтра рядом с их сыном,
не сгибаясь,
пойдет через море огня.
Он не будет беречь
ни себя,
ни его.
Но сейчас, по обычаю,
он говорит:
— Отныне я ему мать и отец.

Отныне он у меня
самый нежно хранимый сын в моей роте.
И тоже улыбается из приличия.
Все четверо улыбаются...
Где же эта улыбка?
Песок.

Новобранец, зарывшись, лежит в цепи.
Еще бы воды глоток.
Еще бы неба кусок.
Еще бы минуту не слышать, как танки ползут по степи.
Он держит в руке шест с привязанной миной.
Он держит в дрожащей руке шест из бамбука.

Бамбуковый шест
в двадцать локтей —
он ведь все-таки очень длинный,
не правда ли — двадцать локтей
и еще длинней
на целую руку.

Двадцать локтей и еще рука,
когда мина взорвется — это все-таки очень много.
Он храбр,
но все-таки исподтишка
он же может мечтать,
чтобы ранило только
в руку
или в ногу.

Фляга стоит рядом с ним на песке,
но он не пьет.
Галеты лежат в заплечном мешке,
но он не ест.
В заранее вытянутой
как можно дальше,
как можно дальше, руке,
окаменев от ужаса,
он держит бамбуковый шест.

Генерал, получивший поручика на русско-японской войне,
ровно в час прибудет со штабом
к вершине горы,
ему разбивают палатку на теневой стороне,
из двойного белого шелка,
непроницаемого для жары.

Господин поручик, тот самый, который отныне
новобранцу заменяет мать и отца,
опершись на меч,
стоит у палатки,
смотрит вдаль на пустыню
и отстраняет солнце веером от лица.
На белом рисовом веере
нарисован багровый круг,
написаны тушью солдатские изречения.
Когда ротный флажок падает из ослабевших рук,
веер
приобретает особенное значение.

В журнале, который читает поручик,
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик, с рукой на перевязи,
бежит впереди солдат,
как флаг,
поднимая веер,
белый
с багровым кругом.

Это было под Порт-Артуром, еще на прошлой войне,
отец господина поручика
получил за подвиг награду.
И поручик мечтает,
как сам он,
в красном, закатном огне
пойдет в атаку
с веером
впереди отряда.

Но новобранец, который лежит в цепи,
у него нет сорока поколений предков
с гербом
и двумя мечами...
Он не учился в кадетской школе,
ни в книгах,
ни здесь в степи
слава военной истории
не касалась его лучами.

Он слышит,
всем телом своим припав к земле,
как они идут!
Он слышит,
всем страхом своим,
что они близко,
что они тут!

А там,
сзади,
еще не верят.
Там знают старый устав:
танки идут с пехотой, а у русских нет пехоты,
она еле бредет, устав,
она еще в ста верстах,
она еще в ста верстах,
ей еще два перехода.

О ТОМ, КАК ТАНКИ ИДУТ В АТАКУ

А пехоты и правда не было.
Она утопала в песках,
шла, захлебываясь пылью,
едва дыша.
Летчик, посланный на разведку,
впереди нее,
в облаках
летел, как оторванная от тела душа.
Он знал,
за десять минут отсюда уже начинался бой,

Проклятье!
Он мог
эти сутки для них
сделать за десять минут.
Если б можно
их всех
на канатах
потянуть вверх, за собой,
поднять,
перенести
и поставить
за сто верст,
туда, где их ждут.

Он делал над их головами смертельные номера:
двойной разворот,
штопор,
двойной разворот.
И смертельно усталые люди снизу хрипло кричали
«ура».
Они понимали, что он им хочет помочь скоротать
переход.

— Что ж, придется одним.
Майор потушил папиросу о клепку брони.
Комиссар дострочил на планшете последнюю
строчку жене.
Начальник штаба молча кивнул:
— Что ж, одни, так одни,
и посмотрел на багровое солнце, плывшее
в стороне.

Все посмотрели на солнце.
Открыв верхние люки,
на всех,
сколько было,
танках,
сдвинув на лоб очки,
положив на поручни башен черные кожаные руки,
танкисты смотрели на солнце,
катившееся через пески.

Не всем им завтра встретить восход под этими
облаками.
Майор поднялся на башню:
— За Родину!
— В бой!

Сигналист крест-накрест взмахнул флажками,
и стальные люки с грохотом захлопнулись над
головой.
В броневом стекле вниз и вверх метались холмы.
Не было больше ни неба,
ни солнца,
только узкий кусок
земли, в которую надо стрелять,
только они
и мы.
Только мы
и они,
которых надо вдавить в этот песок.

— За Родину —
значит за наше право
раз и навсегда
быть равными перед жизнью и смертью,
если нужно в этих песках.
За мою мать,
которая никогда
не будет плакать, прося за сына,
у чужеземца в ногах.

— За Родину —
значит за наши русские в липах и тополях
города,
где ты бегал мальчишкой,
где, если ты стоишь того,
будет памятник твой.
За любимую женщину,
которая так горда,
что плюнет в лицо тебе, если ты трусом вернешься
домой.

Облитая бензином, кругом горела трава,
майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза черным
платком,
крикнул:
— Ура, за Сталина!
Стрелок не расслышал слова,
но по губам угадал
и, стреляя,
повторил их беззвучным ртом.
Снаряд ворвался в самую башню.
На мгновение глухота,
как будто страшно ударили в ухо.
Стараясь содрать тишину,
майор провел по лицу ладонью.
Ладонь была залита,
стрелок привалился к его плечу,
как будто клонило ко сну.

Майор рванул рукоять.
Пулемет замолк.
Замок
у орудья разодран в куски.
Но танк еще шел!
Танк еще шел!
Танк еще мог...
Еще сквозь пробоину плыло небо
и летели песни.

И вдруг застрял
и опять рванулся странным рывком.
— Денисов!
Водитель молчал.
— Денисов!
Молчал.
— Денис...
Майор качнулся вправо и влево в обнимку с
мертвым стрелком
и, оторвав ослепшие пальцы,
пролез вниз.
Водитель
сидел, как всегда — руки на рычагах.

Посмертным усильем воли он выжал передний ход.
Исполняя
его последнее
желание,
в мертвых зрачках
земля, как при жизни, еще летела вперед.

Похоронный марш,
слава,
вечная память —
— это все потом.
А пока на мокром от крови кресле надо сидеть
вдвоем.

Майор отодвинул мертвого,
повернул лицом к броне
и, дотянувшись до рычагов,
прижался к его спине...

Семь танков уже горело.
Справа,
слева
и сзади
были воткнуты в небо столбы дыма.
Но согласно приказа,
оставшиеся в живых
шли не глядя,
шли вперед,
шли мимо,
мимо праха товарищей,
мимо горящих могил,
недописанных писем,
недожитых жизней.

Перед смертью каждый их них попросил
только горсть воды себе
и победы в бою отчизне.

Есть у танкистов команда:
«Делай, как я!»
Смерть не может прервать ее исполненья.

Заместитель умершего
повторяет:
— Делай, как я!
Умирает,
и его заместитель
ведет батальон в наступление.
Экипаж твой убит.
Но еще далеко до отбоя,
и соседи не знают, что мертвым не прикажешь
стрелять.
Если ты повернешь,
вдруг они повернут за тобою,
вечность,
тридцать секунд
потеряв, чтоб понять.
Да!
Но ты еще жив.
И разодранный,
страшный,
молчащий,
танк майора прорвался к реке.
Да, пускай не стрелять,
только б в землю их вмять,
только б чаще
догонять их машины,
оставляя
за собой
скорлупу на песке.

Майор срывает флягу с ремня.
Воды больше нет,
Ну, и чорт с ней!
Он сжимает сожженный рот!
В эту минуту победы
больше нет
ни тебя,
ни меня,
ни жажды,
ни смерти,
ничего,
кроме — вперед.

О ВЕЧЕРЕ ПОСЛЕ БОЯ

Вечер.
Как далеко позади
это поле сраженья,
и слезы
упоенья победой,
и последнего залпа дымок,
перевернутых пушек колеса,
бегство
тех, кто успел,
и могилы
тех, кто не смог.

Обломок ротной трубы, не успевшей подать сигнал,
бутылки из-под сакэ,
солдатские ложки,
рядом с телом хозяина вдавленный в землю журнал,
где на залитой кровью обложке,
как ни странно,
попрежнему
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик с рукой на перевязи
бежит впереди солдат,
как флаг, поднимая веер,
белый,
с багровым кругом.

После боя курили, сняв шлемы.
Над головой
был монгольский,
зеленый
с красным
и черным
закат.

Был короткий отдых
и завтра опять бой,
как вчера

и позавчера,
и месяц назад.
Но они говорили совсем не об этом.
Чего ради
повторять
то, что известно,
то, что опять начнется завтра с утра.
Они говорили о доме,
о маме,
о какой-то Наде,
говорили так, как будто они оттуда только вчера.

Нет, неправда,
к смерти привыкнуть нельзя.
Но это еще не значит
видеть ее во сне по ночам,
думать о ней, открывая утром глаза,
говорить о ней, поднося котелок к губам.
И когда солдаты,
которым завтра в бой,
говорят не только о торжестве наших идей,
а еще грустя вспоминают о доме,
о матери,
о родных,
то это тревожит только маленьких чернильных
людей,
верящих громким словам,
но не верящих сердцу,
которого
нет у них самих.

Но командир роты,
который был с нами вчера в бою
и пойдет с нами завтра,
садится рядом
и, греясь одним огнем,
слушает нашу жизнь
и рассказывает свою,
и не боится вспомнить
милую женщину и опустевший дом.
Его не тревожит наша память о доме,

о любви,
об уюте комнат.
Если б не было этого,
где ж тогда наши сердца?
Из того,
кто ничего не любит
и ничего не помнит,
можно сделать самоубийцу,
но нельзя сделать бойца.
Я люблю землю в холодных рассветах,
в ночных огнях,
Все места, в которых я еще никогда не жил.
Если б мне оторвало ноги,
я бы на костылях,
все равно,
обошел бы все, что решил.

Я люблю славу,
которая по праву приходит к нам.
С ночами без сна,
с усталостью до глухоты.
Равнодушную к именам,
жестокую по временам,
но приходящую неизменно,
если сам не изменишь ты.

Я люблю женщину,
которая стоит того,
чтоб задыхаться от счастья,
когда она со мной,
чтоб задыхаться от горя,
когда она оставляет меня одного,
чтоб не знать
ни раньше,
ни позже,
никого, кроме нее одной.

Но в минуту, когда
между жизнью для них
и смертью за них
выбирать

приходится только нам самим,
то как ни бывает жаль умирать,
мы не уступаем этого права другим.

Если ты здоров и силен
и ты уступил это право, —
ты не сможешь ходить по земле,
которую защищал другой,
слава,
трясясь над которой ты струсил,
уже не слава,
женщину,
за которую ты не дрался,
ты не сможешь называть дорогой.

Мы всосали эту жестокую правду с молоком
матерей.
Мы все такие,
и этого у нас не отнять.
Мы умеем жертвовать жизнью
только одной —
своей.
Но зато эту одну трудно у нас отобрать.

Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг,
которые мы прочли,
всех истин, которые нам сказали,
мы вспоминаем не всю землю,
а только клочок земли,
не всех людей,
а женщину на вокзале.

Но за этим,
ширясь,
не зная преград,
встает Родина,
сложенная из этих клочков земли,
встает народ,
составленный
из друзей, которые провожали нас, солдат,
плывут облака, под которыми мы все росли.

А в бою есть только танки, идущие напролом.
Есть только красный флаг над желтым песком.
Что они не сметут,
то он подожжет.
Они дойдут до реки,
и пройдут эту реку вброд,
и пески за рекой,
и горы, которые за песками,
и еще пески,
и еще горы,
и море, которое за горами,
они обогнут всю землю железной дугой,
они обойдут все страны
одну
за другой,
они обойдут их все,
ломая
жалкую бестолочь пограничных столбов,
и, почернев в походах,
они выйдут в другое столетье
на площади
неизвестных нам городов,
только там, наконец, они встанут на отдых.

Будет солнечный день.
Незнакомый нам завтрашний век.
Монументом из бронзы
на площадях
они встанут рядами.
Верхний люк
приподнимет бронзовый человек,

сигналист просигналит бронзовыми флажками,
и на всех,
сколько будет их,
танках,
открыв верхние люки,
подчиняясь приказу бронзового флажка,
положив на поручни башен бронзовые руки,
они будут смотреть на солнце,
катящееся через века.

Революция!
Наши дела озарены твоим светом,
мы готовы пожертвовать для тебя
жизнью,
домом,
теплом.
Встать!
Слышите, встать!
Когда говорят об этом,
о том,
ради чего мы живем
и, если надо,
умрем!

1939—1941, Монголия — Москва


Пьесы

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сергей Луконин.
Аркадий Бурмин.
Варя — его сестра.
Петька — их двоюродный брат.
Анна Ивановна — тетка Бурмина.
Женя — практикантка в клинике Бурмина.
Володя Гуляев.
Алексей Петрович Васнецов.
Гулиашвили.
Севастьянов.
Сафонов — шофер такси.
Полина Францевна Сюлли — преподавательница иностранных языков в военной части.
Врач.
Командир роты.
Телефонист.
Связной.
Командиры, танкисты, санитары.

Действие происходит в годы 1932—1939.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

1932 год. Конец лета. Волжский город. Старая докторская квартира. Столовая. Двери во внутренние комнаты. Большое окно, за ним дерево. По нему видно, что это второй этаж. В глубине за круглым столом Анна Ивановна раскладывает пасьянс.

Анна Ивановна. Опять не сходится. К чему бы это? *(Задумывается.)*

В окне появляется голова Петьки.

Петька *(глядя вниз, тихо)*. Нет ее. Только тетка.

Анна Ивановна поворачивается, голова Петьки исчезает и немедленно появляется голова Сергея.

Сергей. Анна Ивановна!

Анна Ивановна *(вздрогнув)*. Да. Что вы? Вы с ума сошли! Вы упадете!

Сергей. Ничего. Я на пожарной лестнице. Анна Ивановна! Вари нет?

Анна Ивановна. Нет, нет еще. Слезьте, ради бога!

Сергей. Ну, я потом зайду.

Анна Ивановна. Только уж, пожалуйста, с парадного.

Сергей. Хорошо. *(Скрывается.)*

Анна Ивановна (*задумчиво*). Увезет он Варвару. И глазом моргнуть не успеем. (*Смотрит на карты.*) Оттого и не сходится.

Входят Аркадий и Женя.

Аркадий. Здравствуйте, тетушка!

Женя. Анна Ивановна, здравствуйте.

Аркадий. Где наша сестра?

Анна Ивановна. Не пришла еще.

Аркадий. Где наш уважаемый двоюродный брат?

Анна Ивановна. Петя опять пропал с утра. Он берет пример с тебя. Мне это надоело, три раза подогревала тебе обед.

Аркадий. Обед? Сейчас пообедаю. Хотя, погодите, я ведь, кажется, уже обедал.

Анна Ивановна. Где ты обедал?

Аркадий. Вы не помните, где я обедал, Женичка?

Женя. Вы, Аркадий Андреевич, обедали в клинике. И я с вами обедала.

Аркадий. Верно. И я еще пиво опрокинул. (*Анне Ивановне.*) Оказывается, я обедал в клинике. Будем чай пить. Видите, Женичка, я вас не только подбирать препараты сюда вожу, а еще и чай пить. С вареньем. Вы любите варенье?

Женя. Да. Вы меня уже раз сорок спрашивали об этом.

Аркадий. Сорок раз? Вот видите, какой я заботливый. Тетя, дайте ей побольше варенья. В детстве все любят варенье.

Анна Ивановна. А сегодня были пельмени.

Аркадий. Были пельмени? Ужасно! Но я был занят.

Анна Ивановна. Меня это не интересует.

Аркадий. Вот видите, Женичка, меня в этом доме в грош не ставят, — ни тетя, ни сестра, и вообще никто. А я доцент. Ведь я доцент, Женичка?

Женя. Анна Ивановна, Аркадий Андреевич, правда, был занят. У него сегодня была очень трудная операция.

Анна Ивановна (*значительно*). А у меня тут была Любовь Сергеевна.

Аркадий. Все равно, тетя, я не женюсь на вашей Любовь Сергеевне.

Анна Ивановна. И очень глупо сделаешь.

Аркадий. Может быть. Но жениться... Как по-вашему, Женичка, жениться мне на Любовь Сергеевне?

Женя. Не знаю.

Аркадий. Как мой практикант и друг вы могли бы в такую трудную минуту жизни дать мне совет.

Женя. Не знаю. Как хотите, Аркадий Андреевич.

Аркадий. Нет, не женюсь. Она слишком красивая. А я, видите, какой? Нос и вообще. Выйдет замуж, а потом скажет: будь благодарен. Не хочу я ей быть благодарным. Не женюсь. Верно, Женичка?

Женя. Верно. Нос.

Аркадий. Что — нос?

Женя. Неважный у вас нос. Длинный.

Аркадий. Ну вот видите, тетя. Все против моей женитьбы. Даже Женичка.

Анна Ивановна. Ну, конечно, тебе чей угодно совет дороже моего. Ты бы еще у Сергея Ильича спросил совета.

Аркадий. А что вы так сердито? Опять Сережка что-нибудь натворил?

Анна Ивановна. Натворил? Нет, он просто сел вчера против Любовь Сергеевны и спросил ее, зачем она сюда ходит, все равно он не разрешит тебе на ней жениться.

Аркадий. Так и сказал?

Анна Ивановна. Так и сказал.

Аркадий. Молодец! Вот что значит — друг!

Анна Ивановна. Я боюсь, что скоро этот твой друг увезет из этого дома твою сестру.

Аркадий. А что, разве есть какие-нибудь тревожные симптомы?

Анна Ивановна. Не знаю, может быть, у вас так принято. Сегодня, чтобы спросить, дома ли она, он забрался в окно. Теперь, чтобы сделать предложение, он, должно быть, влезет через трубу, а чтобы жениться, он просто разберет стену и увезет Варвару. Бог знает что!

Аркадий. А вы не делайте вид, что возмущены. В глубине души вам же все это нравится.

Анна Ивановна. Мне?

Аркадий. Вам. Вас же самих в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, когда вы были актрисой, гусар через окно похитил. Не спорьте, сами рассказывали. Видите, я даже год запомнил. И Сережка вам нравится. Он вам напоминает того гусара. Ну вот, вы даже покраснели.

Анна Ивановна. Влезать в окно только для того, чтобы спросить, дома ли? Нет, я тревожусь за Варю.

Варя *(вбегая)*. Что тут говорят о Варе? Наверно, опять говорят, что она душечка, да?

Аркадий. Нет.

Варя. А что еще можно сказать о Варе?

Аркадий. Очень многое. Во-первых, что она ленивая девчонка и сегодня опять проспала и, наверно, опоздала в свой театральный техникум.

Варя. Да, но она так бежала.

Анна Ивановна. Во-первых, что она сегодня опять не поздоровалась со своей теткой.

Варя. Я утром поздоровалась.

Анна Ивановна. Не заметила.

Варя. Когда вы еще спали.

Анна Ивановна. Когда я спала?

Варя. Нет, когда я спала... То есть... Ну, в общем запуталась. *(С реверансом.)* Здравствуйте, тетя! Ну, в чем я еще виновата?

Женя. Я видела, как ты сегодня опять вела за собой по улице сразу четверых молодых людей. Один нес твой портфель, другой косынку, третий берет, четвертый сумочку.

Анна Ивановна. Сразу четверо? Нехорошо!

Варя. Я не виновата, они сами шли. Я предпочла бы итти с одним.

Аркадий. А с кем, позвольте спросить?

Варя. С принцем. Как все хорошие девочки, я придумала себе принца. И очень люблю его.

Аркадий. Между прочим, этот твой принц сегодня влез в окно и спрашивал, дома ли ты.

Варя. Правда? Молодец! *(Спохватившись.)* Постойте, а о ком вы говорите, кто влез в окно?

Аркадий. Сережка.

Варя. А... А я думала — принц. *(Пауза.)* Тетя, а я вам что достала!

Анна Ивановна. Что?

Варя. Дюма. «Еще десять лет спустя, или Виконт де Бражелон». Здорово, а?

Анна Ивановна *(с деланным равнодушием)*. Спасибо.

Варя. Тетя, не делайте при гостях вид, что вы больше любите Льва Толстого. Все же знают, Дюма, шпаги, плащи — это же ваша стихия.

Анна Ивановна. Вечно ты, Варвара... Где книга?

Варя. Нет, я сначала посажу вас в кресло, дам вам пенсне, и тогда... «Еще десять лет спустя или Виконт де Бражелон». *(Делает воображаемый выпад и, взяв Анну Ивановну под руку, уводит ее в другую комнату. Через секунду возвращается.)* Вот что значит уметь обращаться с детьми. Теперь я могу сообщить вам потрясающую новость.

Аркадий. Непременно потрясающую?

Варя. Непременно. Иван Григорьевич переходит в Москву в Малый театр, и знаешь, что он обещал? Он обещал зимой или весной меня и Зойку Петрову, как самых способных, перевести туда в театральное училище. Это будет великолепно. Варя соберет весь свой роскошный гардероб, и ее длинный брат понесет ее большой чемодан к московскому вокзалу. А через десять лет по городу развесят афиши — гастроли В. Бурминой или даже В. А. Бурминой. И все будут спрашивать, какая же она из себя, эта В. А. Бурмина, и вдруг увидят Варю...

Аркадий. Ты так радуешься, как будто уезжаешь завтра, а не через полгода.

Варя *(задумчиво)*. Когда мне чего-нибудь очень хочется, мне всегда кажется, что это будет завтра. *(Прохаживается.)* Женька! У меня тут с Аркадием мужской разговор будет.

Женя. Хорошо, я сейчас уйду.

Аркадий. Женичка, вы пока достаньте препараты. Я сейчас тоже приду.

Женя выходит в кабинет.

Ну, что за страшную тайну ты имеешь мне сообщить?

Варя (*обнимая его*). Аркаша, я его так люблю. Тебе больно, да?

Аркадий (*с трудом поводя шеей*). Нет, ничего. Если я выживу, то потом расскажу ему, как ты его любишь.

Варя. А все-таки мне хочется ехать учиться в Москву, в театр, даже если он не поедет. Значит, я его не люблю?

Аркадий. Нет. Это просто значит, что ты становишься большой, Варька! Если веришь в себя, надо ехать в Москву и ни о чем не думать и не жалеть.

Варя. Мне очень хочется объяснить это Сереже, но я боюсь, что вдруг он не поймет и обидится.

Аркадий. Поймет. И потом, если он тебя и правда любит, ты можешь уезжать хоть за тридевять земель, расставаться хоть на пять лет, он все равно до тебя доберется.

Варя. Вечно ты его хвалишь. Если бы мы жили на Востоке, ты бы уже давно ему меня в жены продал!

Аркадий. Конечно. Я и так удивляюсь: что он тебя не увозит? Нанял бы карету, а ты бы связала простыни и к нему вниз через окно. И венчаться. А я бы как брат в погоню. Но только так, для виду, догонять бы не стал: шут с вами, венчайтесь. (*Уходит в кабинет.*)

Варя одна. Стук в дверь. Входит Володя Гуляев.

Варя. А, Володенька!

Володя. Здравствуй.

Варя. Что ты? Ты же собирался зайти завтра?

Володя. Да, но, видишь ли.. . Я хотел с тобой поговорить.

Варя. О чем?

Володя. О Сергее. Только ты можешь на него повлиять. Он сегодня опять чорт знает что натворил в институте.

Варя. Опять?

Володя. Да. И на этот раз его собираются выгнать.

Варя. Что же он сделал?

Володя. Ну, он, как всегда, конечно, считает, что ничего особенного.

Варя. Ну, а все-таки?

Володя. Его послали для практики читать литературу в девятую группу. Ну, он один час почитал им о Достоевском, а в начале второго вдруг сказал: «Знаете что, ребята? Достоевский, конечно, гениальный писатель, но лично я его не люблю. Поговорили о нем — и хватит. Пойдемте лучше до перемены в волейбол погоняем. Только никому ни звука!»

Варя. Ну?

Володя. Ну и гоняли до перемены. Потом, конечно, все узнали. Ты скажи ему, а то ведь этому просто конца нет. Его выгонят, и все.

Варя. Да, я скажу ему. Ну, что еще?

Пауза.

Володя. Я шел мимо кино. Там идет новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Я взял билеты.

Варя. Что-то не хочется, Володенька...

Володя. Почему?

Стук в дверь. Входит Сергей.

Сергей *(подойдя к Варе)*. Здравствуй, Варя. *(Смотрит на Володю, потом медленно подходит к нему и говорит что-то на ухо. Володя отрицательно качает головой.)*

Варя. Что ты ему сказал?

Сергей. Так, ничего, пустяки. *(Опять что-то шепчет на ухо Володе. Тот, покраснев, снова отрицательно качает головой.)*

Варя. Сейчас же скажи, что ты там шепчешь?

Сергей. Я хотел ему тихо, а он... В общем я ему говорю, чтоб он шел. Чего он тут сидит?

Варя. С ума ты сошел, уходи сейчас же!

Сергей. Видишь, говорят тебе — уходи, ну, и уходи!

Варя. Я не ему.

Сергей. Ему, ему. Ну, что же ты, иди, иди, потом объяснимся. *(Решительно выпроводив Володю за дверь, возвращается.)*

Варя. Сейчас же убирайся вон, я не позволю, чтоб у меня дома...

Сергей. Чего ты не позволишь? Ты что, хочешь, чтоб он тут сидел? Так я его сейчас побегу, верну. Только, правда, хочешь?

Варя *(нерешительно)*. Нет...

Сергей. Ну, так в чем же дело? Я его уже три раза предупреждал, чтоб не ходил. Нечего ему тут делать. Что он в самом деле ходит?

Варя. Дружит со мной, вот и ходит.

Сергей. Дружит? Это он только так из трусости говорит. А на самом деле ухаживает за тобой. Да, да.

Варя. Но ведь ты тоже ходишь?

Сергей. Я? Я — другое дело. Я так прямо и говорю, что ухаживаю, а потом возьму и женюсь.

Варя *(растерянно)*. То есть как это? Возьмешь и женишься? А вот возьму и не пойду за тебя замуж.

Сергей. А я подожду.

Варя. А я и потом все равно не выйду.

Сергей. А я еще подожду.

Варя. Никогда не выйду.

Сергей. Выйдешь. *(Пауза.)* Я тебя, знаешь, как люблю? Я для тебя что угодно могу сделать. Даже глупость. Хочешь, сейчас со второго этажа прыгну?

Варя. Нет, не хочу.

Сергей. Жаль, а то бы прыгнул.

Варя. Вечный ты хвастун. Женюсь, прыгну!

Сергей. Хвастун? Ну, что ж, пожалуй, верно. *(Подходит к окну.)* До скорого свидания. *(Помахав рукой, прыгает.)*

Варя *(подбегая к окну)*. Сумасшедший! *(Смотрит в окно, потом быстро идет к двери. Ей навстречу входит Сергей.)* Сейчас же убирайся вон отсюда. Сумасшедший. *(Пауза.)* Ты не ушибся?

Сергей. Нет. Во-первых, не так уж высоко. А во-вторых, две недели предварительной тренировки тоже что-нибудь да значат. *(Пауза.)* Ничего, не бойся, каждый день не буду прыгать. Скоро уеду.

В а р я. Куда уедешь?

С е р г е й. Куда? Ну, ладно, семь бед — один ответ. На, читай. *(Протягивает ей бумажку.)*

В а р я *(читая)*. Танковая школа. Омск... Ой, как далеко. Сережа, зачем, когда ты это решил?

С е р г е й. Давно, Варенька, еще месяц назад.

В а р я. И все время молчал!

С е р г е й. Так я же не знал, примут ли? Опять бы вы все кричали, что я хвастаюсь.

В а р я. Но тебе еще не скоро ехать, да?

С е р г е й. Завтра.

В а р я. А как же я? *(Спохватившись.)* Так вдруг и так далеко... Ты же говорил... Как же ты можешь...

С е р г е й. Могу, Варенька. И уехать могу и потом приехать за тобой, увезти тебя к себе. Все могу.

В а р я. Сережа...

С е р г е й. Что?

В а р я. Останься.

С е р г е й. Нет. Поеду. Я давно этого хочу.

В а р я. Мне трудно здесь будет без тебя.

С е р г е й. Хорошо.

В а р я. Что ж хорошего?

С е р г е й. Хорошо, что трудно, — значит, любишь меня.

В а р я. Уезжай, куда хочешь. Мне все равно. Я тоже уеду.

С е р г е й. Куда?

В а р я. В Москву. В театр... учиться. Уеду и думать о тебе забуду!

С е р г е й. Значит, в Москву? Ну, что ж, кончу школу и приеду за тобой в Москву.

В а р я. Никуда ты не приедешь.

С е р г е й. Приеду. Приеду и увезу тебя.

В а р я. Сережа, уйди, скорей уйди, а то я в тебя чем-нибудь брошу.

С е р г е й. Бросай, все равно приеду и увезу.

В а р я. Сейчас же уходи, слышишь? Или ты завтра никуда не едешь, или сейчас же отсюда уходишь.

С е р г е й. Все наоборот. Завтра я уеду, а сейчас не уйду.

В а р я. Ну, так я уйду. *(Выбегает в наружную дверь.)*

С е р г е й (*кричит ей вдогонку*). Варя! (*Садится в кресло.*)

П е т ь к а (*вбегая*). Что с Варькой? Она, как ненормальная, прямо по перилам, чуть меня не сшибла.

С е р г е й (*после паузы*). Где у вас бумага и конверты? Быстро.

П е т ь к а, порывшись на этажерке, подает бумагу и конверт. С е р г е й, присев к столу, пишет.

П е т ь к а. Что, поссорились?

С е р г е й кивает.

А ты когда едешь, завтра?

С е р г е й кивает.

Здорово!

С е р г е й. Как ты думаешь, придет она меня проводить, а?

П е т ь к а. Придет! Покажи бумажку.

С е р г е й протягивает бумажку.

П е т ь к а. Здорово. Печать со звездой. Это всегда так, печать со звездой?

С е р г е й. Да.

П е т ь к а. А на сколько едешь?

С е р г е й. На два года.

П е т ь к а. А потом?

С е р г е й. Командиром буду.

П е т ь к а. А чего командиром?

С е р г е й. Бригады.

П е т ь к а. Сразу бригады?

С е р г е й. Ну, не сразу. Но скоро.

П е т ь к а. А как же Варя?

С е р г е й. Кончу школу, приеду и женюсь.

П е т ь к а. А она вдруг возьмет и тут за другого выйдет?

С е р г е й. Не выйдет.

П е т ь к а. А если тут к ней опять Володька Гуляев ходить будет, мы с ребятами ему ноги переломаем. Ты только слово скажи.

С е р г е й. Не надо. Сама прогонит.

П е т ь к а. А если не прогонит, мы переломаем, ладно?

С е р г е й *(улыбнувшись).* Ладно. Вот что. *(Вкладывает листок в конверт.)* Если завтра я Варю не увижу, в общем, если она не придет меня проводить, ты ей это послезавтра отдай. Понял?

П е т ь к а. Понял. А ты запечатать-то забыл?

С е р г е й. Это принято так, не запечатывать. Правило хорошего тона. Значит, доверяешь тому, кто письмо передает, — и не запечатано, а все равно не прочтет. А если прочтешь — убью, понял?

П е т ь к а. Понял. *(Пауза.)* А ты еще не уходишь?

С е р г е й. Нет еще. А что?

П е т ь к а. Так. Просто спросил.

С е р г е й. Насколько я понимаю, господина дипломата интересует мой велосипед. Он стоит в передней. В вашем распоряжении есть десять минут.

П е т ь к а. Я только три круга по двору. *(Исчезает. Сергей, оставшись один, сидит задумчиво, потом подходит к двери кабинета, стучит и приоткрывает дверь.)*

С е р г е й. Аркаша! На минуту.

А р к а д и й *(входя).* Ну, что слышно?

С е р г е й. Получил. Завтра еду.

А р к а д и й. Значит, это уже не тайна. Целый месяц хранил ее честно, и притом бесплатно. Цени меня!

С е р г е й. Ценю. Хотя, судя по сегодняшнему, кажется, лучше было сказать ей это заранее. Она тут мне такое устроила. . .

А р к а д и й. Кстати, где она?

С е р г е й. Убежала.

А р к а д и й. Ей-богу, хоть бы увез ты ее с собой. И тебе хорошо, и мне легче.

С е р г е й. Она мне тут наговорила. . . Ничего, Аркаша, не горюй, еще увезу когда-нибудь. *(Пауза.)* Ну, вот я и уезжаю. Да, все хорошо. Только время, время.

А р к а д и й. Что время?

С е р г е й. Уходит. Двадцать два года — не шутка! «Товарищ Луконин, в порядке комсомольской дисциплины. Стране нужны педагоги!» Дисциплина дисциплиной, а в институт пошел все-таки зря. Не повезло. Два-

дцать два, а к тридцати человек — или уже человек, или нет. Одно из двух. Суворов, знаешь, к тридцати годам кем был? Хотя нет, Суворов как раз нет, он к тридцати годам даже полковником не был. Но это неважно, он не был, а я буду.

Аркадий. Опять хвастаешься?

Сергей. Нет. Просто верю. Знаешь, Аркаша, когда на параде знамена проносят, красные, обожженные, пулями простреленные, у меня слезы к горлу подступают. Мне тогда кажется, что за этими знаменами можно всю землю пройти и нигде не остановиться. (*Пауза.*) Говорят, многие мечтают на родине умереть, а я нет. Я, если придется, хотел бы на чужой земле, чтобы люди на своем языке — на китайском, на французском, испанском, на каком там будет — сказали: «Вот русский парень, он умер за нашу свободу». И спели бы не похоронный марш, а «Интернационал». Он на всех языках одинаково поется. (*Пауза.*) Ты только не смейся, Аркаша. Я понимаю, конечно, смешно. Еще формы не надел, а уже и полководец, и если погибну...

Аркадий. Я не смеюсь. Я верю. Только боюсь, что трудно тебе будет в армии.

Сергей. Почему?

Аркадий. Так. Школьные воспоминания. Нелепый ты человек. По старой привычке натворишь там бог знает чего, а ведь в армии этого не прощают.

Сергей. В армии... Нет, в армии я... в общем увидишь!

Аркадий. Ну, что же, тем лучше. Когда поезд, вечером?

Сергей. Вечером. Придешь?

Аркадий. Конечно. (*Пауза.*) Придем, придем, помирю вас еще раз, так и быть.

Сергей. Думаешь, придет?

Аркадий. Думаю? Я все-таки, как-никак, старший брат.

Варя (*входя*). Ты еще здесь? Уходи сейчас же, или я опять уйду.

Сергей (*молча поглядев на нее*). До свидания, Аркаша. Значит, завтра. (*Остановившись в дверях,*

Варе.) Завтра проводить придешь, два года ждать будешь, а потом замуж за меня выйдешь, а иначе...

Варя *(резко)*. Что иначе?

Сергей. А иначе... Очень плохо мне будет жить, Варя. Не делай иначе. *(Быстро выходит.)*

КАРТИНА ВТОРАЯ

Через два года. Осенние маневры в танковой школе. Задняя стена избы. Палисадник, завалинка. Начальник танковой школы Васнецов, командир роты и курсант Гулиашвили, все в кожанках, в походном снаряжении.

Васнецов. Значит, вы приказали искать брод, а Луконин повел машину напрямик, через мостик, в результате чего произошла авария?

Командир. Да, я приказал искать брод, потому что считаю, товарищ начальник школы, что такие временные мостики непригодны для прохода танков.

Васнецов. Ну, я этого, положим, не считаю. Но так или иначе, вы ясно и четко приказали искать брод?

Командир. Да, точно.

Васнецов. Кто видел, как это произошло?

Командир. Вот, вызван курсант Гулиашвили.

Васнецов. А Луконина вызвали?

Командир. Да, сейчас явится.

Васнецов. Ну, расскажите, Гулиашвили. Вы видели?

Гулиашвили. Да, товарищ начальник школы. Луконин повел головной танк через мостик у мельницы. Мост обрушился. Глубина два с половиной метра. Луконин и башенный стрелок выскочили, а механик-водитель... Я считаю, товарищ начальник школы, что если бы не Луконин, то водитель погиб бы.

Командир. Если бы не Луконин, то водитель вообще бы не попал в воду.

Васнецов. Подождите. *(Гулиашвили.)* Почему водитель мог погибнуть?

Гулиашвили. Он внизу захлебнулся. Луконин три раза нырял с опасностью для жизни. Открыл люк и вытащил водителя. Я думаю, товарищ начальник школы, что это подвиг, если человек может такое сде-

лать... Я очень прошу, товарищ начальник школы, чтобы вы учли это...

Васнецов. Товарищ Гулиашвили...

Гулиашвили. Я не могу не просить за друга... Вы извините, товарищ начальник школы.

Васнецов. Товарищ Гулиашвили! Мы с вами не в семилетке, а в военной школе. Я вас вызвал не для того, чтобы вы друзей выгораживали. Понятно вам это?

Гулиашвили. Понятно, товарищ начальник школы.

Васнецов. Что вы еще можете рассказать?

Гулиашвили. Ничего, товарищ начальник школы, я только хотел вам сказать, что такой человек, который с риском для жизни...

Васнецов (*безнадежно махнув рукой, прерывает его*). Вы свободны. Можете итти, отдыхайте.

Гулиашвили выходит и, встретившись по дороге с Сергеем, делает ему ободряющий жест.

Сергей (*в кожанке, в туго нахлобученном шлеме*). Явился по вашему приказанию, товарищ начальник школы.

Васнецов. Вы получили от командира роты приказ искать брод?

Сергей. Да, товарищ начальник школы.

Васнецов. Вы его выполнили?

Сергей. Нет, товарищ начальник школы.

Васнецов. А вы знаете, что маневры — это почти война?

Сергей. Да, знаю.

Васнецов. За невыполнение приказа двадцать суток ареста. В шесть здесь будет адъютант, явитесь к нему, скажете, что я приказал отправить вас на машине в город на гауптвахту. Повторите.

Сергей. Явиться к адъютанту, передать, что вы приказали отправить меня на гауптвахту. Разрешите итти?

Васнецов. Нет. Теперь объясните, почему вы не выполнили приказа?

Сергей. Я думал, товарищ начальник школы, что маневры — это почти война, а если бы я искал брод, как

приказал товарищ командир, то я бы не успел выполнить задачу. Я считаю, что легкие танки могут на большой скорости проскакивать такие мосты.

Васнецов. Может быть, но раньше надо было проверить, попробовать.

Сергей. Я много раз просил об этом товарища командира, но он не разрешал. *(Пошатнувшись.)* Я решил на свой страх.

Васнецов. Что с вами?

Сергей. Ничего, товарищ начальник школы. Волнуюсь. Не рассчитал, не выдержал мост.

Васнецов *(командиру)*. Пойдите скажите, чтобы мне подали машину, — поеду посмотрю.

Командир. Есть. *(Уходит.)*

Васнецов. Ну, что еще можете сказать?

Сергей. Все, товарищ начальник школы.

Васнецов. А почему вы не говорите, как спасли водителя?

Сергей. Я считаю, что это не относится к делу.

Васнецов. Ну, а как все-таки вы его спасали?

Сергей. Сказать по правде, здорово спасал.

Васнецов. Что вы хвастаетесь?

Сергей. Я не хвастаюсь, товарищ начальник школы. Так и было. Я первый пловец по всей Волге, если бы не это, никогда бы его не спас. Очень трудно. Люк тяжелый. Три раза нырял. *(Опять пошатнувшись.)* Могу итти?

Пауза.

Васнецов. Слушайте, Луконин, вы все-таки понимаете, что вы наделали?

Сергей. Понимаю.

Васнецов. Нет, не понимаете. Если вам показалось, что ваш прямой начальник поступает неверно, боится выжать из танка все, что из него можно выжать, вы должны были подать рапорт мне, и я бы с вами сам попробовал, могут проходить наши танки по таким мостам или не могут.

Сергей. Могут.

Васнецов. Я тоже думаю, что если все рассчитать, то могут. Но это вас никак не оправдывает.

Сергей. А я не оправдываюсь.

Васнецов. А теперь, что я должен: под суд вас отдать, поставить вопрос о вашем пребывании в партии? Вы вели себя, как мальчишка. Угробили машину. Чуть не убили людей. Новаторство в нашем деле связано с кровью, зарубите себе это на носу. Тут не место для мальчишеских выходок.

Сергей *(глухо)*. Товарищ начальник школы!

Васнецов. Ну?

Сергей. Я вас очень прошу... Я даже не могу подумать о том, чтобы... Армия для меня это все. Вся жизнь. Я знаю, я виноват во всем, но если мне будет позволено, я докажу, что это случайность, сто раз рассчитаю и докажу, что танки могут все. У нас даже еще не понимают, что они могут делать! Все. Я не за себя прошу, это очень важно. Потом делайте со мной что хотите, хоть под суд. Только позвольте мне доказать.

Васнецов *(задумчиво)*. Не знаю, что с вами делать.

Командир *(входя)*. Машина готова.

Васнецов. Сейчас. Идите.

Командир уходит.

И это перед самым выпуском из школы... Мне будет очень жаль, если придется вас отчислить. *(Встает.)* Но боюсь, что все-таки придется... *(Уходит.)*

Сергей в изнеможении опускается на завалинку. Стаскивает шлем и сжимает руками голову. Голова у него забинтована, сквозь бинт проступают пятна крови. Тихо входит Гулиашвили.

Гулиашвили. Что, дорогой, плохо?

Молчание.

Что с тобой, дорогой?

Сергей *(с трудом подняв голову)*. Это ничего, пройдет. А вот все остальное плохо, Вано, очень плохо.

Гулиашвили. Что, все объяснил начальнику?

Сергей. Все. Почти все. Ты понимаешь, какая глупость. Ведь прошел бы танк. Он не потому рухнул, что мост не выдержал, а потому, что застрял посреди моста, бензинопровод засорился. Чортов сын водитель,

три раза его спрашивал: «Проверил?» — «Проверил». Убить его мало за это.

Г у л и а ш в и л и. Так что ты, объяснил начальнику или нет?

С е р г е й. Нет.

Г у л и а ш в и л и. Водителя пожалел?

С е р г е й. Пожалел? Я жалею, что из воды его вытащил. Что его жалеть... Я ему такое устрою, когда с гауптвахты выйду. А начальнику — что ж говорить? «Я не виноват — водитель виноват!» А я где был? Где я был, когда сто раз самому надо было проверить? *(Пауза.)* А танки все равно еще будут через такие мосты перелетать и через рвы будут прыгать. Все будут делать. Только вот я этого, пожалуй, не увижу.

Г у л и а ш в и л и. Почему, дорогой?

С е р г е й. А потому, что выгонят меня из армии, вот почему.

Молчание.

Тридцать три несчастья у меня сегодня, Вано.

Г у л и а ш в и л и. Еще несчастье?

С е р г е й *(протягивает письмо)*. На вот, почитай.

Г у л и а ш в и л и. От нее?

С е р г е й. От нее.

Молчание.

Г у л и а ш в и л и *(протягивая письмо обратно)*. Да, скучное письмо. Полную отставку тебе дают, дорогой...

С е р г е й. Да. *(Задумчиво.)* Да... *(Спохватившись.)* Почему отставку, кто тебе сказал?

Г у л и а ш в и л и. Русским языком написано.

С е р г е й. Мало ли, что написано. Ясно, соскучилась, два года не видала. Письма редко пишу — вот и соскучилась. А я часто писать не люблю. Часто писать — скоро забудет.

Г у л и а ш в и л и. Ну, а редко писать — тоже забудет.

С е р г е й. Не забудет.

Г у л и а ш в и л и. Так вот же, в письме...

С е р г е й. А я тебе говорю, мне все равно, что в письме. Пусть что хочет пишет, все равно приеду в отпуск в Москву и увезу ее.

Гулиашвили. Хорошо. Вместе поедем, увозить будем. Возьмешь с собой?

Сергей. Возьму. *(Пауза.)* Эх, Вано, чего бы я не дал, чтобы сейчас в Москву попасть хоть на день, хоть бы одним глазком посмотреть, как она там. Театральное училище... Знаешь, она красивая. Наверно, ходят там всякие кругом. Дай письмо *(проглядывает письмо)*. Ничего особенного. Ну, скучает. Ну, письмо — как письмо. Обыкновенное письмо.

Молчание.

(Смотрит на часы.) Сейчас к адъютанту надо итти.

Гулиашвили. Зачем?

Сергей. На губу садиться. Двадцать суток. Плохи мои дела, Вано. Как думаешь, отчислят меня из школы, а?

Гулиашвили. Что ты, дорогой!

Сергей. Да брось ты утешать меня! Правду говори, как думаешь?

Гулиашвили. Правду? Не знаю, дорогой, боюсь, что отчислят.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Осень 1936 года. Военный городок где-то в Средней Азии. Квартира Сергея. Двери прямо в переднюю и на веранду. За столом Сергей в форме старшего лейтенанта и Полина Францевна Сюлли. На стене большая карта Европы.

Сергей *(читает)*. Ces plaines désertiques ne permettent pas l'avancement rapide des trouppes. Vu d'absence complète d'arbres naturels celles-ci sont toujours à la merci d'une attaque imprévue de l'adversaire. *(Захлопывает книгу.)* На сегодня довольно. Хорошо?

Полина Францевна. Хорошо.

Сергей. Как ни говорите, Полина Францевна, а я, по-моему, делаю огромные успехи.

Полина Францевна. Вы бы подождали, пока я это скажу.

Сергей. Нет, правда, я, ей-богу, молодец.

Полина Францевна. Ну, если считать, что это первый урок после вашего отпуска...

Сергей. Вы только подумайте, какое прилежание! Человек два года не был в отпуску — и что он берет с собой в московский поезд?! Он берет с собой учебник французского языка и, вместо того, чтобы спокойно пить пиво в вагон-ресторане, он с тоской смотрит в окно и зубрит неправильные глаголы: je fais, tu fais, il fais, nous faisons, vous faites, ils font.

Полина Францевна. Меня очень растрогало, когда вы захотели брать уроки французского. Все занимаются английским, говорят: нужнее.

Сергей. И правильно говорят, я тоже занимаюсь английским.

Полина Францевна. Да, но вы и французским.

Сергей. А мне все нужно, Полина Францевна. Иностранные языки — все еще может случиться, они еще могут перестать быть иностранными. Вы знаете, когда я смотрю на карту, мне почему-то нравится только та часть ее, которая покрыта красным цветом. *(Пауза.)* Вы не скучаете по родине, Полина Францевна?

Полина Францевна. Скучаю? Нет, я ее вспоминаю. Далеко. Очень далеко. Я ведь родилась в Тулузе.

Сергей. Тулуза, — ну, что ж, это хороший город.

Полина Францевна. Да, узкие улочки, старые дома с черепичными кровлями.

Сергей. Металлургические заводы, железнодорожный узел. Что еще? Да, аэродром Транс-Европейской компании.

Полина Францевна. Аэродром?

Сергей. Когда вы там жили, его еще не было. Он с тридцатого года.

Полина Францевна. Вы все знаете!

Сергей. География входит в число предметов, которыми я интересуюсь. Впрочем, это не тайна, все это можно прочесть в любом справочнике. А вот какие там дома... Вы говорите, с черепичными кровлями?

Полина Францевна. Да.

Сергей. Красивые?

Полина Францевна. Да, очень.

Сергей. Если не ошибаюсь, это недалеко от испанской границы?

Полина Францевна. Да, близко.

Сергей. А вы никогда не бывали в Испании?

Полина Францевна. Нет. Только много раз хотела. Но у меня ни разу не было достаточно денег. Говорят, Мадрид очень красив...

Сергей. Был. Сейчас там бои.

Полина Францевна. Да, я сегодня опять читала в «Правде». Его бомбят почти каждый день. Опять война. Какой это ужас. Хорошо хоть, что она достаточно далеко от нас.

Сергей. Война никогда не бывает достаточно далеко от нас.

Полина Францевна. Что вы этим хотите сказать?

Сергей. Пока ничего. *(Пауза.)* А все-таки тоскуете по родным местам?

Полина Францевна. Не знаю. Это было так давно, слишком давно, Сергей Ильич. Если бы мне тогда было хорошо, я бы не уехала в чужую страну гуверванткой. Боже мой, сколько богатых и холодных домов, сколько чужих и скучных людей. А если люди были немножко лучше, то они старались для меня это сделать немножко похожим на настоящий дом, — и тогда бывало еще хуже...

Сергей. А сейчас?

Полина Францевна. Сейчас? Сейчас нет. В этом военном городке никто не старается сделать вид, что здесь мой дом. И, может быть, поэтому я сама все больше чувствую, что я дома. Мне приятно, что меня вызывает полковник и говорит: «Товарищ Сюлли, доложите командованию о вашем плане командирской учебы». И я докладываю ему о своем плане командирской учебы. А вы... только не сердитесь, Сергей Ильич...

Сергей. Что мы?

Полина Францевна. Вы все очень хорошие, хотя у всех у вас ужасное произношение, и я не знаю, может быть, там где-нибудь на маневрах вы суровые командиры, но у меня на уроках вы, наверно, вспоми-

наете школу и ведете себя, как дети. «Полина Францевна, а можно — мы лучше будем десятый параграф, там с картинками, интересней». Как дети. Было даже несколько случаев, когда мне поверяли свои сердечные тайны.

Сергей. Вот как?

L'absence est à l'amour
Ce qu'au feu le vent:
Il éteint le petit
Et allume le grand.

Полина Францевна. Но, по-моему, этих слов любви не было ни в одном из параграфов, которые я вам задавала.

Сергей. Да, я выучил их по личной инициативе. Здорово выучил, да?

Полина Францевна. Да, но вот только произношение...

Сергей. Вот и она тоже так сказала: «Да, но вот только произношение...»

Полина Францевна. Она? Кто она?

Сергей. Жена моя. *(Спохватывается.)* Умоляю, не выдавайте меня. Молчите! Друзья никогда мне не простят, если узнают.

Полина Францевна. Что случилось, Сергей Ильич?

Сергей. Вы, наверное, слышали, что я поехал в Москву за невестой?

Полина Францевна. Да. Но я боялась спросить, вдруг...

Сергей. Никаких вдруг. Все в порядке. Я на ней женился.

Полина Францевна. Ну, что ж, поздравляю вас, прекрасно!

Сергей. Конечно, прекрасно! Но только... я обещал друзьям, что устрою тут роскошную свадьбу, я знаю, они уже приготовили подарки, и вдруг... Но что я мог сделать! У нее тоже свои друзья в Москве и тоже упрямый характер, и мы сыграли эту роскошную свадьбу не здесь, а там.

Полина Францевна. Да, здесь будут огорчены. Капитан Севастьянов сказал мне по секрету, что он специально настрелял сорок перепелов и отправил их на холодильник.

Сергей. Вот видите. Они просто убьют меня. Вы должны хранить полное молчание.

Полина Францевна. Хорошо, но чем это может помочь вам?

Сергей. Как чем? Они же тогда ничего не узнают. Я согласился играть свадьбу в Москве только с тем условием, что мы и здесь тоже будем играть свадьбу. Это даже интересно — две свадьбы. Не со всяким бывает. Но только полная тайна. Слышите, Полина Францевна?

Полина Францевна. Хорошо. Тайна. А когда приезжает ваша жена?

Сергей. Завтра. Если бы вы знали, что это за девушка!

Полина Францевна. Очень хорошая?

Сергей. Хорошая?! Это мало сказать! Когда она улыбается, то я готов достать ей луну с неба, только бы она улыбнулась еще раз.

Полина Францевна. Вы так влюблены, Сергей Ильич, что даже, — только, пожалуйста, не сердитесь, — чуть-чуть поглупели.

Сергей. Поглупел? Наверно. Я сегодня утром выстроил роту и делал поверку. Но вместо «равнение напра-во!» мне хотелось крикнуть: «Знаете, ребя-та, а ведь она меня лю-бит! Она ко мне приезжа-ет!» *(Пауза.)* Все бросила, Полина Францевна: Москву, театр — и едет одна сюда ко мне, в нашу Тьмутаракань, в глушь. Вот какая девушка. Она говорит, что если есть талант, то всюду можно играть, а если я буду сидеть в первом ряду партера, то, значит, вообще все хорошо. Я только боюсь, что теперь все время буду сидеть в первом ряду партера. Как вы думаете, а? *(Стук в дверь.)* Кто там?

Глухой бас. Почта!

Сергей отворяет дверь, в дверях стоит Варя в летнем платье, без всяких вещей.

В а р я. Товарищ Луконин, вам из Москвы посылка. Примите и распишитесь. *(Бросается к нему на шею.)*

С е р г е й. Ты же должна была завтра, как же ты? Мы тут собрались тебя встречать.

В а р я. Хорошо. Я завтра поеду обратно на вокзал и сделаю вид, что только что приехала, а вы сделаете вид, что меня встречаете. Ладно?

С е р г е й *(смеясь)*. Ладно!

В а р я *(на ухо)*. Кто эта тетя?

С е р г е й. Ах ты, боже мой! Полина Францевна, познакомьтесь.

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Сюлли.

В а р я. Варя. Он мне рассказывал о вас. Значит, это вы, бедная, страдаете от его ужасного произношения?

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Нет, почему же... Сергей Ильич...

В а р я. Только не защищайте его. Все равно я давно знаю, что он ленив, упрям, и... что-то еще... я забыла. Сережа, напомни, что ты еще?

С е р г е й. Еще я дурно воспитан.

В а р я. Да, и еще он дурно воспитан. Но все-таки я его люблю, а это главное!

С е р г е й. Где же твои вещи?

В а р я. Я по дороге взяла носильщика.

С е р г е й. Ну?

В а р я. Ну, и он идет, наверно, по лестнице, бедняга, сгибаясь под тяжестью моих чемоданов. *(Открывая дверь.)* Носильщик!

Г о л о с. Иду!

В а р я. Дай ему сколько-нибудь, Сережа.

С е р г е й достает деньги, и в эту секунду в дверях появляется нагруженный чемоданами А р к а д и й.

С е р г е й. Аркаша!

Обнимаются.

Молодец! В такую даль — это, брат, не шутка.

А р к а д и й. Брат? Это, конечно, не шутка. Быть

братом — это, как видишь *(показывает на чемоданы)*, тяжелая профессия. Но все-таки сестра, плохая, но сестра. Пришлось провожать. Если бы ты жил поближе — не поехал бы. Но я решил, что поезда сюда и отсюда все равно идут так долго, что я могу провести в них свой отпуск.

Сергей. Знакомься, Аркаша.

Аркадий. Здравствуйте, Бурмин.

Полина Францевна. Сюлли.

Аркадий. Так это вы...

Варя. Тс!

Аркадий. Что такое?

Варя. Не надо. То, что ты хотел сказать, я уже сказала.

Аркадий. А что я хотел сказать?

Варя. Ты хотел пожалеть Полину Францевну за то, что она мучается с сережиным произношением.

Аркадий. Да, сознаюсь, мне пришла в голову эта мысль.

Варя. Тебе всегда приходят в голову мои мысли. Лучше распакуй чемодан. На это ты еще способен.

Сергей. Я вижу, тобой попрежнему помыкают.

Аркадий. И не говори. Пока я был доцентом, меня еще как-то жалели, теперь я профессор, — из меня устроили носильщика, а когда я стану академиком, меня, наверно, совсем превратят в мальчика на побегушках. Раньше мы хоть бегали пополам с Петькой, но, с тех пор как Петька удрал из дому...

Сергей. А где он?

Аркадий. Не знаю. Удрал куда-то на Памир с геологической экспедицией.

Сергей. Молодец!

Аркадий. Шалопай!

Сергей. А что Женичка, как она?

Аркадий. Кончила институт. Уехала в Астрахань. Весной.

Сергей. Это я знаю. Я спрашиваю, как она? Пишет?

Аркадий. Иногда.

Сергей. Значит, все попрежнему? Эх, ты!

Аркадий. Я категорически прошу тебя...

Сергей *(перебивая)*. Эх, профессор, профессор... Учить тебя да учить!

Полина Францевна. Я пойду, Сергей Ильич!

Варя. Ни за что! Вы хотите меня оставить на растерзание этим двум обезьянам? Они ведь через минуту забудут обо мне и начнут вспоминать, как они подкладывали пистоны под стул учителя грамматики. Нет, вы непременно должны остаться. Сережа, а где же твои хваленые друзья? Где твой Гулиашвили, где твой Севастьянов? Я немедленно хочу их видеть!

Сергей. Сейчас я им позвоню.

Варя. Я сама позвоню. Какой номер у Гулиашвили?

Сергей. Четыре-семнадцать.

Варя. Его зовут Вано?

Сергей. Да.

Варя *(в телефон)*. Четыре-семнадцать. Вано? Здравствуйте, Вано. Я говорю. Нет, вы меня не знаете. Нет, не видели. Нет, и я вас не видела. Но это неважно. Я хочу вам назначить свидание. *(Прикрывая трубку.)* Он спрашивает, интересная ли я, — как по-твоему?

Сергей кивает.

Да, я очень интересная, ей-богу. Вот и Сережа тоже кивает, что интересная. Какой Сережа? Сережка, он тебя не знает! Ах, знаете? Ну, бегите, бегите! *(Вешает трубку.)* А Севастьянова какой телефон?

Сергей. Не надо. Ему Гулиашвили скажет. А если ты позвонишь... Нет, не надо.

Варя. Почему?

Сергей. Ты его испугаешь. Он у нас робкий. Испугается женского голоса и убежит в степь до утра на охоту.

Полина Францевна. Правда, капитан Севастьянов очень застенчивый человек.

Варя. Неужели? Ну, слава богу, будет рядом хоть один застенчивый человек. Мне так надоели хва-

ступы. Если бы вы только знали, Полина Францевна, какой он хвастун.

Полина Францевна. Ну, что вы...

Варя. Разве он вам не клялся, что через год будет знать французский язык лучше вас?

Полина Францевна. Нет... правда, Сергей Ильич обещал вначале изучить язык за месяц.

Сергей. Я просто тогда не знал, что на этом языке все слова произносятся иначе, чем пишутся.

Варя. Аркаша, а ну, давай учиним семейный допрос. Полина Францевна, как тут вел без нас, этот мальчик? Довольны ли им старшие?

Полина Францевна. Да, очень. Я слышала, как Алексей Петрович недавно очень хвалил его.

Варя. Кто это Алексей Петрович?

Сергей. Наш полковник. Он, правда, хвалил меня?

Полина Францевна. Да, очень.

Сергей. Странный человек. Сначала чуть не выгнал меня из школы, потом, когда переводился сюда, вдруг взял с собой. В глаза бранит, за глаза хвалит.

Варя. Он, кажется, просто знает твой характер.

Стук в дверь. Входит Гулиашвили. Он, как и Сергей, в форме старшего лейтенанта.

Гулиашвили (*обнимая Сергея*). Поздравляю, дорогой, с приездом красавицы-невесты.

Варя. Вы даже на меня не посмотрели.

Гулиашвили (*зажмурившись*). Не хочу смотреть, и так знаю, что красавица. Мой друг другой привезти не мог. (*Открывая глаза.*) Ну, конечно, красавица!

Варя. Все-таки, здравствуйте.

Гулиашвили. Здравствуйте. Поздороваться можно потом, сначала в глаза посмотреть надо. (*Смотрит на Варю.*) Хорошие глаза. В такие глаза час посмотреть — потом умирать не страшно! (*Аркадию.*) Гулиашвили.

Аркадий. Бурмин.

Гулиашвили. С ней приехал? Брат?

Аркадий. Брат.

Гулиашвили. Не такой красивый, но похож. Когда свадьба?

Сергей. Завтра.

Гулиашвили (*Аркадию*). Ну, значит, нам с тобой, дорогой, сегодня ночь не спать, как завтра лучше гостей угостить — думать.

Севастьянов (*входя*). Можно?

Сергей. Входи, Севастьяныч, знакомься!

Севастьянов. Севастьянов.

Варя. Варя.

Севастьянов здоровается с Аркадием и молча смотрит на Варю.

Ну, что вы на меня так смотрите?

Севастьянов. Вот вы какая.

Варя. Что, не нравлюсь?

Севастьянов. Нет, что вы, я только хотел сказать, что вы мне рисовались совсем в другом облике.

Варя. В каком же другом облике?

Севастьянов. Сергей Ильич мне сказал, что вы актриса, и я вас рисовал себе несколько солидней и почему-то брюнеткой. Приехали играть в наш театр?

Варя. Да, и четырех ребят с собой притащила, скоро приедут.

Севастьянов. Какой больше репертуар предполагаете играть, современный или классический?

Сергей. Ну, кончено. Погибла Варька. Севастьянов, прекрати культурную беседу.

Гулиашвили. Ты лучше, дорогой, спроси ее, любит ли она перепелов!

Севастьянов. Да брось ты!

Гулиашвили. Нет, погоди. (*Варе.*) Как, вы любите перепелов?

Варя. Перепелов?

Гулиашвили. Да. Это птички такие. Капитан Севастьянов вам в подарок их сорок штук настрелял, целое свадебное ожерелье. Он считает, что сорок перепелов — лучший подарок для молодой девушки.

Севастьянов. Перепел, конечно, птица невидная, но в смысле охоты... (*увлекаясь*) охотничья птица,

стоящая. Ее так не возьмешь, ее нужно со смыслом брать, на нее утром надо итти с самого рассвета.

Гулиашвили. Теперь насчет охоты целый трактат будет. Ты нам, дорогой, их жареных — и на стол, а как ты их там стрелял, это твое личное дело... *(Сергею.)* Где завтра ужин будет? На веранде?

Сергей. Я думаю.

Гулиашвили *(Аркадию)*. Пойдем, дорогой, стол мерять, как гостей сажать, чтобы локтям тесно не было. Пойдем, капитан. Пойдем, Полина Францевна.

Варя. И я с вами.

Гулиашвили *(задерживая ее в дверях)*. Нет! Стол, как женщина, на него надо вечером смотреть, когда он красивый. Сережа, скажи ей, не слушаться томады — самый большой грех на душу брать. *(Выходит вслед за остальными.)*

Сергей *(после молчания)*. Ну вот, Варька! Наконец мы и вместе.

Варя. Как я боюсь проговориться, что мы уже женаты...

Сергей. Да, уж лучше до завтра не проговариваться. Ребята подарки тебе приготовили. Очень ждали.

Варя. Очень ждали? А ты как? Тоже очень ждал?

Сергей. Я? Никуда я тебя больше не отпущу, Варька. Слышишь, никуда!

Варя. А я вдруг возьму и уеду.

Сергей. Не уедешь.

Варя. Это смотря как держать будешь.

Сергей крепко обнимает ее.

Ну, если так будешь держать, тогда не уеду.

Звонок телефона, один, другой, третий. Сергей, неохотно отпустив Варю, подходит к телефону.

Сергей *(в трубку)*. Да, я, товарищ майор. Явиться к полковнику? Есть. Есть. Да, у меня. *(Вешает трубку.)* Вано!

Варя. Что такое?

Сергей. Ничего, придется уйти на полчаса. Наш неугомонный полковник опять, наверно, будет нас пилить за подготовку к ночным учениям. *(Кричит.)* Вано!

Гулиашвили *(входя)*. Ну, что такое, дорогой? Что за крик? Томада не может работать в такой нервной обстановке.

Сергей. Полковник вызывает. Пошли.

Гулиашвили. И меня тоже?

Сергей. Тоже. *(Изображая Васнецова.)* «Товарищ Луконин, я вызвал вас, чтобы еще раз обратить ваше внимание на материальную часть». Сейчас, Варька, мы быстро, он только еще раз обратит наше внимание на материальную часть, и — мы обратно, одна нога там, другая здесь. Скажи Аркаше, чтобы он пока твой чемодан распаковал. Иди к нему. *(Открывает дверь, ведущую на веранду.)*

Аркадий *(появляясь в дверях)*. Иди сюда, тут капитан про охоту рассказывает. Я, кажется, уже почти понял, как надо стрелять этих перепелов.

Варя выходит на веранду.

Гулиашвили *(надевая фуражку)*. Что случилось? Почему так срочно?

Сергей. Кажется, тебе придется принимать мою роту.

Гулиашвили. Что?

Сергей. Кажется, удовлетворили мое ходатайство.

Гулиашвили *(кивнув на карту Европы, где в Испании флажками отмечено положение на фронтах)*. Туда?

Сергей. Кажется, да.

Гулиашвили. А как же она?..

Сергей. Она? Да... И все-таки... Все-таки, знаешь, Вано, вдруг бывает такая минута в жизни, когда уехать дороже всего *(кивнув на дверь, за которой скрылась Варя)*. Всего. Даже этого.

Оба выходят.

Конец третьей картины и первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Зима 1937 года. За кулисами еще не окончательно оборудованного театра в военном городке. Антракт. Маленькая актерская уборная. Варя, в старинном глухом черном платье, в гриме, перед зеркалом поправляет парик.

За дверьми голос: «Можно?»

Варя. Да.

Входит Севастьянов, держа в руках завернутый в бумагу букет.

Севастьянов. Здравствуйте, Варвара Андреевна! Разрешите преподнести по случаю дня рождения.

Варя. Что это?

Севастьянов. Цветы.

Варя. Зимой цветы?

Севастьянов *(развертывая пакет, в котором несколько зеленых веточек)*. Во всяком случае, нечто напоминающее.

Варя. Спасибо. Где вы их достали?

Севастьянов. Я в пяти знакомых домах все горшки на подоконниках обстриг. Что было! Только и спасся тем, что за каждую веточку по зайцу обещал в выходной с охоты принести. Знаете, сколько тут зайцев? Пятнадцать зайцев тут.

Варя. Сумасшедший! Дайте я вас расцелую. *(Целует его.)* Нате платок, вытрите, всего измазала!

Севастьянов. Вы извините, что такие вот веточки. . .

Варя *(взяв его за портупею и снизу вверх глядя ему в глаза)*. Севастьяныч, милый, если бы вы только знали, что такое для меня сейчас эти ваши веточки. *(Пауза. Взглянув на портупею.)* У Сережи тоже такая. Висит у меня. Он уехал, а она висит.

Севастьянов *(пытаясь перевести разговор)*. Вы превосходно играли сегодня, Варвара Андреевна. С большим чувством.

Варя. Не надо, Севастьяныч. Вы очень смешно всегда успокаиваете меня: как только я о Сереже, вы сейчас же о моей игре. Ничего. Мне сегодня просто приятно вспомнить о нем. Что он вот сейчас, в эту минуту, делает, как вы думаете?

Севастьянов. Не знаю, Варвара Андреевна. Но полагаю, все в порядке.

Варя. Не знаете? Никто этого не знает. Ну, ничего. Мы его, когда вернется, спросим, что он в эту минуту делал. Только надо запомнить: сегодня пятое апреля, а сколько времени?

Севастьянов. Двадцать один пятьдесят.

Варя. Десять... Он приедет, мы его непременно спросим, да?

Севастьянов. Да, конечно, я вот даже в блокнот запишу. *(Записывает.)*

Гулиашвили *(вбегая)*. Варя, дорогая! Все рыдали. Сам рыдал. Играла, как этот, как его, забыл кто, но ты лучше. Дай ручку, поцелую. *(Целует ей руку.)* Уж успел тебе свой веник подарить! Ботаник! А мой подарок не здесь — мой подарок у меня дома! — хороший стол, такой стол, чтоб за гостей сам смеялся. Всех позвал. Жениха твоего позвал, злодея позвал. Маму позвал. Папу позвал. На сцене ссорились — за столом все хорошие, все вместе будем. Такой день рождения тебе устроим!

Помощник режиссера *(показываясь в дверях)*. Варвара Андреевна, вы лучше сами посмотрите, какое вам там реквизиторы кресло поставили. А то опять я виноват буду. *(Исчезает.)*

Варя. Сейчас! Спасибо, Вано. Вы после спектакля сюда за мной зайдете, да? *(Выходит.)*

Гулиашвили. Почему грустная?

Севастьянов. Вот взяла меня за портупею. Вспомнила, где он сейчас, говорит... А я, что я ей скажу?

Гулиашвили. Что ей скажешь? Надо сказать ей, дорогой, что он сейчас сидит где-нибудь, не спит, ее вспоминает, улыбается...

Севастьянов. Да, но...

Гулиашвили. Что но? Он не улыбается, да? Мы с тобой не думаем, что он сейчас улыбается? Мы не думаем, а она пусть думает! Что ты думаешь, дорогой? Такой веселый человек Гулиашвили — ему только бы за стол сесть, бокал поднять? А я сейчас сто верст хочу пешком итти, чтобы один был, чтоб снег сильный, чтоб о Сереже не думать. *(Пауза.)* Я тебе велел розовый мускат купить?

Севастьянов. Я белый купил.

Гулиашвили. Как белый! Она розовый любит, она белый не любит.

Севастьянов. Ну, пустяк, все равно.

Гулиашвили. Нет, дорогой, пустяк, но не все равно. Такой пустяк. Сережа здесь был бы, не забыл бы такой пустяк. *(Пауза.)* Один пустяк заметит, другой пустяк заметит, что его рядом нет — заметит. Нельзя, чтоб замечала. *(Пауза.)* А друзья что такое, знаешь? Во Владивостоке на плечо посадил, сюда пешком принес. *(Пауза.)* Поезжай, дорогой, где хочешь, достань!

Севастьянов. Да где же? Поздно уже.

Гулиашвили. Где хочешь. Пошли, дорогой!

Оба уходят.

Полина Францевна *(входя)*. Варвара Андреевна! *(Садится в выжидательной позе).*

Варя *(входя)*. Здравствуйте, Полина Францевна!

Полина Францевна. Вы меня растрогали сегодня. Вы играли с такой грустью, с такой тревогой, что я вспомнила свои молодые годы.

Варя. Правда? Я очень старалась сегодня. *(Оглядывается.)* А где же Вано, где Севастьяныч?

Полина Францевна. Я их встретила. Они сказали, что скоро будут. Они очень хорошие. Они так хлопочут о вас, как будто ваш Сережа уехал бог знает куда, на войну.

Варя. Да, они очень хорошие.

Полина Францевна. Он все еще на этих танковых курсах в Бобруйске?

Варя. Да.

Полина Францевна. Вы мне говорили, что он там на три месяца, а уже восьмой.

Варя. Да, он писал, что задерживается.

Полина Францевна. Скучаете?

Варя. Да, очень.

Полина Францевна. Ну, ничего. Наверно, эти курсы скоро кончатся, и он приедет.

Варя *(рассеянно)*. Да, наверно.

Полина Францевна. Он у вас очень хороший, очень-очень. Я еще давно, когда только начала учить его

французскому языку, подумала, что женщина, которая выйдет за него замуж, будет очень счастливой женщиной.

Варя вдруг лицом судорожно прижимается к ее груди.

Ну, что с вами такое?

Варя. Нет, ничего. Так, просто устала, наволновалась.

Полина Францевна. Да, у вас сегодня была очень волнующая роль. Я сама сидела и волновалась.

Варя. Полина Францевна, душенька, слышите, уже первый звонок, опоздаете, бегите. А после спектакля поедем вместе к Вано, они хотят там мой день рождения праздновать.

Полина Францевна. А я-то вам зачем?

Варя. Нет, обязательно, я без вас не поеду. Вы такая спокойная. Когда я бываю с вами рядом, мне тоже кажется, что все хорошо... *(пауза)* там, на курсах в Бобруйске.

Полина Францевна. Ну, конечно же, хорошо. Смешная вы девочка. *(Выходит.)*

Варя одна, беспокойно прохаживается. Входит Васнецов.

Варя. Наконец-то, Алексей Петрович. Я так вас ждала.

Васнецов. Вы прислали мне записку, чтоб я непременно зашел.

Варя. Да. Простите. Я знала, что вы на спектакле... Алексей Петрович!

Васнецов. Да, я вас слушаю.

Варя. Я уже не та девочка, которая приехала сюда полгода назад. Вы мне все можете сказать. Там, где он сейчас, — там очень опасно, да?

Васнецов *(внимательно поглядев на нее)*. Да, быть может.

Варя. Уже восемь месяцев. Но я сначала хоть получала письма. Правда, в них ничего не было: ни что, ни где, ни как. Но он писал, что жив, здоров. А это ведь самое главное. *(Пауза.)* Нет, я не буду вас спрашивать, Алексей Петрович. Я знаю, об этом нельзя спрашивать.

Васнецов. Нет, почему же. То, что я смогу вам сказать, я скажу.

В а р я. Что с ним? Уже пятый месяц ни звука. Что случилось? Если вы знаете, лучше расскажите мне сейчас. Если он не вернется — этого ведь от меня никто не скроет.

В а с н е ц о в. Далеко. Письма долго идут.

В а р я. Но ведь раньше доходили.

В а с н е ц о в. Вы можете мне верить или не верить, но для вас будет лучше, если вы поверите моему чутью старого солдата. Я знаю Сергея Ильича не первый год, и мне всегда казалось, что он родился в сорочке. Такие, как он, проходят огонь и медные трубы. И ничего, выживают. Про меня в молодости тоже так говорили. И вот жив. Сорок восемь. Все будет хорошо. Жена солдата в это верить должна. Без этого вам жить нельзя, понимаете?

В а р я. Понимаю. Я очень хочу вам верить, Алексей Петрович. Очень хочу. *(Пауза.)* Вам нравится, как я сегодня играла?

В а с н е ц о в. Да, очень.

В а р я. Это хорошо. Я очень хочу хорошо играть. Особенно сейчас, когда он там. Мне тогда кажется, что он каждый спектакль сидит передо мной в первом ряду партера. Мне кажется...

Г у л и а ш в и л и *(входя)*. Добрый вечер, товарищ полковник! Варя, совсем забыл, с дороги вернулся, эта старушка, она твою маму играет, она, кажется, мяса не кушает?

В а р я. Да, у нее катар. А что?

Г у л и а ш в и л и. Как что? Надо ей что-нибудь диэтическое сделать. *(Пауза.)* Товарищ полковник, день рождения *(показывает глазами на Варю)*. Приехали бы?

В а с н е ц о в. Поздравляю. Простите, не знал. Боюсь, что не смогу. А поздно засидитесь?

Г у л и а ш в и л и. Непременно.

В а с н е ц о в. Ну, если Варвара Андреевна со мной тур вальса согласится пройтись, то к концу подъеду.

В а р я. Конечно, Алексей Петрович.

Звонки.

До свиданья, мне на сцену. *(Выбегает.)*

Г у л и а ш в и л и. Никаких известий, товарищ полковник?

В а с н е ц о в отрицательно качает головой.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Низкая комната в полуразрушенном доме. Стены сложены из больших неотесанных камней. Полутьма. Единственный свет идет из угла, где в очаге тлеют ветки. За наполовину разбитым и чем попало затянутым окном идет снег. Посреди комнаты стол. За ним сидит офицер в военной, трудно определимой в полутьме форме. Дверь распахивается, в нее врываются снег и ветер. Входит человек в плаще, отряхивается.

Офицер. Вы заставляете себя ждать, господин переводчик.

Переводчик. Простите, дьявольская погода. Тут, наверно, много лет не запомнят такого снега. Совсем, как в России.

Офицер. В России? Неужели двадцать лет эмиграции не вышибли ее у вас из памяти? Все еще вспоминаете вашу Россию?

Переводчик. Мою? Если б она была моя! Я просто говорю, что снег. Зачем вы приказали мне явиться?

Офицер. Вы мне сейчас будете нужны. Вам, кажется, предстоит встреча с соотечественником. Час тому назад мы взяли в плен танкиста.

Переводчик. Знаю. Мне сказали солдаты. Но разве он русский?

Офицер. Не знаю. Во всяком случае, у него русское упрямство. Он целый день просидел в разбитом танке. Потом вылез с пистолетом. Когда его окружили, он хотел застрелиться, но только ранил себя. Его взяли, когда он был без сознания. Я велел привести его в чувство и прислать сюда. *(Пауза.)* Да, весьма возможно, что он русский.

Дверь распахивается. Солдаты вводят в комнату неизвестного. На нем кожаные штаны, сапоги. Обгоревшая и разорванная рубашка. Черное лицо, обмотанное грязными прокопченными бинтами, из-под которых торчат только выбившиеся клочки волос.

Переводчик *(подойдя к неизвестному, в упор)*. Ну, как, приятно вам встретить здесь соотечественника?

Неизвестный молчит.

Ну, что вы молчите? Небось, удивлены, вдруг здесь встретив соотечественника, а?

Неизвестный *(глухим голосом)*. Je ne vous comprends pas.

Переводчик. Ах, вы не понимаете? *(Офицеру.)* Он не понимает по-русски. Может быть, вы француз, а? *(Подходит вплотную)*. Но только откуда у вас тогда эта рязанская морда? Бросьте валять дурака! Слышите?

Неизвестный. Je vous ai dejà dis, que je ne vous comprends pas.

Переводчик. Опять не понимаете! Так, значит, вы француз?

Молчание.

Alors vous seriez français?

Неизвестный. Oui.

Переводчик. Откуда же вы, француз?

Молчание.

Et d'ou êtes vous?

Неизвестный. Je suis de Toulouse.

Переводчик. Так, хорошо. Ну, и где же вы там жили в вашей Тулузе?

Молчание.

Eh bien! Dans quelle rue habitez vous dans votre Toulouse?

Неизвестный. J'ai toujours demeuré rue des Marrons.

Переводчик. Около старого моста? *(Пауза.)* Celle qui se trouve près du vieux pont? N'est-ce pas?

Неизвестный. Non, il n'y a aucun vieux pont.

Переводчик. Ах, там нет никакого старого моста... Вот как. Вас не собьешь. Вы даже знаете улицу. Но произношение? Неужели вы думаете меня уверить, что у француза может быть такое произношение? Вас, наверно, обучали французскому языку где-нибудь в Нижнем-Новгороде, а?

Неизвестный. Je vous répète, que je ne vous comprends pas.

Переводчик *(выходя из терпения)*. Да вы будете со мной говорить или нет? Я тебя русским языком спрашиваю.

Молчание.

Vas tu parler russe à la fin?

Неизвестный. Puis ce que je vous dis, que je ne connais pas le russe.

Переводчик. Не знаешь русского языка? Ну, а такое слово, как расстрелять, ты знаешь по-русски?

Молчание.

Может, начнешь понимать, если я тебя расстрелять прикажу!

Неизвестный *(спокойно пожав плечами)*. Je ne vous comprends pas.

Переводчик. Mais tu seras fusillé! Ça tu le comprends?

Неизвестный. Maintenant j'ai compris.

Переводчик. Да я... *(Задохнувшись от ярости, беззвучно машет рукой солдатам.)*

Те выводят неизвестного. Молчание.

Офицер. Итак, встреча с соотечественником не состоялась.

Переводчик. Я дам руку на отсечение, что он русский.

Офицер. К сожалению, генерал хотел бы, чтобы он признался в этом сам. Но он не признался. И, значит, он не русский. А что думаете вы — на это всем наплевать. *(Пауза.)* Пожалуй, чтоб не было лишних неприятностей, лучше расстрелять его здесь, не отправляя в штаб. Да, конечно... Пойдите распорядитесь.

За сценой выстрел.

Переводчик. Кажется, там уже распорядились.

За сценой еще несколько выстрелов.

Офицер *(вскакивая)*. Нет, что-то не то.

За сценой опять выстрел, еще и еще. Грохот. Свет гаснет.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Через два с лишним года. 1939 год, лето. Обстановка первой картины. Гулиашвили, Женя, Аркадий, Анна Ивановна. За роялем Севастьянов. Анна Ивановна поет гусарский романс.

Анна Ивановна.

О бедном гусаре замолвите слово,
Ваш муж не пускает меня на постой,
Но женское сердце нежнее мужского,
И, может быть, сжалитесь вы надо мной.
Я в доме у вас не нарушу покоя,
Смирнее меня не найти средь полка,
И если свободен ваш дом от постоя,
То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Варя *(появляясь из внутренних дверей)*. Тетя, кофе готов!

Анна Ивановна. Цикория положила?

Варя. Ну, конечно. Идемте, идемте.

Все проходят во внутренние комнаты. Звонит телефон. Женя и Аркадий задерживаются.

Женя *(в телефон)*. Профессора Бурмина? Сейчас.

Аркадий *(в телефон)*. Да, конечно, только так. Гипс. Да, неподвижную повязку и груз. Да, завтра заеду сам. *(Вешает трубку.)* Пойдемте, Женичка.

Женя *(садясь на диван)*. Нет.

Аркадий. Почему?

Женя. Не хочу.

Аркадий. Неудобно все-таки, друзей провожаем. Я, как-никак, хозяин. Пойдемте, неудобно.

Женя. Неудобно? А уже целую неделю обещать поговорить со мной и молчать — это удобно? Сядьте!

Аркадий *(садясь)*. Ну?

Женя. Вы обещали объяснить, почему вы не хотите отпустить меня из клиники.

Аркадий. Для вашей же пользы, Женичка, честное слово. Вы были на практике три года, да?

Женя. Да.

Аркадий. Зачем же, только что приехав, опять уезжать? У вас здесь научная работа. Чем вам плохо?

Женя. Плохо.

Аркадий. Почему?

Женя. Плохо. Я не могу так больше, потому что... Не могу, я хочу уехать.

Аркадий. К вам здесь все прекрасно относятся.

Женя. Все? .. Нет, я уеду.

Аркадий. Вы просто капризничаете. Скажите лучше прямо, что у директора клиники скверный характер, что вам не нравится его нос...

Женя (*вставая*). Если бы вы хоть раз попробовали поговорить со мной серьезно...

Аркадий. Когда шутишь, веселей жить, Женичка. Я не хочу, чтоб вы слушали мои скучные рассуждения.

Женя. А я хочу! Я хочу... Ничего я от вас не хочу! (*Хлопнув дверью, выходит во внутренние комнаты.*)

Аркадий (*после паузы подсаживается к роялю, барабаня одним пальцем, напевает*):

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То ревностью, то робостью томим;
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Сафонов (*появляясь в дверях*). Тут товарищ командир велел ждать с такси. Так я предупреждаю: счетчик включенный.

Аркадий (*рассеянно*). Ну так выключите.

Сафонов. Что значит — выключите?

Аркадий. Ну так включите.

Сафонов. Что значит — включите?

Аркадий. Ну, что же вы хотите?

Сафонов. Вы ему скажите, что счетчик.

Аркадий. Хорошо, я скажу.

Сафонов выходит.

Гулиашвили (*выходя из внутренних дверей*). Почему сидишь, дорогой? Нехорошо, пойдем.

Аркадий. Что, Женя прислала?

Гулиашвили. Ты не сердись. Она мне тихо, на ухо.

Аркадий. Сейчас. Сядь, посидим немножко.

Гулиашвили. Не могу, дорогой. Нельзя сидеть. Всю жизнь просидеть можно. Пойдем. Красивая девушка зовет. Нельзя не итти. Смелым надо быть!

Аркадий. Ты все забываешь, что я не военный.

Гулиашвили. Когда за счастье воевать — все военными должны быть, дорогой. Ты меня слушай. Я плохих советов не даю.

Аркадий. Но зато ты даешь так много хороших, что жизни нехватит все их выполнить. Машину водить я, по-твоему, должен, ходить на футбол должен. С тех пор, как все вы здесь, я только и слышу, что я всегда что-нибудь должен. У тебя слишком кипучая энергия, Вано. А я тихий штатский человек. Дай мне отпуск, а?

Гулиашвили. Хорошо, дорогой, вот уедем...

Аркадий. И верно, вы ведь завтра... Да... война такая вещь, даже до послезавтра остаться не попросишь...

Гулиашвили. Какая война, дорогой?

Аркадий. Ну, не знаю. Когда я читаю в газете, что у озера Бир-Нур мы вчера сбили тридцать семь самолетов, то мне, извини, все-таки кажется, что это война. Вы едете по Казанской дороге. Иркутск, Улан-Удэ, Чита, и вообще я немного знаю географию. Ведь география — это не военная тайна.

Гулиашвили. Безусловно. Пойдем — последний тост за географию.

Из-за двери слышен голос Анны Ивановны, поющей сердцещипательный романс.

Слышишь, все веселятся. Анна Ивановна опять романсы поет. Пойдем.

За окном гудок машины.

Ой! Совсем забыл, дорогой, меня же нетерпеливо ждет любимая девушка.

Аркадий. Все это время?

Гулиашвили. Да, дорогой. Я боюсь, что она уже потеряла терпение. Сказал, задержусь на минуту, а сижу уже целый час.

Сафонов *(входя)*. Товарищ командир, я уже потерял терпение. Таксомотор не может больше ждать. Сказали на минуту, а сидите уже целый час.

Аркадий. Это твоя любимая девушка?

Гулиашвили. А чем плоха? Нет, шучу! Правда, очень тороплюсь на свидание, Аркаша. *(Сафонову.)* Сейчас, дорогой. Сам за руль сяду, тебя в пассажиры возьму. За одну секунду доедем.

Сафонов мрачно молчит.

Что делать, дорогой, когда кругом друзья, все забываю. *(Идет к внутренним дверям, останавливается.)* Нет, не буду прощаться. Гости такие люди: один уходит — все уходят. До свидания, дорогой.

Аркадий. До завтра.

Сафонов. Товарищ командир...

Гулиашвили. Иду, дорогой, иду...

Из внутренних дверей выходит Сергей. У него наполовину седая голова, петлицы майора, на гимнастерке ордена, в руках две чашки с кофе.

Сергей. Что же, вам сюда прикажете подавать? Ты куда?

Гулиашвили. Очень спешу, дорогой, в штабе увидимся. Таксомотор *(показывая на Сафонова)* не может больше ждать. Видишь, какой нетерпеливый у меня таксомотор. *(Выходит вместе с Сафоновым.)*

Сергей. Ну, а ты что тут сидишь? Заболел?

Аркадий. Хуже.

Сергей. Заскучал?

Аркадий. Да...

Молчание.

Не знаю, как потом будет, Сережа, а пока на свете на девять складных людей непременно попадется один нескладный, то есть не то что вообще нескладный, я не жалуюсь, — мне даже вон вчера чорт знает откуда из Австралии письмо прислали, по моему методу операцию сделали — благодарят. Нет, это все хорошо, а вот... Как ты думаешь, если вот семь лет дружишь с человеком, а потом вдруг признаешься ему в любви, — он ведь рассердится, скажет, а что же ты все семь лет думал?

Сергей. Да, непременно рассердится. Боже мой, как ты все-таки глуп, неслыханно глуп. *(Передразни-*

вая.) «Женичка, как по-вашему, жениться мне или не жениться? Женичка, почему меня не любят женщины?» А она не знает, почему тебя не любят женщины, понял? Не знает и знать не хочет.

Аркадий. Почему?

Сергей. Потому что она сама женщина и сама тебя любит. *(Пауза.)* Нет, я чувствую, что без моего вмешательства тут не обойдется.

Аркадий. Ради бога, не вздумай сказать ей.

Сергей. Непременно скажу. *(Хлопнув его по плечу.)* Ничего, надейся на меня. Завтра же займусь устройством твоей свадьбы.

Аркадий. Завтра?

Сергей. Ну, не завтра, когда вернусь...

Аркадий. Когда вернешься... Знаешь что? Вот я смотрю сейчас на твое довольное лицо и думаю: будет ли когда-нибудь такое время, когда тебе больше захочется сидеть дома, чем ехать?

Сергей. Нет, не будет. Я люблю, когда меня посылают. Ей-богу, Аркаша, мы часто забываем, какое это счастье — каждый день знать, что ты нужен стране, ездить по ее командировкам, предъявлять ее мандаты. Я еще мальчишкой поехал первый раз от пионерской организации, потом меня посылал райком комсомола, потом райком партии, потом мне выдавали предписания со звездами на печатях: «Для выполнения возложенных на него особых заданий». Но почему-то всегда хотелось, чтобы там писали немного иначе: «Для выполнения возложенных на него особых надежд». Это лучше, верно?

Аркадий. Верно-то верно. Но война, есть война — и это все-таки тяжело и опасно. Я слышал, что там иногда убивают.

Сергей. Да, но знаешь, Аркаша, «тяжело, опасно» — это мы все думаем, когда едет кто-то другой, а когда тебе самому говорят — поезжай, ты нужен, — ты уже ничего не думаешь, кроме того, что ты нужен. И тебе скажут — и ты поедешь, и у тебя никаких других мыслей, кроме того, что ты нужен, не будет.

Аркадий. Не знаю. Может быть.

Из внутренних дверей выходят Варя, Женя, Анна Ивановна, Севастьянов.

Севастьянов. Нет, пора, пора. Вот если бы Анна Ивановна нам еще один гусарский романс спела, тогда бы не выдержал, остался. Как это там:

Но если свободен ваш дом от постоя,
То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Спойте еще, Анна Ивановна. Пронзает сердце, ей-богу.

Анна Ивановна. Вы льстец, Петр Семенович. Пронзает сердце... Вот когда я была кокет в труппе у Зарайской, тогда, правда, пронзала.

Варя. А где Вано?

Аркадий. Уехал.

Сергей. Севастьяныч, у тебя, наверно, записаны завтрашние дежурства на погрузке. У тебя всегда все записано. Мы с шести сорока или с семи, а?

Севастьянов. Да. Кажется, с семи. *(Перелистывая записную книжку.)* Подождите... Это верно, у меня всегда все записано, у меня тут... Варвара Андреевна, забыли мы с вами уговор, — правда, больше двух лет прошло, — но все-таки спросим его, а?

Варя. Что спросим?

Севастьянов. Спросим его, что он делал пятого апреля тысяча девятьсот тридцать седьмого года в двадцать один пятьдесят?

Варя. Да, верно, что ты делал в это время?

Сергей. Почему именно в это время?

Варя. Мы как раз в эту минуту о тебе вспоминали и решили спросить, когда ты вернешься.

Сергей. Пятого апреля, пятого апреля... В твой день рождения?

Варя. Да, помните, Севастьяныч, я тогда играла спектакль. Было холодно, метель. Вы мне принесли веточки... Ну, что же ты делал пятого апреля вечером?

Сергей. Пятого апреля вечером... я занимался французским языком. Впрочем, что я тогда делал, это не так уж важно, а вот что тогда делал один мой очень хороший знакомый, я, пожалуй, могу рассказать.

Анна Ивановна. Ну, что же делал ваш очень хороший знакомый?

Сергей. У него, как и у меня, — не правда ли, какое странное совпадение? — был тогда тоже день ро-

ждения жены. Но ему не повезло. Как раз в то время, когда я занимался французским языком, он попал в плен. Вы говорите — в десять? Ну, да, примерно в это время его повели на расстрел.

Анна Ивановна. Кошмар!

Сергей. Совершенно верно, Анна Ивановна, кошмар. Но когда моего знакомого повели на расстрел, он вдруг услышал очень далекий, но очень знакомый звук, ему показалось, что это танки. В это время в стену дома недалеко от него ударил снаряд — раз! И еще — два! Он вырвал винтовку у одного, ударил ею другого. Кругом рвались снаряды, так что всем было не до него. И он побежал навстречу танкам. Говорят, в тот вечер он поставил мировой рекорд в беге на один километр по пересеченной местности. Ну, вот и все, что делал мой очень хороший знакомый пятого апреля вечером.

Севастьянов. Молодец твой хороший знакомый. Однако мне окончательно пора. Жаль, что вы, Анна Ивановна, именно здесь живете, а то проводил бы вас, честное слово!

Анна Ивановна. Да, очень жаль, Петр Семенович, очень жаль, что вы не встретились на моем жизненном пути лет сорок тому назад. Впрочем, вас тогда, пожалуй, еще не было на свете.

Севастьянов выходит.

Варенька, помогла бы мне со стола убрать.

Варя. Сейчас. *(Уходит с Анной Ивановной во внутренние комнаты.)*

Женя. Я тоже, пожалуй, пойду.

Сергей. Куда так рано?

Женя. Завтра еще увидимся. И прощаться будем. До свидания, Аркадий Андреевич.

Аркадий. Я провожу вас, Женичка.

Женя. Что с вами, Аркадий Андреевич? Откуда вдруг такая галантность? Не надо, она к вам не идет. А потом, я боюсь, вы по рассеянности поведете меня куда-нибудь не в ту сторону или совсем потеряете. До свидания, Сергей Ильич. *(Выходит.)*

Сергей. До свидания!

А р к а д и й *(после паузы)*. Видал?

С е р г е й. Видал. Ну, что видал? Что видал? Беги скорее за ней!

А р к а д и й. Как?

С е р г е й. Очень просто. *(Хватает со стола сумочку.)* Скажи — сумочку забыла.

А р к а д и й *(выбегает и тотчас возвращается)*. Да это же Варина!

С е р г е й. Неважно, скажешь — спутал. Беги!

А р к а д и й, взяв сумочку, выходит. Некоторое время С е р г е й один. Входит В а р я.

В а р я. А где Аркаша?

С е р г е й. Послал его Женю догонять. Нет, не решится. Пройдет пять шагов и вернется. Нет в нем этой решительности. *(Улыбнувшись и обняв ее.)* Не то, что во мне, да?

В а р я. Да. А знаешь, вот ты завтра уезжаешь, а мне все равно не хочется думать об этом... Знаешь, о чем я сейчас думаю?

С е р г е й. О чем?

В а р я. Как мы с тобой первого сентября поедем в отпуск, на Кавказ, и пойдем пешком по Военно-Грузинской дороге. Утром будем просыпаться, а кругом горы. И все время вместе. Хорошо, да?

С е р г е й. Красота!

В а р я. Первого сентября сядем в поезд. На Кавказ он ведь утром отходит?

С е р г е й. В одиннадцать.

В а р я. И мне не нужно будет тебя провожать, махать платком. Я сама с тобой поеду. А платками пусть нам машут другие. Пусть. Не все же мне.

С е р г е й. Я, наверно, сейчас уеду не очень надолго...

В а р я. Не надо, Сережа. Ты же сам не знаешь на сколько. Не смей меня утешать — рассержусь.

С е р г е й. Ладно.

В а р я. Я тебя люблю за то, что ты такой, я бы другого не любила. Да, ждать, ждать, пускай ждать, но зато, когда мы вместе... Да, я люблю эту жизнь, она и есть настоящая. А другой никакой не хочу... Слышишь? И не смей меня утешать. *(Пауза.)* Тебе надо было итти?

Сергей. Да, я в округ, не надолго.

Варя. Я еще посижу у Аркаши, а потом поеду домой.

Сергей. Я позвоню.

Варя. Хорошо. Ну, иди же скорей, а то опоздаешь.

Сергей, обняв ее, быстро идет к двери. Сталкивается в дверях с Аркадием, выходит.

Варя. Аркаша!

Аркадий. Что?

Варя (*обняв Аркадия, сквозь слезы*). Все неправда, все неправда, не хочу, чтоб уезжал. Каждый день хочу его видеть, каждый день, каждый день, чтоб всегда со мной. . .

Конец шестой картины и второго действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Очень низкая большая землянка — командный пункт. Замаскированная щель в стене. Низкий деревянный стол. У стен земляные выступы, заменяющие скамейки. В углу у полевого телефона — телефонист. Гулиашвили наблюдает за боем в перископ. У него забинтованы кисти обеих рук. Заглушенная землей, все время издали слышится артиллерийская канонада.

Гулиашвили (*отрываясь от перископа*). Почему не идут, ты мне скажи, почему танки не идут? Сколько времени, как от майора сведений нет?

Телефонист. Час.

Гулиашвили. Где майор, ты скажи, дорогой, где майор?

Телефонист (*показывая рукой вперед*). Там, наверно, где же ему быть.

Гулиашвили. Я не вижу, что он там, там танки вперед не идут, там его нет. (*Смотрит в перископ.*) Пошли! Пошли, дорогой, пошли. Куда ты пошел? В солончак попадешь, завязнешь! Налево иди, налево, газу дай, еще газу! Правильно, дорогой! (*Телефонисту.*) Мурманск соедини.

Т е л е ф о н и с т. Мурманск, Мурманск, говорит Орел, Орел, говорит Орел! Семьдесят седьмой, Мурманск, мне дай. Не отвечает? Связь порвана, товарищ капитан.

По ходу сообщения входит В а с н е ц о в в форме комбрига и несколько штабных командиров, связисты вслед за ними несут телефоны и тянут провода.

Г у л и а ш в и л и *(рапортуя)*. Начальник штаба первого батальона капитан Гулиашвили. Батальон выполняет ваше задание.

В а с н е ц о в. Где майор?

Г у л и а ш в и л и. Лично повел в атаку третью роту вместо убитого капитана Горбаченко.

В а с н е ц о в. Так. *(Смотрит в перископ.)* Хорошо. *(Отрываясь от перископа.)* Здесь будет мой командный пункт. Телефоны! Быстро! *(Садится за стол и, стащив с головы кожаный шлем, вытирает лицо.)* Чаю! Все отдам за кружку чаю.

Д н е в а л ь н ы й подает ему жестяную кружку с чаем и галеты.

Т е л е ф о н и с т. Командующий у телефона.

В а с н е ц о в *(беря трубку)*. Да, Мурманск слушает. Да, перервана была. Командный пункт менял. Да, поближе. Взята Зеленая сопка. Песчаную? Скоро возьмем. Первый батальон атакует. Майор Луконин. Да, лично. Есть, сообщу.

Т а н к и с т *(входя)*. Товарищ капитан! *(Замечая комбрига.)* Товарищ комбриг, майор приказал сообщить: высота Песчаная взята, пехота закрепляется, танки выходят из боя.

В а с н е ц о в. Хорошо. Можете итти. *(Телефонисту.)* Соедините с Севастополем.

В блиндаж входит С а ф о н о в и т а н к и с т, держа под руки бесчувственного С е р г е я. Сажают его на лавку, стаскивают шлем и расстегивают на груди кожанку. У Сергея совершенно черное, прокопченное лицо и руки.

В а с н е ц о в *(вставая.)* Что случилось?

С а ф о н о в. Ничего, товарищ комбриг, обморок. Товарищ майор три часа из танка не вылезал. А в танк с

самого начала снаряд попал — пушку и пулемет разбило. Так он просто гусеницами их все время давил. Вот, вывел танк, на воздух вышел и...

Васнецов. Ранений нет?

Сафонов. Нет, товарищ комбриг.

Васнецов. Ну и хорошо. Повыше голову положите, как следует.

Телефонист. Севастополь у телефона.

Васнецов *(в телефон)*. Песчаная сопка взята, товарищ командующий.

Сафонов *(обращаясь к Гулиашвили)*. Здорово он их покрошил. Семь грузовиков раздраконил. Одну штабную машину легковую догнал — прямо через нее: грамофонную пластинку из нее сделал. Неважная скорость у их машин!

Сергей *(заметив Васнецова, пошатнувшись, встает)*. Товарищ комбриг, задача выполнена. Песчаная сопка взята. Разрешите сесть?

Васнецов. Садитесь. Чаю ему налейте! Хотите чаю? Русским людям чай всегда помогает. Пейте.

В землянку двое красноармейцев вводят третьего, молодого парня без каски, с рыжими волосами — мы с трудом можем в нем узнать выросшего за семь лет Петьку. Он без оружия, его винтовку держит один из красноармейцев.

В чем дело?

Красноармеец. Из автобата, товарищ комбриг, послали команду на поддержку пехоте. Все в атаку пошли, а он лег за бугор и остался.

Васнецов. Так... *(Его прерывает телефон. В телефон.)* Да, я — Мурманск. Переносите огонь на рубеж, южней высоты Песчаной. Скорей!

Сергей внимательно смотрит на Петьку. Судя по выражению их лиц, оба узнали друг друга.

Сергей. Товарищ комбриг, разрешите, я с ним займусь.

Васнецов, не отрываясь от телефона, кивает. Сергей, с трудом поднявшись, отводит Петьку в угол.

Ты что же, сукин сын? Ты знаешь, что с тобой теперь надо сделать?

Петька. Испугался.

Сергей. Я знаю, что ты испугался. Я спрашиваю, что теперь с тобой надо сделать, знаешь?

Петька (*почти шопотом*). Знаю — расстрелять.

Сергей. Эх, ты, волжанин! Из оружейной слободы. Не было там таких трусов. До тебя не было и после тебя не будет. (*Пауза*). И ты не будешь.

Петька (*механически*). Испугался:

Сергей. Отдайте ему винтовку.

Петька растерянно принимает винтовку.

Отведите его к капитану Синицыну, скажите, что я приказал ему дать флаг, и пусть первый пойдет в атаку и воткнет флаг на высоте. Повторите приказание.

Красноармеец. Отвести к капитану Синицыну и сказать, что вы приказали дать флаг и чтоб воткнул на высоте.

Сергей (*тихо Петьке*). Иди. И если убьют, то умрешь, как человек. А если останешься жить, то будешь жить, как человек. Понял?

Петька. Понял.

Сергей. Идите, выполняйте приказание.

Красноармеец и Петька уходят. Сергей опять устало опускается на лавку.

Пороховые газы, вот чорт, прямо голова раскалывается. Сафонов, полей воды.

Сафонов из фляжки льет ему на голову воду.

Васнецов (*в телефон*). Кто прорвался? Спокойней! Медленней говорите, тогда я вас быстрей пойму. Японцы прорвались? А где вы были? Резерв бросьте! Бросили? Хорошо. Дам все, что есть. (*Бросает трубку.*) Полуэкватов!

Командир. Я, товарищ комбриг.

Васнецов. Надо срочно что-нибудь бросить на помощь Филатову. Комендантский взвод собрать. Шоферов с машин снять — дать гранаты и патроны, писарям тоже. В роте связи свободные есть?

Командир. Семь человек.

Васнецов. Тоже дать гранаты и патроны. Отправляйтесь, собирайте. Сводную роту поведет... *(Медленно оглядывает присутствующих.)*

Сергей *(вставая)*. Я, товарищ комбриг.

Васнецов, словно не слыша, еще раз оглядывает всех.

Я, товарищ комбриг.

Васнецов. Сводную роту поведет майор Луконин. Левей Филатова у Песчаной прорвался батальон противника. Задержать во что бы то ни стало. Поняли?

Сергей. Понял.

Васнецов. Выполняйте!

Сергей. Есть. *(Идет к двери. Его задерживает Сафонов.)*

Сафонов. Товарищ майор, разрешите с вами?

Сергей. Гранаты есть?

Сафонов *(с силой хлопая себя по набитым карманам)*. А то как же, товарищ майор!

Сергей *(слегка вздрогнув от этого жеста)*. Тише ты. Взорваться захотел.

Выходят.

Васнецов. Еще чаю. *(Телефонисту.)* Соедините с Филатовым. *(Гулиашвили.)* Вы слышали, что Луконин этому трусу сказал, которого приводили?

Гулиашвили. Сказал, чтобы винтовку ему дали, сказал, пусть первым флаг на сопку воткнет.

Васнецов. Ну, и как полагаете, воткнет?

Гулиашвили. Думаю, товарищ комбриг, что если не убьют...

Телефонист. Филатов у телефона.

Васнецов. Майора Луконина вам послал. Сейчас будет. Уже? Как уже? Ну, хорошо, вместе жмите. *(Бросил трубку.)* На грузовики посадил, и в две минуты... Что видно?

Гулиашвили. Левей Песчаной еще одну батарею выдвинули.

Васнецов *(командиру)*. Мой танк здесь?

Командир. Здесь, товарищ комбриг.

Васнецов. А еще сколько здесь?

Командир. Еще три.

Васнецов. Приготовьте. И мой приготовьте. Живей!

Гулиашвили. Товарищ комбриг, разрешите мне туда, к Луконину?

Васнецов. Что?

Гулиашвили. Товарищ комбриг, я говорю...

Васнецов. А вы не говорите. Я вам сам все скажу, когда будет нужно. *(Пауза.)* Ну, как ожоги-то, зажили?

Гулиашвили. Заживают.

Васнецов. Да, не думал я вас тогда живым встретить, а вот видите — заживают. Ну, что там?

Гулиашвили смотрит в перископ. В землянку вбегает связной, он в кожанке, без шлема, голова завязана окровавленным бинтом.

Связной *(задыхаясь)*. Товарищ комбриг! Песчаная сопка... еще держится... Противник идет в контратаку. Во время штыковой атаки майор Луконин убит.

Васнецов *(встает, оперщись руками на стол, говорит очень громко, почти кричит)*. Кто вам сказал, что майор Луконин убит? Вы что, сами видели?

Связной. Нет, я не видел, но мне сказали, все видели...

Васнецов. Неправду вам сказали. Майор Луконин не убит. Майор Луконин только ранен. Вы слышали?

Связной. Да, товарищ комбриг.

Васнецов. Вместо раненого майора Луконина команду над сводной ротой принимает капитан Гулиашвили. Отправляйтесь.

Гулиашвили. Есть, товарищ комбриг! *(Выходит.)*

Васнецов *(одному из командиров)*. Пусть водитель заводит мой танк. Быстро! *(Надевая шлем, на секунду останавливается, говорит тихо, ни к кому не обращаясь)*. Убит... а?

Занавес.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Спустя месяц. Степь. Задняя стена госпитальной палатки на самом краю расположения полевого госпиталя. У палатки сидит Сергей и строгает палку. На одной ноге у него сапог, на другой носок и тапочка. Сергей скучным голосом напевает что-то под нос, видимо уже в сотый раз одно и то же.

Сафонов *(входя)*. Здравствуйте, товарищ майор!

Сергей. Здравствуйте, Сафонов. Как вы сюда попали?

Сафонов. Нелегально, товарищ майор. Капитан Гулиашвили вас проведать послал. «Съезди, — говорит,— Сафонов, проведай».

Сергей. Нет, неправда, не так он сказал. Он, наверно, сказал *(подражая Гулиашвили)*: «Почему, дорогой, мы здесь, а он там? Поезжай, дорогой, посмотри, дорогой, как он там живет, передай тысячу поцелуев». Ведь так он сказал?

Сафонов. Точно, товарищ майор.

Сергей. Ну, как там у вас в батальоне? Где стоите?

Сафонов. За Баин-Цаганом, у левой переправы.

Сергей. Значит, на отдыхе.

Сафонов. Точно, товарищ майор.

Сергей. Слышал я: седьмого и восьмого тяжелый бой у вас был.

Сафонов. Да. Теперь Петренко командир первой роты.

Сергей. А Стасов?

Сафонов. Убили восьмого.

Сергей. Может, ранен только. Меня вон ведь тоже похоронили.

Сафонов. Сам видел. Как вы, тоже вылез из танка, пехоту стал поднимать, — и прямо в грудь, на месте.

Сергей. Да, Сафонов, так близко я от смерти побывал, что теперь, кажется, вовсе никогда не умру.

Сафонов. А как себя чувствуете, товарищ майор?

Сергей *(пробуя плечо)*. Плечо ничего. Грудь тоже ничего, а вот нога. На одной ножке к вам не прискачешь. *(Пауза.)* Все мне было некогда вас спросить, Сафонов, у меня память на лица. Я ведь вас где-то раньше до фронта видел.

Сафонов. Видели, товарищ майор. У вас вроде именин было, а я к вам с такси приезжал за капитаном Гулиашвили.

Сергей. Верно, помню.

Сафонов. А вот капитан вид делает, что не помнит: он на меня сердитый, что я ему тогда баранку покрутить не дал. А мне нельзя было давать, нас за это милиция греет. Вы ему при случае разъясните, что я не мог. Хорошо?

Сергей *(улыбнувшись)*. Хорошо, разъясню. Ну, как тут после такси?

Сафонов. Прекрасно, товарищ майор. Никаких правил уличного движения, ни тебе красного цвета, ни стоп, ни правых поворотов. Красота. Правда, стреляют иногда. Но я этот звук так расцениваю, как будто просто баллон спустил.

Сергей. Так что ж, просто справиться обо мне приехал?

Сафонов. Да, скучают без вас в батальоне.

Сергей. Скучают... *(Пауза.)* Так и сказали, значит: справиться, как жив-здоров. А не говорили тебе *(снова подражая Гулиашвили)*: если ногами шевелит, посади в машину, привези сюда, а?

Сафонов. А не выдадите, товарищ майор?

Сергей. Не выдам.

Сафонов. Говорили. Если, мол, здоров, то намекни, а если болен, ни звука. Я считаю, поскольку вы больной...

Сергей. Тоже мне доктор нашелся... А то мне их без тебя нехватало. Они у меня, знаешь, где сидят, доктора? Вот здесь. Я бы уж давно отсюда удрал, да тут главный врач — суровая личность. Зверь просто. Слова ему не скажи! *(Пауза.)* Ну, ладно. Уеду я сегодня отсюда, поняли?

Сафонов. Есть, товарищ майор.

Сергей. Сейчас вечерний обход будет. А часочка через полтора подъедете потихоньку — и поедем. Только поближе подъезжайте, а то ходить-то я еще не очень.

Сафонов. Можно, товарищ майор. В притирочку машинку подадим. *(Улыбнувшись.)* Как счетчик-то: выключать или, если быстро, то можно не выключать?

Сергей. Быстро, быстро, можете не выключать.

Аркадий *(входя в белом халате поверх военной формы, с полотенцем в руках, подозрительно смотрит на Сафонова)*. Вы откуда? Почему без разрешения на территории госпиталя?

Сергей. Товарищ военврач, это ко мне из части навестить приехали.

Аркадий. Навестить? *(Смотрит вдаль.)* А машина ваша?

Сафонов. Моя, товарищ военврач.

Аркадий. Итак, вы, значит, навестили?

Сафонов. Да, товарищ военврач.

Аркадий. Ну, навестили — и поезжайте. Товарища майора волнуют визиты, особенно если с визитом приезжают на машине. Поезжайте.

Сафонов *(подмигивает)*. До свидания, товарищ майор.

Сергей *(тоже подмигивая)*. До свидания. Передайте: как выпишут, так приеду.

Сафонов уходит.

Аркадий. Какая-то подозрительная покорность — выпишут, приеду.

Сергей. Конечно, покорность, — ты же теперь начальство. И притом суровое. За что на шофера набросился?

Аркадий. Знаем мы эти визиты. Сначала навестили, а потом увезли. Предупреждаю: если попробуешь — догоню, свяжу и обратно на месяц. Ну, как себя чувствуешь?

Сергей. Выписал бы, а?

Аркадий. Отстань.

Сергей. Я знаю, почему ты не хочешь: тебе просто приятно иметь под рукой родственника.

Аркадий. Товарищ майор...

Сергей. Да, товарищ военврач. *(Пауза.)* А помнишь, Аркаша, Саратов... Тишина... Клиника... Странно, да?

Аркадий *(присаживаясь)*. Да как тебе сказать. Иногда еще странно... Хотя, впрочем, этот госпиталь — еще не война. Сто верст от фронта. Я еще ни одного

выстрела не слышал. Вот, война кончится, тогда, я надеюсь, нас, врачей, на автобусе вдоль фронта повезут в экскурсию. Вот здесь, скажут, все это происходило, отсюда к вам везли тех, которых вы потом чинили, лечили, зашивали. И мы будем удивляться всему, как самые настоящие штатские люди.

Сергей. Значит, ни одного выстрела не слышал?

Аркадий. Нет.

Сергей. Ну, а бомбежки? Я, например, их, честно говоря, боюсь. А для тебя они, значит, уже не в счет?

Аркадий. Бомбежки? Да как тебе сказать? Когда первая была, у меня на очереди к операционному столу восемнадцать человек лежало, некогда было пугаться. А потом привык. Чорт его знает, пожалуй, ты прав — война меняет человека, заставляет понять, что в жизни важно, а что — мелочь.

Сергей. Верно, Аркаша. По себе могу сказать — ох, не любят люди умирать. Но если уж умирать, то хотят умирать за что-то самое важное. И на войне, когда смерть перед глазами, забываем все наши обиды, неудачи, неурядицы, все, что можно забыть, забываем. А помним только то, чего забыть нельзя. Что помним, за то и умираем.

Аркадий. Да, ты прав. Как ни верти, хоть и делал все, что мог, а уже много людей у меня здесь на руках умерло. И странное дело: другой человек у тебя на руках умирает, а ты чувствуешь, что ты жил не так, как надо. Нет, не так я жил, совсем не так. Я здесь почувствовал, что ничего в жизни откладывать нельзя. Ни любви, ни дружбы, ничего. И знаешь, что?

Сергей. Догадываюсь.

Аркадий. Да, я о Жене. Ты сто раз прав. Когда я вернусь, больше ни одного дня этой ерунды... В первый же день все ей скажу, и пусть решает.

Сергей. Первые умные слова, которые я слышу от тебя за пятнадцать лет знакомства.

Аркадий. Хорошо, смейся. Я уже написал ей письмо с объяснением в любви.

Сергей. Молодец! И послал?

А р к а д и й. Нет, завтра пошлю. Я хотел тебе показать.

С е р г е й. Мне? Зачем?

А р к а д и й. Ну, все-таки у тебя опыт. У Варьки лежит по крайней мере два пуда твоих писем.

С е р г е й. Неужели два пуда? Хотя, за столько лет... Но они все одинаковые: «Варька! Жду! Хочу видеть! Скорей! Варька! Жду! Хочу видеть! Скорей!» Тебе от меня будет мало проку.

А р к а д и й. Ничего, все-таки почитай.

С е р г е й. Ну, ладно, давай.

А р к а д и й передает ему письмо.

В р а ч *(вбегая)*. Товарищ военврач!

А р к а д и й. Что такое?

В р а ч. Из авиаполка приехали за вами. Там над аэродромом воздушный бой был. Ихних несколько, но и наш один — капитан. Боятся, не довезут сюда его без операции, на месте просят.

А р к а д и й. Машина готова?

В р а ч. Они на своей.

А р к а д и й. Едем! *(Сергею.)* Я через час приеду, зайду, договорим. *(Уходит.)*

С е р г е й, проводив его взглядом, развертывает письмо, проглядывает его.

С е р г е й *(один)*. «Я давно люблю тебя»... Правильно, молодец!

Издалека слышится чья-то песня. На сцене темнеет. Полная темнота. Когда снова появляется свет, в степи уже сумерки. С е р г е й опять в прежней позе строгает палку, палка, имевшая раньше очень неопределенный вид, сейчас приобрела почти законченную форму. Время от времени С е р г е й прислушивается. Входит С а ф о н о в.

С а ф о н о в. Что прислушиваетесь, товарищ майор? Я без гудка, тихо, с конспирацией.

С е р г е й. А я, Сафонов, не к вашему гудку прислушиваюсь.

С а ф о н о в. Я думал, меня ждете. Что, раздумали?

Сергей. Нет, сейчас поедем. Я тут только дождусь, мне нужно... Вы пойдите к машине, посидите еще полчасика.

Сафонов *(пожав плечами)*. Есть, товарищ майор. Только, ночь будет, растрясу я вас по кочкам.

Сергей. Ничего. Идите.

Сафонов уходит. Сергей, оставшись один, опять прислушивается. Входит врач.

Что, товарищ Антоненко, все еще не приехал Бурмин?

Врач. Нет еще. Из чего у вас палочка, товарищ майор?

Сергей. Из пропеллера.

Врач. И ехать-то ему всего десять километров... Обход надо делать... Из пропеллера, говорите?

Сергей. Да, тут недавно во время бомбежки одна их птичка в землю уткнулась, — вот принесли мне кусок пропеллера. А то ведь здесь на триста верст ни одного порядочного дерева нет!

Врач *(разглядывая палку)*. Ох, и терпение у вас!

Сергей. Ну, это когда как. *(Пауза.)* Что ж, Бурмина-то нет, а?

Врач. Может, начальнику по телефону звонили, пойду спрошу.

Сергей. И правда, сходили бы.

Врач уходит. Долгое молчание. Сергей рассеянно строгает палку. За сценой слышны голоса. Сергей прислушивается. Встает.

Голос Аркадия. А я вам говорю — сюда!

Двое санитаров вносят на носилках Аркадия. Он очень бледен. Рядом с носилками идет врач.

Аркадий *(хриплым голосом)*. Отстань, тебе говорю. Не хочу я под брезентом... Здесь положите.

Санитары ставят носилки.

Под голову повыше.

Ему подсовывают что-то первое попавшееся под голову.

Врач. Может, попробовать извлечь?

Аркадий. Что там извлечь! Что я, ребенок, что ли! Не знаю... когда... Сережа, скажи ему, чтоб отстал! *(Врачу.)* Будешь ковырять, а что толку? Отстань, дай три минуты пожить спокойно.

Врач. Аркадий Андреевич, может быть, все-таки...

Аркадий. Ну, жалко вам меня, ну, понимаю, но глупости-то зачем предлагать? Ведь видите сами... Сережа...

Сергей *(наклоняясь над ним)*. Аркаша, как?

Аркадий. Так. Шляпы. Нашему сделал операцию, стал пленного перевязывать, так, шляпы, маузер у него взяли, а другой, маленький, в комбинезоне, не заметили. Всадил, — вот прямо, когда нагнулся над ним. *(Замечает вопросительный взгляд Сергея, обращенный к врачу.)* Все, Сережа, все. Ты что его спрашиваешь. Ты меня спроси, я же лучше знаю. Он ординатор, а я профессор. *(Пауза.)* Везти сюда не хотели, боялись, а я велел. Тебя видеть хотел. *(Пауза.)* Нагнулся над ним, а он... Пристрелили его, так и надо.

Сергей. Аркаша, ты не дури, слышишь! *(Врачу.)* Ну, что вы стоите! Сделайте же что-нибудь.

Врач за спиной Аркадия делает безнадежный жест.

Аркадий. Ничего он не может. Я только по дороге, что не доеду, боялся. А сейчас... Почему опять голову опустили? Поднимите.

Сергей поднимает его за плечи.

Сторожить не буду... удерешь теперь, да? *(Пауза.)* Что молчишь? Знаю... удерешь... Письмо прочел?

Сергей. Прочел.

Аркадий. Изорви. Пусть не знает, а то еще хуже. Изорви, слышишь?

Сергей. Слышу.

Аркадий. Нагнулся к нему, а он... Ты их...

Долгое молчание.

(Почти шопотом.) Это хорошо, что бреда у меня нет. Повыше... Выше... *(Запрокидывает голову.)*

Сергей медленно опускает его на носилки. Врач и санитары снимают фуражки. Долгое молчание. Сергей, встав, рукавом стирает с глаз слезы, оглядывается на врача и санитаров.

Врач. Я скажу начальнику, что родным вы напишете.

Сергей. Напишу.

Санитары поднимают носилки и молча уходят вместе с врачом.

(Механически, не замечая их ухода, повторяет.) Напишу. Напишу. А что я им напишу?

Сафонов *(входя)*. Ну, как, был обход, товарищ майор?

Сергей. Был.

Сафонов. Хирург-то вас не задержит?

Сергей. Теперь не задержит. *(Смотрит себе на ноги.)* Сапог у вас нет каких-нибудь?

Сафонов. Есть, только старые, ношеные, они вам просторны будут.

Сергей. Вот и хорошо. *(Поднимает палку и, прихрамывая, идет вслед за Сафоновым.)* Разобьем их, Сафонов?

Сафонов. А то как же, непременно разобьем, товарищ майор!

Сергей *(угрюмо)*. Разобьем их! Чтоб и праху от них не осталось! Чтоб в урнах домой везти нечего было!

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Вечер следующего дня. Степь. Наполовину зарытая в землю эмка. В глубине палатка. За сценой женский голос поет последние слова какой-то арии. Аплодисменты. На заднем плане видны фигуры расходящихся после концерта бойцов. Входят Севастьянов и Гулиашвили.

Севастьянов. Что же ей говорить?

Гулиашвили. То же самое, дорогой: вызвали к командующему, уехал на три дня. И коротко, и на правду похоже.

Севастьянов. Не поверит.

Гулиашвили. Хорошее известие будет — правду скажем, а пока нельзя.

Севастьянов. Когда Сафонова послали?

Гулиашвили. Вчера в девять. Два дня. Не знаю, что и думать, дорогой. Хорошо думать — не могу. Плохо думать — не хочу.

Севастьянов. Боюсь, проболтается кто-нибудь.

Гулиашвили. Если я не проболтаюсь, никто не проболтается.

Лейтенант *(входя)*. Товарищ капитан, артисты в палатке, ужинают. Какие будут приказания?

Гулиашвили. Сейчас покушают, потом спать лягут. Утром в машину посадим, на другое место повезем. Куда им завтра?

Лейтенант. В политотдел.

Гулиашвили. В политотдел свезем. Пойдем посмотрим, как кушают.

Направляются к выходу. Навстречу выходит Варя.

Куда? А кушать?

Варя. Я не хочу, я потом...

Гулиашвили. Нельзя потом. Сейчас вернусь — уговорю.

Лейтенант и Гулиашвили уходят.

Севастьянов *(сажая Варю на крыло эмки)*. Это наша с Сережей штаб-квартира. Комаров всех выкурим и спим в ней ночью. Если скучно — радио заводим, там радио есть. *(Пауза.)* Хорошо вы пели. Испытал я удовольствие. И читали тоже хорошо. *(Пауза.)* Этот толстенький смешные рассказы читал, — он что, новый в труппе?

Варя *(рассеянно)*. Да. Что вы спросили?

Севастьянов. Я спросил: этот толстенький — новый в труппе?

Варя. Да, новый. Комик.

Севастьянов. Вы что, значит, с самолета — и прямо к нам?

Варя. Нет, мы уже утром в политотделе были, а потом у зенитчиков. У нас ведь свое расписание. Мне просто повезло, что в первый же день — сюда.

Севастьянов. Очень большое наслаждение приносят бойцам такие концерты.

Варя. А мы так и подумали. Пошли в политуправление округа и сказали: «Ваша бригада на фронте, мы тоже хотим туда свою бригаду послать». Вот и приехали. Правда, наша бригада немножко меньше вашей, всего пять человек.

Гулиашвили (*входя*). Зато какие люди!

Варя. Я, когда пела, смотрела — у вас много новых лиц, а знакомые не все. Где капитан Стасов? Я ему письмо от жены привезла.

Гулиашвили. Нет его. Погиб.

Варя. А она посылку хотела — и опоздала. Я видела, как она по платформе бежала, когда поезд уже тронулся.

Молчание.

Вано, где Сережа?

Гулиашвили. Я же русским языком сказал тебе, что его в штаб армии вызвали.

Варя. Петр Семенович, это правда?

Севастьянов. Безусловно. Он тут безусловно, если не завтра — послезавтра будет, — сами убедитесь.

Гулиашвили. Ну, подумай сама, Варя, зачем я тебя обманывать буду? Сама увидишь, сама спросишь, — сам тебе скажет — правдивый человек Вано!

Севастьянов. Ну, что вы волнуетесь, Варвара Андреевна?

Варя. А я не волнуюсь, я просто должна сегодня видеть Сережу. Непременно сегодня.

Гулиашвили. Ну, а если завтра... нет, я, конечно, понимаю...

Варя. Нет, Вано, ты не понимаешь, ничего не понимаешь. Я должна его видеть, потому что...

Гулиашвили. Что потому что? Ну, говори же, что «потому что»? Я так не могу!

Варя. Мы были в политотделе утром, и там... там...

Гулиашвили. Что там? Что там? Или я сейчас пойду звонить туда... что там?

Варя. Там не знали, что я... и при мне сказали, что Аркаша погиб.

Севастьянов. Как погиб! Как он мог погибнуть? Глупости там болтают! Не верьте им!

Варя. Они сказали, что профессор Бурмин погиб при исполнении обязанностей и что надо кого-нибудь вместо него... Аркаша... Но ведь он... я же думала, что увижу его, а оказывается, тогда последний раз был на вокзале, а я не знала, что последний, я шутила с ним, что он смешной очень в военной форме. И над Сережей тоже шутила, что он так долго меня обнимает, что проводники боятся — увезет с собой без билета. Но я его увижу! Увижу! Да?

Севастьянов. Конечно, Варвара Андреевна, конечно, увидите.

Варя. Я попрошусь и поеду туда, где он, хоть на один час. Мне разрешат?

Гулиашвили. Конечно, разрешат.

Варя. Вы не сердитесь, что я так... Я... я сейчас буду совсем в порядке. Ну вот, уже ничего, вот видите!.. Там у вас ведь ужин, я тоже пойду ужинать. Вкусный у вас ужин, да?

Гулиашвили (*обняв ее за плечи, идет с ней к палатке*). Хороший ужин, сейчас попробуем. У меня один апельсин есть. Любишь апельсин?

Варя. Очень.

Гулиашвили. Сейчас тебя провожу, схожу — принесу.

Скрываются в палатке.

Севастьянов (*один, кричит*). Левшин?

Входит танкист.

Сейчас эмку заправьте, поедете в полевой госпиталь, найдете Сафонова, из-под земли достанете и узнаете, что с майором. Идите.

Танкист выходит.

Гулиашвили (*входя*). Что делать?

Севастьянов. Прежде всего достать апельсин, ты же за ним пришел.

Гулиашвили. Апельсин? Какой апельсин? Нету у меня никакого апельсина!

На сцену, прихрамывая, опираясь на палку, входит Сергей, за ним Сафонов.

Сергей. Кто тут апельсинами торгует, а?

Гулиашвили (*обнимая его*). Дорогой! Вырос, красивый стал, не узнать.

Сергей. Ты на меня смотри, чего ты в гимнастерку-то уткнулся?

Гулиашвили. Так. Ближе рассматриваю. Возьми его, Севастьянов, — что он в самом деле такой красивый — плакать хочется.

Сергей молча обнимается с Севастьяновым.

Севастьянов. Что долго ехал?

Сергей. Растряс он меня вчера ночью, сегодня у летчиков полдня отлеживался. Потом в штаб являлся. Сафонов, похищение благополучно окончено, теперь идите выполняйте свои прямые обязанности. Машину в укрытие заведите.

Сафонов уходит.

Ну, как тут у вас, Севастьяныч?

Севастьянов. Третий день отдыхаем.

Сергей. События какие?

Севастьянов. События? Есть тут для тебя одно событие. Пойдем, капитан, пришлем ему это событие.

Вместе с Гулиашвили направляются к палатке.

Сергей. Куда вы?

Гулиашвили. Сейчас, дорогой, одну минуту.

Оба скрываются в палатке. Сергей один стоит в некоторой растерянности. Из палатки выходит Варя.

Варя (*вглядывается, бросается на шею Сергею*). А мне сказали, что тебя вызвали куда-то.

Сергей. Соврали. Ранили меня. В госпитале был...

Варя. В госпитале?.. В каком? В том, где... в том, где Аркаша?

Сергей *(с запинкой)*. Нет, не в том. В другом. А что?

Варя. В другом...

Сергей. А что ты, что ты так... как-то...

Варя. Нет, я ничего.

Сергей *(заглядывая ей в глаза)*. Все такие же. Только вот что: слезы это ни к чему, Варька.

Варя. А сам?

Сергей. Мне можно. По слабости здоровья. Я же ранен был. *(Пауза.)* Как ты попала?

Варя. Я не одна. Мы впятером от театра по всем частям поедем.

Сергей. А я вот возьму и в своей части тебя оставлю. Придется им вчетвером дальше ехать, а?

Варя. Не оставишь.

Сергей. Я бы оставил... Тридцать семь атак у меня тут было, Варька. Тридцать семь раз тебя перед этим вспоминал. Два экипажа у меня сменилось. А я, вот видишь...

Входит Сафонов.

Сафонов. Машина поставлена, товарищ майор.

Сергей *(быстро отстранив от себя Варю)*. Хорошо, можете итти.

Сафонов уходит. Варя снова хочет прижаться к Сергею, но он отодвигается.

Не нужно, Варенька, не нужно.

Варя. Почему?

Сергей. Нельзя. Вот ты приехала ко мне к одному. Такое счастье! А тут у всех жены далеко. А им завтра в бой. Трудно им на нас с тобой смотреть. *(Пауза.)* Если все тихо будет, я к тебе на Хамардабу на целый день приеду! Вы ведь там, наверно, будете, в политотделе.

Варя. Наверно.

Сергей *(другим тоном)*. Вы что там в палатке-то делали, ужинали?

Варя. Да. Мы хотели сразу ехать, но Вано сказал, чтоб поужинали и заночевали, а утром обратно.

Сергей. Утром? Неправильно он вам сказал.

Варя. Почему неправильно?

Сергей. А потому неправильно, Варенька... *(на секунду крепко прижав ее к себе, снова отпускает)*, потому неправильно, что это передовая и никто и никогда не знает, что здесь может случиться через час. *(Пауза.)* Сейчас подадут вам после ужина машину — и поедете.

Варя. Сережа, я должна была тебе... Я не могу так, не поговорив...

Пауза. Из палатки выходит Гулиашвили.

Сергей. Товарищ капитан, прикажите подать машину, и сейчас же отправьте товарищей актеров в политотдел. Там будут тревожиться, если они не приедут сегодня...

Гулиашвили. Товарищ майор, мы уж тут...

Сергей. Товарищ капитан, повторите приказание.

Гулиашвили. Подать машину, отправить товарищей актеров в политотдел.

Сергей. Выполняйте.

Гулиашвили, козырнув, уходит.

Варя. Сережа!

Сергей. Да.

Варя. Трудно мне уезжать.

Сергей. Верю, Варенька, верю. Я постараюсь к тебе скорей, как можно скорей.

Варя. Не только это трудно, трудно, потому что...

Гудок машины.

До свидания, Сережа.

Сергей *(пристально глядя на нее)*. Варя, ты что-то знаешь и молчишь. Что ты знаешь?

Варя. Я... Ты тоже знаешь. Да? Я не хотела... Но, значит, ты сам знаешь.

Сергей. Да. *(Обнимает ее.)* Я не мог. Сказать — и потом отпустить тебя. Не мог.

Варя. Сейчас я уеду. Сейчас. Я узнала еще утром. Он всегда был... Был, был... Не могу этого слова...

Севастьянов *(входя)*. Варвара Андреевна, вас ждут.

Варя. Сейчас. Иду. Сережа, я не тревожусь за тебя, слышишь? С тобой ничего не может быть, и не будет.

Сергей хочет обнять ее.

Не надо, ты же ко мне скоро приедешь. Дай руку. Вот так. Крепче... разве так жмут? Крепче, еще крепче, так. На счастье.

Вырвав руку, убегает. Сергей пробует побежать за ней, но нога подвертывается, и он, хромая, добирается до эмки, садится на крыло. Прислушивается. Шум отъезжающей машины. Молчание. Входят Гулиашвили и Севастьянов.

Гулиашвили (*сухо*). Ваше приказание выполнено, товарищ майор.

Сергей. Ну, что ты обиделся? Не понял разве? Садись! Севастьяныч!

Гулиашвили присаживается рядом. Севастьянов залезает внутрь эмки и начинает настраивать радио.

А ведь неспроста вы уже три дня отдыхаете, когда другие дерутся.

Гулиашвили. Я тоже думаю, дорогой.

Сергей. Я по дороге обогнал понтонный батальон. Они очень торопились к переправе. По-моему, в воздухе попахивает последним штурмом. И наша бригада... Словом, у меня есть нюх, я, кажется, правильно выбрал день, чтобы приехать сюда.

Гулиашвили. Очень правильно, дорогой. Так правильно, как будто ты за сто верст увидел, как командующий приказ пишет.

Сергей. Уже есть приказ?

Гулиашвили. Не знаю. Но я сегодня видел комбрига — у него было очень интересное лицо. Как будто он очень хочет что-то всем сказать, но пока не может. (*Пауза.*) Видал новые машины?

Сергей. Видал.

Из эмки слышится танцовальная музыка.

Попробуй Европу поймать, Севастьяныч.

Севастьянов. Трудно. Все время глушат друг друга. Вот слышишь?

Слышен треск, тишина, опять треск.

Гулиашвили. Ничего не сделаешь, дорогой, война. На земле война — в эфире война.

Врывается резкая военная музыка. Слова немецкой военной песни. Топот солдатских сапог.

Голос немецкого диктора. Wir übertragen aus Krakov. Es marchieren augenblicklich unsere Soldaten auf den Strassen der uralten Stadt Polen.

Сергей. Немцы вступили в Краков. *(Переводит.)* «Наши солдаты маршируют по улицам древнейшего города Польши».

Голос диктора. Es ist die Stadt, die jemals die uralte Hauptstadt Polen gewesen ist.

Сергей. «Этот город когда-то был древней столицей Польши!»

Голос диктора. Diese Stadt, die sechshundert tausend Einwohner hatte...

Сергей. «Этот город, в котором было шестьсот тысяч жителей»... Довольно, выключи.

Севастьянов выключает радио. Молчание.

Здорово здесь, в Монголии, чувствуешь расстояние, а? *(Пауза.)* Конечно, все эти Беки и Рыдз-Смиглы — дрянь и авантюристы, но когда я думаю о польских солдатах, просто о людях... Честное слово, мне надоело слушать, как эти фашисты маршируют по Европе.

Сафонов *(вбегая)*. Товарищ майор!

Сергей. Что?

Сафонов. Только самый конец поймали.

Сергей. Какой конец? Чего конец?

Сафонов. Указа. Я на рации был. Только включил и слышу: «Одиннадцать — красноармейца Якимчука Ивана Петровича. Сейчас мы передавали Указ Верховного Совета о награждении званиями Героев Советского Союза участников боев в районе реки Халхин-Гол». Товарищ майор, разрешите эмку взять, я съезжу во второй батальон, может, там на рации все поймали.

Сергей. Если поймали — сами сообщат.

Сафонов. Нет терпенья, товарищ майор. Разрешите, за вас же интересуюсь!

С е р г е й. А что вы так за меня интересуетесь?

С а ф о н о в. Я слышал, товарищ майор, что из нашей бригады...

С е р г е й. А вы слухам не верьте. Поняли?

С а ф о н о в. Понял.

С е р г е й. Можете итти.

С а ф о н о в уходит.

(Сергей взволнованно прохаживается, говорит ворчливо себе под нос.) Слышал он! Я тоже, может быть, слышал. А вот не верю. Не позволяю себе верить.

Г у л и а ш в и л и. А хочется поверить, дорогой.

С е р г е й. Конечно, хочется. Что я каменный, что ли?

Г у л и а ш в и л и. А знаешь, Сережа, все-таки здорово это придумано, дорогой, что будут ставить бюст героя там, где он родился. В том городишке, где играл в «казаки-разбойники» и гонял голубей, стоит твой бронзовый бюст, и все мальчишки города хотят быть похожими на тебя. Они проходят мимо твоего бюста и говорят: «Это же — парень из нашего города!» А про себя думают: «А чем мы хуже?»

М о т о ц и к л и с т *(входя)*. Товарищ майор! Пакет из штаба бригады. *(Передает пакет, вынимает из кармана кожанки газету.)* А это — из политотдела. Приказали лично вам передать. Срочный выпуск фронтовой газеты. Разрешите ехать?

С е р г е й. Можете ехать. *(Разрывает пакет.)* К двадцати одному — на исходные позиции. Значит, правильно. Штурм. Севастьянов! Начинайте выводить вашу роту. Пойдете головным.

С е в а с т ь я н о в. Есть. *(Уходит.)*

С е р г е й *(к Гулиашвили)*. Вы начнете через пять минут следом за ним.

Г у л и а ш в и л и. Дорогой! В этой газете указ, непременно указ о героях. Из нашей бригады — ты. Я точно знаю. Посмотри.

С е р г е й *(складывает газету вдвое, потом вчетверо, решительно засовывает ее под кожанку, застегивает пуговицу)*. После боя прочту.

Г у л и а ш в и л и. Ну, как же ты, дорогой? Итти в бой, не зная: вдруг — да, а вдруг — нет.

Сергей. Ничего, злей буду.

Гулиашвили. А если...

Сергей. Что — если? Если убьют? Да? Так эти «если» в нашей с тобой жизни уже десять раз были и еще сто раз будут. О них думать — воевать разучишься. *(Дотрагивается рукой до кожанки, там, где под ней спрятана газета.)* Здесь не только те, что дожили: здесь ведь и те, что не дожили. Победу одни живые не делают. Ее пополам делают: живые и мертвые. А война еще только начинается.

Гулиашвили. Начинается? Последний штурм, дорогой.

Сергей. Последний штурм? Чего? Зеленой сопки на реке Халхин-Гол? Ты сегодня плохо слушал радио, Вано.

Гулиашвили. Почему плохо?

Сергей. Плохо. Ты сейчас о последней сопке думаешь, а я — о последнем фашисте. И думаю о нем давно, еще с Мадрида. Пройдет, может быть, много лет, и за много тысяч километров отсюда, в городе... в общем в последнем фашистском городе поднимет этот последний фашист руки перед танком, на котором будет красное, именно красное знамя. И вылезет из танка танкист и усталой рукой вытрет с лица пот. Кто это будет? Кто вылезет? Ты? Или я? Или не ты и не я, а кто-то совсем другой. Всякие будут «если». Только победа будет без «если». Просто будет — и все. *(Смотрит на часы.)* Иди, Вано, и выводи свою роту, а я замыкаю через пять минут.

Гулиашвили уходит. Сергей остается один. Бессознательным движением расстегивает пуговицу кожанки. Долгая пауза. Снова застегивает пуговицу.

Сергей. И все-таки, кто же там вылезет из танка? *(Пауза.)* И все-таки я вылезу. Я. Сам.

Конец пьесы.

РУССКИЕ ЛЮДИ

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Никитич Сафонов, 32 года — командир автобата.
Марфа Петровна, 55 лет — его мать.
Валя Анощенко, 19 лет — шофер.
Александр Васильевич Васин, 62 года.
Иван Иванович Глоба, 45 лет — военфельдшер.
Панин — корреспондент центральной газеты.
Ильин — политрук.
Шура — машинистка.
Харитонов, 60 лет — врач-венеролог.
Мария Николаевна, 55 лет — его жена.
Козловский — он же Василенко — 30 лет.
Морозов.
Лейтенант.
Старик.
Семенов.
Розенберг.
Вернер.
Краузе.
Неизвестный.
Раненый.
Командиры, красноармейцы, немецкие солдаты.

Место действия — Южный фронт.

Время действия — осень 1941 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната с большой русской печкой, с иконами в углу. Рядом с ними пришпилена большая фотография Сафонова в кепке и шоферских рукавицах.

На сцене вечер. Марфа Петровна сидит за картами. Против нее Мария Николаевна в пальто.

Марфа Петровна *(отрываясь от карт)*. А то, может, разденешься?

Мария Николаевна. Нет, нет, я не надолго.

Марфа Петровна. А помнишь, Маруся, как мы на женихов с тобой гадали, а? Это в каком году-то было? Дай бог памяти. Это было в году... в тысяча девятьсот восьмом году это было. Думали все, какие они явятся? Ах, хорошие, наверно. И вот оказалось все напротив. Мой и пожить со мной не успел — помер. А твой — ты извини, — какой гадюкой оказался.

Мария Николаевна. Марфа Петровна...

Марфа Петровна. Ты уж извини, — гадюка. Говорю, что думаю.

Мария Николаевна. Ну, а что же ему было делать? Что же ему было делать? Пришли, стали в доме жить. А потом городским головой назначили. Он не хотел.

Марфа Петровна. Верю, что не хотел, но у него главная мысль не об этом. Ему все равно, кем быть. Его главная мысль, чтобы живым остаться. Раз

струсил, два струсил, три струсил, а дальше до подлости дошел. Ты мне не говори, я его тоже знаю. *(Наклоняется над картами)*. И выходит тебе, Маруся, казенный дом. А дальней дороги тебе не выходит. Как тут жила, так и помрешь, дура дурой. Вот сын твой придет с войны, он вас отблагодарит. Скажет: спасибо вам, родители, за то, что фамилию мою опоганили, отмыть нечем. Вот что он вам скажет.

Мария Николаевна. Если бы только жив был... Я от него из Тирасполя последнее письмо получила.

Стук в дверь.

Марфа Петровна *(идет к двери)*. Кто там?

Голос. Быстрей.

Марфа Петровна открывает крючок. Входит немецкий фельдфебель, солдат и Козловский. Козловский в пальто, в полувоенной фуражке, с полицейской повязкой на рукаве.

Козловский. Сюда женщина входила? *(Замечает сидящую за столом Марию Николаевну, подходит, быстро поворачивает ее за плечи.)* Простите. Как вы сюда попали?

Мария Николаевна. Подруга детства. Здравствуйте.

Козловский. Здравствуйте... *(Смотрит на карты.)* Ах, гаданье... тройка, семерка, туз... Давно вы здесь?

Мария Николаевна. Давно.

Козловский *(поворачивается к фельдфебелю)*. В следующий дом. Тут нет. *(Выходят.)*

Марфа Петровна, заперев дверь на крючок, брезгливо вытирает руку о висящее у двери полотенце.

Мария Николаевна. Козловский. Знаете, как первый день познакомились с ним, милый был человек. Каких-то родственников своих здесь вспоминал: дядю пятнадцать лет не видал, говорил. Сидел, чай пил... А сейчас просто страшен. Дергается весь.

Марфа Петровна. Погоди, погоди, и твой

тоже дергаться будет. Люди, когда до окончательной подлости доходят, так сразу дергаться начинают. Эх, ты! Взяла бы в платочек платьишки, связала, с чем пришла тридцать годов назад, да и ушла бы от него. А немцам порошку бы на прощанье всыпала. Да где уж там... А ведь хорошая ты девка была, красивая, веселая. Где все, скажи, пожалуйста?..

Мария Николаевна. Я пойду. Поздно уже. Но только не думай так плохо...

Марфа Петровна. Иди уж! Тошно будет — заходи. Сперва поворчу, потом пожалею. Тебя, конечно. А твоего мне не жалко. Тьфу! Ну его к чорту. *(Провожает гостью, закрывает дверь на крючок, прислушивается. Потом громко, повернувшись к печке, говорит.)* Ну!

С печки легко соскакивает Валя в куртке и мужских сапогах.

Марфа Петровна. Ну вот, и проехали гости. Сердце-то колотилось, небось?

Валя. Ага.

Марфа Петровна. Все ж таки страшно?

Валя. Ага.

Марфа Петровна. Эх ты, разведчица! Чаю-то хочешь?

Валя. Ага.

Марфа Петровна. Что ты мне все «ага» да «ага», как басурманка. Ты скажи: «Спасибо, тетенька, премного благодарна, налейте мне чаю».

Валя. Спасибо, тетенька, налейте чаю.

Марфа Петровна. Вот то-то.

Далекие выстрелы.

Опять стреляют. *(Пауза.)* Скажи-ка, девушка, а вот ко мне тут мужчина от вас являлся, про сына говорил, привет передавал. Ну, это, конечно, прочих дел не считая. Где тот мужчина, цел или нет?

Валя. Его вчера в бою убили. Потому меня и прислали, что он не мог.

Марфа Петровна. Да, видный был. А ты что, девушка, через лиман вплавь, что ли?

Валя. Вплавь. *(Пауза.)* Когда он придет, а?

Марфа Петровна. Придет в свое время. Сейчас на улицах все патрули ихние топают. Вот оттопают, пойдут свой кофий пить, вот он и придет как раз. Человек он такой, аккуратист.

Валя. Как его звать-то?

Марфа Петровна. Как раньше звали, не помню, а теперь Василием зовут. Теперь всех у нас так зовут: кого Василием, кого Иваном...

Валя. Я ведь тут раньше шофером у председателя горсовета работала, так что я многих знаю.

Марфа Петровна. Шофером? Ну, тогда, может, и знаешь. Он, говорят, до немцев известный человек был в городе.

Валя. Кто он?

Марфа Петровна. Да Василий.

За окном близкий выстрел.

Вон, опять бьют... А ты говоришь, почему не идет. Придет в свое время. Ты лучше чайку попей.

Валя. Ой, дайте.

Марфа Петровна (*наливает чай*). Ишь какая. Пришла, целый кувшин воды сразу, а теперь чаю.

Валя. Да ведь нет у нас там воды. Водокачку взорвали. Стакан на день, хоть из лимана соленую пей!

Марфа Петровна. Да... времена. (*Пауза.*) Ну, а сын-то живой, что ли? Все командует у вас там?

Валя. Командует. Он вам передавал поклон низкий. (*Замечает карточку на стене*). А это что, он?

Марфа Петровна. Он. Да ты на карточку не гляди. Он не так, чтобы интересный из себя, но зато орел-парень.

Валя. Его у нас любят все.

Марфа Петровна. Это у него с издетства. Он отродясь заводилой был.

Валя. И маленький когда был, тоже?

Марфа Петровна. Ох, не приведи господи. Только ко мне и ходили с жалостями на него. Ну, а я говорю: лови. Поймаешь — уши надеру, а не поймаешь,— значит, ушел, его счастье. (*Задумчиво.*) А ты что это интересуешься, девушка?

Валя. Так просто.

Марфа Петровна. А-а. А то я подумала...

Валя. Что подумали?

Марфа Петровна. Может, любовь у вас...

Валя. Нет, он только шутить любит. У меня, говорит, мой шофер — вместо невесты. Меня невестой объявил. Все невеста да невеста.

Марфа Петровна. Невеста? Да разве это звание сейчас есть?

Валя. А вы что, против него?

Марфа Петровна. Я не против, а только не время сейчас в невестах-то сидеть. Сегодня невеста, а завтра вдова. Так женой и не будешь.

Валя. Так «невеста» — это ж он в шутку.

Марфа Петровна. Ну, если в шутку. *(Пауза.)* Сейчас жизнь такая, мало в ней шуток. Ты хоть глазком-то глянула, когда немцы были?

Валя. Нет, я только голоса слышала. Я шевельнуться боялась.

Марфа Петровна. По-русски говорил — это с ними Козловский был. Нездешний человек и подлый. Они его из Николаева привезли. А это, я считаю, хорошая примета, что привезли, потому что, значит, подлецов им в каждом городе нехватает. Одних и тех же из города в город возить приходится. *(Прислушивается, потом смотрит на стенные часы-ходики.)* Ну, вот теперь они кофий пьют. Это ежели уж нагрянут теперь, то, значит, бог попустил. *(Не сходя с места, говорит.)* Василий? *(Молчание.)* А, Василий? *(Валя невольно смотрит на дверь.)* Василий?

Из-за занавески, в дверях соседней комнаты, потягиваясь, показывается бородатый мужчина.

Морозов. Ой, Марфа Петровна, и вздремнул я крепко.

Марфа Петровна. Даже немцы не побудили?

Морозов. Нет, на немцев у меня свое чутье, а как вы с девушкой журчать стали, так я опять заснул, — думаю, пускай поговорят. *(Жмурясь от света, садится.)* Ох, и темно же у тебя в подполье.

В а л я *(внимательно всматривается в него и вдруг всплескивает руками)*. Сергей Иванович!

М о р о з о в. Я вам, товарищ водитель, не Сергей Иванович, а Василий. Ясно?

В а л я. Ясно, товарищ Морозов!

М о р о з о в. И я вам, товарищ водитель, не Морозов, а тоже Василий. Ясно?

В а л я. Ясно.

М о р о з о в. И я вам, товарищ водитель, не председатель горсовета, а опять-таки Василий. Тоже ясно?

В а л я. Тоже ясно.

М о р о з о в *(шутливо)*. Ну, а раз все ясно, то где же машина? Опять, наверно, не в порядке? Опять что-нибудь там? Рессора лопнула, да? Или как?

В а л я. Вы все шутите, Сер... Все вы шутите.

М о р о з о в. Да. Все мы теперь шутим. Шутим, товарищ водитель.

В а л я. Мы, значит, вас-то и ждали?

М о р о з о в. Выходит, что нас. Ну, давай цыдульку-то. *(Валя достает из-за пазухи маленькую бумажку.)* Ну, а ежели бы немцы? ..

В а л я. Проглотила бы.

М о р о з о в. Ну, ладно, коли так. *(Читает бумажку.)* Да уж придется вам, товарищ водитель, тут суточки посидеть. Тут мне такое воззвание прислали. Это не просто гранату в комендатуру кинуть. Это размышлений требует. Ну, что там слышно у вас в обороне вашей?

В а л я. От лимана до поселка — наши. На Заречной — наши, и потом по Ряжской и до лимана обратно, а кругом немцы.

М о р о з о в. Ясно, немцы. Они на тридцать верст вперед ушли уж. Вот, как говорят, не чаяли, не гадали, в тылу немецком оказались. Ну, что ж, война. Бывает. У вас-то хоть в полгороде, за лиманом, советская власть, а у нас — немецкая.

В дверь кто-то тихо скребется. М о р о з о в вытаскивает револьвер. М а р ф а П е т р о в н а показывает, чтобы они уходили. В а л я залезает на печку. М о р о з о в уходит за занавеску. М а р ф а П е т р о в н а подходит к двери.

Марфа Петровна. Кто там?

В дверях опять скребутся. Марфа Петровна открывает дверь внутрь, и через порог падает на пол комнаты окровавленный человек в штатском, видимо сидевший прислонясь к двери. Марфа Петровна молча втаскивает его, закрыв дверь на крючок, становится около него на колени.

Ты кто есть?

Раненый *(слабым голосом)*. А тут кто?

Марфа Петровна. Мы, свои.

Раненый. Водицы...

Марфа Петровна. Девушка!

Валя слезает с печки.

Подай воды. Подымем его.

Раненый *(услышав, качает головой)*. Не надо. Тут есть кто? Мне сказать надо... Я помру сейчас.

Марфа Петровна *(оставляет Валю с ним)*. Пои, пои его, девушка. *(Идет за занавеску и говорит негромко.)* Василий!

Раненый. Это что, это свои?

Валя. Свои, свои...

Входит Морозов.

Раненый. Я из окружения шел... Они... меня увидели и вот... А документы взяли они... моя фамилия... Водицы...

Валя *(дает ему еще воды)*. Ну, фамилия?

Раненый. Моя фамилия... Ой, водицы...

Ему дают еще воды. Человек, вздрогнув, затихает. Валя опускает его голову. Смотрит на его пиджак, у которого выворочены карманы и распороты рукава.

Валя. Ой, как разорвали все. Искали.

Морозов *(поднимается, стоит руки по швам)*. Ну, что ж, прощай, неизвестный товарищ. *(Неожиданно стирает слезу рукавом.)* Вот, кажется, и привык, а жалко людей. *(Смотрит на Валю.)* А ты что ж, водитель, не плачешь?

Валя. Не могу. Я уже все видала, Сергей Иванович, что я не думала никогда видеть — видала. Не могу плакать. Слезы все.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Штаб Сафонова. Рассвет. Прокуренная комната железнодорожного помещения. Несколько дверей. Сафонов, Ильин. За машинкой Шура.

Сафонов. Одиннадцатый день. И Крохалева позавчера убили. Или нет, когда? Ты у меня какой день за комиссара? А, Ильин?

Ильин. Два дня. Нет, три.

Сафонов. Три? Дни через эту бессонницу мешаются. Ты вызвал этого... Васина?

Ильин. Вызвал.

Сафонов. Хороший старик, говорят?

Ильин. Говорят.

Сафонов. Он у меня начальником штаба будет, если хороший. А звание я ему восстановлю по случаю нашей полной осады. Да, Ильин, мало людей остается.

Ильин. Вали второй день нет. Неужели ее немцы взяли?

Сафонов. Не хочу я этого слышать. *(Пауза.)* Нет, ты мне скажи, почему мужики такие сволочи? Девка вызывается в разведку итти, а вы молчите.

Ильин. Женщине легче. Я могу пойти, если надо. Только толку меньше будет.

Сафонов. Это верно. А писателя вызвал?

Ильин. Вызвал.

Сафонов. Я его хочу начальником особого отдела.

Ильин. А разве Петров совсем?

Сафонов. Что совсем? Умер. Вот тебе и совсем. Шура его вылечить обещала, а не вылечила, соврала.

Шура. Я около него двенадцать часов сидела. Я ему голову держала. У меня руки болят, я печатать не могу. Вот видите, как дрожат, а вы говорите...

Сафонов. Это все история. Это мы потом тебе благодарность вынесем, а теперь — не вылечила, соврала, вот что я сейчас знаю.

Открывается дверь. Входит Васин, очень высокий, сутуловатый, с бородой. В штатском пальто, подпоясан ремнем. На плече винтовка, которую он носит неожиданно ловко, привычно.

Васин. По вашему приказанию явился.

Сафонов. Здравствуйте, садитесь.

В а с и н. Здравия желаю.

С а ф о н о в. Вы в техникуме военное дело преподаете?

В а с и н. Преподавал. Сейчас, как вам известно, у нас отряд.

С а ф о н о в. Известно. Сколько потеряли студентов своих?

В а с и н. Шесть.

С а ф о н о в. Да... Садитесь, пожалуйста. Курить хотите?

В а с и н *(берет папироску)*. Благодарю.

Зажигает спичку, закуривает, дает прикурить Сафонову. Прикуривать тянется И л ь и н. В а с и н неожиданно тушит спичку. И л ь и н удивленно смотрит на него. В а с и н чиркает другую спичку.

Простите. Старая привычка: третий не прикуривает.

С а ф о н о в. Блажь. Примета.

В а с и н. Не совсем. Это, видите ли, с бурской кампании повелось. Буры — стрелки весьма меткие. Первый прикуривает — бур ружье взял, второй прикуривает — прицелился, а третий прикуривает — выстрелил. Так что вот откуда примета. Почву имеет.

С а ф о н о в. Вы, я слышал, в русско-японской участвовали?

В а с и н. Так точно.

С а ф о н о в. И в германской?

В а с и н. Так точно.

С а ф о н о в. А в гражданской?

В а с и н. В запасных полках, по причине инвалидности.

С а ф о н о в. А в германскую войну, я слышал, вы награды имели?

В а с и н. Так точно. Георгия и Владимира с мечами и бантом.

С а ф о н о в. А чем доказать можете?

В а с и н. В данное время не могу, так как с собой не ношу, а доказать могу тем, что храню.

С а ф о н о в. Храните?

В а с и н. Так точно, храню.

С а ф о н о в. Георгия — это ведь за храбрость давали?

В а с и н. Так точно.

Сафонов *(после паузы)*. Вас Александр Васильевич зовут?

Васин. Так точно.

Сафонов. Так вог, Александр Васильевич. Хочу я вас к себе в начальники штаба взять. Как вы считаете, а?

Васин. Как прикажете.

Сафонов. Да что ж прикажу... Как здоровье-то ваше? Можете?

Васин. Полагаю, что могу.

Сафонов. Город хорошо знаете?

Васин. Здешний уроженец. Родился здесь в тысяча восемьсот семьдесят девятом году.

Сафонов *(мысленно считая)*. Однако старый вы уже человек.

Васин. Совершенно верно.

Сафонов. А вот опять воевать приходится.

Васин *(пожимая плечами)*. Разрешите приступить к исполнению обязанностей. Вы приказом отдали?

Сафонов. Отдам. *(К Шуре.)* Печатай: «Приказ номер четыре по гарнизону. Начальником штаба обороны города назначаю...» *(К Васину.)* Ваше как звание-то? *(Прислушивается. Прерывает.)*

Слышатся далекие пулеметные очереди.

Это на лимане, по-моему, а? *(Прислушивается.)*

Васин *(прислушиваясь)*. Так точно, на лимане у левого брода.

Сафонов *(Ильину)*. Поди свяжись с Заречной. *(К Шуре.)* Она где туда переходила?

Ильин выходит.

Шура. У брода.

Сафонов. Ведь все тихо было, а?

Шура. Тогда тихо.

Сафонов. Да. *(В задумчивости ходит. Васин ждет.)*

Васин. Вы спросили...

Сафонов *(спохватившись)*. Я говорю, вы какое звание в старой армии имели?

Васин. Штабс-капитан.

Сафонов. Ну, штабс — этого теперь нету. Значит, капитан. А из Красной Армии с каким званием в запас уволены?

Васин. В тысяча девятьсот двадцать девятом году, по инвалидности, в должности комбата.

Сафонов. Ну, комбата теперь тоже нет. Значит, майор. *(К Шуре.)* Значит, пиши: «. . .назначаю майора Васина А. В.» *(Пауза.)* У меня шинели для вас нет. У меня тут только шинель комиссара моего осталась, так вы ее возьмите и носите.

Васин. Разрешите заметить, все это будет незаконно.

Сафонов. Знаю, что незаконно. А что же мне прикажете, чтобы у меня начальник штаба вот так, в лапсердаке, ходил? Я вам должен звание присвоить, хотя и права не имею. Коли до наших додержимся, — так и быть, простят они это нам с вами. Что, еще возражать будете?

Васин. Нет. Разрешите приступить к исполнению обязанностей.

Сафонов. Приступайте. Пойдем в ту комнату. Я тебе, Александр Васильевич, карту покажу. Только погоди. На дворе-то с утра холодно? Я еще не выходил.

Васин. Так точно, холодно.

Сафонов. Шура! У тебя там где-то бутылка стояла, а? *(Наливает в жестяные кружки.)* Водку пьете?

Васин молча выпивает.

Как вижу, лишних слов не любишь?

Васин. Точно так, не люблю.

Сафонов *(вздыхая)*. А я вот, есть грех, люблю. Ну, это ничего, это пройдет. Ты мне напоминай, в случае чего. Будешь?

Васин. Так точно. Буду.

Выходят. Шура, бросив машинку, прислушивается. Когда она не стучит, стрельба за окнами слышнее. Входит Панин. Поштатскому кланяется Шуре, снимает и кладет мешающую ему фуражку.

Панин. Здравствуйте, Шурочка.

Шура. Здравствуйте.

Панин. Как поживаете, Шурочка?

Шура. Хорошо. *(Возвращает ему тетрадку.)* Я прочла, товарищ Панин. Мы вчера вечером сидели с Валечкой и плакали. Это вы сами написали?

Панин. Нет, я стихов не пишу. Это мой товарищ написал. Мы с ним вместе на Западном фронте были.

Шура. А где он сейчас, здесь?

Панин. Нет, его убили.

Шура. Неправда.

Панин. Я тоже, Шурочка, сначала думал — неправда, а потом оказалось — правда.

Шура. Мы вчера ночью сидели. Печку зажгли. Капитан на полчаса спать лег, а мы с Валечкой все читали и плакали. А потом Валечка собралась — и туда, в разведку пошла. А капитан открыл глаза и меня спрашивает: «Вы чего тут с ней читали?» И я ему опять прочла все. А он грустный лежал. «Хорошо», — говорит. Расстроился даже.

Панин. Капитан?

Шура. Ну, да, капитан. А чего вы удивляетесь?

Панин *(пожимая плечами)*. Так...

Шура. Он еще оттого расстроился...

Сафонов *(входя)*. А, писатель! Здорово.

Панин. Привет.

Сафонов. Шура! Выдь-ка на минутку.

Шура выходит.

Тут у нас есть теперь, писатель, дело такое. Сил нету больше. Мало сил. Ты себя к этой мысли приучил, что помирать, может, тут придется, вот в этом городе, а не дома? И вот сегодня-завтра, а не через двадцать лет. Приучил?

Панин. Приучил.

Сафонов. Это хорошо. Жена у тебя где?

Панин. Не знаю. Наверно, где-нибудь в Сибири.

Сафонов. Да. Она в Сибири, а ты вот тут. «В полдневный жар в долине Дагестана... и снилось ей»... В общем, ей и не снилось, какой у нас тут с тобой переплет выйдет. Положение такое, что мне теперь писателей тут не надо, так что твоя старая профессия отпадает. *(Пауза.)* Член партии?

Панин. Кандидат.

Сафонов. Ну, все равно. Петров ночью умер сегодня. Будешь начальником особого отдела у меня.

Панин. Да... но...

Сафонов. Да — это правильно, а но — это уже излишнее. Мне, кроме тебя, некого. А ты — человек с образованием, тебе легче незнакомым делом заниматься. Но чтоб никакой этой мягкости. Ты забудь, что ты писатель.

Панин. Я не писатель. Я журналист.

Сафонов. Ну, журналист, — все равно, забудь.

Панин. Я уже забыл.

Открывается дверь, и входит Валя. Она вся мокрая, в накинутой на плечи шинели.

Валя. Товарищ капитан...

Сафонов. Будь ты неладная. *(Бросается к ней, неловко целует в щеку, отпускает.)* Что же ты людей с ума сводишь, а?

Валя. Я все сделала, товарищ капитан.

Сафонов. Ну и хорошо. Но ты что думаешь, нам только это и важно? А что ты есть,— живая или мертвая, — нам это тоже важно, может быть. В кого из пулемета стреляли? В тебя?

Валя. Ага.

Сафонов. Да ты же обмерзла вся. Шура! *(Кричит.)* Шура!

Валя. Товарищ капитан, разрешите доложить...

Сафонов. Никаких доложить. Сушись иди.

Валя. Никуда я не пойду, прежде чем не доложу. Понятно?

Сафонов. Говорю тебе, иди сушись, потом... *(Останавливается под ее взглядом.)*

Валя. Понятно?

Сафонов. Понятно, понятно. Ну, давай скорей. *(Слушает ее нетерпеливо, стоя у стола и постукивая пальцами.)* Была?

Валя. Была.

Сафонов. Передала?

Валя. Передала.

Сафонов. Пакет где?

Валя. Вот.

Сафонов. Иди сушись.

Валя. Нет, еще не все.

Сафонов. Ну?

Валя. Морозов велел передать, что завтра ночью переправлять людей будет, чтобы не стреляли.

Сафонов. Все? Сушиться иди.

Валя. Нет, не все.

Сафонов. Ты же зубами стучишь, дура. Сушись, говорю.

Валя. Он велел передать, что в два часа ровно.

Сафонов. Все?

Валя. Все.

Сафонов *(входящей Шуре)*. Ну, иди, грей ее там. Я же не могу. Дай ей чего-нибудь. В крайнем случае, мой полушубок, штаны дай. Ясно?

Шура. Ясно, товарищ капитан. *(Выходит в другую комнату.)*

Сафонов. Проклятая девка.

Панин. Почему проклятая?

Сафонов. Упорная.

Панин. Это хорошо.

Сафонов. А я разве говорю, что плохо? Я любя говорю — проклятая.

Панин. Любя?

Сафонов *(услышал неожиданную интонацию этого слова)*. Ну, да, сочувствуя. Что же я, человека на смерть пустил, так я за него уже и волноваться не могу? А если его нет два дня? ..

Панин. Кого — его?

Сафонов. Ну, ее. Что ты ко мне, писатель, привязался?

Панин. Опять писатель?

Сафонов *(улыбнувшись)*. Прости, пожалуйста, товарищ начальник особого.

В комнату входит Васин. Он в сапогах и в кителе старого образца, с кожаными футбольными пуговицами. На плечах у него шинель.

Васин. Товарищ капитан, портупея у вас есть?

Сафонов. Что? Есть, есть портупея, найдем. *(Подходит к Васину, берет его пуговицу, радостно.)*

Ага, помню. Это в тысяча девятьсот двадцать пятом году такие в армии носили, помнишь, Панин? С такими пуговицами. Да?

Васин. Совершенно верно.

Сафонов. Хорошие пуговицы.

Из другой комнаты выходит Валя в галифе капитана, в сапогах, закутанная в полушубок, крепко прижимая его руками к груди.

Валя. Ох, как тепло, Шурка, в капитанском полушубке. Прямо мехом к телу... Хорошо. *(Заметив Сафонова.)* Спасибо, товарищ капитан. *(Пауза.)*

Ильин *(входя)*. Капитан, к аппарату.

Сафонов. Пойдем, Александр Васильевич; пойдем, начальник особого. *(Выходят.)*

Валя. А я их и не заметила. Ну, ничего. Он и правда, знаешь, какой теплый. А я замерзла... вода, знаешь, даже льдинки в ней. Еле доплыла.

Шура. А он тут переживал.

Валя. Кто это он?

Шура. Капитан.

Валя. Это почему же?

Шура. Не знаю. Может, ты знаешь?

Валя. Нет. *(Пауза.)* Все ты врешь, Шурка.

Шура. Ей-богу.

Валя. Ой, холодно. *(Поеживается.)* Вот даже в полушубке, а все-таки холодно. А знаешь, Шура, я думаю, наверно, мне скоро опять итти.

Шура. Да ну?

Валя. Наверно.

Шура. Неужели капитан тебя опять пошлет? Я просилась, а он не велит. Почему?

Валя. Потому что я здешняя. Вот и все. А ты не здешняя.

Шура. Опять тебя. А сам переживает. *(Пауза.)* Я на него иногда гляжу, — а у него глаза озорные, даже страшно. Он, наверно, до войны озорник был. Беда для баб.

Валя. Он некрасивый.

Шура. Это ничего, что некрасивый. А все равно, озорник был, я знаю. А сейчас притих. Он что, тебе не нравится?

Валя. Нет.

Шура. А когда понравится?

Валя. После войны.

Шура. А война, она, знаешь, какая будет?

Валя. Какая?

Шура. А вдруг длинная, предлинная. Нельзя после войны. Не скоро.

Валя. Ничего, я терпеливая.

Шура. А я нет.

Молчание. Входят Ильин и Козловский, одетый в рваное штатское платье.

Ильин. Где капитан?

Валя. В той комнате.

Ильин *(Козловскому.)* Садитесь. Замерзли? Водки хотите?

Козловский. Не откажусь.

Ильин. Шура, налей водки товарищу.

Шура наливает в жестяную кружку водки. Козловский пьет.

Козловский. Ну, вот. А то прямо из воды — и еще ведут тебя через город.

Ильин. А вы что же думали? Сразу: переправился — и полное доверие, да?

Козловский. Нет, я не думал, но все же... Немцы-то стреляли по мне. Довольно наглядно было. Как по-вашему? ..

Ильин. Что верно, то верно. Потому и водки даем, что наглядно.

Входит Сафонов.

Товарищ капитан. Вот переправился с той стороны, от немцев.

Сафонов *(подходит к Козловскому)*. Здорово! *(Пожимает ему руку.)* Откуда идешь?

Козловский. Из-под Николаева пробираюсь.

Сафонов. Так. Чего ж это ты? Уже лиман перешел, а потом назад, к нам?

Козловский. Я узнал в городе, что тут, на поселке, еще наши, — хоть в окружении, да все-таки наши.

Я и подумал: чем дальше итти, дойдешь ли — нет ли, а тут переплыл, и готово.

Сафонов. Документов, небось, нет?

Козловский. Есть.

Сафонов. Ишь ты. С документами.

Козловский. Девушки, у вас ножниц нет?

Шура. Зачем?

Козловский. Вот, пороть нужно рукав.

Валя подходит к нему, помогает распороть рукав.

Партбилет без карточки, конечно. Но главное сохранилось, верно?

Сафонов (*рассматривает вымокший партбилет*). Верно. Какое звание-то?

Козловский. Младший политрук Василенко Иван Федорович.

Сафонов. Тезки, значит. Что, замерз?

Козловский. Замерз.

Сафонов. Согрели тебя?

Козловский. Согрели.

Сафонов. Это насчет воды у нас плохо, а водка — это у нас есть. Только, знаешь, такая жажда бывает, что без воды и водки пить не хочется. Ну, по случаю спасения придется тебе все-таки стакан чаю сварить. Шура, а Шура?

Шура. Сейчас.

Сафонов. Ты, давай, сейчас иди спи. Хочешь?

Козловский. Хочу.

Сафонов. Там моя шинель лежит. На ней устройся. А потом мы тебе проверку сделаем и к месту определим. Мне каждый человек нужен. Я тебе отпуск по случаю твоих переживаний не могу дать. Понятно?

Козловский. Понятно.

Сафонов. Иди. Она тебе чай туда принесет.

Козловский идет к двери.

Сафонов (*неожиданно*). Какой части?

Козловский. Сто тридцать седьмой гаубичной.

Сафонов. Кто командир?

Козловский. Чесноков.

Сафонов. Комиссар?

Козловский. Зимин...

Сафонов. Ну иди, иди грейся.

Козловский выходит.

Валя *(что-то мучительно вспоминая)*. Вот не видала я его, не видала, а голос слыхала. Где я могла его голос слыхать?

Сафонов. Голос слыхала. Фантазия одна. Что он, Шаляпин, что ли, чтобы его по голосу запоминать?

Валя. Нет, я слышала, Иван Никитич.

Сафонов. Опять свое. Ты чего бегаешь? Тебе тоже спать надо. Ясно?

Валя. Ясно.

Сафонов. Ну и иди, пожалуйста. А то: голос слыхала. Увидала — интересный военный, конечно, познакомиться сразу захотелось. «Где-то я вас встречала, да где-то я ваш голос слыхала...» Ну, это я шучу, конечно. Ты, главное, спать иди, вот что.

Валя и Шура выходят.

Сафонов *(Ильину)*. Панин ушел, что ли?

Ильин. Нет, здесь.

Сафонов. Ты ему скажи, чтобы он потом зашел, с ним поговорил. Человек этот, Василенко, вроде человек хороший. Я, конечно, с радостью. Но все-таки пусть поговорит, чтоб порядок был. *(Молчание.)* Что меня волнует, Ильин, это меня то волнует, что где Глоба. Дошел ли Глоба до наших войск, или не дошел Глоба, — это меня больше всего волнует. Потому что помирать я готов, но помирать меня интересует со смыслом, а без смысла помирать меня не интересует. Ну, пошли. *(Выходит. В двери останавливается.)* Вернись, скажи Александру Васильевичу, чтобы с нами шел.

Ильин пересекает сцену, заходит в одну из комнат. Из комнаты Сафонова выходит Козловский. Шинель внакидку, в руках бумажка, приготовленная для закурки. Из двери выходит Ильин, проходит через комнату, вслед за ним неторопливо выходит Васин.

Козловский. Товарищ майор, разрешите обратиться?

Васин. Да.

Козловский (*вглядываясь в него*). Только что из окружения. Закурить нет ли, товарищ майор?

Васин, достав баночку, аккуратно насыпает ему махорки.

Козловский (*испытующе глядя на него*). Товарищ майор, я вас где-то видал, по-моему.

Васин (*спокойно*). А я вас нет. Простите, ваше звание?

Козловский. Василенко, младший политрук.

Васин. А я вас нет, не видал, товарищ младший политрук. (*Пауза.*) Огонь у вас есть?

Козловский. Спасибо. Есть.

Васин прячет коробку и выходит. Молчание. Козловский один на сцене. После паузы говорит, удивленно присвистнув:

Дядя, а?

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Обстановка второй картины. На сцене Шура. У нее опухшие, заплаканные глаза.

Панин (*входит*). Почему глаза заплаканные?

Шура. Ничего. (*Плача.*) Если бы вы знали, как мне Ильина жалко! Так жалко. (*Плачет.*)

Панин. Шура!

Шура плачет; не отвечая, уходит в другую комнату.

Валя (*входя*). Здравствуйте, товарищ Панин.

Панин. Здравствуйте, Валечка.

Валя. Ох, дела! Сейчас ребятам патроны возила. Как начали строчить, мне мою машину поранили всю, прямо жалко. А меня — нет.

Панин. Что, совсем машину?

Валя. Нет, ходит. Я ей говорю: отправляйся на ремонт. А она говорит: разрешите, товарищ водитель, остаться в строю. Я говорю: ну, разрешаю. Так она и осталась. Храбрая у меня машина.

П а н и н. С Ильиным утром вы ездили?

В а л я. Ага, и, главное, знаете, я ему говорю: «Дайте я вас еще подвезу, мы быстро проскочим». А он говорит: «Нет, тебе дальше нельзя, я пешком пойду». Ну, я пошумела, а потом осталась — приказание! А если бы на машине, все в порядке было бы. Жалко мне его, товарищ Панин.

П а н и н. Что же делать, Валечка, без этого не бывает и, главное, быть не может.

В а л я. Я ничего, а вот Шура — видели, наверное!

П а н и н. Видел.

В а л я *(почти шопотом, доверительно)*. Вы знаете, они ведь уже сговорились обо всем с нею, — что там после войны будет, неизвестно. Так они тридцать первого вечером, когда тихо, уже свадьбу решили сделать а вот сегодня тридцатое — и убили его. Вы представьте себе, товарищ Панин, как это грустно. Вот она и плачет все.

П а н и н *(внимательно глядя на нее)*. А ведь это все неправда, Валечка.

В а л я. Что неправда?

П а н и н. Да вот все, что вы говорите: свадьба... Тридцать первого. Просто так красивее, вот вы и придумали. И грустнее тоже.

В а л я. А разве это хуже, если красивее?

П а н и н. Нет, лучше.

В а л я. Его и так жалко, потому что он, правда, хороший был. А так вот, если... так совсем жалко, до слез. У него, может быть, жена где-нибудь... Она, может, только через год узнает, а нам над ним сейчас поплакать хочется.

П а н и н *(задумчиво)*. Да, жена через год узнает. Это вы хорошо придумали.

В а л я. Правда? Вы не смеетесь?

П а н и н. Нет, не смеюсь. *(Пауза.)* Слушайте, Валечка, вы умеете пистолеты разбирать, а?

В а л я. Умею.

П а н и н. Вы же шофер, вы все умеете. Сделайте мне одолжение, разберите его, а я его тряпочкой вытру. А то, вы знаете, что вчера случилось? Я ночью за слободой

был. Там немножко побоялись наши. Ну, я же теперь начальник особого отдела. Я эту штуку в руки взял и пошел.

Валя. Я слышала. Мне Иван Никитич говорил.

Панин. Это он вам говорил, а самое главное, наверное, не сказал. Ко мне потом лейтенант подходит и говорит: «Вы, товарищ комиссар, кому-нибудь прикажите ваш пистолет почистить, а то у вас в дуле набилось — не выстрелит».

Валя *(смеясь, берет пистолет)*. А мне про вас что говорили!

Панин. Что?

Валя. Что вы раньше в кобуре вместо пистолета одеколон носили, и щетку, и зубной порошок. Это правда?

Панин. Правда. Это очень удобно.

Входит Козловский.

Козловский. Вы меня вызывали?

Панин *(тихо Вале)*. Вы его там в уголке почистите сами, а потом мы с вами поедем.

Валя отходит в угол, чистит пистолет.

Козловский. Вы меня вызывали?

Панин. Да, вызывал.

Козловский. Позвольте узнать, зачем, а то ведь я с передовой пришел.

Панин. Ничего. Я должен вам заметить, что в следующий раз, если вы произведете такой самовольный расстрел, я вас судить буду.

Козловский. Была такая обстановка, что один трус мог увлечь за собой всех, и мне пришлось...

Панин. Ложь! У вас в роте не было такой обстановки. Вы не ребенок. Вы должны знать, когда нужно расстрелять на месте, а когда судить.

Козловский. Товарищ Панин, да все равно же... *(Тихо.)* Между нами говоря, конец... Где тут суды разводить! И я погибну, и вы!

Панин. Может быть, и вы погибнете, и я, но это ни при чем. Пока здесь есть армия и есть закон. Ясно вам это?

Козловский. Ясно.

Панин. И бросьте мне эти разговоры: ах, была — не была, все равно пропадать. Это не храбрость — это разложение.

Козловский. Да я сам готов двадцать раз под пули!

Панин. Возможно, но мне до этого дела нет. Все! Идите!

Козловский выходит.

Ну как, Валечка, собрали?

Валя. Сейчас. Раз-два — вот и все. Ой, ну скажите, товарищ Панин, ну где я раньше слышала его голос?

Панин. Да чей голос?

Валя. Василенко.

Панин. Не знаю, Валечка, откуда ж мне знать. Поехали! Только давайте уговоримся: где приказал стоять, там и стойте. За мной не ездить.

Валя. Есть за вами не ездить, товарищ комиссар!

Панин. Ну, то-то. А то я человек штатский, приказывать не умею, так я уж заранее на вас накричать решил. Чтоб с самого начала боялись. *(Уходят.)*

Из соседней комнаты выходят Сафонов и Васин.

Сафонов. В третью роту? Ну, что ж, иди. Только ты, Александр Васильевич, там не очень. Понятно?

Васин. Нет, непонятно. Я выполняю свой долг. А если... Что ж, другим потом легче вперед будет итти.

Сафонов. Не хочу я этого от тебя слышать. Не другие, а мы еще с тобой вперед пойдем. Сталин что сказал? Сказал, что еще пойдем мы вперед. Пойдем, и все тут! *(Задумчиво.)* Сталин... Я, Александр Васильевич, тому иногда не верю, другому иногда не верю, а ему всегда и везде верю. Я его речь по радио когда слушал, у меня контузия еще не прошла, слова в ушах мешались, но и вместо них все равно для себя его слова слышал: «Стой, Сафонов, и ни шагу назад! Умри, а стой! Дерись, а стой! Десять ран прими, а стой!» — Вот что я слышал, вот что он лично мне говорил.

Васин. Фантазер вы, Иван Никитич.

Сафонов. Конечно, а как же? И ты тоже фантазер. Мы все, русские, фантазеры. От этого воюем смелей. Но смелость смелостью, а все-таки. . .

Васин. Ничего. Меня, милый, в ту германскую войну шесть раз дырявили, а в эту еще ни разу. Так что у меня еще шесть раз впереди, а все жив буду.

Сафонов. Вот это верно. Ты, Александр Васильевич. . .

Телефонист *(из другой комнаты)*. Товарищ капитан, вторая рота на проводе.

Сафонов. Иду.

Сафонов выходит. Входит Козловский.

Козловский. Здравствуйте, товарищ майор.

Васин. Здравствуйте, товарищ младший политрук.

Козловский. А где капитан?

Васин. Сейчас придет. *(Пауза.)*

Козловский. Так где-то я вас все-таки видел, товарищ майор.

Васин. Я уже вам говорил, что не помню, что бы я вас видел.

Козловский. Но, может быть, вы меня не видели, а я вас видел?

Васин. Может быть.

Козловский. Вы в Николаеве не жили?

Васин. Жил с двадцать третьего по двадцать девятый год.

Козловский. Может быть, я вас там видел?

Васин. Может быть, если вы там жили. Разрешите узнать, зачем явились?

Козловский. За боеприпасами. Но это ведь к капитану.

Васин. Нет, можете и ко мне. Винтовочных?

Козловский. Да.

Васин. Двести штук дам. *(Пишет.)* Получите у Семененко.

Козловский *(беря бумажку)*. А подпись капитана не нужна?

Васин. Нет.

Козловский. Хотя ведь вы, в сущности, старший начальник.

Васин (*сердито*). Старший начальник? Капитан Сафонов — начальник гарнизона, а я — его начальник штаба, и это вам должно быть известно.

Козловский. Конечно, но я так сказал, потому что меня удивляет несоответствие знаков различия...

Васин (*вставая*). А меня удивляет несоответствие ваших знаков различия и ваших мыслей, товарищ младший политрук, и несоответствие количества высказанных вами слов с количеством дел, которые вы делаете. И несоответствие этого разговора с той обстановкой, какая у нас есть.

Козловский (*присаживаясь*). Ну, что это вы, товарищ майор, я же не хотел, что вы подумали?..

Васин. Встать, когда с вами разговаривает старший!

Козловский встает.

Можете итти. Вы свободны.

Сафонов (*входя*). Что тут за шум? О чем спор идет?

Васин. Тут спора не может быть, товарищ капитан. Я сделал замечание младшему политруку, и все. Разрешите отправиться в третью роту?

Сафонов. Да, да, Александр Васильевич, иди.

Васин выходит.

Ты что это со стариком вздоришь? Ты мне не смей.

Козловский. Да я, Иван Никитич, с ним по-простецки, по-нашему, а он, в общем... интеллигенция.

Сафонов. Что интеллигенция? Ты этого даже и слова не понимаешь. Что ты — некультурный, сукин сын, так этим гордишься? А между прочим, если тебя, дурака, пять лет в университете обтесать, так ты тоже будешь интеллигенция, вот и вся разница. А если не обтесать, так не будешь. Старика обижать никому не позволю! Ишь ты: «по-простецки», «по-нашему»... А он, что же, не наш, что ли? Ты еще под столом ползал, когда он за то, что немцев бил, награды имел. Зачем пришел?

Козловский. За патронами. Да мало дал он. Вот.

Сафонов. И смотреть не хочу. Раз мой начальник

штаба тебе столько дал, — значит, столько мог. Ты мне тут это не заводи; сначала к одному, потом к другому. Иди.

Козловский выходит. За дверью шум, голос Глобы.

Глоба. Да что ты меня не пускаешь? Вот тоже!

Глоба в штатском платье. За ним красноармеец с винтовкой.

Красноармеец. Товарищ капитан, к вам. Разрешите пустить?

Сафонов. Ну, конечно, пускай, ведь это же Глоба!

Глоба. Он самый.

Сафонов. Ой, Глоба, да ты ли это?

Глоба. Я.

Сафонов. Живой?

Глоба. Живой.

Сафонов. А может, не ты? Может, дух твой?

Глоба. Ну, какой же там дух! На пять пудов разве дух бывает? И потом я же фельдшер, а медицина духов не признает.

Сафонов. Это верно. Убедил. Ну, садись. *(Кричит.)* Шура! Ты покушать дай. И воды там из бидончика стакан налей. Глоба пришел, ему порция причитается.

Шура *(показываясь в дверях, смотрит на Глобу)*. Здравствуйте.

Глоба. Здравствуй, Шура.

Сафонов. Ну, что же ты, радуйся, — живой пришел!

Глоба *(махнув рукой)*. Они на меня не радуются. Они меня считают за нехорошего человека. Я им откровенностью своей не нравлюсь.

Сафонов. Это кому же им-то?

Глоба. Вот Шуре хотя бы и вообще всем им, женщинам, сословию ихнему всему.

Сафонов. Был?

Глоба. Да.

Сафонов. Что же слышно?

Глоба. Слышно то, что наши наступать собираются.

Сафонов. Да? Может, и нас отобьют, Глоба, а?

Глоба. Может быть.

Сафонов *(закрыв руками глаза)*. Эх, Глоба, ино-

гда так захочется и чтобы я живой был, и чтобы другие некоторые, которые... тут кругом, в общем, чтобы они живы были. Да, так, говоришь, наступать будут?

Глоба. Возможно. Я у генерала был.

Сафонов. Как ты доложил?

Глоба. Как приказано, чтобы выручали, сказал, но что если против плана это идет, то мы выручки не спросим, сказал. Ну, и что все-таки жить нам, конечно, хочется, — это тоже сказал.

Сафонов. И это сказал?

Глоба. И это сказал. Да и они сами, в общем, представляют себе это чувство.

Сафонов. Что приказывают нам?

Глоба. Конечно, пакет с сургучом я нести не мог. Поскольку я шел как бегущий от красных бывший кулак, то мне, конечно, пакет с сургучом был ни к чему при разговоре с немцами. Но устный приказ дан такой: держись, держись и держись! А что и как — это пришлю, говорит, на самолете известие.

Сафонов. А тебе больше ничего?

Глоба. Ничего. Я думаю, Иван Никитич, как и что — это еще там, где выше, решают. Этот генерал нам с тобой и мозги путать не хотел. Говорит: держись! И все.

Сафонов. Тяжело добираться?

Глоба. Да ведь я такой человек, где как: где — храбростью, где — скромностью, а где просто на честное слово. Меня и то генерал отпускать не хотел, говорит: «Сиди тут, Глоба». А я говорю: «Характер мне не позволяет. Там, — говорю, — ребята будут страдать, ожидая известия вашего». Он говорит: «Я скоро пришлю». А я говорю: «Так то же на самолете, а я на своих на двоих, это быстрее». Что тут слышно, Иван Никитич?

Сафонов. Ну, что ж, как ты ушел, в ту ночь Крохалев от ран помер. Петров тоже. Сегодня утром Ильина убили. Так что я теперь и за командира, и за комиссара. В общем, много кого уже нету. Ну, ладно, это лишнее.

Красноармеец (*опять открывает дверь*). Товарищ капитан, к вам тут гражданский один.

Сафонов. Ну, давай. (*Глобе.*) Я же начальник гарнизона, у меня тут все дела. Давай гражданского.

Входит старик.

Старик. У меня просьба к вам, товарищ начальник.

Сафонов. Просьба? *(Морщится.)* Эх, мне просьбы эти...

Старик. И не за себя только, а еще за двух человек.

Сафонов. Чего же вы от меня хотите? Нет у меня ничего, так что и просить у меня — это лишнее. Если вы насчет еды, то, сколько могу, даю. Всем поровну — как мне, так и вам.

Старик. Нет, нам не то.

Сафонов. Если насчет воды, то опять же — вода как мне, так и вам. Старый человек, уважаю тебя, но стакан на душу — это уж всем.

Старик. Нам не воды.

Сафонов. А чего же вам?

Старик. Нам бы трехлинеечки.

Сафонов. Это зачем же вам трехлинеечки?

Старик. Известно, зачем.

Сафонов. Ты, значит, папаша, это за трех просишь? Это, значит, в твоих годах все? Приятели, что ли?

Старик. Приятели.

Сафонов *(Глобе)*. Видал? *(Старику.)* А вы что, в армии были, что ли, папаша?

Старик. Все были, кто в германскую, кто в японскую. Я вот в японскую был. Мне в ту германскую уже года вышли. Ну, а в эту вроде как опять обратно пришли. Ну, как же насчет трехлинеечек?

Сафонов *(вставая и подходя к нему)*. Ты понимаешь, папаша, что значит, если ты, чтобы человек плакал, сделать можешь? Я огонь, воду и медные трубы прошел. Я в шоферах десять лет был. Это дело такое — тут плакать нельзя. А ты меня в слезу вогнал. Дам я тебе, папаша, трехлинеечки. Только ты приходи вечером, когда у меня тут начальник штаба будет, тоже он у меня с японской войны, вроде тебя. Вы с ним сговоритесь, постариковски.

Старик выходит.

Да, значит, такое дело. Неизвестно еще, что и как, куда наши ударят. Ну, что же, придется тогда, что надумали, сделать. *(Подходит к Глобе, закрывает дверь, тихо.)* А надумали мы с теми, кто на немецкой части города си-

дит, мостик через лиман у немцев в тылу рвануть. Не миновать мне завтра ночью Валю опять туда посылать.

Глоба. Жалко?

Сафонов. Мне всех жалко.

Глоба. Да... А я на это дело просто смотрю. Смерть перед глазами. Счастье жизни нужно человеку? Нужно. Ты его видишь? Ну, и возьми его. Пока жив. Она девушка добрая. Вот глядишь, и вышло бы все хорошо.

Сафонов. Ни к чему говоришь. Боюсь я за нее, вот и все.

Глоба. А за себя не боишься?

Сафонов. За себя? Конечно. Но только мы с тобой, Глоба, другое дело. Мы ж начальство. Мы себе не можем позволить бояться. Потому что если я себе раз позволю, то и другие позволят. А потом я уже не позволю, а они опять позволят. Мы с тобой, значит, ни разу бояться позволить себе не можем. Разве что ночью, под одеялом. Но одеял у нас с тобой нет, так что это исключается.

Входит Валя.

Сафонов. Что, привезла Панина?

Валя. Нет, он там остался.

Сафонов. Где там?

Валя. Там, в первой роте. Ух, устала. *(Снимает рукавицы, садится.)*

Сафонов *(Глобе)*. Ну, что ты будешь делать? Как назначил его начальником особого отдела, так он все показывает людям, что не боится. А это, между прочим, все и так знают.

Валя. Я уж его удерживала, удерживала.

Сафонов. Уж молчи. Удерживала она! Я знаю, как ты удерживаешь. Сама лезет не знаю куда, потом рассказывает — удерживала она!

Лейтенант *(в дверях)*. Товарищ капитан, к телефону.

Сафонов выходит.

Глоба *(Вале)*. Как живете, Валентина Николаевна?

Валя. Как все, товарищ Глоба. Как все, так и я.

Глоба. А как все живут?

Валя. А кто как.

Глоба. Эх, времена пошли. Женщины вдруг на фронте. Я бы лично вас берег, Валечка. И вас, и вообще. Пусть бы вы нам для радости жизни живыми всегда показывались.

Валя. У нас, что же, другого дела нет, как вам показываться для вашей радости жизни?

Глоба. А то как же? Для чего создается женщина? Женщина создается для украшения жизни. Война — дело серьезное. Во время ее жизнь надо украшать больше, чем когда-нибудь, потому что сегодня она — жизнь, а завтра она — пар, ничего. Так что напоследок ее, жизнь-то, даже очень приятно украсить.

Валя. Так что же, по-вашему, жизнь — елка, что ли, игрушки на нее вешать?

Глоба. А хотя бы и елка. Вполне возможно. Я не про тебя говорю, ты девушка серьезная, тебе даже со мной разговаривать скучно. Но женщина, все-таки, — это радость жизни.

Валя. Не люблю вас за эти ваши слова.

Глоба. А меня любить не обязательно.

Сафонов *(входя)*. Что за шум?

Глоба. У нас тут с Валентиной Николаевной снова несогласие насчет роли женщины в текущий момент. До свидания, Иван Никитич, я к себе пойду. И, как всегда в медицинской профессии, будут меня ждать неожиданности. Семь дней меня не было, и кто, я ожидал, будет живой, — умер, а кто, я ожидал, умрет, — непременно живой. Вот увидишь. *(Выходит.)*

Валя. Устали?

Сафонов. Ну да, устал. Мне же думать надо. Это же, Валя, Валечка, колокольчик ты мой степной, это тебе не баранку крутить.

Валя. Ну, вот, стали начальником, так уж — баранку крутить. . . смеетесь.

Сафонов. А как же? С высоты моего положения. *(Усмехается.)* Хотя и баранку надо с соображением крутить, конечно. Не то что ты вчера.

Валя. А что?

С а ф о н о в. А то, что когда я с тобой ехал, сцепление рвала так, что у меня вся душа страдала.

В а л я. Я не рвала. Оно отрегулировано плохо. Я ехала правильно.

С а ф о н о в. Неправильно. И на ухабах педаль не выжимала.

В а л я. Выжимала.

С а ф о н о в. Нет, не выжимала. Ты мне очки не втирай. Ты не думай, что если я с тобой тихий, так мне можно очки втирать.

В а л я. Я ничего про вас не думаю. Я только говорю, что выжимала.

С а ф о н о в. Ну, бог с тобой. Выжимала, выжимала... Только глаза мне такие не делай, а то я испугаюсь, убегу.

В а л я. Я вас как вожу, так и вожу. Я над машиной начальник, раз я за баранкой. Понятно?

С а ф о н о в. Понятно.

В а л я. Поспали бы. Ведь уже трое суток не спите.

С а ф о н о в. А ты откуда знаешь? Ты сама только вчера от немцев вернулась.

В а л я. Знаю. Спрашивала.

С а ф о н о в. Спрашивала?

В а л я. Так, между прочим спрашивала.

С а ф о н о в. Да... *(Пауза.)* Тебе сегодня ночью или завтра в крайнем случае опять к немцам итти придется.

В а л я. Хорошо.

С а ф о н о в. Чего же хорошего? Ничего тут хорошего. Послать мне больше некого, а то бы ни в жизнь не послал бы тебя опять.

В а л я. Это почему же?

С а ф о н о в. Не послал бы, да и все тут. И вообще, ты лишних вопросов начальству не задавай. Понятно?

В а л я. Понятно.

С а ф о н о в. Придется тебе *(оглянувшись на дверь)* итти к Василию и сказать, что мост рвать будем, и все подробности, чего и как. Но только это запиской уже не годится. Это наизусть будешь зубрить, слово в слово.

В а л я. Хорошо.

Сафонов. Да уж хорошо или не хорошо, а надо будет. Два раза ходила — в третий дойдешь, потому что родина этого требует. Видишь, какие я тебе слова говорю.

Валя. А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина... и, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я — нет. У нас в Ново-Николаевке изба на краю села стоит и около речка и две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это нехорошо?

Сафонов. Нет, хорошо.

Валя. А как вспомню березки, около — вспомню — мама стоит и брат. А брата вспомню — вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали, — и станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню. И все, все вспомню. А потом подумаю: откуда вспоминать начала? Опять с двух березок. Так, может быть, это нехорошо? А, Иван Никитич?

Сафонов. Нет, это хорошо. Это мы, наверно, все так вспоминаем, каждый по-своему. *(Пауза.)* Ты только, как там будешь, ты матери скажи, чтобы она с немцами не очень ершилась. Она нужная нам, помимо всяких там чувств. И потом — ты ей это тоже скажи — я ее еще увидеть надежду имею.

Валя. Хорошо, я скажу. *(Пауза.)*

Сафонов. Да, ну и сама тоже. Осторожней, в общем. Сказал бы я тебе еще кое-что, да не стоит. Потом, когда обратно придешь.

Валя. А если не приду?

Сафонов. А если не придешь, значит, все равно, не к чему говорить. *(Накрывшись шинелью, укладывается на диване. Лежит, открыв глаза.)*

Валя. Ну, и засните. Хорошо будет.

Сафонов. Совсем спать отвык. Не могу спать.

Валя. А вы попробуйте. Я вам песню спою.

Сафонов. Какую?

Валя. Какую детям поют — колыбельную... *(Запевает: «Спи, младенец мой прекрасный...»)* Вы бы уже побрились, что ли. А то какой же это ребенок, с бородой.

Сафонов. Хорошо, вот ты вернешься, я побреюсь.

Валя. А если не вернусь, так и бриться не будете? *(Молчание.)* Придется уж вернуться, раз так.

Сафонов. Не могу спать.

Валя. И песня не помогает?

Сафонов. Не помогает. *(Пауза. Сафонов закрывает глаза и мгновенно засыпает.)*

Валя *(не замечая этого)*. Знаете, Иван Никитич, а я вот не боюсь итти. В первый раз боялась, а теперь нет. Мне кажется, что приду обратно сюда, чтобы вы побрились. А вы будете ждать. И все будут. Что же вы молчите? *(Замечает, что Сафонов спит.)* Вот и заснул. А говорил, спать не могу. *(Тянется к нему. Ей, видимо, хочется разбудить его. Преодолевая это желание и уже не глядя на него, прислонившись к столу, тихо допевает: «Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. . .»)*

Молчание.

Конец первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Харитонова. Старый добротный дом частнопрактикующего провинциального врача. Большая столовая, очевидно служащая общей комнатой. Несколько дверей. Два стенных шкафчика — один с посудой, другой белый, аптечного вида. На сцене за чайным столом Розенберг и Вернер. Вернер, прихлебывая из рюмки вино, зубрит что-то вполголоса.

Розенберг *(открыв дорожный на «молнии» чемоданчик, раскладывает перед собой разные сувениры: фотографии, документы)*. Что, Вернер, все практикуетесь в русском языке?

Вернер. Да, практикуюсь.

Розенберг. Это хорошо. Нам тут долго придется быть.

Вернер. По-вашему, война. . .

Розенберг. Война — нет, недолго, а вот после войны. Завоеватель может презирать народ, им покоренный, но он должен знать его язык, если бы даже ему

пришлось лаять по-собачьи. В чужой стране никому нельзя верить, Вернер.

Вернер. Но вы же верите Харитонову?

Розенберг. Да, потому что он мерзавец. И если русские придут, они его расстреляют. Но его жене я уже не верю. Они могут притти и не расстрелять ее. И уже по одному этому я ей не верю. *(Продолжает разбирать карточки.)* Сегодня Краузе подарил мне еще целый чемодан всего этого. Не смотрите так. Да, да, я люблю рыться в этом.

Вернер. У вас привычки старьевщика.

Розенберг. Ничего. По этим бумажкам и фотографиям я изучаю нравы. Иногда при этом обнаруживаются любопытные вещи. Вот, например, удостоверение личности младшего лейтенанта Харитонова Н. С. Н. С. — замечаете? Оно разорвано пулей. Очевидно, его владелец убит. Но меня интересует не это. Меня интересуют инициалы Н. С., потому что нашего хозяина дома зовут С. А. Трудно предположить, но вдруг предположим, что это его сын. А у него сын в армии, это мне известно. Что мы можем из этого извлечь? Очень многое. Во-первых, если даже это просто совпадение, то на нем можно построить интересный психологический этюд: узнавание, неузнавание, ошибка, горе матери и так далее. Все это входит в мою систему изучения нравов. Да, с чего же я начал?

Вернер. Вы начали с жены Харитонова.

Харитонов *(открывая дверь)*. Вы меня звали?

Розенберг. Нет, но раз вы уже вошли, — откуда у вас жена, доктор?

Харитонов. Из Вологды.

Розенберг. Вот видите, Вернер, она из Вологды, а мы еще не взяли Вологду. *(Харитонову.)* У нее есть родные?

Харитонов *(растерянно)*. Есть немножко, есть.

Розенберг. Что значит — немножко?

Харитонов. Сестры.

Розенберг. Сестры — это значит, по-вашему, немножко? Но у сестер ведь есть мужья? А?

Харитонов. Я не понимаю вас, господин капитан.

Розенберг. Вы меня прекрасно понимаете. Скажите вашей жене, чтобы она принесла нам чаю в самоваре.

Харитонов уходит.

Вот видите, Вернер, у ее сестер есть мужья. Может быть, один из них инженер, другой — майор, это уж я не знаю. И может быть, этот майор завтра окажется здесь. А она — сестра его жены, и она скорее позволит ему убить нас, чем нам — его. Это ведь, в сущности, очень просто.

Входит Мария Николаевна с чайной посудой.

Скажите, Мария Николаевна, у ваших сестер есть мужья?

Мария Николаевна. Да, господин капитан.

Розенберг. Они русские?

Мария Николаевна. Да. Вы будете пить молоко?

Розенберг. Нет. Вы не завидуете им, что у них русские мужья, а у вас неизвестно какой национальности?

Мария Николаевна. У меня тоже русский.

Розенберг. Я не об этом говорю. Не притворяйтесь, что вы меня не понимаете.

Мария Николаевна. Может быть, нести вам самовар?

Розенберг *(вставая)*. Несите. Мы сейчас придем.

Мария Николаевна уходит.

(Вернеру.) И после этого вы думаете, что я могу ей верить? *(Выходит в свою комнату.)*

Входит Мария Николаевна. За ней Харитонов. На улице несколько выстрелов. Мария Николаевна крестится.

Харитонов. Ну, что ты крестишься?

Мария Николаевна. За них.

Харитонов. За кого — за них?

Мария Николаевна. За наших.

Харитонов. Когда ты научишься держать язык за зубами?

Мария Николаевна. Тридцать лет учусь.

Харитонов. Опять?

Мария Николаевна. Да.

Харитонов *(тихо)*. Маша, поди сюда. Ты была у Сафоновой?

Мария Николаевна. Была.

Харитонов. Говорила все, что я велел?

Мария Николаевна. Говорила. *(Пауза.)* Противно мне это.

Харитонов. Противно? А если я буду убит, тебе не будет противно?

Мария Николаевна. При чем тут ты?

Харитонов. Очень просто. Ты завтра же пойдешь к ней опять и упомянешь, между прочим упомянешь, что я страдаю. Понимаешь? Страдаю... Что мне надоели немцы, что я их не люблю и боюсь, что я предпочел бы от них избавиться, что я был не рад, когда меня назначили городским головой. Поняла?

Мария Николаевна. Поняла. Только зачем тебе все это?

Харитонов. Затем, что это правда. Затем, что я предпочел бы сидеть весь этот месяц в подвале и не трястись за свою шкуру. Я больше чем уверен, что к этой старухе ходят... Да, да, партизаны. Немцам она все равно не скажет, что я их не люблю, а им, этим, может быть, и скажет. В Херсоне уже убили городского голову. Я не хочу, чтобы они убили его здесь, потому что здесь «он» — это я.

Мария Николаевна. Боже мой. Чем весь этот ужас, бросили бы все вещи и ушли, как я говорила, куда-нибудь в деревню, спрятались бы.

Харитонов *(шипящим, злым голосом)*. Куда спрятались бы? А вещи? Мои вещи без меня всегда вещи, а я без моих вещей — дерьмо. Да, да, дерьмо, нуль. Понятно тебе, дура?

Кто-то стучится в сенях.

Пойди открой.

Мария Николаевна выходит и сейчас же возвращается обратно. Вслед за ней Марфа Петровна — вне себя, простоволосая, со сбитым набок платком.

Марфа Петровна. Изверги!

Харитонов. Тише!

Марфа Петровна. Убили, на моих глазах убили!

Харитонов. Кого убили?

Марфа Петровна. Таню. Таню, соседку. Я думала — чорт с тобой: но ты же доктор! Родить она собралась. Так повела к тебе. Нашла к кому! Лежит она там, у тебя под окнами.

Харитонов. Тише! При чем тут я?

Марфа Петровна. При всем. Ты подписывал, чтобы после пяти часов не ходили, чтобы стрелять?

Харитонов. Не я — комендант.

Марфа Петровна. Ты, ты, проклятый!

На ее крик из соседней комнаты выходит и останавливается в дверях Розенберг.

Розенберг. Кто тут кричит?

Марфа Петровна. Я кричу! За что женщину посреди улицы убили?

Розенберг. Кто эта женщина?

Харитонов. Это тут одна... Они шли ко мне. Там родила соседка у них... И вот, патруль выстрелил.

Розенберг. Да, и правильно сделал. После пяти часов хождение запрещено. Разве нет?

Харитонов. Да, конечно, совершенно верно.

Розенберг. Если кого-нибудь застрелили после пяти часов — женщина это или не женщина, безразлично — это правильно. А вас, за то, что вы ходили после пяти часов, придется арестовать и судить.

Марфа Петровна. Суди. Убей, как ее... *(Наступает на него.)* Так бы взяла за горло сейчас вот этими руками...

Розенберг *(поворачиваясь к двери в соседнюю комнату)*. Вернер, позвоните дежурному! *(Спокойно.)* Кажется, придется вас повесить.

Марфа Петровна. Вешай!

Розенберг *(Харитонову)*. Как ее фамилия?

Харитонов. Сафонова.

Розенберг. У нее, наверное, есть кто-нибудь в армии? Муж, сыновья?

Харитонов. Э-э. Нет. То есть, может быть, есть... я не знаю.

Марфа Петровна. Есть. И муж есть, и сыновья есть. Все в армии.

Розенберг. Придется повесить!

Мария Николаевна (*вдруг бросается к Марфе Петровне, обнимая ее и став рядом с нею*). И у меня тоже сын в армии. И меня вешайте! Я вас ненавижу! Ненавижу!

Харитонов. Маша, ты...

Мария Николаевна. И тебя ненавижу! Всех вас ненавижу, мучителей! А вот мы — подруги, и сыновья у нас у обеих в армии. Да... (*Рыдает.*)

Входят двое солдат.

Розенберг. Возьмите... (*Секунда колебания.*) Вот эту. (*На Марфу Петровну.*) А эту оставьте.

Харитонов. Спасибо, господин капитан. Она не будет больше...

Марфа Петровна. Благодари, благодари, Иуда, в ножки поклонись.

Солдаты хватают ее за руки.

Плюнула бы этому немцу в морду, да лучше тебе плюну! (*Плюет в лицо ему.*)

Солдаты выволакивают Марфу Петровну. Мария Николаевна, обессилев, плачет.

Харитонов. Господин капитан! Вы не обращайте внимания. Она это так... Нервная женщина. Они, правда, подруги были.

Розенберг. Ничего, доктор, я прощаю вашу жену, помня о ваших заслугах. (*Говорит отчетливо, глядя на Марию Николаевну.*) Я же не могу забыть ваших заслуг. Ведь вы же, как-никак, составили мне список на семнадцать коммунистов и вчера еще на пять. Вы же мне указали местонахождение начальника милиции Гаврилова. Вы же меня предупредили, где спрятан денежный ящик вашего банка. Вы же... Впрочем, я не буду пере-

числять, — этот перечень, кажется, расстраивает вашу жену. Она плачет, вместо того чтобы радоваться, что вы нам так помогли. Ну, ничего, успокойте ее. *(Уходит в соседнюю комнату.)*

Молчание.

Мария Николаевна *(тихо)*. Это все правда?

Харитонов. Правда. Да, да, правда! Ты говори спасибо, что ты жива после того, что ты наделала!

Мария Николаевна. Я не хочу быть живой, мне все равно. Если бы не Коля, я хотела бы только умереть.

Розенберг *(входя вместе с Вернером)*. Мария Николаевна, не забудьте про чай.

Мария Николаевна выходит.

Розенберг *(Вернеру тихо)*. Сейчас мы произведем интересный психологический этюд. Еще немножко изучения нравов, того самого, которое вы так не любите... Доктор!

Харитонов. Слушаю.

Розенберг. Я надеюсь, что вы ведь нам искренно преданы, доктор?

Харитонов. Искренно, господин капитан.

Розенберг. И все, кто борется против нас, — это ведь и ваши враги, доктор? Так или не так?

Харитонов. Так, господин капитан.

Розенберг. Как так? Точнее.

Харитонов. Враги, господин капитан.

Розенберг. И когда они погибают, вы должны этому радоваться, доктор?

Харитонов. Да, должен, господин капитан.

Розенберг. Нет, точнее. Не «должен», а «рад». Так ведь?

Харитонов. Рад, господин капитан.

Розенберг. Я надеюсь, что ваша жена сказала неправду и ваш сын, конечно, не борется против нас?

Харитонов. Нет, господин капитан, к сожалению, это правда, он в армии. Я с ним давно уже в ссоре, но он в армии.

Розенберг. К вашему большому сожалению?

Харитонов. Да, господин капитан, к сожалению.

Розенберг. И если бы его уже не было в армии, то ваши сожаления кончились бы?

Харитонов. Конечно, господин капитан.

Розенберг. Подойдите сюда поближе *(закрывая удостоверение одной рукой, оставляя только карточку)*. Это лицо вам знакомо?

Харитонов. Николай!

Розенберг. Я вижу, знакомо. *(Открывая все удостоверение.)* Здесь, на этой дырке, доктор, ваши сожаления кончились. Вы можете быть довольны. Ваш сын уже не в армии. Правда, я лично не видел, но я в этом уверен. Можете уже не сожалеть.

Харитонов молчит.

Ну, как, вы рады этому, доктор?

Вернер. Розенберг!

Розенберг *(поворачиваясь к нему, холодно)*. Да? Одну минуту терпения. Значит, вы рады этому, господин доктор? *(Резко.)* Да или нет?

Харитонов *(сдавленным голосом)*. Да, рад.

Розенберг *(Вернеру)*. Ну, вот видите, Вернер, доктор рад. И мы с вами сомневались в нем совершенно напрасно. Вы можете итти, доктор. Мне все ясно. Спасибо за откровенность. Вы поистине преданный человек. Это очень редко в вашей стране, и тем более приятно.

Харитонов выходит.

Вернер. Слушайте, зачем вся эта комедия? Если нужно расстрелять — расстреляйте или скажите мне, если вы сами неврастеник и не умеете. Но то, что вы делаете, — это не солдатская работа.

Розенберг. У вас устарелые взгляды, Вернер. Изучение нравов входит в ваши обязанности.

Вернер. Слушайте. Вы мне осточертели с вашим изучением нравов. Я, кажется, завтра же попрошусь в полк, чтобы больше не видеть вас с вашим изучением нравов. Я буду убивать этих русских, будь они

прокляты, но без ваших идиотских предварительных разговоров, которые мне надоели.

Розенберг. Вы не будете пить чай?

Вернер (*выходя*). Нет.

Харитонов входит и бессильно прислоняется к притолке. Входит Мария Николаевна с самоваром.

Харитонов (*тихо*). Маша! Послушай, Маша!

Мария Николаевна. Что тебе?

Харитонов. Я хочу тебе сказать...

Мария Николаевна. Что еще ты хочешь мне сказать?

Харитонов. Я хочу тебе сказать... Нет, не могу. (*Уходит.*)

Мария Николаевна. Сейчас я принесу заварку.

Розенберг (*искоса смотрит на нее, держа в руке удостоверение*). У вас, оказывается, был сын в армии?

Мария Николаевна. Почему был? Он в армии и есть.

Розенберг. Нет, был. Или, как говорит ваш муж, — к сожалению, был. Но теперь, как говорит опять-таки ваш муж, его, к счастью, нет. Но знаете, ваш муж рад, что его нет.

Мария Николаевна. Что вы говорите? Что вы говорите?

Розенберг. Нет... вы не думайте только, что это имеет какое-то прямое отношение ко мне. Я не был бы так жесток с матерью. Но ко мне случайно попало вот это. Поэтому я и говорю: «был».

Мария Николаевна сжимает в руках удостоверение, тупо смотрит на него и так, не выпуская. садится за стол. Сидит молча, оглушенная.

Розенберг (*после паузы*). Я бы не рискнул вам сказать, но я подумал, что вы разделяете взгляды вашего мужа, а ваш муж сказал, что он рад этому, несмотря на свои родительские чувства.

Мария Николаевна молчит.

Что же вы молчите? Да, да, он так и сказал. Доктор!

Входит Харитонов.

Доктор, ведь вы сказали, что вы рады, а?

Мария Николаевна поднимает голову, смотрит на Харитонова. Харитонов молчит.

Или вы мне сказали неправду? Вы не рады?

Харитонов молчит.

Мария Николаевна *(молча кладет удостоверение и говорит механически)*. Сейчас я вам заварю чай.

Розенберг. Спасибо, прекрасно.

Мария Николаевна, за спиной Розенберга и Харитонова, подходит с чайником к одному шкафчику, потом к другому, аптечному. Порывшись там, возвращается к столу.

Мария Николаевна. Вот чай.

Розенберг. Прошу вас, налейте. Знаете, солдатам всегда приятно, когда женская рука наливает им чай или кофе. Верно ведь, а, доктор?

Харитонов молчит.

Что же вы молчите? Потеряли дар речи?

Мария Николаевна наливает Розенбергу чай.

Ну, доктор, может быть, вы выпьете чаю со мной, а? Вы взволнованы. Ничего. Выпейте. Вы же наш преданный друг. Я рад с вами сидеть за одним столом.

Харитонов. Спасибо.

Розенберг. Мария Николаевна, налейте чаю вашему мужу.

Пауза. Мария Николаевна смотрит на Харитонова, потом тем же механическим движением молча наливает чай и ему.

Розенберг. Ну, доктор.

Харитонов. Я прошу простить, господин капитан, но мне дурно... я не могу...

Розенберг. Ну, как угодно, как угодно.

Мария Николаевна *(спокойно)*. Вам больше ничего не нужно, господин капитан?

Розенберг. Нет, спасибо. Вернер, я иду к вам! *(Взяв чашку, выходит.)*

Харитонов сидит на диване, опустив голову на руки. Мария Николаевна стоит у стены. Молчание.

Харитонов. Маша!

Мария Николаевна. Что?

Харитонов. Маша, я не могу так.

Мария Николаевна. Оставь меня. Я не хочу тебя слушать.

Харитонов. Бросим все, уедем, убежим. Я боюсь их всех. Я ничего не хочу.

Мария Николаевна. Поздно. Я же тебе говорила. А теперь поздно. Ты даже не знаешь, как поздно.

Раздается грохот отодвинутого в соседней комнате стула. Дверь открывается. Вбегает Розенберг и останавливается.

Розенберг. Что вы там намешали?! Что вы там намешали, вы, вы! *(Падает лицом вперед на пол.)*

Мария Николаевна стоит неподвижно.

Харитонов *(суетясь)*. Что с вами? Что с вами? *(Подбегает к Розенбергу, пытается поднять его с пола.)*

Мария Николаевна безучастно, молча стоит у стены.

Вернер *(четким шагом подходит к Розенбергу, нагнувшись берет его за руку, слушает пульс)*. Кто это сделал?

Мария Николаевна. Мы. Мы его отравили, я и муж.

Харитонов *(с колен)*. Нет, господин капитан, она говорит неправду... Это не мы. Это не я. Не я...

Мария Николаевна. Мы, мы. Встань. *(Подходит к Харитонову, поднимает его подмышки.)* Встань, Саша, встань. *(Быстро.)* Это мы с ним. Мы вас ненавидим. Мы это сделали, мы оба — я и он.

Харитонов. Господин Вернер! Господин Вернер!

Вернер. Вы думаете, что я вас буду отдавать под суд?

Харитонов. Господин Вернер, это не я.

Мария Николаевна. Да, мы это сделали. Вы убили нашего сына. Мы отравили этого вашего негодяя.

Вернер. Я вас не отдам под суд. Я вас просто повешу обоих через две минуты. *(Открывает наружную дверь.)* Эй, кто-нибудь!

Мария Николаевна *(прижав к себе совершенно обезумевшего от ужаса Харитонова, кричит, прислонясь к стене)*. Ну и вешай! Вешай!

Занавес.

Конец четвертой картины.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Ночь. Берег лимана. Деревья. Спуск к воде. Задняя стена какого-то строения. Через сцену медленно идут Валя и Сафонов. У Сафонова правая рука на перевязи.

Валя. А я в прошлый раз как раз тут и переплывала.

Сафонов. Вот как раз потому, что прошлый раз тут — сегодня в другом месте поплывешь. *(Смотрит на часы.)* Сейчас поедем.

Валя. Светятся. Хорошие.

Сафонов. В Улан-Баторе купил, еще давно.

Валя. Где это?

Сафонов. Улан-Батор? Это город такой, в Монголии. Далеко... Сейчас меня на Южную балку отвезешь, провожу тебя там и... Запальники и шнур не забыла?

Валя. В машине лежат. Что, поедем?

Сафонов. Сейчас...

Васин *(выходя из-за дома, оглядываясь)*. Товарищ капитан!

Сафонов. Я.

Васин. Сейчас поедете?

Сафонов. Да, а что?

Васин. Я, с вашего разрешения, останусь тут, в роте, до утра. Телефон все еще не починили, я сам здесь подежурю.

Сафонов. Только к рассвету в штабе будь, ладно?

Васин. Так точно. *(Уходит.)*

Сафонов. Сейчас поедем... Да, вот тебе и последнее испытание, Валентина Николаевна... Ты у ме-

ня теперь старая разведчица. Я теперь тебя по имени-отчеству принужден звать.

Валя. А «вы» — не надо.

Сафонов. Нет, теперь я уже принужден, ничего не поделаешь.

Опять слышна канонада.

Совсем наши близко к лиману подошли. Наступают. Ты представь себе: наступают наши! .. А то уж больно обидно помирать было, тем более что лично я в загробную жизнь не верю. Теперь и сказать можно. Я только вчера, когда эту канонаду в первый раз услышал, в первый раз поверил, что живы будем. И поскольку у меня надежда быть в живых появилась, прошу тебя, Валентина Николаевна, делай, что надо, а так зря не прыгай. Я тебя очень хочу живой видеть.

Валя. Я тоже. *(Вдруг мечтательно.)* Сафоныч, а Сафоныч?

Сафонов. Что?

Валя. Ничего.

Сафонов. Ну, а все-таки?

Валя. Я когда у твоей матери была, твою фотографию увидела и спрашивала про тебя разное. Она говорит: «Вот он маленький какой был». А мне интересно, какой ты был маленький! А она вдруг меня спрашивает: «А чего ты, девушка, так интересуешься?» Я говорю: «Ничего, просто так». А она говорит: «А я думала, любовь у вас». Я говорю: «Нет, я просто так».

Сафонов. Валя! *(Хочет обнять ее здоровой рукой.)*

Валя. Не надо, Сафоныч, не перебивай, я тебе рассказать хочу. *(Пауза.)* Я ей говорю: «Он меня все невестой в шутку зовет». А вернулась оттуда — ты меня сразу и звать так перестал. Почему? Это ведь в шутку...

Сафонов. Потому и перестал, что в шутку... А когда вернулась... *(Снова пытается ее обнять.)*

Валя. Не надо. Это тебя Глоба научил, да?

Сафонов. Причем тут Глоба?

Валя. Я знаю. Он всем это говорит: «Живем только раз. Она девушка добрая... а что завтра — неизвестно, может, умрем». А я не хочу только оттого, что, может, завтра умрем. Я хочу...

Сафонов *(отпустив ее, только продолжая держать за руку, ласково)*. Ну, чего ты хочешь, колокольчик ты мой степной? Чего ты хочешь? Что сделать мне для тебя?

Валя. Проводи меня, Сафоныч. И что-нибудь хорошее на прощанье скажи. А то я что-то боюсь сегодня. Нет, ты не думай, я немножко... Это ничего?

Сафонов. Ничего. *(Пауза.)* Ты с собой револьвер взяла, в случае, если что?

Валя. Нет. Я наган оставила, он тяжелый.

Сафонов *(морщась, достает здоровой рукой маленький браунинг)*. Вот мой, возьми.

Валя *(берет, смотрит на браунинг)*. Это хорошо. Если что-нибудь, если немцы, — лучше тогда живой не быть. Верно?

Сафонов. Верно. И лучше мне тогда тоже живому не быть. Вот я что тебе сейчас скажу. А остальное после. После, когда наши придут, когда поверишь, что не потому, что завтра умереть можем. *(Пауза.)* Ну, поедем. *(Идут к дому.)* Ты куда его положила?

Валя. В карман.

Сафонов. А ты лучше за пазуху, на грудь. Верней. *(Уходят.)*

Некоторое время на сцене пусто. Потом снизу, из-за края обрыва, ведущего к воде, появляется голова. Тихий свист. Ответный свист. Входит Козловский.

Козловский. Вы здесь?

Неизвестный. Здесь.

Козловский. Чорт бы их взял. Нашли место для прогулок.

Неизвестный. Вы хоть слышали, о чем они говорили?

Козловский. Нет. А мне это не нужно. Я знаю и так. Передайте господину Розенбергу...

Неизвестный. Он убит.

Козловский. Убит! Кто же вас послал?

Неизвестный. Вернер.

Козловский. Передайте господину капитану: во-первых, в городе затевается какой-то взрыв или что-то в этом роде; что — я пока не знаю, но затевается; во-вторых, примерно через час у Южной балки будет перепра-

вляться вот эта, которую вы здесь видели. Фамилия — Анощенко, зовут — Валентина.

Неизвестный. Это связано со взрывом?

Козловский. Очевидно, да.

Неизвестный. У нее будут документы?

Козловский. Очевидно, нет. Но если как следует взяться...

Неизвестный. Конечно. Но это будет точно сегодня?

Козловский. Да, через час.

Неизвестный. Тогда я спешу.

Козловский. Да, конечно. Передайте господину капитану: то, что я задумал с дядей...

Неизвестный. Что?

Козловский. Передайте господину капитану: то, что я задумал с дядей, — он знает, — пока не выходит. И начальник гарнизона, и он пока держатся друг за друга. Попробую еще.

Неизвестный. Все?

Козловский. Все. Да, я вас хотел спросить: из-за лимана слышна близкая канонада...

Неизвестный. Русские начали наступать и подошли ближе. Ну, все? Я спешу.

Козловский. Все.

Неизвестный исчезает. Долгое молчание. Слышны тихие всплески воды. Откуда-то сверху раздается близкий выстрел, потом второй. На сцену, не замечая Козловского, входит Васин с красноармейцем. У Васина в руках карабин.

Васин. Плохо следите. Здесь кто-то подплывал к берегу.

Красноармеец. Так вы же стреляли, товарищ майор. Ничего же не видно.

Васин. Не видно, потому что поздно заметили. Вызовите мне караульного начальника! Быстро! Я буду ждать здесь. *(Всматриваясь в темноту.)*

Козловский пытается незаметно пройти.

Васин. Стой! *(Вскидывает карабин.)*

Козловский *(видя, что ему не уйти)*. Это свои.

Васин. Кто свои?

К о з л о в с к и й. Я, товарищ майор, — Василенко.

В а с и н *(подходя к нему и продолжая держать карабин наизготовку)*. Что вы здесь делаете?

К о з л о в с к и й. Товарищ майор... Да опустите карабин, это же я. Я вам сейчас объясню...

В а с и н *(не обращая внимания, продолжает держать карабин)*. Что вы здесь делаете?

К о з л о в с к и й. Да вот, пошел проверять посты, — как и вы, очевидно.

В а с и н. Это не ваша рота. Что вы здесь делаете?

К о з л о в с к и й. Я же говорю, товарищ майор. Проверяю посты. Ну, что ж, что не моя рота. Мы, политработники, обязаны всюду иметь глаза.

В а с и н. Политработа тут ни при чем. Это не ваша рота. Извольте ответить, что вы здесь делаете, я вас в последний раз спрашиваю.

К о з л о в с к и й *(вдруг решившись)*. Александр Васильевич! *(Пауза.)* Дядя Саша!

В а с и н. Бросьте глупые шутки. Племянник!

К о з л о в с к и й. Да, племянник.

В а с и н. У меня нет племянника Василенко.

К о з л о в с к и й. Да, но у вас есть племянник Николай Козловский. Коля.

В а с и н. Так.

К о з л о в с к и й. Александр Васильевич, я вам сейчас все объясню.

В а с и н. Так. Я слушаю.

К о з л о в с к и й *(с надеждой)*. И меня поймете, вы поймете. Я вам только добра желаю. Вы слышите?

В а с и н. Я уже сказал вам, что слушаю.

К о з л о в с к и й. Вы меня плохо помните?

В а с и н. Да. Плохо.

К о з л о в с к и й. Но вы вспомните Николаев, вспомните, как вы бывали у мамы на Трехсвятской улице. Мне тогда было пятнадцать.

В а с и н. Вы что, действительно мой племянник?

К о з л о в с к и й *(торопливо)*. Действительно. Действительно. Я с вами поэтому и говорю сейчас так. Я же мог бы ничего не сказать.

В а с и н. Что вы здесь делали?

Козловский. Я... я буду говорить с вами начистоту. Вы должны понять меня, как бывший офицер, как дядя, как брат моей матери наконец.

Васин. Ну? Я вас слушаю.

Козловский. Я хочу вас спасти. Завтра же немцы предпримут последнюю атаку города. Мы все погибнем. И вы погибнете, если...

Васин. Если что, разрешите узнать?

Козловский. Если я не спасу вас и себя. Зачем вам погибать? Вы же с ними ни душой, ни телом. Зачем?

Васин. Вы затем и явились сюда под чужой фамилией, чтобы меня спасти?

Козловский. Нет, не буду лгать. Не только за этим. Но и за этим... Да, за этим. Мы не должны забывать своей родни и крови. Я не забываю. Я знал, что вы здесь.

Васин. Что же вы мне предлагаете?

Козловский. Спастись.

Васин. Позвольте спросить, как?

Козловский. К утру переплыть туда, там будет все готово. Вместе — вы и я. Вас хорошо встретят, я вам ручаюсь. Они поймут, что вы только по необходимости... Я уже говорил там о вас.

Васин. Говорили?

Козловский. Да, говорил. Я говорил, что у меня здесь дядя, что он нам не враг и что его нужно спасти.

Васин. Так. А сюда вы пришли зачем?

Козловский. Оттуда переплывал человек. Я с ним говорил... Я хотел переправиться туда с вами под утро и договорился об этом. Я все равно хотел отсюда итти к вам, так что даже лучше, что мы встретились здесь.

Васин. Весьма возможно.

Козловский. Вы согласны?

Васин. Мне надо подумать.

Козловский. Соглашайтесь. Другого выхода все равно нет. Вы выдадите меня — ну, меня расстреляют. Я смерти не боюсь, иначе я сюда не переправился бы. Но что из этого? Погибну я, — через полдня погибнете вы: я — от руки русских, вы — от руки немцев. Зачем вам это? Зачем вы на той стороне? Что вам хорошего сделали они, чтобы из-за них губить и себя, и меня?

Если бы не все это, не эта революция, вы бы давно имели покой, уважение, вы были бы генералом наконец. Но это неважно, не в этом дело. Дело в том, чтобы спастись сейчас. Ведь так? Вы согласны?

Васин. А вы точно знаете, что завтра предстоит атака?

Козловский. Да, да. Точно.

Васин. Хорошо. Пойдемте в штаб и там у меня спокойно обсудим, как лучше это сделать.

Козловский. Зачем? Что ж тут обсуждать?

Васин. Как что? Вы говорите со мной, как мальчишка. Если это делать, то делать как следует. Надо захватить штабные документы, бумаги, карты. Если переходить, надо переходить так, чтобы ценили; делать это, как взрослые люди, как офицеры, наконец, а не как дети. Неужели же вы не понимаете?

Козловский. Да. Вы совершенно правы, но...

Васин. Но вы боитесь, что я вас там выдам? Я мог бы сделать это и здесь, не таская вас в штаб. Не валяйте дурака. Сейчас придет караульный начальник, и пойдем. И скорей, потому что если делать — то делать, нам с вами некогда терять время. Кстати, вот вы — так называемый разведчик, а вы знаете, что сегодня, через полчаса, у Южной балки должна туда переходить Анощенко? Вы сообщили это вашему лазутчику? Не догадались, наверно?

Козловский. Нет, я догадался, я сообщил. Вы обо мне слишком плохо думаете.

Васин. Ну, простите; если так, то это хорошо.

Входят караульный начальник и красноармеец.

Васин. Товарищ сержант, смените часового. Тут, очевидно, кто-то подплывал к берегу, — я слышал всплески, а он ничего не слышал, проспал, — и арестуйте.

Караульный начальник. Есть, товарищ майор.

Васин. Я взял у вас в караульном помещении карабин, возьмите его обратно. *(Козловскому.)* Ну, скорей. *(Взглянув на часы.)* До рассвета осталось три часа, пошевеливайтесь! *(Скрываются.)*

Конец пятой картины и второго действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Штаб Сафонова. Ночь. За столом, очевидно после ужина, — Глоба, Панин, лейтенант. Шура убирает со стола. Глоба мурлычет себе под нос. Молчание. Лейтенант, вынув из кармана гимнастерки фотографию, разглядывает ее.

Глоба. Это что у тебя?

Лейтенант. Девушка.

Глоба. А ну, дай.

Все молча, по очереди, смотрят на карточку.

Глоба. Интересная из себя. *(Передает Панину.)*

Панин. Да, красивая. *(Отдает лейтенанту.)*

Лейтенант. Полгода не видел. Забыла уже, наверно.

Глоба. Дай-ка! *(Смотрит еще раз. Отдает карточку.)* Нет, не забыла.

Лейтенант. Не забыла?

Глоба. Факт. Очень симпатичная девица. Полное доверие у меня лично вызывает. Не забыла. Ты и беспокоиться брось.

Лейтенант *(смотрит на карточку. Панину.)* А у вас есть, товарищ старший политрук?

Панин. У меня? Где-то есть.

Лейтенант. Показали бы.

Панин. Далеко где-то.

Лейтенант. Показали бы.

Панин *(роется в карманах, вынимает карточку.)* Измялась вся.

Лейтенант *(смотрит)*. Ишь, какая!.. *(Перевертывает.)* Простите, тут письмо... Я случайно...

Панин. Ничего, тут ничего особенного не написано.

Лейтенант. А глаза какие! Эта — ждет! Эта непременно ждет...

Сафонов *(входит, отряхиваясь)*. Первый снег пошел. *(Пауза.)* Что, дом вспомнить потянуло? Далеко теперь твой дом, а, писатель?

Панин. Далеко.

Сафонов. Глоба, а твоя где фотография, не вижу?

Шура. А ему, по его характеру, целый альбом нужно возить.

Глоба. Вот это уж неверно, Шурочка. Человек я, правда, холостой, но, чтобы целый альбом возить, — это нет. Если возить фотографию, так это уж надо одну какую-нибудь, чтобы сердце билось при взгляде, — например, хотя бы вашу. Но вы же мне не подарите?

Шура. Нет, не подарю.

Глоба. Ну вот, видишь. Хотя у капитана, впрочем, тоже нет фотографии. То есть она могла бы тут с ним рядом сидеть, да он все отсылает ее от себя.

Сафонов. Ты не трогай этого. Знаешь же, что больше некого...

Глоба. А хотя бы меня.

Сафонов. Твое время еще придет. Я тебя на крайний случай держу.

Глоба. Это на какой же такой крайний случай?

Сафонов. Крайний случай? А вот если пропадет она, ты и пойдешь.

Молчание.

Теперь еще отсидеться два дня — и порядок. *(Панину.)* И придется тебе, начальник особого, сдать свои дела и опять в писатели податься.

Панин. Да, в газете уже, наверное, думают, что пропал их собственный корреспондент...

Быстро входит Васин, за ним Козловский.

Васин. Товарищ капитан, переправилась Анощенко?

Сафонов *(взглянув на часы)*. При мне нет, но сейчас уже, должно быть... А что?

Васин. Где, у Южной балки?

Сафонов. Да, а что?

Васин. Товарищ лейтенант, соедините со второй ротой! Быстро!

Козловский, стоявший рядом с Васиным, выхватывает револьвер, но Васин, очевидно незаметно следивший за ним поворачивается, легким движением перехватывает его руку и вывертывает ее. Револьвер падает.

Васин. Прежде чем брать в руки оружие, надо с ним уметь обращаться.

Сафонов. Что это значит?

Васин. Сейчас. Товарищ Панин, возьмите красноармейцев и выведете его отсюда.

Панин (*открыв наружную дверь*). Дежурный!

Входит красноармеец.

Панин (*отворив дверь в соседнюю комнату*). Идите. (*Козловский не двигается.*) Ну!

Козловский, Панин и красноармеец выходят.

Сафонов. Что случилось, Александр Васильевич?

Васин. Сейчас. (*Лейтенанту.*) Соединили?

Лейтенант. Есть. Соединил.

Васин (*в телефон*). Задержите Анощенко, если еще не переправилась. Я спрашиваю: переправили или нет? (*Пауза.*) Я знаю, о чем можно по телефону разговаривать и о чем нельзя. Переправили или нет? Понятно. (*Положив трубку.*) Переправили. Опоздал.

Сафонов. Александр Васильевич, может, объяснишь, все-таки?

Васин. Так точно. Сейчас объясню. (*Кивает на дверь; в которую увели Козловского.*) Вот этот, мой племянник, объяснит. Пойдемте. (*Проходят в ту же комнату.*)

Шура. Иван Иванович!

Глоба. Ну?

Шура. Что же это? Неужели пропадет Валечка? А?

Глоба (*угрюмо*). Молчи.

Шура. Неужели пропадет?

Глоба. Молчи.

Шура. Неужели вам даже сейчас ее не жалко, что пропадет?

Глоба (*хватив кулаком по столу*). Молчи об этом! Не будет этого!

Сафонов (*показываясь в дверях*). Глоба!

Глоба. Да?

Сафонов. Глоба, одевайся в штатское, скорей. Где оно у тебя?

Глоба. На медпункте.

Сафонов. Беги. *(Закрывает дверь.)*

Глоба. Вот и пришел мой крайний случай, Шурочка. *(Идет к двери, оборачивается.)* Там у тебя, наверно, из-под одеколона пузырек есть, так ты мне водки в него приготовь, чтобы как переплыву, греться было чем. *(Выходит.)*

Шура *(одна. Подходит к столу, где стоит ее машинка, роется в ящиках, достает флакон, задумчиво смотрит на него)*. Валечкин. Осталось немножко... Все равно теперь...

Входят Сафонов, Васин, за ними, между Паниным и красноармейцем, Козловский, без пояса, с оторванными петлицами.

Сафонов. Глоба ушел?

Шура. Да.

Сафонов. Хорошо. *(Васину.)* Ну что ж. Надо кончать. По-моему, все ясно.

Васин. Я не видел его четырнадцать лет, и он значительно изменился. Но все-таки, очевидно, мог бы узнать... если бы был внимательнее. Готов за это понести ответственность.

Сафонов. Да что там ответственность, Александр Васильевич. Подумаешь, из-за такой сволочи расстраиваться. Ну, племянник он тебе, ну и шут с ним. Расстреляем — и не будет у тебя племянника. Товарищ Панин! Пойди к себе, протокол составь. Только недолго занимайся. Ему до утра незачем жить, лишнее ему жить до утра. Понятно?

Панин. Понятно.

Козловский, съежившись, стоит у стенки.

Красноармеец. Пойдем!

Козловский *(проходя мимо Васина)*. Я умру, но будьте вы прокляты!.. Вы... вы мне не дядя... вы...

Сафонов. Конечно, он тебе не дядя. Кто же захочет быть дядей такой сволочи.

Панин, красноармеец и Козловский выходят.

Васин. Я подам рапорт, товарищ капитан, и буду просить расследовать это дело, со своей стороны...

Сафонов. А иди ты со своим рапортом, Александр Васильевич. Нам с тобой некогда рапорты писать, нам еще завтра драться нужно. *(Опускает голову на стол, молчит.)*

Васин. Что с вами, Иван Никитич?

Сафонов молчит.

Сафонов *(глухо)*. Про мост она им не скажет, это мы поправим. Глобу пошлем. Она не скажет... А если... Все равно не скажет. А ты понимаешь, Александр Васильевич, что это значит — не скажет?

Лейтенант *(входя)*. Товарищ капитан, самолет из армии вымпел сбросил. Примите.

Сафонов. Из армии? Давно я приказов не получал, устала у меня голова от самостоятельных действий. *(Читает приказ.)* Да, вот оно, какое дело... Придется нам, кажется, Александр Васильевич, отложить эту мысль насчет в живых остаться, отсидеться. Армия нам поможет — это безусловно, но и мы ей, оказывается, тоже помочь должны. Что ж, придется мост отставить, отставить придется мост, Александр Васильевич.

Васин. Отставить?

Сафонов. Отставить. *(Протягивает Васину приказ.)* Лейтенант! Позвони командирам, кто на месте есть, скажи — я собираю.

Лейтенант уходит.

Прочел, Александр Васильевич?

Васин. Так точно. Ну, что ж, Иван Никитич, авось нас никто не попрекнет: будем живы — не попрекнут, умрем — тоже не попрекнут.

Входит Панин.

Сафонов. Ну, что, закончили?

Панин. Да. А насчет протокола...

Сафонов. Не надо. Эти подробности мне теперь лишние. Панин, вот получил я приказ. Александр Васильевич, давай карту! Армия к лиману подходит.

Немцы находятся прижатые к воде. И что была наша мысль взорвать мост у них в тылу, так теперь мысль эта неправильная. Приказано оставить город, собрать все силы и захватить мост, хотя бы на два часа, до подхода наших частей. Чтоб они по этому мосту потом дальше могли итти. Это решение командования, оно глядит в будущее.

Панин. Ясно.

Сафонов. Ясно, но тяжело. Придется нам с тобой, Панин, с людьми говорить. Потому что взорвать мост — это пустяки рядом с тем, чтобы взять мост. Потому что люди устали. Они уже надеялись, что им переждать теперь два дня, пока наши придут, и все. А им еще надо теперь мост брать, жизнь свою класть за этот мост. Это объяснить надо людям. Понимаешь, Панин?

Панин. Объясним.

Сафонов. Это вроде как человек воюет полгода, потом ему отпуск назавтра дают, а перед отпуском за два часа говорят: иди опять в атаку. Вот для него эта атака самая тяжелая. Сделаем, но тяжело. Мост — это я лично на себя беру, а ты, Александр Васильевич, возьмешь легкие орудия и у Южной балки будешь вид делать, что прорваться хочешь. Но такой вид делать, Александр Васильевич, чтобы похоже было, чтобы они про мост забыли, совсем забыли, чтобы на тебя все внимание обратили.

Васин. Значит, демонстрация?

Сафонов. Да, демонстрация. Но только ты забудь это слово. Люди всерьез должны у тебя итти: это не всякий выдержит, чтобы знать, что без надежды, на смерть идешь. Это ты можешь выдержать, а другой может не выдержать. Вот Панин с тобой пойдет за комиссара.

Васин. Я только опасаюсь, что они не попадутся на эту удочку.

Сафонов. Попадутся, я так придумал, что попадутся.

Входит Глоба в штатском.

Вот Глоба поможет, чтобы попались. Иди сюда, Глоба!

Глоба встает перед ним.

Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия, передашь ему, что взрыв моста отставить. Ясно?

Глоба. Ясно.

Сафонов. Сделаешь это...

Глоба. И обратно?

Сафонов. Нет, сделаешь это и... потом пойдешь в немецкую комендатуру.

Глоба. Так.

Сафонов. Явившись к немецкому коменданту, или кто там есть из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулак, лишенец репрессированный, — в общем найдешь, что сказать. Понятно?

Глоба. Понятно.

Сафонов. Что угодно скажи, но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?

Глоба. Понятно.

Сафонов. Так. И скажешь им, что бежал ты сюда, от этих большевиков, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что ввиду близкого подхода частей хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у Северной балки. Ясно? И в котором часу скажешь. Завтра в восемь.

Глоба. Ясно.

Сафонов. Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут, но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, но ты стой на своем. Тогда они поверят. И тебя они держать как заложника будут: чтобы ежели не так, то расстрелять.

Глоба. Ну, а как же выйдет: так или не так?

Сафонов. Не так. Не так, Иван Иванович, выйдет не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нету. Вот приказ у меня. Читать тебе его лишнее, но имей в виду: большая судьба от тебя зависит, многих людей.

Глоба. Ну, что ж. *(Пауза.)* А помирать буду, песни петь можно?

Сафонов. Можно, дорогой, можно.

Глоба. Ну, коли можно, так и ладно. *(Тихо.)* В случае чего, встречусь я с ней там, на один цугундер посажены будем, — что передать, что ли?

Сафонов. Что ж передать? Ты ей в лицо посмотри: если увидишь, что ей, может, это ни к чему, то не говори; если увидишь — к чему, то скажи: просил Сафонов передать, что любит он тебя. И все.

Глоба. Хорошо. Говорят, старая привычка есть: посидеть перед дорогой, на счастье. Давай-ка сядем.

Все садятся.

Глоба. Шура!

Шура. Да?

Глоба. Ну-ка, мне полстаканчика на дорогу.

Шура наливает ему водки.

Глоба (*выпив залпом, обращается к Шуре*). Что смотришь? Это ведь я не для храбрости, это я для теплоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости мне песня помогает. (*Пожимает всем руки. Дойдя до двери, поворачивается и вдруг запевает: «Соловей, соловей-пташечка». С песней скрывается в дверях.*)

Молчание.

Сафонов. Ты слыхал или нет, писатель? Ты слыхал или нет, как русские люди на смерть уходят?

Конец шестой картины.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Обстановка четвертой картины. Дом Харитонова. Хозяев нет. Столовая обращена в караульное помещение. Все опустошено. Поломанная мебель, изорванные занавески, забытые портреты на стенах. Окна забиты снаружи крест-накрест деревянными планками. Одна из внутренних дверей обита железом и закрыта на засов. Через застекленный верх наружной двери от времени до времени видны каска и штык часового. На сцене за столом Вернер с обвязанной головой и писарь Краузе.

Вернер. Вы дурак, Краузе, потому что, когда взяли эту девицу, надо было сначала ее допросить (*кивнув на обитую железом дверь*), а потом уже сажать с остальными.

Краузе. Разрешите доложить, господин капитан, ее посадили с остальными, потому что вас не было.

Вернер. Все равно, был я или не был, ее нельзя было сажать с ними. Теперь она говорит только то, о чем они сговорились. Теперь она уверяет, что она была прислана к этой старухе, и все. А причиной этому только то, что вы дурак. Ясно вам это?

Краузе *(вставая)*. Так точно, господин капитан.

Вернер. Введите ее.

Солдат вводит Валю. У нее измученный вид. Руки бессильно висят вдоль тела.

Вернер. Я слышал, что вас избили?

Валя. Да.

Вернер. И вас опять изобьют, завтра так же, как и сегодня, если вы сегодня будете говорить то же, что и вчера. Но если вы скажете что-нибудь новое, то вас больше не будут бить, вас просто расстреляют. Вы слышите, даже не повесят, а только расстреляют. Даю свое солдатское слово.

Валя молчит.

Зачем вы переправились?

Валя. Я уже сказала. Я переправилась сюда *(говорит смертельно усталым тоном заученные слова)*, чтобы успокоить мать одного нашего командира, чтобы сказать, что вскоре их всех освободят. Она сидит здесь, она может сказать, что я говорю правду.

Вернер. Конечно, она может сказать это, после того как вы сговорились, благодаря тому что мой писарь — идиот. А зачем у вас с собой был браунинг? Для того, чтобы передать сыновний подарок, что ли?

Валя. Нет. Браунинг... я взяла его для того, чтобы застрелиться, если...

Вернер. У нас не дают стреляться женщинам. Мы их избавляем от этого труда. Имейте это в виду.

Валя *(все тем же смертельно усталым тоном)*. Я же сказала: я пришла к матери одного из наших командиров...

Вернер *(хлопнув по столу кулаком)*. Я слышал это! Краузе!

Краузе. Да.

Вернер. Давайте старуху.

Краузе вводит Марфу Петровну. У нее растрепанные седые волосы и руки висят так же неподвижно, как у Вали.

Вернер *(Марфе Петровне).* Для чего вот эта *(кивает на Валю)* приходила к вам? Должна была притти к вам, если бы мы не задержали ее?

Марфа Петровна молчит.

Сколько раз она у вас была?

Марфа Петровна молчит.

Вот сейчас без двух минут семь. Если до семи ты мне не ответишь, будешь повешена. Все. *(Откидывается на спинку кресла в позе ожидающего человека.)*

Марфа Петровна. Я вам отвечу, господин офицер. Если уж две минуты осталось, то я вам отвечу.

Вернер. Ну?

Марфа Петровна. Я слыхала, что вы из города Штеттина, господин офицер.

Вернер. Ну?

Марфа Петровна. Хотела бы я полететь к вам туда невидимо, в ваш город Штеттин, и взять ваших матерей за шиворот, и перенести их сюда по воздуху, и сверху им показать, чего их сыновья наделали. И сказать им: «Видите, вы, суки, кого вы народили? Каких жаб на свет родили! Каких вы гадюк на свет родили!» И если бы они не прокляли вас после этого, то убила бы я их вместе с вами, с сыновьями ихними!

Вернер. Молчать!

Марфа Петровна. Молчу. Я тебе все сказала. Прошли две твоих минуты. Вешай.

Вернер *(смотрит на часы).* Еще десять секунд. Я жду.

Марфа Петровна. Нечего мне больше тебе говорить. *(Пауза.)*

Вернер *(смотрит на часы).* Ну? *(Пауза.)* Вывести и повесить.

Краузе уводит Марфу Петровну. Она в дверях молча поворачивается к Вале и низко ей кланяется. Передав ее солдатам, Краузе возвращается. Пауза.

Вернер *(взглянув еще раз на часы).* Ну, вот сейчас ее повесят. Через минуту. Только потому, что ее сей-

час все равно повесят, я разрешил ей сказать то, что она сейчас сказала. Вы будете говорить?

В а л я. Я уже вам сказала, меня прислали сюда от одного из командиров, чтобы сказать...

В е р н е р. К кому вы сюда шли?

В а л я. Я уже сказала.

В е р н е р. Хорошо. Значит, вы взяли браунинг на тот случай... Я сам, правда, не одобряю этих случаев, но вот Краузе, он их любит. Когда вы сменитесь с дежурства, Краузе, вы можете взять ее к себе под домашний арест. Ясно?

К р а у з е. Ясно, господин капитан.

В е р н е р. Он сменится с дежурства в десять, если вы, конечно, до этого не передумаете.

С о л д а т *(входя)*. Господин капитан, явился перебежчик. Разрешите?

В е р н е р. Давайте его.

Входит Г л о б а.

В е р н е р. Откуда?

Г л о б а. Оттуда, господин офицер, сам перешел.

В е р н е р. Кто вы?

Г л о б а. Я фельдшер. Глоба моя фамилия.

В е р н е р. Садитесь.

Г л о б а. Покорно благодарю, господин офицер.

В е р н е р. Почему перешли?

Г л о б а. Да что ж, господин офицер, своя рубашка ближе к телу. Не пропадать же всем русским людям через этих большевиков.

В е р н е р. Ну, говорите, что вы хотели сказать. Наверное, что-то хотели?

Г л о б а. Конечно, господин капитан. Я во сне видел, как уйти оттуда, они у меня все отняли. Сам пять лет сидел, а теперь через них же и пропадай. У меня сообщение важное есть, но только вот *(оглядывается на Валю)*.

В а л я молча с ненавистью смотрит на него.

В е р н е р. Ничего. Ее сегодня все равно... В общем, можете при ней.

Г л о б а. Разрешите папиросочку, господин офицер.

В е р н е р. Краузе, дайте ему папиросу.

Глоба (*закуривая*). Покорно благодарю! (*Тихо, перегибаясь через стол*). Господин офицер, у них воды совсем больше нет. Патронов нет. Они решили, кто здоровые, особенно из начальства, сегодня к ночи у Северной балки вдоль лимана пробиваться. Они ночью атаку там думают делать. Они думают, что не ждет немец этого, — то есть, простите, не ждете, значит, вы этого. . . и вот хотят.

Вернер. Это правда?

Глоба. Истинная правда, господин офицер. Я как только узнал, так сразу же и перебежать решился, потому что, думаю, ежели так просто, то, может, и расстреляете вы меня, а ежели сообщение я принесу, то вы сразу, что я человек преданный, увидите.

Вернер. Когда это должно быть?

Глоба. Скоро, в восемь часов.

Вернер (*задумывается, вынимает из планшеты карту*). Подите сюда. Здесь?

Глоба (*заглядывает*). Так точно, здесь.

Вернер. А чем вы можете доказать?

Глоба. Так скоро же начнется. Сами увидите.

Вернер. А вы знаете, что русские подошли к самому лиману? Слышите?

Слышна канонада.

Глоба. Слышу, господин офицер. Так ведь это же тут. А у меня домик под Винницей. И жена там, и все. Я через вас только туда и попасть могу. А что все правда, вы не сомневайтесь. Я же у вас, господин капитан. Вы, если что, меня раз-два — и готово. Это же мне вполне ясно.

Вернер. Да, это должно быть вам ясно, очень ясно. Краузе, уведите их.

Краузе выводит Валю и Глобу в комнату с железной дверью, возвращается.

А теперь соедините меня со штабом.

Краузе берется за телефон.

Краузе. Готово, господин капитан!

Вернер (*по телефону*). Господин майор, тут прибыл перебежчик оттуда — из той половины города. Он заявляет, господин майор, что у них ни воды, ни патро-

нов и что они, отрезанные от своих, не знают, что происходит на самом деле. Он сообщает точные сведения. Сегодня в восемь они будут пробовать прорваться из города у Северной балки, вдоль лимана. Он сообщает, что это должно начаться в восемь часов. Да. Да. По-моему, взять туда четвертую роту от моста. Да. Ну, что ж, на мосту останется два взвода и потом. . . потом они никогда не решатся из города итти на мост. . . Да, конечно, проверю. Слушаю. Будет сделано. *(Кладет трубку, берет лист бумаги и что-то пишет.)* Краузе! Сегодня вы им дадите есть. Ясно?

Краузе. Ясно.

Вернер. Вы вызовете их сюда, дадите им по куску, и, когда подойдет этот, Семенов, вы передадите ему с куском незаметно эту записку. Это уже не в первый раз, он поймет.

Краузе. Может быть, просто вызвать его одного, господин капитан?

Вернер. Это слишком просто. Это просто для нас, но просто и для них. Мы его спросим через час. *(Пауза.)* Да, когда дадите им хлеб, до моего прихода оставьте их здесь. Здесь у них скорее развяжутся языки. А сами выйдите и посматривайте через эту дверь.

Краузе. Хорошо, господин капитан.

Вернер выходит.

Краузе *(отворив железную дверь)*. Эй, вы! Идите сюда.

Входят Семенов, Глоба и Валя.

Краузе *(взяв тарелку с несколькими кусками хлеба)*. Берите хлеб. Господин комендант приказал вам выдать хлеб. *(Вале.)* Вы берете?

Валя молчит.

Краузе *(швыряет к ее ногам кусок хлеба. Глобе)*. Вы? *(Глоба подходит и берет хлеб. Краузе подходит к Семенову и дает ему хлеб в руки. Семенов ест хлеб, стоя спиной ко всем. Глоба внимательно смотрит на него.)*

Краузе выходит.

В а л я *(тихо)*. Ну, Иван Иванович, скажите, что это неправда, что вы это все придумали. Скажите, мы же здесь все свои, а?

Г л о б а *(громко)*. Оставь ты. Довольно я там унижался. Я теперь за все отплачу. За все ваши пакости. За мой дом поломанный. За тюрьму, где я сидел, за все.

В а л я. Какой же вы мерзавец. Если бы я только знала... Я бы вас убила. И Иван Никитич убил бы!

Г л о б а. Ну, это если бы да кабы... А теперь руки коротки.

В а л я *(Семенову)*. Товарищ, вы слышите, что он говорит. Ведь вот он же сейчас пришел, и всех выдал, и рассказал, как наши хотят из города выйти, и где, и когда. Они все погибнут из-за него. Если бы у меня что-нибудь было. *(Подходит близко к Глобе, с трудом поднимает руку.)* Вот! *(Ударяет его. Глоба с силой отталкивает ее. Она, пошатнувшись, садится на стул у стены.)*

Долгое молчание.

Г л о б а *(заметив, что Семенов отвернулся, подходит к Вале, тихо толкает ее)*. Валя!

В а л я *(громко)* Что?

На ее голос оборачивается С е м е н о в.

Г л о б а *(меняя тон)*. Вот что я вам скажу, барышня. Вы не очень! Я не люблю, когда меня руками трогают. Это я вам, конечно, на первый раз по вашей женской слабости прощу. А там, имейте в виду, и до вас руками коснуться можно.

В а л я. Как я могла раньше не догадаться? Вы же всегда такие вещи говорили, что мне противно было. Вот вы какой. А я не догадалась.

С е м е н о в *(быстро подойдя к ней)*. А ты не огорчайся! *(Кивнув на Глобу.)* Это же свой товарищ, это же он так, для осторожности. *(Глобе, сердито.)* Что ты в самом деле дурака валяешь? Что мы, немцы, что ли? Всем нам один конец. Что же, до самой смерти, что ли, теперь друг друга подозревать? Смотри, до чего ее довел. С заданием ведь перешел? Я-то знаю, как это бывает.

Глоба. А иди ты, знаешь, куда? Все вы думаете, что для вас с заданиями ходят. Жить я хочу. Понятно? Вот и все мои задания. Ничего мне такого ваша советская власть не дала, чтобы помирать мне за нее.

Валя *(Семенову)*. Они у меня все руки вывернули. Ну, ударьте же хоть вы его, ради бога, чтобы почувствовал он, какой он гадюка.

Семенов подходит к Глобе и замахивается.

Глоба *(выкрутив ему руку)*. Ну, ну, потише, а то я сейчас в дверь стукну, скажу немцам, что ты тут партизанскую войну разводишь. Я им, знаешь, какие сведения принес? Они тебе за меня ноги переломают. *(Пауза. Внимательно смотрит на оставшиеся от Харитонова старые дубовые часы с маятником. На часах ровно восемь.)* Что, часы правильные?

Все молчат.

Часы, говорю, правильные?

Семенов. А что тебе часы? *(С интересом.)* Зачем тебе, который час, знать надо?

Глоба. Я спросил: часы правильные? И больше я вопросов к тебе не имею, так что молчи. *(Прислушивается.)*

Из тишины доносятся первые далекие выстрелы. Свет гаснет.

Конец седьмой картины.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Обстановка пятой картины. Берег лимана. Тревожная музыка близкого боя. Два красноармейца, поддерживая, вводят на сцену Васина. Сажают его.

Первый красноармеец. Ну, как, товарищ майор?

Васин. Ничего.

Второй красноармеец *(отодрав рукав рубашки, перевязывает Васину грудь)*. Ишь, как бежит. Сейчас я стяну, товарищ майор, потуже: легче будет.

Васин. Кого-нибудь из командиров ко мне.

Первый красноармеец. Сейчас, товарищ майор. *(Уходит.)*

Васин. Седьмая и, кажется, последняя.

Входит Панин.

Панин. Александр Васильевич, куда вы ранены?

Васин. Кто это?

Панин. Панин.

Васин. Седьмая и, кажется, последняя. Как там, товарищ Панин?

Панин. Немцы, видимо, ждали. Их много. Были готовы и встречают.

Васин. Это хорошо. Хорошо, что встречают. Очень хорошо, что встречают... *(Пауза.)* А от капитана никого нет?

Панин. Пока нет. Что прикажете делать, товарищ майор?

Васин. По-моему, нам приказ не меняли: наступать. Сейчас третий взвод подойдет, поведете его.

Панин. Есть.

Васин. Вместо меня примите команду.

Панин. Есть.

Васин. Кажется, слышно что-то от моста... а?

Красноармеец. Так точно. Слышно, товарищ майор.

Васин. Я уже плохо слышу. Сильно стреляют, а?

Красноармеец. Сильно, товарищ майор.

Васин. Это хорошо.

Вбегает лейтенант.

Лейтенант. Где майор?

Васин. Я здесь. Откуда?

Лейтенант. Капитан просил передать, что наши уже у самого моста. Уже идет бой. Вы можете отходить.

Васин. Хорошо! *(Вдруг громким голосом).* Последний раз в жизни хочу сказать: слава русскому оружию! Вы слышите: слава русскому оружию! А капитану передайте, капитану передайте, что... *(опускается на руки красноармейца.)*

Панин наклоняется над ним, потом выпрямляется, снимает фуражку.

Панин. А капитану передайте, что майор Васин пал смертью храбрых, сделав все, что мог, и даже больше, чем мог. И еще передайте, что команду над ротой принял начальник особого отдела Панин. Можете итти.

Конец восьмой картины.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Обстановка седьмой картины. Свет загорается снова, на часах десять. Глоба попрежнему ходит по комнате. Валя полулежит на стуле. Семенов из своего угла внимательно наблюдает за обоими. Слышна близкая канонада.

Глоба *(прислушиваясь)*. Десять... Что ж, десять — хорошее время. Подходящее.

Семенов. Для чего?

Глоба. Для всего. Смотря, что кому надо. Совсем забыли о нас хозяева. Видать, не до того им, а?

Семенов *(угрюмо)*. Не знаю.

Глоба. Не знаешь? А я думал, как раз ты и знаешь.

За стеной раздаются совсем близкие выстрелы и пулеметная трескотня.

Семенов *(испуганно)*. На улицах стреляют, а? Уже на улицах!

Глоба. А чего ты боишься? Это же ваши, небось стреляют. Небось, в город входят! Это мне бояться надо. А тебе что?

Валя. Неужели пришли? *(Семенову.)* Наши идут, а?

Семенов. А ну тебя... *(Прислушивается.)*

Глоба *(подходя к нему)*. Ты что же? Тебе что, не нравится, что ли?

Семенов. Отстань. *(Прислушивается.)*

Глоба. А ну, повернись-ка!

Семенов поворачивается.

Дай-ка я на тебя посмотрю, какой ты был? Так. Ну, а теперь, какой будешь? *(Бьет его по уху.)* А это — для

симметрии. *(Снова бьет по уху и третьим ударом валит на пол.)* А теперь лежи, тебе ходить по земле нечего. Привыкай лежать. Расстреляют — лежать придется.

Валя. Что вы делаете?

Глоба. А то и делаю, Валечка, что морду ему бью, сволочи. Наши в город ворвались. Теперь кончена моя конспирация. Немцы тикают. И сейчас нас с тобой стрелять будут. Это уж точно, это у них такая привычка. И не хочу я перед смертью, чтобы ты меня по ошибке за сволочь считала. Вот, что значит.

Валя *(бросается к нему, обнимает его)*. Иван Иванович, милый! Иван Иванович!

Глоба. Ну, чего?

Валя молча прижимается к нему.

Ну, чего там? Чего расплакалась? Как на меня кричать — так не плакала. А теперь в слезы? Сердитая ты, девка. Я думал, глаза мне выцарапаешь.

Валя. А я так измучилась. Если бы вы только знали, как измучилась.

Глоба. А я — на тебя глядя. Ничего, Валечка, ничего. Ты уж извини. Мы еще с тобой сейчас «Соловей, соловей-пташечка» споем. Только ты, голуба, имей в виду, сейчас расстреливать придут. Это уж непременно.

Валя. Пускай. Мне уж теперь все равно... Но наши, наши ведь войдут?

Глоба. Войдут! А как же! Потому нас и расстреляют, что наши непременно войдут. Это, как пить дать.

Семенов порывается к двери.

Глоба *(опять сваливает его на пол)*. Ну, куда? Ты же сидел с нами, ты еще посиди. Тебе же немцы с нами сидеть велели. Ну, и сиди. *(Обращаясь к Вале.)* Ты что же? Слезы-то вытри. Ну их к чорту. Мне их показать можно, а им, сволочам, не надо. Дай-ка я тебе в глаза погляжу. *(Смотрит.)*

Валя. Что?

Глоба. Мне Иван Никитич наказал: в глаза тебе посмотреть и сказать, если вместе помирать будем, одно слово.

В а л я. Какое слово?

Г л о б а. Что любит он тебя, просил сказать. Вот и все. Больше ничего.

В а л я. Правда?

Г л о б а. Что ж, разве я перед смертью неправду тебе скажу?

Совсем близкие выстрелы. Дверь с треском открывается, вбегают К р а у з е и с о л д а т с автоматом.

К р а у з е. Все в камеру.

Г л о б а *(обняв Валю за плечи)*. Пойдем! *(Проходят в камеру.)*

К р а у з е. Быстрей! *(Семенову.)* Ты!

С е м е н о в *(бросаясь к нему)*. Господин Краузе... я же ваш. Вы же знаете. Меня нарочно сюда...

К р а у з е *(отпихивает его сапогом)*. В камеру!

С е м е н о в. Подождите! Я должен вам сказать очень важное.

К р а у з е. Ну, быстрей!

С е м е н о в. Этот человек, он — их. Он все лгал.

К р а у з е. Теперь нам это все равно. В камеру!

С е м е н о в *(хватает его за руку)*. Господин Краузе, позовите хоть господина капитана! Я сам его позову! *(Бросается к наружной двери. Когда он оказывается на пороге ее, Краузе стреляет ему в спину. За дверью слышно падение тела.)*

К р а у з е *(солдату)*. Ну!

С о л д а т, подойдя к двери камеры, выпускает внутрь камеры автоматическую очередь. Из камеры слышен голос Глобы, поющий «Соловей, соловей-пташечка, канареечка жалобно поет... эх, раз, эх два!..»

К р а у з е. Ну!

С о л д а т выпускает вторую очередь. Короткая тишина. За окном близкая трескотня выстрелов. К р а у з е и с о л д а т выбегают. Снова выстрелы, потом долгая тишина. В дверях камеры появляется В а л я. Она трогает себя за плечо, за руку. Рука не действует. Видимо, она ранена в плечо и в грудь. Прислоняется к стенке.

В а л я *(обращаясь назад, в камеру)*. Иван Иванович!

Тишина.

Иван Иванович, Иван Иванович, вы живой?

Молчание.

Иван Иванович, милый, что же это? Смотрите, а я живая.

Молчание.

Неужели я одна живая?

Молчание. Валя опускается в кресло у стены. Слышны выстрелы и грохот шагов. В комнату вбегают красноармейцы и Морозов.

Морозов (*останавливается в дверях*). Товарищи!

Молчание.

Морозов (*осматривается*). Товарищи, есть тут живой кто?

Валя. Я.

Морозов (*подходит к ней*). Это что? Это они сейчас тебя, да? У меня индивидуальный пакет есть.

Валя. Нет, вы сначала посмотрите... может быть, он там живой...

Морозов. Кто?

Валя. Глоба.

Морозов выходит и молча возвращается.

Валя. Он меня собой заслонил, когда они в нас стрелять стали. А может, он все-таки живой?

Морозов качает головой.

Валя. А наши совсем вошли, да?

Морозов. Совсем, совсем, успокойся.

В комнату вбегает Сафонов в сопровождении лейтенанта и красноармейцев.

Сафонов. Ну, вот тут ихняя комендатура была. Тут у них арестованные где-нибудь поблизости... (*Замечает Валю.*) Валя!

Валя. Я...

Сафонов (*одному из красноармейцев*). Давай кого-нибудь — врача или Шуру! Давай скорей! (*Бросается к Вале.*) Что это? Что ты молчишь?

Морозов. Должно быть, сознание потеряла. Только что говорила.

Сафонов *(берет ее за руку)*. Правда? Пройдет? Будет она живая, а?

Морозов. Будет. Она-то будет. *(Кивая на дверь камеры.)* А вот там...

Сафонов *(вскочив, проходит в камеру, возвращается с обнаженной головой)*. Глоба... Погиб Глоба... Хороший был человек... *(Вытирает глаза рукавом.)* Много у меня сегодня потерь. Почти силы нет все это выдержать. Но надо.

Вбегает Шура.

Шура. Ой! Валечка! Господи ты, боже мой...

Сафонов. Не кудахтай! Перевяжи, пока врача нет. *(Подходит к столу, наливает стакан воды, возвращается к Вале.)* Вот воды ей дай... *(Отходит.)* Фамилии товарищей, которых немцы здесь повесили, узнали?

Лейтенант. Узнали. Вот список.

Сафонов. Завтра будем похороны делать. Последнее слово скажем погибшим товарищам. Последнее прости... *(Пауза.)* Так как же фамилии?

Лейтенант *(читает)*. «Антонов, Иван Николаевич; Петрова, Анна Сергеевна; Синцов, Петр Андреевич; неизвестный; Харитонова, Мария Николаевна; Никольский, Василий — это мальчик; Сафонова, Марфа Петровна; Ганькин, Алексей Тимофеевич...»

Лейтенант. Что с вами, Иван Никитич?

Сафонов. Ничего... Ничего. *(Вставая.)* Ничего такого. Только очень жить я хочу. Долго жить. До тех пор жить, пока я своими глазами последнего из них *(схватив из рук лейтенанта список)*, которые это сделали, мертвым не увижу! Самого последнего, и мертвым. Вот здесь, вот, под ногами у меня!

Конец пьесы

1942

РУССКИЙ ВОПРОС

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Макферсон — владелец и редактор крупной нью-йоркской газеты и совладелец ряда других газет, 60 лет; на вид гораздо моложе.

Гульд — редактор и совладелец большой газеты в Сан-Франциско и одновременно один из редакторов газеты Макферсона, под 40 лет. Чуть прихрамывает. Грубоват, играет в человека из народа.

Смит — корреспондент газеты Макферсона, ровесник и школьный товарищ Гульда.

Престон — редактор иностранного отдела газеты Макферсона, 45 лет.

Харди — репортер газеты Макферсона, за 40 лет.

Морфи — корреспондент одной из газет Херста, 46 лет. Небрежно одет. Никогда не пьян, но всегда уже выпил.

Кесслер — издатель, толстый старик, страдает одышкой.

Вильямс — редактор левой газеты, лет 50.

Джесси — красивая женщина 33 лет, на вид моложе.

Мег Стенли — стенографистка, женщина в возрасте где-то между 30 и 40.

Бармен, шофер, секретарша, упаковщики мебели.

Место действия: Нью-Йорк.

Время действия: зима — лето 1946 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Кабинет Макферсона в редакции. Большая комната, довольно пустая: письменный стол, несколько кресел. Единственное украшение — фотографии, в ряд развешенные над деревянной панелью вдоль всей комнаты. Над столом громадная фотография старого двухэтажного домика.

Джесси, войдя в кабинет, подходит к столу и, вынув из папки бумаги и газетные полосы, раскладывает их на столе. Звонок телефона.

Джесси *(в телефон)*. Нет. Мистер Макферсон вернется через четверть часа.

Стук в дверь.

Войдите.

Гульд *(входя)*. Как? Ты здесь? Какая неприятная неожиданность.

Джесси. Почему неприятная?

Гульд. Вернулась из армии и все попрежнему, как в сорок первом году?

Джесси. Нет, я просто заменяю мисс Бридж. Она в двухнедельном отпуску.

Гульд. С шефом чисто деловые отношения?

Джесси. Чисто деловые.

Гульд. Да, он действительно постарел.

Джесси. Я — тоже.

Гульд. Не сказал бы. Мы разъехались с Филиппин в феврале прошлого года. Значит, всего год.

Д ж е с с и. Значит, так.

Г у л ь д. А все-таки штатское тебе больше к лицу, чем форма женского вспомогательного корпуса.

Д ж е с с и. Возможно.

Г у л ь д. Может, ты меня поцелуешь по старой памяти?

Д ж е с с и. Нет.

Г у л ь д. Хорошо. Когда ты кончаешь работу?

Д ж е с с и. В десять.

Г у л ь д. В одиннадцать в Бромлей-клубе. Идет?

Д ж е с с и. Нет. Я буду занята.

Г у л ь д. Можно спросить, с кем?

Д ж е с с и. Можно. Я думаю, что Гарри...

Г у л ь д. Смит?

Д ж е с с и. Да. Я думаю, что Гарри пригласит меня сегодня ужинать.

Г у л ь д. Но он прилетел из Японии только сегодня ночью.

Д ж е с с и. Да. Знаю. Я его встречала на аэродроме.

Г у л ь д. По поручению редакции?

Д ж е с с и. Нет. *(Пауза.)* Говорят, что твоя жена некрасива?

Г у л ь д. Да.

Д ж е с с и. И богата настолько, что частный сыск информирует ее о твоей жизни?

Г у л ь д. Возможно.

Д ж е с с и. Ты уже окончательно купил газету в Сан-Франциско?

Г у л ь д. Не совсем. Пока процентов на сорок. Можешь мне поверить, что, женясь, я искренне жалел, что богата она, а не ты.

Д ж е с с и. Верю. Она очень некрасивая?

Г у л ь д. Очень.

Д ж е с с и. Сочувствую тебе.

Г у л ь д. Верю. Где шеф?

Д ж е с с и. Он на завтраке для русских журналистов. Будет через десять минут.

Г у л ь д. Итак, Гарри... Можно закурить сигару?

Д ж е с с и. Как всегда.

Г у л ь д *(закурив)*. Только ночью прилетел... Быстро.

Джесси. Нет. Мы встречались в Токио.

Гульд. А... Верно. Я становлюсь несообразительным. Он не знает обо мне?

Джесси. Нет. Я о тебе не вспоминала. При нем. Да и вообще.

Гульд. Ему могли сказать другие.

Джесси. Мало вероятно. Он этого не любит.

Гульд. А тебя он любит?

Джесси. Думаю, что да.

Гульд. А ты? Только не лги. Тогда, в сорок первом, он нравился тебе еще меньше, чем я.

Джесси. Верно. Но теперь он мне нравится значительно больше, чем ты. И потом я постарела, я поумнела. И я хочу выйти замуж.

Гульд. Шеф собрался отправить его в Россию.

Джесси. Да, я знаю. Я вчера печатала шефу проект издательского договора на будущую книгу Гарри. Кажется, тут не обошлось без твоего участия.

Гульд. Да, это была моя идея. И мой проект.

Джесси. Ну что ж, это, наверное, займет у Гарри три месяца.

Гульд. Примерно. Если только он поедет.

Джесси. Он поедет.

Гульд. Это верно. Последний год он начал выходить в тираж. Если он не возобновит сейчас свою репутацию самым шумным образом, я не поручусь для него в дальнейшем и за пятьсот долларов в месяц. Боюсь, что ваш брак не будет тогда счастливым.

Джесси. Он поедет.

Гульд. Не уверен. У него раньше были свои идеи о русских.

Джесси. Мне нет никакого дела ни до его идей, ни до русских, ни до того, что он напишет о русских. Я хочу иметь свой дом, своих детей и немного своего счастья. Мне надоело быть кукушкой. Он поедет.

Гульд. Когда ты решила выйти за него замуж? В Японии?

Джесси. Почти.

Гульд. А совсем?

Джесси. Вчера.

Гульд. Печатая мой проект издания его книги? Кажется, я оказываюсь в смешной роли устроителя твоего счастья?

Джесси. Кажется, так. Только почему в смешной?

Гульд. Ну, все-таки. Почти три года мы... Ты должна быть мне благодарна.

Джесси. Я тебе благодарна.

Гульд. Сигарету.

Джесси. Я бросила курить. Гарри это не нравилось, и я понемногу отвыкла.

Гульд. О, тогда это серьезно.

Джесси. Да, это очень серьезно.

Входит Макферсон.

Макферсон. Здравствуйте, Джек.

Гульд. Рад вас видеть, мистер Макферсон.

Макферсон. Опять вы за старое.

Гульд. Хорошо, Чарли, только сейчас же сознайтесь, что вы заставляете называть себя по имени не из природного демократизма.

Макферсон. Вот как?

Гульд. Да. Вы просто молодитесь. «Чарли» звучит моложе, чем «мистер Макферсон». А?

Макферсон. Пожалуй. Но вы могли бы не говорить этого при женщинах.

Джесси. Я могу итти?

Макферсон. Можете, можете. Теперь вы все можете. Бросает меня, Джек, не хочет со мной работать.

Джесси *(в дверях)*. Мистер Макферсон, я же вам объяснила...

Макферсон *(перебивая)*. Да. И не надо объяснять мне этого второй раз. Идите, Джесси.

Джесси выходит.

Старею, Джек. Вчера предложил ей, когда вернется из отпуска мисс Бридж, поменяться с ней местами и остаться у меня. Как раньше... Нет. По рабочим часам ее больше устраивает работа в отделе информации. Старею... Смит будет через четверть часа.

Гульд. Ну, как русские?

Макферсон. Журналисты? Совсем забыл. *(В телефон.)* Майкл! Вызовите ко мне Харди и через пять минут Престона. *(Гульду.)* Ну что ж, ничего, у них есть головы на плечах. *(Смеется.)* Сегодня за завтраком в ответ на сотню наших невежливых вопросов они нам сказали сотню очень вежливых неприятностей. А встав из-за стола, попросили у Вилли Кросби, который давал им завтрак, разрешения в свою очередь задать ему всего один вопрос: какая разница, по его мнению, между завтраком и пресс-конференцией? И Кросби сел в лужу.

Входит Харди.

Харди, когда вы пойдете завтра утром на прощальную пресс-конференцию к русским, между прочим, задайте им следующий вопрос: правильны ли слухи, что они привезли с собой денег для финансирования нашей угольной забастовки?

Харди. Но...

Макферсон. Что?

Харди. В ответ на такой вопрос они только пожмут плечами.

Макферсон. Конечно. И вы напишете, что в ответ на этот прямой вопрос русские только смущенно пожали плечами, или что-нибудь в этом духе, — это уже ваше дело. Желаю успеха.

Харди. До свиданья. *(Выходит.)*

Гульд. Не слишком ли наивно для солидной газеты?

Макферсон. Ничего. Харди известен как репортер скандальной хроники. В его устах это будет естественно.

Гульд. Да, вы, пожалуй, правы...

Макферсон. Вы хотите сказать, что я еще не совсем выжил из ума?

Гульд. Не совсем.

Макферсон. Что — не совсем?

Гульд. Я хотел сказать не совсем это. Я хотел сказать, что вы с каждым днем становитесь тверже. Мне это нравится.

Макферсон. Мне — тоже. И, я думаю, даже больше, чем вам. *(Хлопает рукой по письменному*

столу.) Хороший старомодный стол. Даже деятелю новой формации приятно посидеть за таким старомодным столом. А?

Гульд. Пожалуй.

Макферсон. Вот именно. Но, к сожалению, придется потерпеть. Увы, именно я, а не вы, начал это дело тридцать лет назад в этой старой развалине. *(Показывает на фотографию домика над столом.)* Ничего не поделаешь. Священное право частной собственности.

Гульд *(обходя кабинет).* Ага, один из старых знакомых появился снова на свет божий.

Макферсон *(подходя и рассматривая фотографию Муссолини).* Да. Ну что ж? С тех пор как беднягу повесили вверх ногами в Милане, он, безусловно, мертв. А мертвым я не помню зла. Он подписал мне ее, когда я был у него в тридцать третьем году в его дворце в Риме. Посмотрите, какой автограф. Один из лучших в моей коллекции.

Гульд. А берлинский джентльмен пока еще в сейфе?

Макферсон. Пока — да. Ходят слухи, что он жив. Его еще рано вешать.

Гульд. По-моему, уже можно.

Макферсон. Нет, рано.

Гульд. Вы слишком робко смотрите в будущее. Это ваш единственный недостаток.

Входит Престон.

Престон. Я пришел. Здравствуйте. Здравствуй, Джек.

Гульд. Здравствуй.

Макферсон. Что у вас сегодня о России, Билль?

Престон. «Юнайтед Пресс» дало нам пятьдесят строк Харнера «Русские в Вене». Харнер хвалит русских. Не знаю, давать ли.

Макферсон. Непременно дайте. В противоположность Херсту, мы сохраняем объективный стиль информации. Дайте на шестнадцатой странице, не раньше. А что еще?

Престон. Статья Виппмана о планах русской экспансии и еще пять-шесть информаций в том же духе.

Макферсон. Давайте все. Мы объективны. Виппмана на первую страницу, остальное — не дальше шестой. Что еще?

Престон. Еще? Бредовое сообщение итальянцев о появлении русских летчиков в Эритрее. Но это абсолютно несолидный бред.

Макферсон. Давайте его на первую страницу с шумным заголовком.

Престон. Русские завтра же дадут опровержение.

Макферсон. Ну что ж, мы поместим его на двадцатой странице. Пять строк. Они пишут короткие опровержения. Заметку прочтут миллионы людей, а опровержение — десять тысяч.

Престон. Это мне не нравится.

Макферсон. Что?

Престон. Вы вмешиваетесь в работу моего отдела. Я привык его вести сам.

Макферсон. Простите. Вы правы, Билль, и я очень жалею. Но вы перестали меня понимать.

Престон. Мне казалось, что месяц назад я вас понимал. Вы переменились за этот месяц.

Макферсон. Конечно, переменился. Это вам и предстоит понять. Ну, желаю успеха.

Престон. До свиданья. *(Выходит.)*

Гульд. Через три минуты придет Смит.

Макферсон. Да. Ну что ж, я думаю, ему придется согласиться. Тридцать тысяч за серию статей и книгу с гарантированным тиражом. Честное слово, если бы она не нужна была мне до зарезу перед выборами в конгресс, я бы не дал ему больше пятнадцати. Согласится. Его дела слишком плохи. Он полгода не писал и не получал ни доллара.

Гульд. А почему он не писал?

Макферсон. Я получил от него два письма: с Окинавы и из Японии. Послевоенное помешательство. Он думал, что со дня подписания мира всюду начнут порхать голуби и цвести розы. А мир остался таким же, каким был. Это вывело его из равновесия. Он заявил мне, что не может писать, пока не поймет, что происходит в мире. Ничего, поедет.

Гульд. Он собирается жениться на Джесси.

Макферсон. Вот как! Теперь понимаю. Ну что же, печально, но хорошо. Поедет. Джесси не такая женщина, чтобы выйти за нищего.

Входит Смит.

Смит. Здравствуйте, шеф. Здравствуй, Джек.

Рукопожатия.

Макферсон. Садитесь, Гарри.

Смит. Сел. Нескромный вопрос: зачем вы меня так срочно вытащили? Меня прошлой ночью так трясло над Тихим океаном, что до сих пор болят все кишки.

Макферсон. Боюсь, что теперь вам придется трястись над Атлантическим.

Смит. Что вы мне предлагаете?

Макферсон. Россию.

Смит. Россию? Последний месяц меня мучила бессонница, и я вдруг, впервые в жизни, стал читать на ночь нашу уважаемую газету. Судя по вашему новому политическому курсу, вам, пожалуй, нет смысла посылать в Россию именно меня.

Макферсон. Во-первых, благодарю вас за то, что вы, наконец, стали читать мою газету. А во-вторых, я думаю, что при моем новом курсе именно вам и надо поехать в Россию.

Смит. Шеф, вы спутали меня с Джеком.

Гульд. Не валяй дурака. После той книги, что я уже написал о России, русские были бы идиотами, если бы снова пустили меня туда. К сожалению, они не идиоты.

Смит. Но после той книги, что я уже написал о России, надо быть идиотом, чтобы при вашем новом курсе советовать шефу послать в Россию меня.

Гульд. Благодарю, но ты, как всегда, все спутал. И я тебе сейчас объясню, почему не я, а именно ты — идиот.

Смит *(удобно усаживаясь в кресле)*. Интересно. Факт для меня безусловен, но причины его не вполне ясны. Меня всю жизнь волновал этот вопрос — почему?

Гульд. Ты идиот потому, что не знаешь, что такое диалектика. Диалектика — это наука о том, что все бесконечно движется и изменяется.

Смит (*прерывая*). Очень приятно. Никогда в жизни я так быстро не умнел.

Гульд (*продолжая*). И твоя хвалебная книга, написанная в сорок втором году, только поможет тебе сейчас написать совсем другую книгу о России. Полезную нам.

Смит. Кому — вам?

Макферсон. Людям, считающим, что в Америке не должно быть коммунизма.

Смит. Я тоже принадлежу к числу таких людей. Каждому свое: русским — их строй, а нам — наш. Дальше?

Гульд. Дальше ты должен снова поехать в Россию и написать о ней всю правду.

Смит. Я и тогда написал всю правду.

Гульд. Нет.

Смит. Эй, полегче на поворотах.

Гульд. Что ты написал? Что русские — храбрые солдаты, что Сталинград героически оборонялся, что их летчики шли на таран, что их женщины были снайперами. И ты воображаешь, что это — вся правда о России?

Смит. Все, что я написал, — правда.

Гульд. А ты не думаешь, что сейчас, когда эти храбрые солдаты дошли до сердца Европы и влезли в Корею, когда эти летчики летают над Веной и Порт-Артуром, ты не думаешь, что эта правда оборачивается уже не против немцев, а против нас?

Смит. Это я уже читал в нашей уважаемой газете.

Гульд. И тебе кажется, что русские не полезут дальше?

Смит. Напротив, они завоюют сначала Европу, потом Америку; потом Австралию, потом Антарктику... Какая чепуха.

Гульд. Чепуха? А ты читал «Коммунистический манифест» Маркса? А Ленина «Империализм как высшая... — то есть последняя — ...стадия капитализма»? Заметь — последняя! Ты читал или нет?

Смит. Нет, не читал. Но при чем тут это?

Гульд. А при том...

Макферсон. Подождите, Джек. Вы продолжите вашу дискуссию без меня. Мне пора уходить. Советую

вам, Гарри, внимательно выслушать все, что вам скажет Джек. Он скажет вам наше общее мнение. А сейчас несколько слов. Лететь через неделю. Срок — три месяца. Книга — через месяц после приезда. Часть пойдет статьями в газете. Гарантирую издание. Гарантирую успех. Гарантирую тридцать тысяч долларов. Ответ завтра, здесь, в двенадцать ночи. Ваше — да и мой первый чек на семь тысяч пятьсот. Подумайте. До свиданья. *(Выходит.)*

С м и т. Семь с половиной тысяч. Недурно для начала. Такие большие деньги наводят меня на мысль, что я должен написать для вас порядочную гадость.

Г у л ь д. Нет. Ты просто должен учесть требования времени. И наши сегодняшние взгляды на Россию, изложенные вкратце вот хотя бы здесь *(вынув из кармана газету, передает ее Смиту)*, в моей статье. Она не блещет красотами стиля. Ты знаешь, я не стилист. Но некоторые ее мысли и даже, пожалуй, название могли бы тебе пригодиться.

С м и т. «Десять причин, по которым русские хотят войны». Это неправда. Русские не хотят войны. Этого не может быть.

Г у л ь д. Когда ты уехал из России?

С м и т. В декабре сорок второго.

Г у л ь д. А сейчас — февраль сорок шестого.

С м и т. И все-таки не может быть, чтобы они сейчас хотели войны.

Г у л ь д. Ну, не сейчас, пусть они даже не хотят ее сейчас, но я сам не боюсь ставить точки над i. Я сам стою за немедленную предупредительную войну против мирового коммунизма. Коммунисты — фанатики, а русские — вдвойне фанатики: как русские и как коммунисты. Поверь, ничто их не остановит, если они смогут подчинить мир своим идеям.

С м и т *(взявшись руками за голову)*. Довольно. Замолчи.

Г у л ь д. Я прав.

С м и т. Может быть. Все может быть. Я уже перестал что-нибудь понимать в этом взбесившемся послевоенном мире. Бомбы, шпионаж, Иран, Корея, Триест.

Блоки, союзы. Разве об этом я думал, когда шел по Сахаре, когда валялся в грязи на Окинаве, когда из меня выковыривали осколки на Новой Гвинее? Ради чего все это было? Я не могу дышать, я не могу писать, я не хочу думать. Я приехал с десятью долларами в кармане, я пропил все, чтобы не думать. *(Закурив, вдруг спокойно.)* Не знаю, хотят или не хотят воевать русские, но мне не хочется писать эту книгу. Я вместе с ними мерз на фронте под Гжатском, я пил с ними водку в окопах, я видел повешенных русских детей, и пусть даже все, что ты говоришь, правда, не мне писать эту книгу. Ищите другого.

Гульд. Подумай до завтра.

Смит *(встав)*. Подумай, подумай! А что тут думать? Конечно, в моем нынешнем положении ехать надо. Глупо не ехать. Но я не могу. *(Пауза.)* Слушай, одолжи мне сотню долларов — мне нужно сегодня. Так или иначе, я их отработаю и отдам.

Гульд. Может быть, больше?

Смит. Нет, сто.

Гульд. Держи. *(Нажимает кнопку звонка.)*

Входит Джесси.

Джесси. Да.

Гульд. Джесси, во-первых, мы уходим. *(Кивает на телефон.)*

Джесси *(садясь)*. Хорошо, я буду здесь.

Гульд. Во-вторых, передайте патрону, что я ему позвоню, а Смит придет с ответом завтра в двенадцать. Ну, и в-третьих, до свиданья.

Джесси. До свиданья.

Смит. До свиданья, Джесси.

Джесси. До свиданья.

Гульд выходит первым, Смит задерживается в дверях.

Смит. Джесси.

Джесси. Да, милый.

Смит. В десять тридцать в Пресс-баре. Да?

Джесси. Да, милый.

Смит выходит.

(Встает, проходит по комнате.) Да, милый. Конечно, милый, очень милый... На три месяца... Ну что ж, еще три месяца ждать счастья. Это не так много для женщины, которой *(смотрится в зеркало, вделанное в сумку)*, между нами говоря, только между нами говоря, все-таки тридцать три года.

Занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Вечер следующего дня. Бар ресторанчика, где журналисты-завсегдатаи. Это длинная тесная комната, через которую надо пройти, чтобы попасть в ресторан. Слева — наружная дверь, справа — дверь в ресторан. На переднем плане два-три низких столика с глубокими креслами. В глубине — цинковая стойка бара, несколько полок с бутылками, за стойкой бармен. На стенных часах 10.30.

За одним из столиков Смит. Во время действия то один, то другой человек пересекает сцену, выходя из ресторана или входя в него; некоторые подходят к стойке, несколько минут, переговариваясь, стоят у нее, пьют и уходят.

Из ресторана выходит Престон.

Престон. Добрый вечер, Гарри. Опять тут, и опять в то же время.

Смит. Я жду здесь Джесси, так же как и вчера.

Престон. Неудачное место для свиданий. Сто журналистов в час туда и назад.

Смит. До войны здесь мало кто бывал. А впрочем, наплевать. Я женюсь.

Престон. На Джесси?

Смит. Да. Садись.

Престон. Некогда. Надо итти читать ночные телеграммы. *(Присаживается на ручку соседнего кресла.)* Утром был на прощальной пресс-конференции у русских.

Смит. Ну как?

Престон. Ничего. Кое-кто из наших пробовал их напоследок поддеть. Но они дали сдачи — сказали, что значительная часть нашей прессы не является, по их мнению, голосом американского народа и что, наоборот, они считают, что оскорбят наш народ, если признают такую прессу его голосом.

С м и т. Неплохо.

П р е с т о н. Мне тоже понравилось. Сегодня буду на все корки разделывать их за это. Стало трудно работать, Гарри, особенно в нашем иностранном отделе.

С м и т. Почему?

П р е с т о н. Торопимся, пишем много глупостей. Противно. И шеф безумствует, особенно, когда Гульд сидит здесь.

С м и т. Я тоже это заметил.

П р е с т о н. Ничего не поделаешь — во время войны шеф пожадничал, переборщил влево. Не послушал Гульда. А теперь дает задний ход, но никак не хочет понять, что для этого даже автомобиль надо сначала хоть на секунду остановить. Нет, ему подай сразу полный ход назад.

С м и т. Не пробовал возражать?

П р е с т о н. Возражать? Какой смысл? В конце концов я для него не больше, чем рабочий на конвейере. Вчера я привертывал левое колесо, а сегодня он приказал мне привертывать правое. Он искренно удивится, если я начну возражать, и найдет другого. И этот другой все равно будет делать то, что захочет он. А он хочет крайностей, потому что этого хотят его большие хозяева с Уолл-стрита. И если он начнет им возражать, они точно так же найдут другого вместо него, как он — другого вместо меня. Не так ли?

С м и т. Верно, но противно.

П р е с т о н. Противно, но привычно, и потом в конце концов я только редактирую свой отдел, а все эти пакости пишут и подписывают другие, независимо от того, я здесь сижу или не я. Кстати, посмотри сегодня двадцать строк Харди. Все-таки он — страшная скотина. *(Пауза.)* Значит, в Россию?

С м и т. Еще не знаю. Сегодня должен дать ответ шефу.

П р е с т о н. Разве? А я уже сегодня отправил просьбу о визе для тебя.

С м и т. Вот как? Значит, он уже решил, что я решил?

П р е с т о н. Нет, проще. Он решил, что он решил, и, стало быть, это решено. Доброй ночи, Гарри. *(Выходит.)*

Смит (*берет из кипы газет одну, листает, находит нужное место*). Еще виски. (*Читая, подходит к стойке.*)

Бармен наливает Смиту виски.

(*Продолжая читать, возвращается на свое место.*) Вот свинья. (*Отшвыривает газету.*)

Из наружных дверей по направлению к дверям ресторана проходит Харди.

Эй, Харди, на минуту.

Харди (*подходя*). Добрый вечер. Я вас не видел почти пять лет. Вы здорово изменились.

Смит. А вы, к сожалению, нет. Сядьте, выпьем.

Харди. Мне некогда. Надо поужинать и еще кое-что написать.

Смит. Довольно с вас на сегодня, уже написали. Выпьем. Я плачу. (*Бармену.*) Два виски. (*Харди.*) Зачем вы написали это свинство о русских журналистах? Это же вранье.

Харди. Есть люди, которые это видели.

Смит. Врете.

Харди. Рассказывали, что видели.

Смит. Опять врете. Видели, как русские журналисты вручали деньги нашим профсоюзным деятелям? Ну, нас никто не слышит, будьте человеком, сознайтесь, что это вранье. Только мне одному под честное слово.

Харди. Вам одному под честное слово?

Смит. Да.

Харди. Вранье.

Смит (*поднявшись и взяв со стойки два приготовленных барменом стакана виски, возвращается*). Пейте.

Харди пьет.

Ну, почему вы такая свинья?

Харди. Ну вас к чорту. Мне надоело это вечно слушать. (*Пауза.*) Заказывайте еще виски, и я раз в жизни скажу вам начистоту все, что я думаю о себе и о вас.

Смит (*бармену*). Еще виски.

Харди. В свои хорошие времена вы зарабатывали в шесть раз больше, чем я.

С м и т. Почему в шесть?

Х а р д и. Не спорьте. Я всегда точно знал, кто сколько зарабатывал, если он зарабатывал больше меня. Я беден и поэтому завистлив. *(Поднимается, берет со стойки виски и, возвратившись, пьет.)* За здоровье вашей будущей жены.

С м и т. Что?

Х а р д и. Я знаю все немножко раньше остальных. Это моя профессия. Я — репортер скандальной хроники. Я — свинья, свинья только потому, что я всегда зарабатывал в шесть раз меньше вас или Престона.

С м и т. Займитесь другим.

Х а р д и. Не умею. Я бездарен. Двадцать строк скандала, написанных очень скверным языком. Но людям все равно, как написан скандал, лишь бы он непременно был в каждом номере. Еще виски, и я расхрабрюсь и скажу вам кое-что еще.

С м и т *(бармену)*. Еще виски.

Х а р д и. У меня жена и трое — это было, когда вы уезжали на войну. А теперь — жена и пятеро. И домик в Джамэйке в рассрочку, которой нет конца, и мебель в рассрочку, и жизнь в рассрочку. И десять долларов за скандал, из которых шесть — на пеленки и лекарства. Я, между прочим, очень люблю детей. *(Идет к стойке, возвращается с виски.)* Выпьем за детей. Я знаю, вы все надо мной смеетесь, что я напиваюсь только за чужой счет. Выпьем за моих детей за ваш счет. *(Пьет.)* Когда-нибудь они меня поймут. А может быть, и нет. Красивые поступки начинаются со ста долларов в неделю. А за пятьдесят приходится делать только некрасивые. Впрочем, еще одно виски, и я договорю до конца.

С м и т *(бармену)*. Еще виски.

Х а р д и. Вручили деньги профсоюзным деятелям. Вранье? Конечно. Вранье за десять долларов. А вы? Поездка в Россию. И план книги, который предложил вам Гульд. Да, да, я все знаю, это моя профессия. Это тоже скандал, но только за тридцать тысяч. Сколько у вас детей?

С м и т. У меня нет детей.

Х а р д и *(снова идет к стойке и возвращается с виски)*. Выпьем за ваших детей. То есть нет, я уже

пьян. Я хотел сказать: выпьем за то, чтобы у вас никогда не было детей. Опять не то. Нет, нет, я именно это и хотел сказать. Тогда легче делать красивые поступки. И за вашу книгу о России. *(Пьет.)* Непременно напишите. Тридцать тысяч. Я вам советую. Лучше гадость за тридцать тысяч, чем за десять долларов. А делать гадости придется, все равно. Никуда не уйдешь. Тридцать тысяч. Я искренен: вы мне всегда нравились. Вы — хороший парень. Еще виски и... Нет, не могу. Я уже пьян. Меня не любят и редко угощают. Последний раз — в прошлом году. Я здорово пьян. Доброй ночи. Я, кажется, уже не пойду обедать. *(С трудом встает.)*

Из наружных дверей входит Морфи.

Морфи. Гарри!

Смит. Боб!

Морфи. А, Харди. А ну-ка, выйдем отсюда. Харди. Всего на пару слов. *(Смиту.)* Прости, Гарри, это займет у меня ровно три минуты.

Харди *(заплетающимся языком)*. Слушайте, Морфи, я никуда не пойду с вами.

Морфи. Э, да он пьян.

Харди. Да, я пьян, и оставьте меня в покое.

Смит. Оставь его в покое.

Морфи. Ладно. Его счастье, что он пьян.

Харди. Счастливого пути, Смит. *(Идет к дверям, останавливается.)* А вы, Морфи, бросьте ваши штуки. А то я напишу вашему патрону мистеру Херсту. Вы ведь служите у мистера Херста... Я напишу ему про ваши штуки, и, честное слово, вам тогда не поздоровится.

Морфи *(садясь и отворачиваясь)*. А ну его к чорту. Как твои дела, Гарри?

Харди *(держась за дверь, с пьяным упорством)*. Вы ведь служите у мистера Херста? А?

Морфи. Убирайтесь, пока живы.

Харди *(так же)*. Хорошо. Но вы ведь служите у мистера Хёрста? А?

Морфи. Да, я служу у мистера Херста. Что еще?

Харди. Ничего. Мне просто приятно услышать это из ваших уст. Доброй ночи. *(Исчезает в дверях.)*

Смит. Я второй день живу здесь как бессловесный. Молчу и слушаю, слушаю и молчу. Что-то случилось или со мной или с Америкой.

Морфи. И с тобой и с ней. Ты видел, что такое война, а она не видела. И поэтому у тебя с ней разные взгляды на будущее — вот и все.

Смит. Это правда, но не вся.

Морфи. Конечно. Вся правда собрана только в одном месте.

Смит. Где?

Морфи. В царствии небесном.

Смит. Вот Гульд тоже отбарабанил три года на войне, и как с гуся вода.

Морфи. Три года в штабе воздушной контрразведки. Два раза летал. Шесть раз получал ордена. Он все еще ходит в полковничьей форме?

Смит. Нет.

Морфи. Снял. Еще месяц назад ходил. Полковник Гульд. При всем его уме ему до судорог нравилось, когда его называли полковником. Итак, значит, они с Макферсоном отправляют тебя в Россию?

Смит. Подожди. Потом. Все только и делают, что говорят со мной об этом. Я тебя не видел тысячу лет, с Новой Гвинеи. Ты совсем опух. Здорово пьешь?

Морфи. Немножко больше, чем обычно.

Смит. Почему?

Морфи. Скорблю о несовершенстве мира.

Смит. И пишешь Херсту статьи о том, что во всем виноваты большевики?

Морфи. Да. Надо же найти виноватых. Я бы с бо̀льшим удовольствием написал, что во всем виноват мистер Херст, но боюсь, что он этого не напечатает. А впрочем, наплевать: что бы я ни написал, мир не станет от этого ни лучше, ни хуже.

Смит. А за что же ты тогда собирался бить беднягу Харди?

Морфи. Это совсем другое дело. Двух русских ребят, о которых он написал, я встречал на фронте, на Эльбе, и пил с ними водку. Они же, чорт возьми, журналисты, как и я. Есть поговорка: собака ест собаку, но это скверная поговорка. Я одинок, но я против нее.

Зачем он их тронул? Что, ему мир тесен, в нем мало скандалов без того, чтобы трогать старых друзей, военных корреспондентов? Свинья. Когда он пишет чорт знает что об этих русских журналистах, я же не могу ему ответить в своей газете, что это клевета. При моем патроне я могу написать о русских только еще худшую клевету. Но пару раз, без объяснения причин, молча дать в зубы Харди... в этом я нахожу маленькое утешение. Ты знаешь мою философию: в мире все равно и не пахнет моралью, и чорт с ней, но давайте без свинства хоть в своем кругу.

Смит. Пока шла война, мне сто раз казалось, что после нее все должно перемениться.

Морфи. Должно? Во время войны у нас взяли взаймы душу. А теперь не хотят платить долгов. Банк добрых надежд прогорел, мой дорогой. Если бы мне сейчас было двадцать, я бы, может, возмутился, послал все к чорту и пошел к коммунистам. В конце концов они мне, пожалуй, нравятся больше всех остальных. Но мне сорок шесть, и у меня скверная привычка высасывать виски ровно на семьдесят пять долларов в неделю и ни долларом меньше.

Смит. До войны ты пил на пятьдесят.

Морфи. Это было до войны... А пятнадцать лет назад, когда я еще не начинал выходить в тираж, я вообще мало пил, но зато позволял себе в статьях много вольностей, и мистер Херст ничего — терпел. А теперь я исписался, со скрипом двести долларов в неделю, — и точка, и, исключая пакостей про журналистов, я пишу все, что будет угодно моему дорогому хозяину, будь он проклят заодно с твоим.

Смит. Ну все-таки это не совсем одно и то же.

Морфи. Не совсем? Это верно. Мой — правый край, а твой — правый хавбек. Но в общем они из одной футбольной команды... Впрочем, я иногда даже не сержусь на своего. В конце концов если бы все было наоборот и не Боб Морфи служил у Вильяма Рандольфа Херста, а Вильям Рандольф Херст — у Боба Морфи, я бы тоже не позволял ему писать, что захочет писать он, а заставлял бы его писать то, чего хочу я.

Смит. А чего ты хочешь?

Морфи. Сейчас уже ничего. Я бы хотел ничего не писать и все равно получать свои двести долларов. Но, к сожалению, это невозможно.

Смит. А теперь о том, о чем ты хотел говорить с самого начала: ехать ли мне в Россию? Ты мой единственный друг. Твое «да» — это почти мое «да».

Морфи. Тридцать тысяч?

Смит. Да.

Морфи. Да. Домик в пятидесяти милях от Нью-Йорка — пятнадцать, обстановка — пять. И десять тысяч на черный день, или можешь год сидеть и писать, что захочешь. Что захочешь. Да. Правда, с другой стороны... Но кто я такой сам, чтобы говорить тебе о другой стороне? Да. Соглашайся. Сейчас все сошлось. Несмотря на все свои удачи, наши шефы в тревоге. Они не хуже нас с тобой знают, что половина Америки думает совсем не то, что мы пишем от ее лица. Мы — как привязная борода. Сорвать — и еще неизвестно, как будет выглядеть это лицо. Ты нужен Макферсону из-за твоей первой военной книги о России, которую хвалили даже русские. Это дает тебе объективность в глазах читателей. Именно тебе, и именно сейчас. Да. И выпьем за твою книгу. Хотя почему же за книгу? Какой же дурак пьет за болезнь, когда нужно пить за выздоровление? За твое выздоровление. За твои тридцать тысяч.

Пьют.

Смит. Кстати. Боб, у тебя нет до завтрашнего дня полсотни долларов?

Морфи. Кто же просит у меня денег к вечеру? К вечеру у меня их никогда не бывает. *(Выворачивает карманы.)* Вот и все, что есть: восемнадцать долларов.

Смит *(беря)*. Ладно. Я вчера кутил с Джесси в ночном клубе и совсем забыл, что мне с утра непременно надо купить эту маленькую штучку. *(Вытаскивает из жилетного кармана обручальное кольцо.)*

Морфи. Женишься на Джесси?

Смит. Да.

Морфи. Жаль. Она не будет любить меня.

Смит. Почему?

*

Морфи. Все жены моих друзей не любят меня. Я прохожу перед глазами их мужей как вечное воспоминание об ином, лучшем, холостом мире, а жены не любят этого. Ты ждешь ее?

Смит. Да.

Морфи. Я пойду.

Входит Джесси.

Джесси. Здравствуйте.

Морфи. Вы все не меняетесь, Джесси. Ведь я вас знаю уже... *(после паузы)* пять лет.

Джесси. Слава богу.

Морфи. Ну, я пошел. Гарри, совсем забыл. Дай мне мелочи на такси.

Смит. Держи.

Рукопожатие.

Морфи. Доброй ночи. *(Выходит.)*

Джесси. Он попрежнему вечно без денег. Ужасная жизнь. Что, посидим здесь?

Смит. Нет, поедем в клуб.

Джесси *(смотрит на часы. На них без четверти двенадцать)*. Но ведь тебе в двенадцать к Макферсону. Ты не успеешь.

Смит. Да, да, верно. Посидим несколько минут здесь. Вот. *(Достает кольцо.)* Смотри...

Джесси. Вижу. Я очень счастлива.

Смит. Если бы ты знала, как я ночью нигде не мог найти себе места, оставшись один у дверей твоего дома. Почему ты не оставила меня у себя?

Джесси. Гарри, милый, ты же сделал мне вчера предложение.

Смит. Да, и ты приняла его.

Джесси. Да, и я приняла его. Я больше не твоя любовница, я твоя невеста. Я знаю, что ты скажешь: мы с тобой уже не мальчик и девочка. Верно. Но пусть будет хоть сейчас так, как я мечтала в юности. Эти кольца, и хлопоты, и поездки по магазинам, и только что купленный дом, в котором никто не жил до нас и порог которого я переступлю впервые, только приехав с тобой из церкви, — ты понимаешь меня?

Смит (*взяв ее за руку*). Понимаю.

Джесси. Нет, не до конца. Только такая старая грешница, как я, может с такой безумной силой захотеть вдруг совсем другой жизни. Наш дом. Наш... Пока ты будешь в России, я там все сделаю сама, своими руками. И когда ты вернешься, наш дом станет лучшим местом в мире для тебя, мой бродяга, мой молчаливый, мой седой, мой красивый. (*Ерошит руками его волосы, целует его в голову. Смотрит на часы.*) Тебе пора к Макферсону.

Смит. Нет, говори, говори еще, я успею.

Джесси. Быть вместе. Надеюсь, что бог меня не наказал и я еще не потеряла возможности иметь детей. И хоть несколько лет прожить, не кочуя по миру и не думая о деньгах.

Входит Гульд.

Гульд. Добрый вечер, Джесси. Гарри, почему ты здесь? Макферсон через минуту ждет тебя у себя.

Смит. Да. Сейчас я ему позвоню. (*Встает.*)

Гульд. Ты что ему скажешь?

Смит (*встречается глазами с Джесси. Долгое молчание*). Сейчас я позвоню ему. (*Выходит в вестибюль.*)

Гульд. Он согласится?

Джесси. Думаю, да.

Гульд. В этом случае он пробудет в России три месяца и две недели на перелет туда и обратно.

Джесси. Ну и что же?

Гульд. Я купил домик в Стамфорде. Сорок минут на машине отсюда. Тихо. Никого кругом.

Джесси. Очень рада. Но при чем тут я?

Гульд. В конце концов ваше семейное счастье устраивает не кто иной, как я, и, перед тем как погрузиться в него до конца, ты могла бы в ожидании мужа тряхнуть стариной именно со мной, а не с кем-нибудь другим. Это было бы только естественно.

Джесси. Со вчерашнего дня — нет.

Гульд. Джесси!

Джесси. Ни с тобой и ни с кем другим. Мы с ним заключили союз. Я знаю, как не хочется ему ехать. Но он идет на жертву ради меня. А я пойду ради него.

Хотя, впрочем, если говорить честно, отказаться от тебя — это не такая уж жертва.

Гульд. Да, конечно. *(Делает несколько шагов, прихрамывая более, чем обычно.)*

Джесси. Не надо, Джек. Я знаю о версии с японским снайпером. Но ведь именно я была с тобой в машине, когда мы налетели на этот столб в Манилле. Ты уже забыл?

Гульд. Вот такой злой ты мне нравишься больше всего.

Джесси. Брось. Все равно больше никогда ничего не будет. *(Пауза.)* Как ты думаешь, Джек? Почему он так долго говорит с Макферсоном? Вдруг он... Нет, не может быть.

Гульд. Почему не может быть? С этим сумасшедшим все может быть.

Входит Смит.

Смит. Задержался? Бармен, три виски.

Гульд. Что ты сказал старику?

Смит *(встречается глазами с Джесси, долго смотрит на нее)*. Что я сказал старику? Я сказал ему: да.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Прошло четыре месяца. Лето. Новый загородный дом Смита. Большой кабинет. Письменный стол, несколько застекленных книжных шкафов, еще почти пустых. Несколько кресел, два низких столика, диван; на диване, среди подушек, кустарная русская баба — покрышка для чайника. Часть стены стеклянная, за ней — веранда.

За столом Мег Стенли. Смит, расхаживая по кабинету, диктует ей.

Смит *(диктуя)*. «Я бы не сказал, что русские вообще лишены способности улыбаться, но при слове «фашизм» они сразу теряют всякое чувство юмора. Они слишком хорошо помнят, что это такое, гораздо лучше, чем мы.

С каким обидным удивлением они сто раз спрашивали меня — как могло случиться, что мы в Америке уже забыли об этом?

Глупцы те, кто думает, что русские не хотят сейчас войны только из-за своих потерь или из-за своих разрушений. Я был в Средней Азии, в цветущем маленьком городке, недалеко от Ташкента. Война не коснулась его. И среди людей, с которыми я говорил, я нарочно выбрал нескольких, которые ни по ком не носили траура. И именно из разговоров с ними я окончательно понял, что дело не в усталости или слабости, — дело в психологии людей, которые, как и вся сегодняшняя Россия, не хотели и не хотят войны с нами вне зависимости от своей слабости или силы.

— Что вы думаете о возможности войны с нами? — спросил я у одного из них. — Я думаю об этом только тогда, когда читаю то, что вы пишете в ваших газетах, — ответил он. И мне нечего было ему возразить». *(Прервав диктовку.)* Ну вот, Мег, записали?

Мег. Конечно.

Смит. На этом и кончим шестую главу. *(Смотрит на часы.)* Я, кажется, впервые в жизни точен на горе себе. *(Задумчиво.)* Тридцатого все будет кончено...

Мег. Что вы, Гарри?

Смит. Ничего. Я просто говорю, что тридцатого июня все будет кончено. Все. *(Обводит взглядом комнату.)* И это — тоже. И вообще вся моя жизнь, такая, какая она есть сегодня. Впрочем, я вру, не тридцатого, а первого. Сутки уйдут у мистера Макферсона на чтение. А утром первого... *(Вдруг смеется.)* Нет, вы представляете себе его лицо утром первого?

Мег *(смеясь)*. Его хватит от злости удар.

Смит. Удар? Нет, он не таков. Злость только укрепляет его организм. Говорят, когда в тридцатом году он обанкротился, у него от злости вдруг прошла подагра, и прошла навсегда, и он уехал ловить рыбу во Флориду. А через два месяца вернулся и все начал сначала. Вот. А тут маленькая неприятность с маленьким служащим.

Мег. Положим, неприятность большая.

Смит. Но служащий маленький. Тем хуже для него. То есть для меня... *(Пауза.)* А помните, Мег,

как пятнадцать лет назад я впервые пришел в вашу маленькую редакцию на Астор-Плейс? Только что из колледжа, молодой, счастливый и честный.

Мег. Вы и сейчас честный.

Смит. Сейчас? Да. Почти. Но тогда я был молод, и мне казалось, что можно быть счастливым и честным одновременно.

Мег. А сейчас вы несчастны?

Смит. Очень. Я уже не в том возрасте, когда еще можно высмеивать заурядное счастье иметь жену, дом, чековую книжку. Мне трудно думать, что через десять дней я собственными руками разрушу все это, как карточный домик.

Мег. Может быть, еще как-нибудь обойдется?

Смит. Может быть... Кстати, тот «паккард», на котором вы приезжаете сюда, он тоже в рассрочку, как и все остальное, впрочем.

Мег. Но жена не в рассрочку.

Смит. Да, жена не в рассрочку. А впрочем, не знаю. Ничего не знаю.

Мег. Гарри, вы негодяй. У вас хорошая жена, она вас любит.

Смит. Да, меня она любит, но я еще не знаю *(хлопает рукой по стенограмме)*, как она отнесется к автору этой книги. Я сейчас сам лишаю ее того счастья *(обводит глазами комнату)*, которого она так долго ждала и за возможность которого, наконец, она полюбила меня, может быть, больше, чем за все остальное. Я не смогу даже упрекнуть ее, если она уйдет от меня. Я обманул ее.

Мег. Она не уйдет от вас, Гарри. От вас, такого, каким вы были в молодости и каким опять стали сейчас, нельзя уйти.

Смит. Не знаю. Если бы я мог это знать.

Мег. Скажите ей всю правду о книге. Сегодня же.

Смит. Ни за что. А вдруг — нет? А так еще десять дней тихого счастья. Нет, пока этого никто не должен знать, кроме вас, мой старый, мой маленький, мой смешной лохматый друг.

Пауза.

Мег. Я поеду.

Смит. Нет. Останьтесь на час. Пообедайте с нами. Пока в этом еще нет нужды, но Джесси все равно готовит сама и чудно это делает. Оставайтесь. Я сегодня вдруг проснулся ночью и вспомнил Фрэда Вильямса таким, каким он был когда-то, и нашу с вами газетку, которую враги называли красной, хотя она была всего-навсего честной. Между прочим, вы не замечали, Мег, что все чаще слово «красный» становится синонимом честного?

Мег. Вот кончите книгу, и вас тоже снова назовут красным. Это не так плохо, Гарри. Много миллионов людей в Америке будут за вас. У них нет права голоса в наших газетах, но они молча будут за вас. Да.

Смит. Да. Боюсь только, что это прилагательное «красный» сильно сократит мои доходы. Чорт меня дернул послушаться Джесси и купить в рассрочку этот большой дом, вместо маленького, и сразу, как хотел я. Был бы хоть дом.

Входит Джесси. Она в фартуке.

Джесси. Ну, кончили? *(Подходит к Смиту, целует его.)* Устал?

Смит. А ты?

Джесси. Я — очень. С этим яблочным пирогом, как говорит Морфи, дьявольская возня.

Смит. А как Боб, проснулся наконец?

Джесси. Кажется, да. Во всяком случае, полчаса назад кто-то фыркал и чертыхался в ванной.

Смит. Я просил Мег пообедать с нами.

Джесси. Очень рада. Я просила ее вчера, но она не осталась.

Мег. Вчера надо было за вечер расшифровать двадцать страниц.

Джесси. Хоть бы вы уговорили его почитать мне.

Смит. Я нарочно сказал Мег, чтобы она оставляла все расшифрованное в Нью-Йорке. Сейчас — только вперед. Когда кончу, прочту все сразу.

Джесси. Но скажите, Мег, это интересно? Я вам так завидую.

Мег. Да, это очень интересно. *(Пауза.)* Джесси, когда у вас обед?

Джесси. Через полчаса.

Мег. Я пока приму у вас ванну. Хорошо?

Джесси. Конечно. Возьмите мой халатик, он висит там.

Мег. Спасибо. *(Выходит.)*

Джесси *(заглядывая в лежащую на столе стенограмму)*. Хорошо идет?

Смит. Ничего.

Джесси. Ну почему ты не хочешь диктовать мне? Честное слово, я не хуже стенографирую, чем твоя Мег, а для меня это было бы такое счастье.

Смит. А для меня такое счастье, что ты можешь, наконец, не стенографировать, не писать на машинке, что ты можешь привыкать быть просто хозяйкой этого дома. Хозяйкой — и все. И даже этот яблочный пирог — только твоя прихоть, не больше.

Джесси. Ты ничего не понимаешь. *(Указывая на стенограмму.)* Это тоже была бы только моя прихоть, раз диктуешь ты. Ты. *(Целует его.)* Нет, ты прав, я бы тебе мешала. *(Снова целует его.)* Я бы не могла удержаться. *(Заглядывает в стенограмму.)* Но мне так интересно. Я несколько раз втихомолку заглядывала сюда. Но у Мег другая система знаков, я с трудом понимаю у нее одно слово из десяти. Пока ты спишь, я сама по утрам убираю твой кабинет и ползаю по полу и подбираю твои бесчисленные окурки. Вчера их было сорок два.

Смит *(целуя ей руки)*. Ну, зачем ты?

Джесси. Как — зачем? Мне приятно. А потом я отворяю окно и сижу здесь, в твоем кресле, и что-нибудь пою, бормочу себе под нос и думаю о тебе и о том, что бы еще повесить здесь, над диваном, когда ты кончишь книгу и мы опять получим деньги. Здесь надо повесить маленькую хорошую акварель, думаю я. И опять что-нибудь пою и бормочу, а потом иду будить тебя...

Смит. У тебя усталый вид.

Джесси. Я устала от счастья. Я десять раз за день подхожу к этой двери и слушаю, как ты ходишь по комнате, и, когда твои шаги приближаются к двери, мне

каждый раз хочется высунуться и поцеловать тебя. Но я этого не делаю и тихо стою за дверью. А потом ухожу к себе и опять думаю о тебе. И так до вечера. *(Пауза.)* Ну разве не хорошо, что я все-таки упрямая и заставила тебя купить большой дом? Ну где бы ты расхаживал и топотал своими ножищами? *(Пауза. Вынимает из кармана фартука письмо.)* Я совсем забыла. Письмо от твоей мамы.

Смит *(разорвав конверт и вынув оттуда маленький листок)*. Да, моя старуха попрежнему неразговорчива. *(Читает.)*

Джесси *(садясь рядом с ним)*. Мне можно?

Смит. Конечно.

Оба молча читают.

Джесси. Какой ужас. Зачем она так пишет?

Смит *(складывая письмо)*. Ничего не поделаешь. У нее свой взгляд на эти вещи.

Джесси. Ты даже побледнел.

Смит. Да? Ну что ж, это неприятно, когда собственная мать называет тебя подлецом. До нее, очевидно, дошли слухи, что я пишу книгу о России, книгу, плохо согласующуюся с моими прежними убеждениями. Вот и все.

Джесси. Не понимаю. Какое ей дело до русских и до этой книги? В конце концов это только твое дело и больше ничье.

Смит *(с иронией)*. Она — человек старомодных либеральных взглядов. Она верит в идеалы. И когда, по ее мнению, ее сын начинает зарабатывать деньги бесчестным путем, она не хочет больше получать от него своей пенсии. На ее стороне старомодная, но логика.

Джесси. Ты огорчен? Ты думаешь, что в самом деле неправильно пишешь свою книгу?

Смит. Нет. Наоборот. Ее письмо только лишний раз говорит мне, что я правильно пишу свою книгу. *(Пауза.)* Что кроме яблочного пирога сегодня?

Джесси. Баранья нога. *(Вскочив и поспешно поцеловав Смита.)* Но боюсь, что ее уже не будет. *(Выбегает.)*

С м и т *(снова вынимает письмо, усмехается).* Она думает, что у меня будут деньги, но она не сможет их брать. А я думаю, что она сможет их брать, но у меня не будет денег.

С веранды входит Гульд, за ним — Макферсон.

Гульд. Здравствуй, Гарри. *(Бросает шляпу на кресло.)* Привез к тебе шефа посмотреть твою берлогу.

Смит. Здравствуй. Здравствуйте, шеф.

Макферсон. Надеюсь, вы нас извините, Гарри.

Смит. Я рад. Садитесь. Виски?

Макферсон. Нет, спасибо. Сегодня мне еще придется много пить.

Смит. По-моему, это не в ваших правилах.

Макферсон. Да. Но не каждый день человеку исполняется шестьдесят лет.

Смит. Вам шестьдесят?

Макферсон. Да. И вспомнил я об этом только сегодня утром.

Гульд. Утром шеф, кряхтя, поднялся с постели, почувствовал, что поясница у него вдруг не разгибается, и понял, что ему стукнуло шестьдесят.

Макферсон *(неожиданно шутливо, но довольно сильно ударяет Гульда в грудь. Тот, смеясь, валится на диван).* Гульд лжет. Сегодня утром я проснулся... проснулся, одним словом, не у себя дома, и моя поясница сгибалась и разгибалась не хуже, чем всегда. Но, приехав в редакцию, я застал у себя на столе чек на четырнадцать тысяч двести тридцать два доллара. Когда мне было тридцать и мне впервые в жизни показалось, что я завтра обанкрочусь, я имел силу характера проявить чувство юмора и из семи оставшихся у меня тысяч пять положить в банк срочным вкладом, с обратным получением в день своего шестидесятилетия. На всякий случай. Увидев чек, я вспомнил, что мне шестьдесят. Основной капитал пять тысяч я положил снова срочным вкладом до девяноста лет, а проценты сегодня на моей вилле мне помогут уничтожить друзья, в том числе и вы с Джесси. Идет?

Смит. Я тронут. И поздравляю вас. Но...

Макферсон. Я не пригласил вас заранее. Это свинство. Но я действительно вспомнил только сегодня. Утешьтесь тем, что вы будете в одинаковом положении со всеми и даже Уинстон Черчилль, который, может быть, тоже будет у меня сегодня по старой дружбе, узнал об этом только на час раньше вас. Ну, я должен ехать. Через час обед. А к вам я сделал все-таки восемь миль крюку. Четыре и четыре. У вас теперь есть машина?

Смит. Да. Только несколько минут, шеф. Я пойду спрошу Джесси.

Макферсон. Ждем.

Смит выходит.

Гульд. Чарли, а все-таки вы не лишены мелкого тщеславия. Ну зачем было о Черчилле?

Макферсон. Во-первых, Черчилль для меня не мелкое, а крупное тщеславие, тем более что сегодня его политика — моя политика, во-вторых, я знал его тогда, когда он был первым лордом адмиралтейства, а в-третьих, да, я тщеславен. Ну и что же?

Гульд. Ничего. Просто я думаю, что едва ли он будет у вас на обеде.

Макферсон. Как знать? По-моему, его как раз сейчас очень интересует американская пресса.

Пауза.

Гульд (*подходя к столу и заглядывая в стенограмму*). Видимо, он пишет как проклятый.

Макферсон. И хорошо делает. К тридцатому сентября готовая книга должна продаваться всюду.

Гульд. Три месяца — от получения рукописи до выхода книги. Успеет ли Кесслер со своим издательством.

Макферсон. Ему придется успеть. К сожалению, я пока еще не в состоянии откладывать дня выборов в конгресс. А книга мне нужна до этого, а не после этого, и вы это знаете не хуже меня.

Гульд. Слушайте, Чарли, а что если начать предварительную рекламу сейчас?

Макферсон. Опять ваша сумасшедшая спешка! Через десять дней он кончит книгу.

Гульд. А если с завтрашнего дня? Лишние десять дней это кое-что! Я вам еще никогда не давал плохих советов.

Макферсон. Но сейчас даете сумасшедший. Рекламировать книгу, ни разу не сунув в нее носа. Это был бы первый случай в моей жизни.

Гульд. Вы уже убеждались не раз, что у меня легкая рука?

Макферсон. Да.

Гульд. С завтрашнего же дня. Рекламу всюду. Я игрок на свой страх и риск. Идет?

Макферсон. На ваш страх и риск?

Гульд. На мой! Хотя, честно говоря, этот риск равен нулю. Я уже вижу эту книгу лучше, чем если бы я ее прочел. Ну, идет?

Макферсон. Вы самонадеянны.

Гульд. Да. Идет?

Макферсон. Идет. Только имейте в виду, что это, кажется, тринадцатый ваш совет, который я принимаю.

Гульд. Ничего. Я не суеверен. Вторая книга того же автора. Несколько выдержек из русских газет сорок второго года, где они пишут о первой книге, что Смит правильно подошел, верно понял и так далее и тому подобное. Автор, о котором сами русские писали, что он правдив. Несколько теплых слов о Смите — лежал в окопах под Гжатском, был под Сталинградом. Человек, для которого тяжело сказать плохое о России, но который все-таки не может сейчас молчать, и так далее...

Макферсон. И так далее и так далее. Ясно. Как будет называться книга?

Гульд. Все так же: «Почему русские хотят войны?»

Макферсон. Нет, слишком прямо. Еще посоветуемся. А как вы думаете, Джек, русские в самом деле сейчас хотят войны?

Гульд. Сейчас? Конечно, нет.

Макферсон. А потом?

Гульд. Не знаю. Я знаю только одно: они уничтожают капитализм, а я хочу уничтожить коммунизм. Любыми средствами. Вот и все. На равных.

Макферсон. С той только разницей, что они это делают у себя дома, а вы лезете своей лапой в чужую страну, к ним.

Гульд. Вы не собираетесь записаться в коммунистическую партию?

Макферсон. Нет. Я просто подумал, что вы особенно беспощадны, впрочем, как все ренегаты.

Гульд. Что вы сказали?

Макферсон. Я сказал, что вы особенно беспощадны, впрочем, как все ренегаты. Профсоюзное прошлое дней вашей молодости не дает вам покоя.

Гульд. Чарли, не советую вам продолжать. Я иногда кусаюсь.

Макферсон. Знаю. Но вы не правы. Никогда не надо стыдиться своей биографии, а тем более такого эффектного начала ее, как у вас. Когда молодой руководитель забастовки вдруг сам дает мне шесть фельетонов с разоблачением красных, ей-богу, это эффектно. Я еще тогда, пятнадцать лет назад, сразу понял, что вы далеко пойдете вообще, а если станете работать в газете — особенно.

Гульд. Заметьте: в вашей газете.

Макферсон. Конечно, не в «Дейли Уоркер». Когда вы думаете о коммунизме, вам все время кажется, что если бы он наступил в Америке, то вас непременно бы повесили.

Гульд. За компанию с вами.

Макферсон. Не уверен. А знаете, что бы вы сделали, если представить себе такой невероятный случай: вдруг завтра у нас коммунистическая диктатура?

Гульд. Интересно.

Макферсон. Очень. Вы бы быстро перекрасились и поспешили выдать головой всех ваших нынешних друзей, так же, как пятнадцать лет назад всех ваших тогдашних.

Гульд. Очевидно, сегодня вы решили поссориться со мной.

Макферсон. Ничуть. Это вам просто за Черчилля и за мое тщеславие. Я действительно тщеславен, но очень не люблю, когда мне об этом напоминают другие. И потом вы сегодня утром опять с излишней нежностью смотрели на мой редакторский стол, а я очень не люблю торопливости, особенно в молодых людях.

Гульд. Вы стареете, Чарли. Вы просто начинаете брюзжать.

Макферсон. Возможно.

Гульд. Можно подумать, что вам меньше, чем мне, хочется уничтожить коммунистов.

Макферсон. Нет. Но у меня для русских есть программа минимум.

Гульд. Можете опубликовать?

Макферсон. Могу. Пять-шесть лет держать их под угрозой войны, не давая им оправиться, а потом потребовать у них всего трех вещей.

Гульд. Каких?

Макферсон. Исключительной свободы их рынка для нас — раз, отмены их монополии внешней торговли — два и сдачи нам крупных концессий — три. А в остальном пусть пока остаются коммунистами, — это их личное дело.

Пауза.

Гульд. Однако Смит заставляет себя ждать.

Входит Смит.

Смит. Прошу прощения, но у меня просто еще мало опыта разговоров с женами. Джесси благодарит вас. Она уже одевается. Мы выедем вслед за вами через полчаса.

Макферсон. Хорошо. *(Гульду.)* Джек, вы третий раз за день забываете свою шляпу. Рассеянность к лицу только уже знаменитым людям. Да, кстати, Гарри, Гульд предлагает назвать вашу книгу «Почему русские хотят войны?» Как вам?

Смит. Не очень.

Макферсон. Мне — тоже.

Смит. Может быть, отрезать первое слово. Просто — «Русские хотят войны?» И большой вопросительный знак.

Макферсон. «Русские хотят войны». И маленький вопросительный знак, втрое меньше букв, почти незаметный. Незаметный, но объективный, так чтобы, если вглядеться, его все-таки можно было заметить. Ну что ж, это неплохая идея. Идет. Я жду вас. *(Выходит с Гульдом.)*

Несколько секунд на сцене один Смит. Потом из внутренней двери выходит Морфи, опухший более чем обычно, с крестиком пластыря над глазом, в толстой старой фуфайке.

Смит. Ну что, выспался, наконец?

Морфи. Четырнадцать часов — с трех ночи. Я был здорово пьян, когда ввалился к тебе вчера?

Смит. Нет, ничего. Ты только почему-то держал подмышкой чью-то дамскую шляпу и со слезами на глазах говорил о том, какой, в сущности, хороший человек твой хозяин — Вильям Рандольф Херст.

Морфи. Ну, тогда я действительно был пьян, как свинья. Надо бросать пить. Зачем к тебе приходил Гульд?

Смит. А ты откуда знаешь?

Морфи. Его голос так похож на бормашину, что спутать невозможно.

Смит. Он приехал с Макферсоном. Шефу сегодня шестьдесят, и он заехал пригласить нас с Джесси на обед.

Морфи. Да... Ему, видимо, здорово нужна твоя книга. А что же яблочный пирог? Джесси обещала мне его.

Смит. Она не знала. Но пирог остается в силе. Ты пообедаешь с Мег, а к вечеру мы вернемся.

Морфи. Я с Мег? Эта твоя прогрессивная девица и при тебе шарахается от меня, как от змеи, а наедине со мной она просто выльет мне на голову горячий крем и, пока я буду зализывать ожоги, выскажет мне все, что она думает о мистере Херсте и обо мне. Она ведь искренне считает, что он и я — это почти одно и то же.

Смит. Мег? Ты сошел с ума.

Морфи. Я знаю, что я говорю. Она определенно обольет меня кремом. Я еще удивляюсь, почему она стенографирует тебе твою книгу. Наверное, у нее больная мама и ей дозарезу нужны деньги.

Смит. Нет.

Морфи. Так почему же тогда?

Смит. Почему? *(Пауза.)* Сигары вот в этом ящике.

Морфи. Третий раз я приезжаю к тебе и третий раз опять и опять, как свинья, завидую твоему счастью.

Смит. Ты боялся Джесси. Разве ты можешь на нее пожаловаться?

Морфи. Нет. Она так любит тебя, что терпит даже меня. *(Пауза.)* Да. Хорошо. *(Подходя к столу и взвешивая на руках стенограмму.)* И если бы еще вся эта жизнь *(обводит глазами комнату)* без необходимости этого свинства. Тридцать тысяч. А мне стали платить совсем паршиво. Впрочем... я вчера напился потому, что получил порядочный аванс под одно дело. У меня даже еще осталось. *(Вынимает из кармана скомканную пачку денег.)* Вот сколько еще.

Смит. А что за дело?

Морфи. В общем, дрянное. Попытка поставить новый рекорд высоты с пассажиром на борту. Я — пассажир.

Смит. Серьезный самолет?

Морфи. Нет. По-моему, дрянь, авантюра. Обыкновенный легкий спортивный самолет без всяких специальных приспособлений. Но в этом и соль. Они хотят поставить рекорд для этого типа. Реклама прочности. Новая и еще не солидная фирма. Но именно поэтому им нужен шум, и они хорошо заплатят мне за радиопередачу с борта самолета.

Смит. Сколько?

Морфи. Полторы тысячи.

Смит. Не лети. Ну их к чорту. Если б на какой-нибудь «Локхид» или «Консолидейтед», — тогда другое дело.

Морфи. «Локхид» или «Консолидейтед» — они и так хороши, им не нужна реклама, а этим нужна. Не могу. У меня, как, наверное, и у твоей стенографистки, здорово больна мать, и я должен сколотить долларов шестьсот и срочно послать ей в Ротчестер на лечение. А сколотить их просто за счет отказа от выпивки — это свыше моих сил. *(Пауза.)* Слушай, скажи откровенно: ты в эту поездку не разочаровался в русских?

Смит. Нет.

Морфи. И они все такие же хорошие ребята, какими были во время войны?

Смит. Все такие же.

Морфи. Ей-богу, это свинство с их стороны.

Смит. Почему?

Морфи. Потому что, если бы они стали хуже, нам с тобой не было бы так совестно писать о них всю ту дрянь, которую мы о них пишем.

Входит Джесси.

Джесси. Я готова. Поехали.

Смит. До вечера, Боб. *(Берет Джесси под руку.)* Так сигары — в столе.

Морфи. Это я уже запомнил. А вот где виски? Если не ошибаюсь, в этом шкафу?

Смит. Ты не ошибаешься.

Входит Мег.

Мег, я должен перед вами очень извиниться.

Мег. Ничего. Мне Джесси уже сказала.

Смит. Через час машина вернется и отвезет вас в город. Хорошо?

Мег. Очень хорошо.

Смит. А пока побудьте за столом хозяйкой и поухаживайте за моим старым Бобом.

Мег. Хорошо, я поухаживаю за вашим старым Бобом.

Джесси. До свиданья, Мег. А вы, Боб, попробуйте продержаться на ногах до нашего прихода.

Морфи. Попробую.

Смит. До свиданья. *(Выходит под руку с Джесси.)*

Мег садится в кресло против Морфи. Тишина. Шум отъезжающей машины. Снова тишина.

Морфи *(идет к шкафу, вынимает бутылки, два стакана)*. Виски или бренди?

Мег. Все равно.

Морфи *(ставит на столик, садится)*. Я пью без соды. А вы?

Мег. Все равно.

Морфи (*наливает*). В долгий путь.

Оба пьют.

Вам, наверное, здорово противно стенографировать эту книгу?

Мег. Почему?

Морфи. Вы же левая. Впрочем, деньги есть деньги. Но со мной вам противно сидеть? Да? Ведь это бесплатно.

Мег. Нет, как ни странно, мне не противно с вами сидеть. Только...

Морфи. Что только?

Мег. Не философствуйте. Ладно?

Морфи. Ладно. (*Наливает.*) А вы знаете, почему я так много пью?

Мег. Почему?

Морфи. Я каждый день диктую и говорю по радио столько дряни, что мне надо постоянно дезинфицировать свою глотку. Я пью для дезинфекции.

Мег. Но иногда вы печатаете и на машинке. Вам нужно виски и для рук.

Морфи. Вы правы. Но это мне не по средствам. Пойдемте обедать.

Мег. Пойдемте. Послушайте, как тихо. Мы с вами, как два матроса на брошенном корабле.

Морфи. После кораблекрушения.

Мег. Или перед...

Долгая пауза. Оба молча выходят из комнаты.

Занавес.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Та же обстановка, что и в третьей картине. Вечер. Прошло десять дней.

Смит один, задумавшись, неподвижно сидит в углу в глубоком кресле. Долгое молчание. Входит Джесси, как и в предыдущей картине, в домашнем платье и фартуке.

Джесси. Что с тобой, Гарри?

Смит (*очнувшись*). Да. Что?

Джесси. Что с тобой, милый? Половина десятого. Ты уже четыре часа сидишь вот так.

Смит. Неужели половина десятого?

Джесси. Я уже два раза заходила, думала, что ты задремал.

Смит. Нет, я не спал.

Джесси. Ты счастлив, что кончил книгу?

Смит. Да.

Джесси. Ты устал? Да? И все мои сегодняшние гости напрасно затеяны?

Смит. Нет, нет, почему же? Очень хорошо. Только откуда ты взяла денег? По-моему, на моей чековой книжке их уже нет.

Джесси. Денег? Конечно. Уже неделя, как их там нет. Но я...

Смит. Ты заняла денег?

Джесси. Нет, просто была моя тысяча долларов, которую я сберегла еще после армии.

Смит. Зачем ты...

Джесси (*перебив его*). Замолчи. Сейчас же замолчи. Я была так рада тому, что у тебя кончились деньги и мы можем хотя неделю жить на мои. Я была горда этим. И не порти мне моей радости. Завтра Макферсон прочтет твою книгу — и ты будешь опять богат. А сегодня ты еще совершенно бедный, совершенно мой, и даже будешь ужинать на мой счет. Боже, как это приятно. Это может понять только женщина.

Смит. Я все больше люблю тебя. Сегодня мне кажется, что уже нельзя любить тебя сильнее.

Джесси. Сегодня? А завтра? Завтра ты должен любить меня еще сильнее.

Смит. Завтра? Да, может быть, завтра я буду любить тебя еще сильнее, если только...

Джесси. Что — если?

Смит. Если только ты вдруг не бросишь меня завтра.

Джесси. Что ты говоришь, сумасшедший. Что с тобой? У тебя слезы на глазах. Ты устал. Ты просто ужасно устал. (*Не позволяя ему встать, становится перед ним на колени, прижимается к нему.*) Что ты придумал? Куда я уйду от тебя? (*Вскакивает.*) Скорей,

пойдем, посмотрим, как я все приготовила. *(Вытащив его из кресла, ведет за руку к двери столовой, открывает ее.)*

В глубине столовой виден празднично накрытый стол.

Тебе нравится?

Смит. Очень.

Джесси *(закрыв дверь и прохаживаясь по комнате под руку со Смитом)*. Ты — раз, я — два, Мег — три, Престон — четыре. Потом Фанни Бридж и еще одна моя старая приятельница — Салли Хопкинс — по-моему, ты ее не знаешь.

Смит. Не знаю.

Джесси. Я ее даже не очень люблю. Но она была всегда такая рассудительная и так осуждала меня, а теперь я ее зову, чтобы похвастаться перед нею тобой. Это — шесть. Гульд — семь. Я знаю, ты его недолюбливаешь.

Смит. Нет, ничего.

Джесси. Но я позвала его тоже нарочно. Он всегда относился к тебе немножко свысока, особенно за глаза. Пусть приедет и посмотрит, как хорошо у нас с тобой. Во сто раз лучше, чем у него с его богатой выдрой там, в Сан-Франциско.

Смит. А Боб будет?

Джесси. Конечно. Он восьмой и последний. Когда Мег днем поехала в Нью-Йорк отвозить твою книгу, я ей сказала, чтобы она где угодно откопала его и приехала вместе с ним. *(Пауза.)* Гарри!

Смит. Что, дорогая?

Джесси. Что с тобой? Что случилось? Тебя что-то мучает. Что тебя мучает? Ну, скажи мне.

Смит. Нет, ничего. Ровно ничего. Наверное, я просто отчаянно устал.

Оба подходят к стеклянной стене веранды, смотрят в сад.

Джесси. Да, совсем забыла. Видишь вот этот кусочек земли от грушевого дерева и дальше, с холмиком и тремя соснами?

Смит. Вижу.

Джесси. Красиво? Да?

Смит. Да.

Джесси. Это почти четверть акра. Я говорила сегодня с мисс Ходсон. Это ее земля. Она говорит, что может продать ее нам, и не особенно дорого. Когда ты получишь деньги за книгу, мы непременно купим эту землю. Тогда у всего этого сада будет совсем другой вид. Хорошо?

Смит. Хорошо.

Звонок.

Джесси. Слава богу. Это, наверное, Мег и Боб. *(Поцеловав Смита, выбегает.)*

Смит продолжает неподвижно смотреть в окно.

(Вбегает. В руках у нее большая картонка.) Приехали. Держи, и сейчас же иди переодеваться.

Смит. Что это?

Джесси. Это мой сюрприз тебе. Я послала с Мег деньги портному, чтобы выкупить твой новый костюм. Вот. Иди, переодевайся. Только скорей. Я хочу поскорей увидеть тебя в нем. Ну, иди, иди. *(Почти выталкивает его.)*

Входят Мег и Морфи.

Мег. Я выполнила ваше поручение и даже сидела в мужской парикмахерской, пока мистер Морфи стригся и мыл голову.

Джесси. Спасибо, Мег. А вы, Боб, честное слово, могли бы приехать сюда и с немытой головой, но поскорей.

Морфи. Не мог. Я мыл голову, чтобы притти в себя.

Мег. И заметьте, два раза.

Морфи. Да, два раза. Парикмахер мне вымыл голову, вытер и причесал меня. Но я почувствовал, что этого мне недостаточно, и попросил его вымыть мне голову еще раз. Он пробовал возражать, но я ему сказал, что это не его дело и что, если я хочу, я могу мыть свою собственную голову хоть пять раз подряд.

Джесси. Вы веселый сегодня. Может быть, хоть вы развеселите Гарри?

Морфи. Ладно. Вы же знаете, что я ни в чем не в состоянии отказать ни вам, ни мисс Стенли.

Мег. Только не впутывайте меня.

Морфи. Почему? С тех пор, как мы с вами договорились не касаться политики, у нас чудные отношения. Вы сегодня даже пили виски из моей фляжки.

Джесси. Мег, что я слышу?

Мег. Шел дождь, я вела машину и замерзла, а у него вечно оттопыриваются карманы от этих фляжек. А вам уже стало жаль, что я обездолила вас на один глоток виски?

Входит Смит, переодетый в темносиний костюм.

Джесси (*вертит его*). Так. Очень хорошо. Мег, вы не находите, что здесь в спине морщит и немножко широко?

Морфи. Теперь так шьют.

Джесси. А вы молчите. На вас вообще все сидит, как на вешалке. Как, Мег?

Мег. Нет, по-моему, хорошо.

Смит. Довольно меня вертеть, я не глобус.

Джесси (*ворчливо*). Ну, конечно, галстук, как всегда, подмышкой. (*Поправляет галстук, потом тянется к нему и целует его в губы.*) Неправда, ты очень хорошо завязал сегодня галстук. Это я нарочно, чтобы незаметно тебя поцеловать. (*Мег и Морфи.*) Вы ведь ничего не заметили?

Морфи, Мег (*хором*). Нет, мы ничего не заметили.

Джесси. Мег, идемте со мной, у нас еще тысяча дел...

Морфи. Подождите. Посмотрите на сюрприз, который я привез для Гарри. (*Роется в кармане, вытаскивает газету, развертывает ее. Видно, что во весь газетный лист что-то крупно напечатано.*)

Джесси. Что это?

Морфи. А это Макферсон дал сегодня воскресное приложение, и в нем целую страницу занимает (*кивает на Смита*) наш достопочтенный друг. Здесь написано, какой гениальной будет его книга, какой он

сам талантливый, объективный, честный, какой красивый будет переплет и, главное, как недорого будет стоить все это вместе взятое. Ну, как?

Джесси. Очень внушительно.

Морфи. И заметьте! Все это, еще не читая его книги. Честное слово, так бывает раз в сто лет!

Смит. Да...

Морфи. Его имя — по два дюйма каждая буква.

Джесси. Просто чудно. Я даже не думала, что так будет. А ты, Гарри?

Смит. Я тоже не думал. То есть не вполне представлял себе...

Джесси. Вот видишь, а ты сегодня весь день грустишь. Растормошите его, Боб, а то я буду сердиться на вас обоих. Идемте, Мег.

Джесси и Мег выходят.

Морфи. Я вижу, тебя что-то не очень порадовал мой сюрприз.

Смит. По правде говоря, не очень.

Морфи. Почему?

Смит. Это долго рассказывать. *(Пауза.)* А впрочем, можно и коротко. Видишь ли, Боб, дело в том, что я написал совсем не ту книгу, которой от меня ждут.

Морфи. Что?

Смит. Именно то, что я сказал. Не ту книгу. *(Берет в руки принесенную Морфи газету.)* «Русские хотят войны?» Так вот, я отвечаю на этот вопрос отрицательно. Русские не хотят войны.

Морфи *(с восторгом)*. Вот это отмочил. Будь ты проклят. Это здорово. И книга уже у Макферсона?

Смит. Да, уже четыре часа, как она у Макферсона.

Морфи *(хохочет)*. Воображаю себе.

Смит. Что?

Морфи. Воображаю себе физиономию Макферсона. *(Заглядывает в газету.)* «Гарри Смит, известный своей объективностью и честностью». *(Смеется.)* Интересно, как они теперь будут давать задний ход?

Смит. Не знаю. Я не думал, что дело зайдет так далеко, особенно эта проклятая и неожиданная реклама.

М о р ф и *(задумчиво)*. А знаешь, ведь, пожалуй, твое дело плохо.

С м и т. Неважно.

М о р ф и. Ты... ты в самом деле написал книгу, которая категорически не подойдет Макферсону, или...

С м и т *(перебивая его)*. В этом русском вопросе не может быть «или». Только «да» и «нет». Макферсону нужно было «да», а я сказал «нет». Вот и все.

М о р ф и. Нет, еще не все. Есть еще договор.

С м и т. Ну что же, я не получу по нему больше ни цента.

М о р ф и. Но и это еще не все. Они могут попробовать заставить тебя вернуть то, что ты уже взял.

С м и т. Наплевать. Все равно я уже нищий — возвращать или не возвращать эти деньги. Когда подойдут сразу все платежи по рассрочкам, — все это станет уже не моим. Начиная с этого дома и кончая машиной, на которой ты приехал.

М о р ф и. Подожди. А если другое издательство?

С м и т. Уже думал. Не выйдет. Макферсон, то есть, вернее, его издатель Кесслер, заключил со мной договор, по которому они имеют гарантийный срок для издания — два года.

М о р ф и. Ну?

С м и т. Ну и все.

М о р ф и. Но если они отвергнут и вернут тебе книгу?

С м и т. И не подумают. Зачем? Наоборот. Они формально ее не отвергнут и не вернут, а просто будут два года держать ее у себя и не издавать. А я тоже не смогу нигде ее издать, потому что на эти два года она — их собственность. А через два года ее уже поздно будет издавать — это не роман и не книжка стихов, это — репортаж, он умрет через полгода.

М о р ф и. Подожди, ты понимал это, когда садился писать книгу?

С м и т. В общем, да, понимал.

М о р ф и. Так какого же дьявола ты ввязался в это безнадежное дело, из которого нет выхода? Как ты мог?

Смит. Не знаю. Мог. Мог так и не мог иначе. Это было сильней меня. В России мне вдруг стало стыдно за себя, за тебя, за всех нас, за то, что мы заставляем всю Америку жевать каждый день вместе с завтраком *(хватает газету)* эту отраву. Этот «русский вопрос» давно перестал быть только русским вопросом. Это пробный камень, на котором во всем мире сейчас проверяют честь и честность людей. Я вспомнил, что я — человек. Да, да, человек, а не служащий Макферсона. Что я когда-то был молод и честен, что, наконец, у меня есть старуха-мать, которая с детства учила меня разным хорошим вещам, старая ворчливая честная американка, которая и до сих пор уважает Линкольна больше, чем Херста. И я написал эту книгу — будь она проклята. Пусть ее прочтут только пять моих друзей, я все равно не раскаиваюсь в этом. Довольно предоставлять монополию на честность коммунистам. Пусть они, сколько хотят, называют меня недостаточно левым, чорт с ними, но они теперь не посмеют назвать меня нечестным.

Морфи. Ну что ж, дело сделано.

Смит. Ты не согласен со мной?

Морфи. Не знаю. Но у меня сейчас так паршиво на душе. И я так противен сам себе, что, честное слово, если десятого эта воздушная мотоциклетка рассыплется в воздухе, в этом не будет большой беды для меня. Скорей наоборот.

Смит. Брось говорить глупости.

Морфи *(после паузы)*. А что же Джесси? Она еще ничего не знает?

Смит. Ничего.

Морфи. Она так счастлива тобой и этим домом.

Смит. Ради бога, замолчи. Дай мне хоть до завтра не думать об этом. *(Пауза.)* Сигару?

Морфи. Спасибо.

Оба закуривают. Долгое молчание. Прислушиваются к звону посуды в столовой.

(Вдруг вскакивает.) Подожди.

Смит. Что?

Морфи. Подожди. Идиоты. Мы идиоты. Есть выход. Ей-богу.

Смит. Не валяй дурака. Какой здесь может быть выход?

Морфи. Не «может быть», а уже есть. *(Хватает газету.)* Эта реклама! О твоей книге сегодня уже знает весь Нью-Йорк. Это же скандал!

Смит. Что же тут хорошего?

Морфи. Как — что? Чудовищный скандал. Этот вечно торопящийся осел, Гульд, посоветовал Макферсону намекнуть уже в рекламе на антирусское содержание книги. Я чувствую тут его руку. И молодец. На этом они и погибнут.

Смит. Как?

Морфи. Очень просто. Грандиозный скандал даст книге небывалый тираж. Кесслер — обыкновенный делец, его интересуют только доллары. Из-за лишней сотни тысяч он в два счета продаст Макферсона и издаст твою книгу один. Он напечатает контррекламы и даст на суперобложке всю скандальную историю с заказом этой книги, с отказом ее печатать, со всеми подробностями. Весь Нью-Йорк будет говорить об этом, по крайней мере, целую неделю. Ты меня понимаешь?

Смит. Начинаю.

Морфи. Ей-богу, это — гениальная идея. С кем у тебя договор юридически? С одним Кесслером?

Смит. С одним Кесслером.

Морфи. Значит, Макферсон такой же осел, как Гульд. Он ничего не сможет сделать. А Кесслер пойдет на все. Он пешком пройдет пустыню Сахару, если только услышит на другом конце ее запах долларов. Он еще будет давать обеды в твою честь. Гарри, немедленно виски, или я беру все свои слова обратно.

Смит *(наливает виски в два стакана)*. Неужели правда?

Морфи. Я брошу пить, если это неправда.

Смит. Ну, зачем же такие страшные клятвы?

Морфи. Не боюсь. Я ничем не рискую. Выпьем.

Пьют.

Смит (*задумчиво*). А ведь правда? А?

Морфи. Выпьем еще. (*Наливает.*)

Входит Джесси.

Джесси. Ну, это уже свинство, Боб. Зачем вы сейчас пьете?

Морфи. Зачем мы пьем? А затем, что все будет хорошо. Дьявольски хорошо. А, Гарри?

Смит. Да.

Морфи. Джесси, руку, скорей. (*Хватает за руки ее и Смита.*) В круг. В круг. Гарри, хватай ее за ту руку.

Джесси (*смеясь*). Что с вами? Я ничего не понимаю.

Морфи. Ничего, поймете. (*Притопывая и танцуя, тащит всех в круг за собой и поет: «А я волка не боюсь, не боюсь, не боюсь».*) Верно, Гарри?

Смит (*задорно*). «А я волка не боюсь, не боюсь, не боюсь».

Все трое, приплясывая, поют на разные голоса: «А я волка не боюсь, не боюсь, не боюсь». Распахиваются двери с веранды. В дверях стоит Гульд в плаще и шляпе. Он очень бледен. Общее долгое молчание.

Гульд (*взволнованно*). Гарри! Я ничего не понимаю, но мне в ярости позвонил Макферсон и сказал, чтобы я сейчас же, ночью, приехал к нему с тобой, с живым или мертвым.

Общее молчание.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Обстановка первой картины — кабинет Макферсона. Ночь. Со времени действия предыдущей картины прошло полтора-два часа.

Гульд (*в дверях, пропуская вперед Смита*). Проходи. (*Продолжает стоять в дверях и говорить с кем-то в соседней комнате, очевидно, с секретаршей.*) А когда вернется?

Женский голос. Не сказал. Только сказал, чтобы вы ждали в кабинете.

Гульд. Хорошо, мы будем ждать. *(Закрывает дверь, садится.)* Будем ждать. *(Пауза.)* Судя по голосу он был просто в бешенстве. И потом в обычном состоянии у него нет привычки бросать трубку на полуслове.

Смит *(насмешливо)*. А все-таки, господин редактор «Сан-Франциско Геральд», вы, по старой памяти, все еще побаиваетесь шефа.

Гульд. Процентов на шестьдесят.

Смит. Почему именно на шестьдесят?

Гульд. Потому что он еще держит шестьдесят процентов акций моей газеты. Держит и не продает, старая собака, хотя я уже три раза пытался купить их через подставных лиц. *(После паузы.)* В чем дело? Почему он безумствует? Может быть, что-нибудь перевернулось, и ему теперь вдруг нужна книга, прямо противоположная твоей?

Смит. По-моему, ты неожиданно близок к истине.

Гульд. Ты думаешь? Что же произошло в мире? Пока мы ехали в машине, я перебрал в памяти все международные телеграммы. Ничего. Ровно ничего. Ну, что ты молчишь? Что ты думаешь? Это же и к тебе относится, чорт возьми.

Смит. Да, пожалуй, ты прав. Это относится и ко мне. И даже гораздо больше, чем к тебе. Не волнуйся. В мировой политике не произошло никаких перемен. Дело в гораздо более мелком обстоятельстве. Просто я написал честную книгу о России и ответил в ней отрицательно на вопрос: хотят ли русские войны.

Гульд. Так... Очень хорошо...

Смит. Уж не знаю. Тебе видней.

Гульд *(неожиданно)*. Нет, он не мог успеть ее прочесть.

Смит. Достаточно одной главы.

Гульд. Подожди. Ты валяешь дурака. Ты сейчас разыгрываешь меня. Да?

Смит. Сейчас — нет. Весь этот месяц — да. А сейчас — нет.

Гульд. Ты серьезно?

Смит. Уж пять минут как я говорю, наконец, абсолютно серьезно. Пойдем, спустимся на минуту в бар. Перед большими неприятностями всегда хорошо немножко выпить.

Гульд. Выпить? Ты понимаешь, что ты сделал? Чем это грозит тебе, да и мне?

Смит. Конечно. Поэтому я и предлагаю тебе выпить вдвоем. И на мой счет. *(Вынимает из кармана деньги.)* У меня осталось еще целых семь долларов. Пойдем.

Гульд. Убирайся к чорту.

Смит. Ты отчасти прав. Я тебя немножко подвел, но и ты поторопился с этой преждевременной рекламой. Это была одна из твоих самых фантастических и самых неудачных идей. В общем, я приношу извинения за причиненные неприятности. И пойдем выпьем, пока у меня еще есть деньги.

Гульд. Неприятности? Мои неприятности — это капля по сравнению с морем твоих. Подумай о своих неприятностях. Пока не поздно.

Смит. Поздно.

Гульд. Нет. Я не знаю, что ты написал. Но я знаю, что достаточно десяти дней для того, чтобы, как перчатку, вывернуть наизнанку любую книгу. Я уговорю шефа. Он пойдет на это.

Смит. Он — да, я — нет.

Гульд. Не будь идиотом. Я тебе говорю как друг.

Смит. Нет. Ты говоришь как человек, всю жизнь удачно торговавший своими советами. Ты не хочешь портить себе репутацию. Ты посоветовал шефу сделать из меня подлеца. И раз так, я — пусть с опозданием на десять дней, но все равно должен стать подлецом. А я не стану. Вы с Макферсоном выдаете себя за врагов России. Но в этом только четверть правды.

Гульд. А три четверти?

Смит. А три четверти в том, что вы — враги Америки. Вы хотите заставить десять миллионов американцев снова надеть военную форму. А тем, кто возражает вам, вы хотите надеть намордники. Но этого не будет!

Гульд *(холодно)*. Во-первых, с завтрашнего дня ты будешь нищим.

Смит. Возможно.

Гульд. Во-вторых, рано или поздно, от тебя уйдет Джесси.

Смит. Возможно. Но не стоит говорить об этом сейчас.

Гульд. Нет, стоит.

Смит. Нет, не стоит.

Гульд. Я тебе говорю как друг — твой и ее.

Смит. Замолчи. И больше ни слова о дружбе. Я знаю все о том, что у вас было в Австралии. И довольно об этом.

Гульд. Она тебе сказала?

Смит. Нет, я просто знаю сам.

Гульд. А она — она знает, что ты...

Смит. Конечно, нет. Когда у женщины бывает черное пятно в жизни *(кивнув на Гульда с откровенной насмешкой)*, а особенно такое, — порядочный человек никогда не напоминает ей об этом. *(Пауза.)* Не подходи ко мне. Дело не ограничится мелкой дракой. Я просто убью тебя. Лучше сядь. Вот так. И я сяду.

Оба садятся.

Сказать по правде, я очень давно не люблю тебя, Джек Гульд. Еще со школы, где мы учились вместе. Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобнее, чем мне, жить в моей стране, которую я все-таки люблю, люблю, несмотря на ваше присутствие в ней. Я не люблю тебя за то, что ты смеешься над честностью, за то, что я в десять раз талантливей и в сто раз бедней тебя. Я не люблю тебя за то, что моя жена была когда-то твоей любовницей, не потому, что она любила тебя, а потому, что ты всегда поспеваешь во-время дешево купить дом, когда умер хозяин, и дешево приласкать женщину, когда она одинока. Я не люблю тебя за то, что ты считаешь, что быть подлецом — это естественное состояние человека. И еще больше за то, что ты чуть не заставил и меня поверить в это. Не будем больше лгать и говорить о дружбе, Джек Гульд. Мы с тобой два разных человека и, если хочешь, две разных Америки.

(Встав.) Я пойду выпить виски. Один. По правде сказать, мне даже не хочется угощать тебя на свои последние деньги. *(Выходит.)*

Гульд в состоянии еще не прошедшего остолбенения сидит в кресле, потом, задумчиво посвистывая, делает несколько шагов по комнате. Быстро входит Макферсон.

Макферсон. Здравствуйте. Где Смит?

Гульд. Пошел вниз выпить перед разговором с вами.

Макферсон нажимает кнопку. В дверях появляется секретарша.

Макферсон. Смит внизу, в баре. Позовите его ко мне.

Секретарша выходит.

Гульд. Ну?

Макферсон. Вы уже знаете?

Гульд. Да, он мне сказал.

Макферсон. Ждете, что я вас буду упрекать?

Гульд. Жду.

Макферсон. Напрасно. Когда человек слушается советов идиота, он сам — дважды идиот, и ему некого в этом упрекать, кроме самого себя.

Гульд. Спасибо.

Макферсон. Пожалуйста. Завтра утром вы переведете тридцать тысяч, истраченных мною на рекламу за ваш страх и риск, с общего счета на мой. И я больше не буду возвращаться к этому вопросу. Я вызывал вас не для упреков. Я уже принял все меры к тому, чтобы у Смита не осталось никакого выхода, кроме одного — сесть и переделывать книгу. Но если — это мало вероятно, — но если он откажется, у нас к выборам в конгресс должна быть другая книга.

Гульд. Вы хотите, чтобы я...

Макферсон. Нет. Вы для этого слишком плохо пишете. Во Флориде отдыхает после Европы Денис Митчелл. Он дважды был в России и почти ничего не писал. Он мог бы сесть и написать задним числом за полмесяца то же самое, чего мы хотели от Смита.

Гульд. Но Денис Митчелл — я его хорошо знаю — это тоже тип вроде Смита.

Макферсон. Вот именно. Поэтому он мне и нужен.

Гульд. Но...

Макферсон. Он может заартачиться? Поэтому мне и нужны вы. Поезжайте домой и готовьтесь к вылету во Флориду. Билет я уже заказал. После разговора со Смитом я вам позвоню, лететь или нет. Мне нужна эта книга о России, Джек. Мы ударим ею по всем нашим левым, от «Дейли Уоркер» и до «Чикаго Сан». По всем. Не обманывайте себя — они гораздо сильней, чем кажутся. Их надо бить, бить сейчас, пока не поздно. Во Франции тоже когда-то не было ни одного коммуниста в парламенте... *(Нажимает кнопку.)*

Входит секретарша.

Где Смит?

Секретарша. Он сказал, что допьет свое виски и придет.

Макферсон. Хорошо, я подожду.

Секретарша выходит.

Ну, как ваши дела в Сан-Франциско? Вы, кажется, летали туда?

Гульд. Да. Ничего, неплохо. *(Пауза.)* Когда я ехал, я думал увидеть вас в большой ярости. Вы почти добродушны.

Макферсон. Я уже отошел. Итак, значит, в Сан-Франциско у вас все неплохо. Кстати, вчера Гриффит просил меня продать ему часть моих акций вашей газеты. Как вы советуете? Устраивает вас этот новый акционер?

Гульд. Как вам сказать? *(Пауза. Внимательно смотрит на Макферсона.)* Гриффит? Да нет, пожалуй, не советую. Оставляйте акции у себя.

Макферсон *(рассмеявшись)*. Молодец. Ничего, Джек, не теряйте надежды. Вы еще когда-нибудь сядете за этот стол. *(Кивает на свой редакторский стол.)* После моей смерти, конечно. Если я умру раньше вас, конечно. Что мало вероятно, конечно. Вы все-таки

умнее, чем кажетесь с первого взгляда. Я с трудом, напрягая все свои старческие умственные способности, в конце концов все-таки сообразил, что Гриффит покупает эти акции для вас, но и вы тоже сообразили, что я это сообразил. Молодец. Квиты. Ну, поезжайте, уже поздно. Если лететь, так самолет в шесть утра. Возьмите билет у мисс Бридж. Я вам позвоню...

Гульд. До свиданья. *(Выходит, сталкиваясь в дверях со Смитом.)*

Макферсон *(взглянув на часы)*. Здравствуйте, Гарри, садитесь.

Смит. Спасибо. *(Садится в кресло у стола.)*

Макферсон. Я прочел четыре главы вашей книги. Четыре из...

Смит. Десяти.

Макферсон. Прочел с большим интересом. Я очень люблю неожиданности... в литературе. Но, к сожалению, не в политике.

Смит. Почему? Мне последнее время казалось, что как раз вы любите неожиданности в политике.

Макферсон. Да, тогда, когда они исходят от меня, но не тогда, когда их преподносят мне. Вы, очевидно, не заметили этой маленькой, но существенной разницы, и в этом и была ваша ошибка.

Смит. То, что я написал, — не ошибка. Это то, что я сейчас думаю.

Макферсон. Очевидно. Но меня никогда не интересует, что думают мои корреспонденты. Пусть думают, что угодно. Меня интересует только то, что они пишут. Итак, я не хочу вмешиваться в ваши личные дела и узнавать, что вы думаете. Я не хочу и внушать вам свои мысли. Я уже не молод, и у меня слишком мало времени, чтобы внушать свои мысли людям поодиночке. Я это делаю каждое утро через свои газеты нескольким миллионам людей сразу. Начните их внимательно читать. Это единственное, что я могу вам посоветовать. А сейчас я просто и спокойно хотел вам сказать несколько слов о деле, только о деле. Вы написали книгу, которая меня не устраивает и которую я не могу издать. Не так ли?

Смит. Так.

Макферсон. Вы получили аванс в семь с половиной тысяч долларов, но так как содержание книги юридически не было оговорено, то мне будет затруднительно преследовать вас по суду. Правда, вы обманули меня, но — это моральная категория, и мы не будем ее касаться. Итак, если я не выпускаю вашу книгу, я теряю семь с половиной тысяч аванса, тридцать тысяч, затраченных мною... да, в общем, затраченных мною на предварительную рекламу, и сто тысяч, которые я рассчитывал — не скрою от вас — заработать на вашей книге. Итого сто тридцать семь с половиной тысяч долларов. Но это еще не все. Ваша книга должна была иметь определенный политический эффект, а политический эффект в конечном итоге тоже приносит деньги — иначе бы я занимался не газетой, а, скажем, подтяжками. Итак, еще, ну, сто тысяч. Но и это еще не все. Скандал с разрекламированной и невыпущенной книгой — тоже означает некоторое количество долларов: падение престижа, борьба с компанией левых газет и так далее и так далее. Назовем, в общем, круглую цифру в триста тысяч долларов, и мы будем недалеки от истины при оценке тех убытков, которые я мог бы понести, если бы ваша книга неожиданно не вышла. Как видите, я говорю с вами начистоту. Не правда ли?

Смит. Я слушаю вас.

Макферсон. Когда вы, взяв у меня семь с половиной тысяч долларов, написали не то, что я хотел, быть может, вы думали, что я буду преследовать вас как человек, потерявший на вас семь с половиной тысяч долларов? Напрасно. Вы не поняли. Я буду преследовать вас как человек, потерявший на вас триста тысяч долларов. То есть гораздо более жестоко. Или, говоря точнее, я попросту сотру вас с лица земли. Вы понимаете мою мысль?

Смит. Понимаю.

Макферсон. Теперь подумаем, как этого избежать. И мне и вам. Я только догадываюсь о том, что у вас в книге дальше, но я внимательно прочел первые четыре главы и думаю, что на полную переделку их нужно не больше четырех дней. Значит, на всю книгу — десять дней.

С м и т. Я не хочу переделывать свою книгу.

М а к ф е р с о н. Я подумал об этом. Это, пожалуй, верно. Трудно, только что закончив книгу, сейчас же переделывать ее самому. Я уже подыскал вам человека, который сделает это за вас. Вам останется только кое в чем проконсультировать его — транскрипция имен, городов, даты, числа и так далее. Конечно, оплата его работы пойдет за ваш счет — это вам обойдется, примерно, в две тысячи.

С м и т. Подождите...

М а к ф е р с о н. Это еще не все. У вас будут и другие денежные потери. Типография начнет делать книгу на десять дней позже — вам придется заплатить за эти дни неустойку около трех тысяч. Итак, две и три и еще семь с половиной полученного вами аванса — от ваших тридцати по договору вам останется еще порядочная сумма в семнадцать с половиной тысяч долларов. Не так плохо. *(Протягивает Смиту лист бумаги.)* Держите.

С м и т. Что это?

М а к ф е р с о н. Это ваше разрешение внести в книгу любые поправки, какие я сочту нужными. Текст уже напечатан. Вам остается только подписаться.

С м и т. Я не подпишу этого.

М а к ф е р с о н. Подумайте еще раз.

С м и т. Я уже подумал.

М а к ф е р с о н. Ничего, еще раз подумайте.

С м и т *(вставая)*. Нет.

М а к ф е р с о н. Хорошо. Я вас честно предупредил обо всем, что за этим последует. Вам будет плохо, очень плохо, и еще хуже. Но имейте в виду, когда вам будет совсем плохо, когда вас выгонят отовсюду и вам нечего будет есть, вы можете притти обратно сюда, в газету. Вы придете, и, даю вам слово, я снова возьму вас на работу. Редактором отдела я вас, конечно, не возьму, корреспондентом — тоже. Репортером? Нет. Просто репортером я вас тоже не возьму. Я возьму вас полицейским репортером. Десять часов в день в полицейском участке за двадцать пять долларов в неделю. Две строчки в месяц о пожаре и шесть о кражах. И вся жизнь впереди. Не так плохо. Я сам с этого когда-то начал. Правда, мне было тогда шестнадцать, а вам сей-

час тридцать девять. Но это ничего. Никогда не поздно начинать жизнь сначала. До свиданья, Гарри, счастливого пути.

Смит. До свиданья. *(Идет к дверям.)*

Макферсон *(вдогонку).* Так не забудьте, я вам помогу в ваш черный день. Вы будете у меня работать полицейским репортером.

Смит поворачивается.

(Встретившись со Смитом взглядом, вдруг срывается и, ударив кулаком по столу, кричит.) Вы у меня будете работать полицейским репортером!

Смит выходит, сильно хлопнув дверью.

(Спокойно сняв телефонную трубку, набирает номер.) Алло. Гульд? Это я. Будьте готовы. Вам все-таки придется лететь во Флориду.

Занавес.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Обстановка второй картины — бар. Двенадцать часов следующего дня. Смит в темном костюме сидит один в кресле на первом плане — точно так же, как это было во второй картине. Тот же бармен, так же на заднем плане быстро проходят люди — ничего не переменилось.

Смит молча курит, смотрит на часы. Из дверей вестибюля к дверям ресторана идет Престон. Он замечает Смита. Секундное движение в сторону Смита, остановка, и Престон быстро идет к дверям ресторана. Когда он уже почти у дверей, Смит поворачивается и замечает его.

Смит. Престон!

Престон. Здравствуй, Гарри!

Смит. Одно виски со мной, а?

Престон *(нерешительно).* Я рад бы, но...

Смит. Но ты торопишься? Я уже заметил, сегодня все что-то торопятся.

Престон *(подходя).* Ну что же, я составлю исключение. А почему тебе кажется, что сегодня все торопятся?

Смит. Не знаю. Кажется. Может быть, я просто сделался мнительным. *(Бармену.)* Два виски.

Престон. Ты, очевидно, думаешь...

Смит. Мы, очевидно, думаем с тобой об одном и том же. Ну, как, придется мне привыкать к тому, что все будут торопиться?

Престон. Как тебе сказать...

Смит. Как сказать? Честно сказать.

Престон. Да, пожалуй, придется привыкать. Насколько я знаю Макферсона, твои дела из рук вон плохи.

Смит. Поживем — увидим. *(Приносит стаканы.)*

Престон *(беря стакан.)* Ну что же, желаю удачи. *(Пьет.)* И я иду. Что до меня, то мне в самом деле надо торопиться. Надеюсь, мне ты веришь?

Смит. Почти. Очередные срочные телеграммы о России? Русская радиостанция в кратере Везувия? Да?

Престон. Да. Но твоя ирония не по адресу, Гарри. Мне за это не доплачивают ни цента. И, ей-богу, Россия не будет счастливей от того, что некий Престон станет безработным. До свиданья, Гарри, я, правда, тороплюсь.

Смит. До свиданья.

Несколько секунд Смит сидит один. Быстро входит Морфи.

Морфи. Наконец-то я тебя нашел.

Смит. Здравствуй, Боб.

Морфи. Идиот. Ты же семейный человек. Зачем ты сводишь с ума свою жену?

Смит. Я не мог вернуться домой этой ночью.

Морфи. Почему?

Смит. Потому что я *(смотрит на часы)* сейчас должен увидеть Кесслера. После разговора, который у меня был с Макферсоном, я должен раньше увидеть издателя. Я должен знать, что я скажу дома.

Морфи. Ты ничего не должен знать. Я уже все сказал ей. За тебя.

Смит. Ты сказал?

Морфи. Да, я сказал. Я и Мег. Мы сказали ей все.

Молчание.

Смит. А что сказала она?

Морфи. Она? Она сказала: «А...» И потом ска-

зала: «Боб, скорей выведите машину из гаража и поедем искать этого идиота».

С м и т. Как она это сказала?

М о р ф и. Идиота? Довольно ласково. Примерно так *(подражая):* «идиота»

С м и т. Где она?

М о р ф и. Сейчас? Не знаю. Она, Мег и я поехали искать тебя сразу по трем разным маршрутам. Но через полчаса она будет здесь. Здесь место нашей встречи.

С м и т. Если б она поняла, как мне ровно ничего не страшно, если она будет со мной. Она может это понять, Боб, а?

М о р ф и. Не знаю. Как многие неудачники, я всегда стараюсь верить в лучшее.

С м и т. Сейчас придет Кесслер. Я не спал ночь — так я боюсь разговора с ним. Он что-то опаздывает.

М о р ф и *(вставая)*. Ничего. Все будет в порядке. Для него главное — деньги, а здесь деньги верные.

С м и т. Нет. Не уходи. Я хочу поговорить с ним при тебе, и, если все лопнет, мы, по крайней мере, сразу выпьем. У тебя есть деньги? Я пуст.

М о р ф и. Есть. Пять минут назад я получил вторую четверть за свой полет.

С м и т. Когда он будет?

М о р ф и. В тот понедельник. Но сегодня вечером я уже вылетаю в Миссури на тренировку. *(Пауза.)* А вот и Кесслер.

В дверях появляется К е с с л е р.

С м и т. Здравствуйте, мистер Кесслер. Я вас жду.

К е с с л е р. Здравствуйте. Простите за опоздание. По дороге к вам пришлось зайти по одному срочному делу.

С м и т: Знакомьтесь.

К е с с л е р. Мы знакомы. *(Морфи.)* Лет десять назад я выпускал вашу книгу. Кажется, последнюю, да?

М о р ф и. Да. Вы правы. Кажется, последнюю.

С м и т. Я думаю, мистер Морфи не помешает нашему разговору.

К е с с л е р *(равнодушно)*. Конечно, нет. Я слушаю вас.

Смит. У нас с вами договор на книгу.

Кесслер. Да. *(Вынимает договор, надевает очки.)* У вас со мной через посредство Макферсона. Он гарантирует возмещение возможных убытков, оплачивает рекламу и получает пятьдесят процентов доходов.

Смит. Но юридические права на издание целиком у вас?

Кесслер. Да, целиком у меня.

Смит. Так вот, я вам хочу рассказать...

Кесслер. Не надо, я уже все знаю.

Смит. Все?

Кесслер. Все. Я знаю, что вы написали книгу, прямо противоположную той, которую от вас ждал Макферсон. Это и есть то, что вы мне хотели сказать? Не так ли?

Смит. Да. Но если я вам дам эту книгу, вы можете ее издать, независимо от ее содержания. О содержании ведь ничего не сказано в договоре?

Кесслер. Могу.

Смит. И Макферсон не в состоянии помешать вам?

Кесслер. Юридически — нет.

Морфи. После той рекламы, которую дал Макферсон, это будет всемирный скандал. Вы заработаете лишних сто тысяч. Попробуйте сказать, что это не так.

Кесслер. Сто тысяч? Да, пожалуй, не меньше.

Морфи *(горячо)*. Ну вот. Ваше — да, его да *(кивнув на Смита)*, и Макферсон летит к чорту. Ну — да?

Кесслер. К сожалению, нет.

Морфи. Почему, чорт возьми?

Смит. Подожди, Боб.

Кесслер. К сожалению, я должен отказаться от вашего предложения.

Смит. Слушайте, мистер Кесслер, неужели вам, вот вам лично, так важно, чтобы о России была напечатана еще одна клевета? Вы же четыре года назад сами печатали мою книгу о России. Уверяю вас, что эта ничем не хуже той.

Кесслер. Охотно верю вам. Но, к сожалению, должен отказаться от вашего предложения.

Морфи. Ну, это уже свинство.

К е с с л е р. Я знаю, о чем будет разговор, знаю, что он для меня бесполезен, и, однако, все-таки пришел только из уважения к мистеру Смиту и его таланту.

М о р ф и. Ну ладно, извините.

К е с с л е р. Пожалуйста... За свою жизнь я издал не одну, а три ваши книги, мистер Смит, и, если бы я мог, я бы с удовольствием издал вашу четвертую книгу.

М о р ф и. Так в чем же дело? Вы — деловой человек. Какое значение имеет для вас ее содержание?

К е с с л е р *(продолжая)*. И я бы даже с бо́льшим удовольствием издал вашу книгу такой, какой вы ее написали, чем такой, какой ее рекламировал Макферсон. Мои родители из Могилева, мистер Смит. Может быть, вы этого не знали. И у меня есть некоторые личные симпатии к России, потому что там родились мой отец и моя мать. Я уже сам — старый человек, но это для меня играет некоторую роль. Во время войны я дал две тысячи долларов на посылки для России. Да. И я бы, повторяю, сейчас с удовольствием издал вашу книгу, если бы это не грозило мне слишком большими убытками.

М о р ф и. Вы же сами только что согласились, что она принесет вам лишних сто тысяч.

К е с с л е р. Совершенно верно. Но убытки будут гораздо больше. Я — старый человек. У меня грудная жаба. Я каждый день могу умереть, и я не хочу, чтобы меня провожали на тот свет лишние дурные мысли обо мне. Сейчас я вам все объясню, мистер Смит, чтобы вы не думали обо мне слишком плохо. Только пусть ваш друг не перебивает меня.

М о р ф и. Хорошо, я буду молчать.

К е с с л е р. Вчера вечером, в десять, мне позвонил Макферсон и сказал: «Кесслер, сейчас я к вам приеду».

М о р ф и *(Смиту)*. В десять. Послал Гульда к тебе, а сам...

К е с с л е р *(укоризненно посмотрев на Морфи)*. Он приехал ко мне и, не объясняя ничего, предложил продать ему все права на вашу книгу сейчас же и на довольно выгодных условиях. Но я старый издатель, и я поду-

мал: зачем? Если он рассчитывает потерять на книге, он не будет покупать на нее все права. Значит, он рассчитывает заработать на ней. Так лучше на ней заработаю я сам. И я наотрез отказался продать ему права.

Морфи. Молодец!

Кесслер (*снова укоризненно посмотрев на него*). Сегодня утром, уже после того, как вы позвонили и я обещал встретиться с вами, мне опять позвонил Макферсон и сказал: «Кесслер, я уже у вас был — теперь вы сами приезжайте ко мне». Я приехал к нему. Он сидел за своим столом, весь обложенный рекламами и проспектами моего издательства. «Вот что, — сказал он, — сегодня или завтра к вам обратится Смит». И он в двух словах объяснил мне все, что произошло между вами. «Вы снова хотите купить у меня права на книгу Смита?» — спросил я его. — «Нет, — сказал он, — теперь не хочу. Вчера я погорячился. Я не буду покупать у вас никаких прав, но я честно предупреждаю: не дай вам бог издать эту книгу». — «Почему?» — спросил я.— «Потому, — сказал он, — что я поклялся, что эта книга не увидит света». — «А если я все-таки издам?» — спросил я. — «В таком случае вам будет плохо», — сказал он. Потом он взял в руки все мои каталоги и проспекты, лежавшие у него на столе, и сказал: «Вы можете заработать на книге Смита лишних сто тысяч. Так?» — «Так», — сказал я. — «Но, кроме нее, судя по вашим каталогам, вы хотите издать в этом году тридцать семь книг. Так?» — «Так». — «Так вот, вы заработаете на книге Смита лишних сто тысяч, но, предупреждаю вас, что все тридцать восемь моих газет дадут на каждую из ваших тридцати семи книг по тридцать восемь самых паршивых рецензий, на какие они только способны. И на этих тридцати семи книгах вместе взятых вы потеряете ровно в пять раз больше, чем приобретете на одном Смите. Я разорю вас, даже если бы для этого мне пришлось разориться самому».

Смит. Ну?

Кесслер. Что — ну? Подождите, дайте отдышаться. (*Пауза.*) Проклятая астма. Ну, и на прощанье он улыбнулся мне самой приятной из своих двенадцати улыбок и пожелал мне здоровья и хорошего настроения.

(Пауза.) Вот и все, что я вам хотел сказать. *(Оглядывается.)* Если вас не затруднит, поднимите мою шляпу, мне трудно нагибаться.

Смит поднимает упавшую с кресла шляпу Кесслера и подает ему.

Спасибо. Мне очень жаль. *(Встает.)* Я бы посоветовал вам помириться с Макферсоном. Но я знаю его сорок два года, и, судя по выражению его лица сегодня, — это уже поздно делать. До свиданья.

Смит. До свиданья. *(Идет за стариком, машинально открывает ему дверь, возвращается, садится.)*

Долгое молчание.

Ну, что будем делать?

Морфи *(вынув пачку денег)*. Гарри.

Смит *(увидев деньги)*. Что? Пить?? Нет, у меня слишком плохо на душе. Я не хочу пить.

Морфи. Нет, просто возьми.

Смит. Что это? Откуда у тебя деньги?

Морфи. Я же сказал тебе, что получил вторую четверть за полет.

Смит. Не возьму. Убери.

Морфи. Не будь свиньей. Здесь триста. Этого хватит вам на две недели. Возьми их хотя бы ради Джесси. Чтобы, она не так сразу все почувствовала. *(Сует ему деньги в карман.)* Ей надо понемножку привыкнуть...

Смит. К чему? К бедности? Ей не надо было отвыкать от нее. А я дал ей отвыкнуть. Трус. На что я надеялся? Почему я не сказал ей всю правду сразу же, как приехал? Хотел оттянуть эти минуты. Я такая свинья перед ней, Боб, такая свинья. *(Сует руку в карман. Усмехнувшись.)* Триста, да?

Морфи. Триста.

Смит. Я уже неделю живу на ее деньги. Сколько, ты думаешь, может стоить мой костюм?

Морфи. На заказ?

Смит. Да.

Морфи. Двести долларов.

С м и т. И опять из той тысячи долларов, которую она скопила за всю войну. Честное слово, это хуже смерти.

М о р ф и. Брось, не смей говорить об этом. Мы еще что-нибудь придумаем.

С м и т. Что?

М о р ф и. Не знаю. Что-нибудь. *(Пауза. Лезет в карман и достает деньги.)* Вот, на еще двадцать долларов, чтобы не путать с теми. Когда я улечу, ты купи на них какой-нибудь там букет и подари Мег от меня. Только не забудь. Я положу тебе в этот карман. *(Кладет ему деньги в верхний боковой карман пиджака.)*

С м и т. Почему я? Купи ей сам сегодня.

М о р ф и. Я сам? Я боюсь ее. Она же сделает вот такие глаза *(показывает)* и скажет, что лучше бы я истратил эти деньги на поддержку левых профсоюзов. Ты купишь ей букет? Ладно?

С м и т. Ладно.

В дверях появляется Д ж е с с и. Она оглядывает бар, видит Смита и Морфи и почти бегом бросается к ним.

Джесси! *(Берет ее руки и держит их в своих, не поднимая головы.)*

Д ж е с с и. Ну, подними голову.

С м и т. Не могу.

Д ж е с с и. Ну, подними же голову.

С м и т поднимает голову.

(Целует Смита в глаза.) Почему такие печальные глаза? Все плохо? Да?

М о р ф и. С Кесслером все вылетело в трубу.

С м и т. Джесси...

Д ж е с с и *(почти строго)*. Не надо. Я тебя люблю, и я попробую найти в себе силы, чтобы... чтобы все было хорошо. Боб, закажите выпить. Только мне с содой.

М о р ф и *(бармену)*. Три виски с содой.

Входит М е г.

М е г. Четыре. *(Подходит к остальным, садится.)* Ну, как?

Морфи. Мисс Стенли, моя идея с Кесслером обанкротилась, теперь вся надежда на ваши идеи.

Мег *(храбро)*. Ну что же!

Морфи, взяв со стойки, приносит виски.

(Решительно берет стакан.) В долгий путь!

Пьют.

Кажется, это ваша поговорка?

Морфи. Кажется, моя.

Мег. За вашу книгу, Гарри. Теперь, когда я уже не связана словом, я могу, наконец, сказать: вы здорово ее написали!

Смит. Не надо об этом, Мег!

Джесси. Почему? Надеюсь, теперь-то мы ее прочтем? Это уже не тайна?

Смит. Ты сердишься на меня?

Джесси. Очень. Но тем не менее мне приятно знать, что она, по крайней мере, хоть здорово написана. *(Мег, истерически.)* Здорово?

Мег. Здорово.

Смит. Джесси!

Джесси. Что? Идиллия кончилась, Гарри. Начинается жизнь. И у меня будут иногда вспышки дурных чувств. Но это ничего. Я думаю, что в конце концов я справлюсь с собой.

Мег. Слушайте!

Смит. Что?

Мег. Я придумала. Через неделю из Европы вернется наш Вильямс.

Смит. Ну и что ж?

Мег Вы же начинали у него. Вы сделаете из книги десять больших фельетонов, и он напечатает их. Правда, в левой газете не бог весть какие деньги, но это лучше, чем ничего. А?

Морфи *(горячо)*. Конечно.

Мег. Что? И вы туда же, старый бандит пера. Я не вас спрашиваю, а Гарри.

Смит. Если он рискнет...

Мег. Вильямс?

С м и т. Да. Я уже начинаю сомневаться во всем или почти во всем. Нет, Вильямс — он все-таки, пожалуй, рискнет. Да, конечно. *(Пауза.)* Джесси!

Д ж е с с и *(не выходя из задумчивости)*. Что, милый?

С м и т. Он рискнет, честное слово.

Д ж е с с и. Очень хорошо.

С м и т. Что хорошо? Ты меня не слушаешь?

Д ж е с с и. Да.

С м и т. Что — да?

Д ж е с с и. Да, не слушаю.

С м и т. Что с тобой, Джесси? *(Почти трясет ее за плечи.)* Джесси!

Д ж е с с и. Ничего, милый, я просто вдруг вспомнила, какой счастливой я была вчера в десять часов вечера.

Занавес.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Обстановка четвертой картины — дом Смита. Прошло десять дней. У кабинета Смита теперь странный вид: письменный стол разобран на части, и эти части сложены в углу. Диван тоже разобран: спинка и сидение его, перевязанные веревками, стоят у стены. На стенах всё попрежнему: две или три картины, мексиканская дорожка, висящая над уже отсутствующим диваном. Настольная лампа, соединенная шнуром со стенным штепселем, стоит прямо на полу. Радиоприемник тоже на полу; вынутая из-под него высокая подставка, уже увязанная веревками, стоит рядом. На прежнем месте остались только два кресла и маленький столик на первом плане да еще два-три стула у стены сзади. Двери в столовую открыты. Там абсолютно пусто, и только время от времени видно, как через столовую проходят два молчаливых у п а к о в щ и к а из мебельной фирмы, вынося на улицу разные вещи, очевидно, со второго этажа.

С м и т все в том же темном костюме сидит в одном из кресел. На столике два стакана и начатая бутылка виски. Молчание. С веранды входит Д ж е с с и с корзиночкой в руках.

С м и т. Куда ты уходила?

Д ж е с с и. Вот, нашла двадцать ягод земляники. Смотри, какие хорошие.

С м и т. Зачем?

Д ж е с с и. Не знаю. *(Равнодушно вытряхивает содержимое корзиночки в окно.)*

Смит. Джесси, ты не видела программы радиопередач?

Джесси. Сейчас поищу. *(Роясь в пачке журналов, книг и газет, сваленных прямо у стены.)* Зачем тебе?

Смит. Сегодня компания «Меркурий» передает разговор с Бобом с борта самолета.

Джесси *(дает ему журнал)*. Вот.

Смит *(перелистывая журнал)*. Станция Даблью-Эйч-Ай-Эф. *(Включает радио и настраивает его на волну.)*

Музыка.

Нет, пока еще рано.

Долгая пауза.

Сейчас должен приехать Вильямс. Мне звонила Мег, что они выезжают.

Джесси *(равнодушно)*. Очень хорошо.

Смит. Как ты думаешь, что-нибудь выйдет?

Джесси. Не знаю, милый. Я теперь ничего не знаю. *(Обнимает его сзади и целует в голову.)*

В дверях столовой появляется упаковщик.

Упаковщик. Прошу прощения. Но нам надо брать шкаф из спальни, а там кое-что висит.

Джесси. Сейчас. *(Еще раз целует Смита в голову и выходит.)*

Радио. Внимание. Говорит компания «Меркурий». Час назад начался полет на установление рекорда высоты на спортивном самолете с пассажиром. Самолет заводов Хечисон. Мотор «Мэкстром». На борту самолета наш корреспондент Боб Морфи. Мы будем говорить с ним каждые пятнадцать минут.

— Здравствуйте, Боб.

Далекий голос Морфи:

— Здравствуйте.

— Как высоко вы сейчас?

— Ничего не разберу на этом чортовом циферблате. Кажется, семь тысяч шестьсот. Нет, восемь шестьсот.

— Вы уже в кислородном приборе?

— Да, дьявольски хочется выпить, но в кислородном приборе это абсолютно невозможно.

— Что вы видите под собой?

— К счастью, одни облака.

— Почему к счастью?

— Потому что вчера исполнилось сорок шесть лет, как я каждый день вижу землю, и она мне здорово надоела.

— До свиданья, Боб. Мы возобновим разговор через пятнадцать минут.

— До свиданья. Чертовски холодно.

Музыка.

Смит, поеживаясь, наливает в стакан виски. В дверях появляется Мег, за ней Вильямс.

Мег. Здравствуйте, Гарри. Вот я и привезла к вам Вильямса.

Смит (*вставая*). Здравствуйте, Мег, здравствуйте, Фрэд. Садитесь. (*Машинально делает жест в сторону несуществующего дивана, видит пустоту и, спохватившись, пододвигает кресло.*) Вот сюда, а вы, Мег, — сюда. (*Пододвигает второе кресло.*) А себе я возьму стул. (*Говорит, идя со стулом.*) Я думал, Фрэд, что вы приедете третьего дня, когда все еще было в порядке. Мебель начали вывозить только сегодня. Прошу прощения.

Вильямс. Рассрочка?

Смит. Рассрочка. Они предложили мне отложить платеж на месяц. Но я им сказал, что у меня не будет денег и через год.

Вильямс. А дом?

Смит. Дом — завтра. Поэтому они так срочно и вывозят мебель. Завтра здесь будет другой хозяин. (*Пауза.*) Очень жаль, Мег, что вы не вошли минутой раньше. Только что Боб говорил с борта самолета по радио.

Мег. Я знаю. Я пробовала поймать в машине, но забыла какая станция.

Смит. Даблью-Эйч-Ай-Эф.

Мег. Что он говорил?

Смит. То же, что всегда: что чертовски холодно и что дьявольски хочется выпить. (*Пауза.*) Ну что, Фрэд, сначала выпьем и вспомним старые времена или сразу будем говорить о деле?

Вильямс. К сожалению, сразу о деле. Я вырвался на десять минут между двумя пресс-конференциями.

С м и т. Ну что же. *(Мег, которая вдруг поднялась.)* Куда вы, Мег?

М е г. Я к Джесси, посмотреть на нее, а то Вильямс торопится, а он еще должен меня подвезти обратно в Нью-Йорк.

С м и т. Да, верно. Мне теперь не на чем вас отвезти.

М е г выходит.

В и л ь я м с. Ну, виски все-таки выпьем, а?

С м и т. Ну что же, все-таки выпьем. *(Наливает виски, но оба не поднимают стаканов и не пьют.)* Вы сильно постарели, Фрэд, за эти шесть лет.

В и л ь я м с. Да и вы не помолодели.

С м и т. Это верно. Мы познакомились с вами в двадцать восьмом.

В и л ь я м с. Да, когда редакция была еще на Астор-Плейс.

С м и т. Да... Так вот о деле. Вы, наверное, знаете историю с моей книгой?

В и л ь я м с. Знаю.

С м и т. На два года вперед все права на нее у Кесслера, то есть, в сущности, у Макферсона, а через два года, конечно, она умрет — это же репортаж. Вы понимаете?

В и л ь я м с. Понимаю. Что вы предлагаете мне?

С м и т. Я выберу из книги десять кусков и перепишу их в виде газетных фельетонов. Все то же, но текст формально будет другой, и Макферсон юридически не сможет притянуть меня к суду.

В и л ь я м с. Так...

С м и т. Вот и все. Вы напечатаете их в своей газете, и у вашего читателя они будут иметь успех. За это я ручаюсь.

В и л ь я м с. Я — тоже. Но...

С м и т. Что?

В и л ь я м с. Ладно. Будем говорить начистоту. Скажите, вы в последние месяцы читали мою газету?

С м и т. Редко. Последние месяцы я вообще ничего не читал.

В и л ь я м с. А вы слышали о той травле, которую против меня подняли два месяца назад?

Смит. Краем уха. Что-то с деньгами Москвы и прочей чепухой.

Вильямс. Эта чепуха стоила мне сокращения тиража на двадцать тысяч. Все это началось, как по команде, в один день в десяти разных газетах. Тут приложили руку и Херст, и Маккормик, и ваш Макферсон — все. В течение трех дней я оказался коммунистом, плохим американцем и платным агентом Москвы, издающим газету на русские деньги. Причиной была серия моих собственных статей из Европы — о народной демократии в Болгарии, просто честных и объективных статей, только и всего. Но этого оказалось вполне достаточно для всего последующего.

Смит. Они просто взбесились.

Вильямс. Я был на грани гибели. Я не изменил своих симпатий, но последний месяц, как только дело касается России или Балкан, я принужден быть сдержанным. Но даже и это вызывает бешенство у всех, начиная с Макферсона.

Смит. Попросту говоря, вы слегка пошли на попятный. Неужели это лучший выход из положения?

Вильямс. Не лучший, но пока единственно возможный.

Смит. Неужели единственно возможный?

Вильямс. Вы, кажется, попробовали найти другой. Ну и что?

Смит. У меня нет своей газеты.

Вильямс. Ну, так если бы она у вас была, вы бы сейчас ее в два счета лишились. *(Вдруг резко.)* Идите к чорту, Гарри, это — борьба. И жестокая. В ней иногда приходится отступать, и терпеть, и ждать.

Смит. А может быть, вы все-таки вспомните нашу с вами молодость, Фрэд, вспомните и рискнете?

Упаковщик подходит сзади к Смиту. Ему нужно взять стул, на котором сидит Смит, и он мнется. Смит поворачивается и быстро встает, освобождая стул. Вильямс молча наблюдает за этой сценой.

Вильямс *(после паузы)*. Нет, не рискну. В другое время — да. А сейчас — нет.

Смит (*не садясь*). Как хотите. Значит, не о чем больше говорить. Выпьем за нашу старость. Незаметная штука — только оглянешься, а она уж тут. Выпьем.

Вильямс (*вставая*). Я не хочу за это пить. Мы еще тряхнем стариной.

Смит. Едва ли, Фрэд.

Вильямс. Ну хорошо. Тогда я скажу вам все. Три дня назад меня встретил в клубе Гульд, отвел в угол и от имени Макферсона в своем обычном циническом стиле сказал следующее: «Мы имеем сведения, что Смит хочет печататься у вас в газете. Дело ваше, но имейте в виду, что в этом случае то, что мы писали о ваших связях с Москвой, будет только первой ласточкой. Мы вас подведем под судебный процесс и найдем десять свидетелей, которые за настоящие американские доллары докажут, что они видели своими глазами, как вы получали мифические русские деньги».

Смит. И вы не дали ему в зубы?

Вильямс. Нет. Сейчас я, к сожалению, просто принужден был принять это к сведению.

Смит. Ничего, не жалейте. Я при первой возможности сам дам ему в зубы. И пусть на этот раз он примет это к сведению.

Вильямс. Ну что ж, вам нечего терять.

Смит. А вам?

Вильямс. Я могу потерять газету.

Смит. Вы уже потеряли ее.

Вильямс. Неправда. Я сохранил ее. И эти ублюдки до сих пор не заставили меня напечатать ни одного слова клеветы о России и ни одного слова лжи о будущей войне. Не заставили и не заставят. Как бы им ни хотелось. Но это все, что я могу. Пока. Сейчас трудные времена, Гарри. Запаситесь терпением.

Смит. Ну что ж, раз ничего другого не остается... Не обижайтесь на меня. Фрэд, я понимаю вас, но только мне от этого не легче.

В дверях столовой появляется Мег, за ней Джесси.

Мег. Ну как, договорились?

Смит. Договорились.

Мег. Ну как? Расскажите.

Смит. Фрэд расскажет вам по дороге. Он торопится: у него пресс-конференция. *(Вспомнив.)* Прошу прощения, Джесси. Это — Фрэд Вильямс. Это — моя жена.

Джесси *(кланяясь)*. Простите. *(Усмехнувшись.)* У нас не все убрано в доме.

Вильямс. До свиданья.

Смит. До свиданья, Фрэд.

Вильямс и Джесси кланяются.

Мег, не забудьте в машине послушать, что будет говорить Боб.

Мег. Я помню. Я очень рада, что вы договорились с Вильямсом.

Смит. Я — тоже. Подождите, Мег, я вам что-то должен был передать от Боба. Только забыл что...

Мег. Что?

Смит. Нет, забыл. Ну ладно. Потом. Завтра. Я вспомню.

Мег *(целуя Джесси, тихо)*. Я же вам говорила, что все будет отлично. До завтра, Гарри.

Мег и Вильямс выходят.

Долгое молчание.

Джесси *(внимательно смотрит на Смита)*. Опять ничего не вышло? Да?

Смит. Да.

Джесси. Я почему-то так и думала.

И снова, заставив вздрогнуть их обоих, говорит радио.

— Внимание, внимание. Мы снова говорим с нашим корреспондентом Бобом Морфи.
— На какой вы сейчас высоте, Боб?
— Десять триста. Здорово трясет.
— Как работает мотор фирмы Мэкстром?
— Поскольку мы все еще не падаем, очевидно, хорошо.
— Вы, кажется, в хорошем настроении?
— Да, я попрежнему не вижу земли, и, если бы мне еще не мешал ваш голос, мне бы казалось, что я, наконец, наедине с богом.
— Через пятнадцать минут еще раз помешаем вам, Боб.
— Валяйте.

Смит *(после молчания)*. Неужели бедняжке Мег улыбнется счастье?

Джесси. А Боб?

Смит. По-моему, старый бандит пера тоже вдруг немножко оттаял.

Джесси. Ну что же, дай им бог счастья.

Долгое молчание. Упаковщики постепенно в продолжение всей дальнейшей сцены выносят из кабинета мебель. Гудок машины. В дверях появляется шофер такси.

Шофер *(Смиту)*. Здравствуйте. Вы вызывали из Нью-Йорка такси?

Смит. Такси? Я не вызывал такси.

Джесси. Я вызывала. *(Шоферу.)* Подождите, я сейчас приду. И пожалуйста, в передней у дверей стоит чемодан, захватите его с собой в машину.

Шофер выходит. Молчание.

Смит. Ты уезжаешь?

Джесси. Да.

Смит. Совсем?

Джесси. Да.

Смит *(доставая сигареты и протягивая их Джесси)*. Закурим?

Джесси *(беря сигарету)*. Спасибо.

Смит. Посидим?

Джесси. Хорошо.

Садятся в кресла друг против друга.

Смит. Хорошо, что сегодня.

Джесси. Почему?

Смит. Все сразу. *(После паузы.)* Я ждал. Я знал, что так будет.

Джесси. Я не обманывала тебя тогда, девять дней назад. Я, правда, думала, что найду в себе силы остаться с тобой.

Смит. И не нашла?

Джесси. Не нашла.

Смит. Ты права. Я обманул тебя.

Джесси. Да. Но не говори со мной так, как будто я тебя не люблю. Я тебя люблю. И это такси, так сразу, — это тоже потому, что я люблю тебя. Сразу, только сразу, вдруг. Я иначе была бы не в силах. Я решила от тебя уйти третьего дня, знаешь когда?

С м и т. Утром, когда мы сидели за столом? Да?

Д ж е с с и. Да. Я закричала что-то о деньгах и вдруг остановилась и поняла, что мне надо уйти от тебя. Пока не поздно. И ради бога прости меня за то, что я тогда, третьего дня, закричала.

С м и т. Это было всего один раз...

Д ж е с с и. Не хочу. Ни разу. А если я останусь — это будет, будет каждый день. Что ты молчишь?

С м и т. А что же мне сказать тебе?

Д ж е с с и. Да, верно. Хотя почему? Ты бы мог мне сказать, что я не смею бросать тебя в бедности и несчастье, но в бедности и несчастье я буду только еще одним твоим лишним несчастьем. И чем дальше, тем хуже. Я знаю себя. Надо уходить. *(Встает, долго молча смотрит на Смита, потом вдруг опускается на колени у его кресла, нагибает к себе его голову, прижимается губами к его волосам.)* Мой седой, мой красивый... *(Отпустив его голову, берет его руки в свои, долго рассматривает их, потом прижимается к ним губами.)*

С м и т. Джесси.

Д ж е с с и *(не отрываясь, глухо)*. Не мешай мне. Я очень люблю твои руки. Сильные, большие, добрые. *(Обращаясь к рукам.)* Прощайте. *(Поднимается с колен и снова садится в кресло.)* Вот как, Гарри. Ну, что же ты мне скажешь?

С м и т. Ничего.

Сзади к креслам подходят у п а к о в щ и к и. С м и т и Д ж е с с и инстинктивно оглядываются и одновременно встают. У п а к о в щ и к и берут кресла.

Д ж е с с и. До свиданья, Гарри. *(Протягивает ему руку.)*

С м и т *(пожимая ей руку, очень спокойно)*. До свиданья.

Д ж е с с и делает порывистое движение к нему, но встречается с его взглядом. Он смотрит на нее холодными, остановившимися глазами. И, увидев эти глаза, Д ж е с с и резко повертывается и выходит. С м и т стоит неподвижно, не меняя позы. Он слушает. Шелест гравия. Машина поворачивает. Гудок. Это она выезжает за ворота. Тишина. Уехала. Он все еще стоит в прежней неподвижности. Подходит у п а к о в щ и к.

Упаковщик. Столик.

Смит. Что?

Упаковщик. Столик.

Смит, взглянув на столик, где стоит бутылка виски и два налитых на четверть стакана, берет все это в руки и оглядывает комнату, куда бы поставить. Комната абсолютно пуста, только на полу, в углу, стоит радиоприемник. Смит подходит к нему и ставит на него бутылку и стаканы. И в ту же секунду слышен голос диктора.

— Внимание. Возобновляем разговор с нашим корреспондентом Бобом Морфи.

— Боб! Боб! Как вы нас слышите?

— Скверно. В самолете что-то дьявольски трещит.

— На какой вы высоте?

— Тринадцать тысяч сто.

— Поздравляем. До полного успеха вам осталось пустяки.

— Что? Плохо слышу.

— Как вы расцениваете качества самолета фирмы Хечисон?

— Качество самолета? Наверное, хорошие, раз мы забрались так высоко. Только сейчас он отчаянно трещит, и я вас очень плохо слышу.

— Боб! Боб! Боб Морфи!

— Подождите, сейчас. Летчик мне что-то показывает.

— Боб! Вы нас слышите? Боб! Вы нас слышите?

— Я вас слышу, будьте вы прокляты. Кажется... Кажется, все идет к чорту. Мы разваливаемся... Мы... К чор...

В комнате наступает абсолютная тишина. Смит стоит, закрыв лицо руками, потом медленно опускает их, молча лезет в верхний боковой карман пиджака и, вынув двадцатидолларовую бумажку, говорит тихо, без всякого выражения.

Смит. Вспомнил. На цветы.

В комнату тихо входит Харди в пальто и шляпе. Увидев Смита, снимает шляпу. Молча стоит, потом кашляет.

Смит (*оборачивается, без всякого удивления*). Здравствуйте, Харди.

Харди. Здравствуйте.

Смит. Как здоровье вашей жены и детей?

Харди. Спасибо. Хорошо.

Смит (*равнодушно*). Очень рад. Вы пришли заработать на мне свои сегодняшние десять долларов?

Харди. Может быть, даже двадцать. Все-таки с вами вышел не совсем заурядный скандал.

Смит. Не совсем заурядный? Да, пожалуй, вы правы.

Харди. Слушайте, только не злитесь на меня. Не я, так другой, все равно это будет в газетах. И я подумал — почему не я? Мы все-таки с вами старые товарищи. Вы можете это сделать для меня?

Смит. Конечно.

Харди. Ответьте мне на несколько вопросов.

Смит. Хорошо. Только вы скверно пишете. У вас дурной стиль. Я хочу, чтобы ваша заметка была хоть раз в жизни написана в хорошем стиле. Вынимайте блокнот, я вам сам ее продиктую.

Харди. Но...

Смит. Она будет хорошо написана, и, может быть, вам за это заплатят даже больше на пять долларов.

Харди (*вынув блокнот и держа в руке вечное перо*). Я готов.

Смит. Пишите. (*Диктует, расхаживая по комнате.*) «Сегодня я побывал у пресловутого Гарри Смита, бывшего сотрудника Макферсона. Он пытался бороться с Макферсоном и был выгнан из газеты. Он хотел издать свою книгу в издательстве Кесслера, но Кесслер отказал ему. Он хотел напечатать свои фельетоны в газете Вильямса, но Вильямс не захотел их печатать. Он лишился покоя, уюта, дома, машины, денег. У него погиб друг, и от него ушла жена. Когда я пришел к нему, я был вынужден писать стоя — он не мог даже предложить мне стул, потому что у него уже вывезли всю мебель. Ходят слухи, что на-днях он снова нанимается на работу в газету Макферсона на должность полицейского репортера. Но эти слухи... Эти слухи не соответствуют действительности. Вышеупомянутый Смит не пойдет на попятный, он дьявольски зол, как сказал бы один его покойный друг. Вышеупомянутый Смит не пойдет работать полицейским репортером к мистеру Макферсону, а также не повесится, не перережет себе горла и не выбросится с двенадцатого этажа. Вышеупомянутый Смит, наоборот, попробует начать свою жизнь сначала». Что вы остановились, Харди, пишите дальше, я еще не кончил. «Вышеупомянутый Смит попробует все-таки выяснить в конце концов, может ли

человек, рожденный честной американкой, честно прожить в той стране, где он родился». Да, да. Пишите, Харди, пишите! А впрочем, чорт с вами, если этого не напишете вы, это напишу я сам и в конце концов найду в Америке место, где мне это напечатают. Вышеупомянутый Смит долго и наивно думал, что есть одна Америка. Сейчас он знает: Америки две. И если вышеупомянутому Смиту, к его счастью, да, да, к счастью, нет места в Америке Херста, то он, чорт возьми, найдет себе место в другой Америке — в Америке Линкольна, в Америке Рузвельта.

Занавес.

1946


Рассказы

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось итти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если тот выдерживал испытание, — вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир называл свою фамилию.

— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку. — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убило двух адъютантов.

Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко

глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.

Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Две пули попали во флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг дошли бы, а она пустая? — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона.

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать до темна.

— До темна он умрет. — И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не припадая к земле. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга.

Корневу казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.

Хирург пожал плечами.

— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен, — сердито повторил он. — Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине.

Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки были в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, что он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему

на крыльцо покурить. — Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая их, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, — лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось итти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались

мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если итти рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь.

— Вот видите, — сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку сзади. — Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед итти.

— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так... — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они же по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там — они бы туда целили и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми.

Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке поближе к огню свои забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну, хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он, видимо, прерванный разговор, — ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как, по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, выживет, хорошо — едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теории, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, — хорошая теория.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.

— Кто вместо него? — спросил командир.

— Лейтенант Васильев из пятой роты.

— А кто же в пятой роте?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря — сильно.

— Выпейте водки.

Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте.

Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами. — Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да, — сказал он.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту — всю, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку.

Тронутый первыми заморозками гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Многие, пытавшиеся добраться до своего берега вплавь, потонули в ледяной зимней воде.

Бросив уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывается в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен. он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана, пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая, — сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, на лице его было удивление.

— Еще дышит, — сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого, оказавшегося живым человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он, наверное бежал. И все-таки — нет! Не может быть. Он очень редко ошибался в людях.

— Двое сюда! — резко приказал он. — На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И он, повернувшись, пошел дальше по полю.

«Выживет или нет?» — этот вопрос у него путался с другим — как себя вел в бою, почему оказался сзади всех в поле. И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро — значит выживет, непременно выживет.

И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатья левую здоровую руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты, — сказал адъютант, — застрял на переправе, еще шагов сто оставалось, когда...

— Знаю, — прервал его комиссар, — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой...

1942

МАЛЫШКА

На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми: машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл, то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывая все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых у разбитого снарядом сарая остановилась старенькая санитарная летучка, — дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка — военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли Малышкой, потому, должно быть, что она и в самом деле была настоящая малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким детским голосом и руками и ногами такими маленькими, что, казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток или сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила:

— Ну, где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжело раненных. Малышка вошла, посмотрела,

сказала: «Ну, вот, сейчас я вас отвезу» и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и в грудь, двое в голову. Малышка физически, всем телом, вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата, — двадцать километров страшных рытвин и ухабов, — и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. При этой мысли она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка, с которой она вот уже полгода выносила раненых из-под огня, перевязывала их, увозила в тыл.

Сначала они с санитаром перенесли тех, кто был ранен в ноги, — их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать ему об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она. — Сидя ехать можете?

— Могу, — сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему подмышку, дотащила его до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?

— А я на крыле, — сказала Малышка весело.

— Свалитесь, — угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь, — ответила Малышка и, захлопнув за раненым дверцу, легла на крыло, вытянув ноги на подножку и крепко схватившись одной рукой за кабину, а другой за край крыла.

— Товарищ военфельдшер... — начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускавшим возражения голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда окружающие не понимали, что она, Малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливаясь с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который болью отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимало в воздух и ударяло о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но, уцепившись за крыло и все-таки удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с крыла, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да, — сказала хозяйка. — Вот уже час, как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло: они все сложили быстро и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и откинув брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил старый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый, — ответила Малышка. — Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненный в живот, лежавший навзничь, и застонал.

— А ты зря языком не болтай, — сердито сказал ему усатый. — Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли?», а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки — не от холода, а от усталости, оттого, что всю дорогу приходилось крепко цепляться за крыло, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет, — сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет, — сказала Малышка. — Я ничего. . . Поедем поскорей.

Она снова легла на крыло, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала с крыла. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то онемевшие пальцы не смогут снова ухватиться за крыло. По ее расчетам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер был навстречу, и дождь валил сплошной косой стеной, заливая лицо и глаза. Крыло стало скользким, и ей много раз казалось, что вот-вот она свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где — она знала — помещался госпиталь. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у которой возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь, — сказал красноармеец. — Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село, отстоявшее на сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного, никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли мы, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут: еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов — и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров, — еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи...

— Что, сестрица? — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.

— Уехал госпиталь, — сказала Малышка упавшим голосом. — Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.

— Дотерпим, — сказал он. — Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской, — сказала Малышка.

— Значит песни казачьи знаешь?

— Знаю, — сказала Малышка, удивленная этим вопросом.

— «Скакал казак через долину, через манджурские края» — знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

— Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо, — сказала Малышка.

Она легла на крыло, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудение мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,
Через манджурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке...

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот она сейчас перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел. Казак стрелою
В село родное поскакал...

Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда она запела тоже, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче от того, что они поют, и если кто-нибудь из них стонет, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла с крыла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно, — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете.

Навстречу шла ему старушка
И стала речи говорить... —

заводил усатый хриплым сильным голосом.

«Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала...» —

подтягивали все остальные.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть, — сердито сказал усатый. — Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильней и сильней, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась.

Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала.

Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, двое или трое совсем молчали, должно быть потеряв сознание, но остальные пели:

Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Казак свернул коня налево,
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица, — сказал усатый, когда его клали на носилки. — Значит, под Каменкой живешь. После войны приеду сына за тебя сватать!

Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной, почти мальчишеской улыбкой.

Она заснула, не раздеваясь, присев на корточках на полу у печки, в приемном покое. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, — и Малышка вздрагивает во сне.

— Замучилась, бедная, — сказал проходивший врач.

Вдвоем с санитаром он стащил с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыл ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка, ясно — она и чорта заставит ехать, если для раненых нужно, — одним словом — сестра милосердная.

1943

ЗРЕЛОСТЬ

Стоял первый по-настоящему теплый день. Долго державшийся снег вдруг сразу начал таять, и по крутой деревенской улице текли быстрые мутные ручьи. Красноармейцы устало пересекали улицу в хлюпающих, мокрых валенках.

Проценко вошел в избу и опустился на скамейку, ожидая, пока фельдшер Вася приготовит ему постель. Полковника бросало то в жар, то в холод, — ангина сегодня, кажется, готова была окончательно свалить его. Он приложил руку ко лбу, — голова горела. Пошатываясь, он дошел до кровати. Вася стащил с него сапоги и стал рыться в полевой сумке, отыскивая лекарство.

— Подожди, — сказал Проценко. — Сейчас приму. Позови ко мне Гвоздева.

Фельдшер Вася, хорошо знавший по интонациям голоса, когда начиналась и кончалась его медицинская власть над полковником, послушно закрыл сумку и выбежал, чтобы позвать Гвоздева.

Майор Гвоздев, заместитель командира дивизии по хозяйственной части, скоро явился. Проценко, казалось, лежал в забытьи, плотно закрыв глаза. Но, услышав, как Гвоздев щелкнул каблуками, он открыл глаза и внимательно, долгим взглядом уперся в его сапоги. Гвоздев, отрапортовав, тоже посмотрел на свои сапоги, недоумевая, что могло вызвать внимание полковника: сапоги были в порядке. Продолжая глядеть на них, а не

на Гвоздева, Проценко сказал, не повышая голоса и обращаясь к Гвоздеву на «вы», причем то и другое, насколько Гвоздев знал, не предвещало ничего хорошего.

— Прибыли грузовики с сапогами? — спросил Проценко.

— Никак нет, — сказал Гвоздев. — Засели в грязи у Курмоярской, — послезавтра будут.

— А в чем ходят бойцы — вам известно? — спросил Проценко.

— Так точно. В валенках, — сказал Гвоздев. — Послезавтра доставим сапоги.

— Если завтра не доставите, — сказал Проценко,— то послезавтра и вы и вся ваша хозяйственная часть наденете валенки. А если послезавтра не доставите. . .— Проценко в первый раз посмотрел в лицо Гвоздеву, и тот, не выдержав его взгляда, невольно опустил глаза. — Что, недавно подметки подбили новые у себя в хозчасти?

— Так точно, — сказал Гвоздев краснея.

— Хорошо подбили, — заметил Проценко. — Можете итти.

Гвоздев вышел. Проценко снова закрыл глаза, безучастно проглотил какие-то таблетки, которые поднес ему фельдшер Вася, и продолжал лежать неподвижно. Только по его прерывистому дыханию можно было угадать, что он не спит. Стиснув зубы, он с раздражением думал о том, что люди, прошедшие за эти два месяца шестьсот верст, сейчас идут в мокрых валенках и им негде ни обогреться, ни обсохнуть. Это была одна из тех издержек наступления, в которых, когда начинаешь разбираться, оказывается, никто не виноват, но которые в то же время нетерпимы.

Наступали так, что не поспевали обозы, не поспевали кухни, — по два, по три дня почти ничего не ели, давно уже отвыкли греться водкой —и теперь еще эта оттепель. . . Он очень хорошо представлял себе, как буксуют у горы возле Курмоярской машины, что почти невозможно их вытащить, и в то же время он знал, что Гвоздев обязан придумать что-то и вытащить машины, потому что иначе нельзя, и еще потому, что все

это наступление вообще было сверхчеловеческим напряжением сил, и если на это способны бойцы, то на это должен быть способен и Гвоздев.

Тут он подумал о себе и попробовал осудить себя за то, что вот он слег сейчас, вместо того чтобы ехать в полки. Но нет, он и в самом деле не мог ехать: полчаса назад, когда он разговаривал со своим заместителем полковником Шеповаловым, то чуть не упал и удержался, только схватившись за стекло своего «виллиса». Он должен пролежать сутки, иначе он просто-напросто подохнет. Плохая была бы у него дивизия и плохой был бы он командир, если бы он не мог оставить свое хозяйство на сутки. Он отдал все приказания, и полковник Шеповалов в конце концов толковый военный, и командиры полков тоже хорошие командиры, и он во всех подробностях предусмотрел, как они должны будут действовать в течение этих суток, чтобы завтра взять город.

Фельдшер Вася, осторожно поддерживая его голову, сделал ему на горло компресс и приподнял его повыше на подушках.

— Еще выше, — попросил Проценко.

Вася поднял его еще выше.

Потом он развернул карту и держал ее на весу перед глазами полковника. Синие и красные стрелы и полукружия прыгали на карте, и Проценко, которому казалось, что у Васи дрожат руки, сказал:

— Держи как следует.

Но стрелки и полукружия продолжали прыгать, и Проценко понял, что у него от жара и болезни рябит в глазах. Он несколько раз открывал и закрывал глаза, двигал на подушке головой, пока, наконец, нашел такое положение, при котором карта больше не прыгала. Все было правильно. Он тянул свою дивизию левее города на проселочные дороги и, как обычно, обходя немцев, хотел сбить их с высот и неожиданно выскочить к утру сразу не на восточные, а на западные окраины. Сейчас, судя по времени, полки должны были начать атаку высот, и частые минные разрывы, казалось, подтверждали это.

Время клонилось к вечеру.

— Который час? — спросил Проценко у Васи. Он часто спрашивал у Васи, сколько времени, для того чтобы доставить тому удовольствие посмотреть на свои большие квадратные красивые часы, снятые им под Сталинградом с немецкого полковника. Но на этот раз он спросил просто потому, что не было сил поднять к глазам руку с часами.

— Пять, — сказал Вася, стоя неподвижно у спинки кровати и грустно глядя на полковника.

«Первое донесение от Шеповалова должно быть в семь», — подумал Проценко, и почему-то ему, как в детстве, от нетерпения захотелось считать эти два часа по минутам: раз, два, три, четыре, пять, и так до ста — одна минута. И потом снова: раз, два, три, четыре, пять — и опять до ста. Он начал считать, но цифры у него сразу перепутались и замелькали перед глазами.

Он открыл глаза только через полчаса и никак не мог понять: заснул или потерял сознание. Вася стоял все в той же позе у спинки кровати и глядел на него. В глазах его было выражение беспокойной готовности сделать все, что понадобится полковнику. Он стоял, большой, долговязый, и тяжелые его руки беспомощно лежали на спинке кровати.

Он исполнял при полковнике обязанности адъютанта. Это началось с тех пор, как прошлым летом, выходя из окружения, он переплыл через Дон, таща на себе тяжело раненного Проценко. Полковник вывел из окружения его и много других людей, и уже на пороге свободы, на самом берегу Дона, когда Проценко был ранен, Вася рискнул жизнью, для того чтобы в свою очередь спасти полковника. С тех пор он и остался при полковнике, не разлучался с ним никогда, всюду ходил за ним с автоматом, оберегал его от опасностей, действительных и мнимых, и в то же время в глубине души безгранично верил, что рядом с Проценко он и сам не пропадет и, что бы ни вышло, Проценко выведет и спасет и дивизию и лично его, Васю.

Вера людей в него была заслуженной, но в то же время именно эта вера заставляла его подчас решаться на рискованные и смелые шаги, убеждала его в том, что он, которому так верят эти люди, — не ошибается.

Вася стоял перед его кроватью, и были в его привычной фигуре спокойствие и постоянство. «Сколько же, в самом деле, вместе прошли и перетерпели», — невольно подумал Проценко. И этот день пройдет, и его они перетерпят, и начнется завтра, а потом послезавтра, и так до конца войны. И, что бы ни было, они оба останутся живы — и он, и Вася.

— А пить не хотите? — спросил Вася.

— Нет, — сказал Проценко и снова закрыл глаза. — Разбуди, когда придет донесение.

Но вместо донесения через четверть часа его разбудил вбежавший в комнату командир учебного батальона капитан Маркушев. Был он в сбитой набок шапке, в расстегнутом полушубке, из карманов которого торчали гранаты.

— Товарищ полковник, — сказал Маркушев, еще задыхаясь от бега. — Товарищ полковник, там машина готова. Отъезжайте пока. Танки немецкие прорвались. К деревне подходят. К штабу.

— Опять, как в Калинникове? — брезгливо спросил полковник, в упор посмотрев на Маркушева.

Калинниково была деревня, которую уже во время наступления, месяц назад, отдали обратно немцам после неожиданной атаки их танков. Деревню отбили с большими потерями только на следующий день, а ее название стало в дивизии словом нарицательным — напоминанием о большой неудаче. Маркушев тогда тоже сплоховал в числе других и отступил из деревни. И теперь слова полковника о Калинникове были для него особенно обидны.

— Нет, товарищ полковник, — сказал Маркушев, — не как в Калинникове. Мы не уйдем. Мы хоть и на эту улицу допустим, а все равно пожжем их всех. Но только вы, пожалуйста, садитесь в машину, хоть на хуторок отъезжайте. Они, часом, сюда ворваться могут.

— А вы их не пускайте, — сказал Проценко, — вот мне и ехать никуда не нужно будет. Болен я, никуда я не поеду. А теперь как хотите: хотите — пускайте их, хотите — нет. — И Проценко повернулся лицом к стене,

выразив этим движением сразу и то, что никуда он отсюда не пойдет, и то, что разговор его с Маркушевым окончен.

Маркушев знал по опыту, что если полковник замолчал, то пробовать продолжать разговор с ним бесполезно. Он потоптался еще несколько секунд в комнате и вышел размашистым шагом человека, принявшего твердое и бесповоротное решение.

Как только Маркушев вышел, Проценко опять повернулся и лег на спину. Так лежать ему было легче.

Если бы Проценко попробовал сейчас дать себе отчет в своих чувствах и вспомнил бы себя год или полтора назад, он бы сказал себе, что год назад (а тем более полтора) он не смог бы вот так повернуться на кровати и остаться лежать при этом известии: он бы либо, и правда, уехал на хутор, либо (скорее всего) поехал с Маркушевым вперед, чтобы лично руководить людьми, отбивавшими танковую атаку. Во всяком случае он не смог бы спокойно ждать ее результатов. Теперь он мог. Больше того, — он был убежден, что на улице под его окнами боя не будет, что танки остановят и начнут жечь еще на окраине и что сделает это тот же самый капитан Маркушев, прибежавший к нему таким взволнованным.

Теперь в избу доносились звуки совсем близкого боя. Проценко опять повернулся боком к стенке и, по временам открывая глаза, прислушивался, стараясь на слух определить, что происходит. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой силой. По звукам было слышно, что стреляли и орудия и противотанковые ружья и на северной и на южной окраине деревни сразу.

Проценко еще год назад, в конце прошлой зимы, сумел победить в себе тот азарт наступления, который сначала заставлял его бросать вперед сразу все, что у него было за душой. Еще тогда, на Западном фронте, немцы дали ему несколько хороших уроков, пощупав его оголенные тылы и однажды чуть не уничтожив его самого вместе со всем его штабом. Он был хорошим учеником и теперь всегда испытывал чувство удовлетворения от того, что в решительные минуты боя, во время всяких неожиданностей и контр-атак, всегда

имел под рукой что-то, что в последнюю минуту можно было бросить на весы военного счастья.

Правда, у него в этом году прибавилось в дивизии и пушек и противотанковых ружей, но дело было не только в этом. Раньше, сколько бы их ни было, он все равно не выдерживал характера и бросал их в бой всегда немного раньше, чем это было абсолютно необходимо. Теперь он каким-то шестым чувством умел отличать необходимость действительную от необходимости кажущейся. Именно поэтому он сейчас спокойно сознавал, что вокруг деревни сосредоточено все нужное для того, чтобы отбить танковую атаку, и что Маркушев должен ее отбить, и что он правильно сделал четверть часа назад, повернувшись лицом к стене, вместо того чтобы собственными приказаниями вмешиваться в детали боя.

Через час начало темнеть. Звуки близкого боя затихли, слышны были только далекие глухие разрывы мин там, на возвышенностях, где дрались полки. Капитан Маркушев вошел в избу уже не так торопливо, как в первый раз. До крыльца он бежал, но в сенях, прежде чем войти, отдышался, использовав это время на то, чтобы снять с гимнастерки ремень с портупеей и переодеть его поверх полушубка. Он застал Проценко лежащим в той же позе, в какой он его оставил.

— Доложите, — сказал Проценко, не поворачивая головы.

— Атака отбита, — отрапортовал Маркушев. — Четыре танка подбили, остальные отошли. Раздавлено одно орудие.

— Отбили, — сказал Проценко и только тут повернул голову к Маркушеву.

Маркушев стоял навытяжку, затянутый поверх полушубка ремнем.

— Вот это гвардейский доклад, — сказал Проценко. — И вид теперь имеете гвардейский. — И вдруг, заметив ту особую аккуратность, с которой Маркушев, видимо специально, в сенях надел шапку, улыбнулся и добавил: — Только что же это вы, капитан, шапку так надели? Шапка у гвардейца немного набекрень должна быть, чтобы был вид лихой.

Маркушев привычно сдвинул набок шапку и сказал:

— Так точно, товарищ полковник.

— Ну, ладно, молодец. Иди, — сказал Проценко. — А то что же это, хотел меня из кровати вытаскивать. А мне Вася не разрешает с кровати вставать.

Донесение от Шеповалова задерживалось. Оно пришло только к девяти часам вечера, потому что, как сказали полковнику, первый из посланных связных был убит по дороге миной. Шеповалов доносил, что продвинуться пока почти не удалось из-за свирепого огня, но что он надеется, введя в бой все наличные силы, решить дело ночью.

Проценко вызвал к себе начальника оперативного отдела и отдал ему несколько дополнительных приказаний, с тем чтобы тот поехал с ними к Шеповалову и к утру вернулся обратно с донесением. Сводились эти приказания к обычным требованиям не бить в лоб и не тратить раньше времени резервы, но то, что Проценко все-таки сейчас посылал к своему заместителю специального человека с этими приказаниями, должно было дать Шеповалову понять, что сейчас это особенно важно и что командир дивизии ждет серьезного сопротивления со стороны немцев.

Когда начальник оперативного отдела уехал, Проценко подумал, что в сущности весь опыт, который он приобрел за время войны, в главном сводился к нескольким очень простым истинам, вроде тех, о которых он сейчас напоминал своему заместителю. Но все эти истины, — очень простые, когда о них шла речь вообще, — становились предметом военного искусства в каждом определенном случае, когда их приходилось применять то в одних, то в других обстоятельствах. Не бить в лоб — значило в каждом случае, в каждой новой местности знать безошибочно, где именно этот «лоб», а не вводить преждевременно резервы — значило каждый раз точно угадать ту минуту, которая отделяла «преждевременно» от «своевременно». Так было и со всеми остальными простыми истинами, и это оказывалось самым трудным.

К полуночи полковнику стало чуть-чуть легче, и он наконец заснул. Когда он проснулся среди ночи, в избе

было светло: Вася зажег на ночь светильник сталинградского изобретения (снарядный стакан, у которого были сплющены под фитиль края, а внутрь налит керосин). При свете этой самодельной лампы Проценко увидел торчавшие поперек дверей в кухню обутые в тяжелые сапоги большие васины ноги. Вася, как всегда, по своей привычке лег поперек дверей, чтобы полковник, не дай бог, куда-нибудь не вышел, не разбудив его.

Проценко вдруг, в первый раз, подумал о том, как же будет, если им с Васей придется разлучиться после войны.

«Наверное, не останется адъютантом, захочет пойти учиться на доктора, — подумал Проценко. — А может, и останется. Ведь так привыкли друг к другу».

И ему показалось странным не только то, что Вася может после войны вообще быть не у него, но даже и то, что они будут жить на разных квартирах, и что Вася не будет ходить за ним с автоматом и не будет есть вместе с ним и спать вот так, у дверей, в соседней комнате. И будущая мирная жизнь показалась полковнику в эту минуту странной, непривычной и даже неудобной.

Закрыв глаза, он прислушался. Ночью, в тишине были издали хорошо слышны не только разрывы мин, но и пулеметные очереди: на высотах шел ночной бой.

Начальник оперативного отдела вернулся в десять утра. Проценко полулежал на кровати и с трудом, морщась от боли, мелкими глотками пил горячее молоко. Он отдал Васе стакан и молча выслушал доклад. За ночь положение не изменилось: 37-й полк, взобравшийся на высоты, утром был сброшен немцами обратно. 81-й, по приказу Шеповалова, попробовал обойти немцев еще левее, но попал под сильный фланговый огонь и тоже не смог продвинуться.

— Что делается сейчас? — отрывисто спросил Проценко.

— Сейчас подтянули артиллерию и должны начать общую атаку.

— Можете итти, — сказал Проценко и велел Васе подать ему карту с нанесенной на утро обстановкой.

Обстановка оставалась почти той же самой, что и вчера днем, когда он уезжал с передовых. Вчера вечером и ночью Проценко волновался от того, что не мог сам наблюдать за боем, и от нетерпения видеть свой план выполненным. Сейчас впервые в этом плане ему показалось не все таким ясным, каким представлялось вчера. Судя по всему, и Шеповалов и командиры полков действовали согласно его указаниям, а между тем наступление задерживалось.

Он попробовал сесть и спустить ноги с кровати, но его шатнуло, и он, чуть не упав, опять ткнулся на подушки. Воспользовавшись минутной слабостью полковника, Вася, бывший настороже, мгновенно сунул ему подмышку термометр.

— Тридцать девять и девять, — через несколько минут с торжеством сказал он. — А вы вставать хотите.

— А ты чего радуешься? — спросил Проценко.

— А то, что вас в госпиталь надо отвезти, вот что, — собрав все свое мужество, ответил Вася.

Проценко промолчал. Он подумал о том, что или он сегодня должен переломить болезнь или ему действительно придется поехать в госпиталь. Так могло тянуться вчера, сегодня, но завтра он должен будет или командовать дивизией или не находиться в ней. Он представил на минуту себя на месте Шеповалова, которого уважал и ценил, и подумал, что если он, Проценко, не будет командовать дивизией и в то же время будет находиться в ней, то Шеповалов будет воевать хуже, чем он мог бы воевать, оставшись один. Он будет все время оглядываться на больного командира и, не чувствуя на себе всей тяжести ответственности, не сумеет проявить собственной инициативы. Будь он сам на месте Шеповалова, он бы тоже чувствовал себя плохо. Поколебавшись несколько минут, он твердо про себя решил, что если до завтра не переломит болезнь, то уедет в госпиталь, сдав командование Шеповалову.

— Плохо спали, товарищ полковник? — спросил Вася.

— Плохо.

— Я вам брому дам выпить, может, заснете.

— Дай, — сказал Проценко.

Он был непрочь заснуть на два-три часа, до ближайшего донесения. У него относительно болезни были свои собственные воззрения, одно из которых состояло в том, что чем больше спать во время болезни, тем лучше и что, если человеку начинает легчать, то это происходит именно во сне. С этой надеждой, проглотив две ложки соленого брома, он задремал.

Донесение пришло в три часа. Шеповалов доносил, что утренние атаки отбиты, но что он собирается, введя в бой резервы, атаковать еще раз.

— Какие будут приказания? — спросил связной командир, кладя на колени планшетку.

Но полковник, вместо ответа, сказал Васе:

— Дай молока.

Вася подал стакан молока. Проценко сделал несколько глотков, и ему показалось, что глотать уже легче.

— Давай сапоги,— сказал он Васе, — и пусть «виллис» готовят.

Вася знал, что возражения бесполезны, и только робко попросил, чтобы полковник снял компресс:

— Нельзя с компрессом на улицу.

Проценко послушно пережидал, пока Вася развязал ему компресс и сделал сухую повязку, потом дал натянуть на себя сапоги, полушубок и, опираясь на васино плечо, вышел на крыльцо. От свежего воздуха его опять шатнуло, и, поддерживаемый Васей, он поторопился сесть в машину рядом с шофером. Сзади сели Вася, связной командир и автоматчик. Машина тронулась. Через два километра они свернули с дороги влево и поехали по разбитой, ухабистой мокрой колее.

Наблюдательный пункт Шеповалова помещался в лощинке за гребешком маленького снежного холма. Отсюда была хорошо видна вся лежащая впереди длинная лощина и перед нею — тянувшиеся влево и вправо холмы, занятые немцами.

Проценко застал Шеповалова в момент, когда тот готовился отдать приказание о вводе на левом фланге в бой частей 35-го полка. Шеповалов отрапортовал ему и стоял, ожидая приказаний. Он был чисто выбрит, за

что Проценко в душе похвалил его, но, видимо, очень устал. Он радовался приезду полковника, который теперь своими глазами мог убедиться, что все выходит не так, как думалось, не потому, что он, Шеповалов, делает что-то не так, а потому, что они не предугадали действий противника. Немцы, защищая этот город, дрались не так и не там, где обычно.

— Прикажете вводить в бой тридцать пятый полк? — спросил Шеповалов.

— Нет, — ответил Проценко и несколько минут молча рассматривал в бинокль поле боя.

— Какие потери? — спросил он, оторвавшись от бинокля.

Шеповалов тихо ответил. Потери были большие, очень большие, даже учитывая эти проклятые холмы и трудную обстановку. Проценко еще раз посмотрел в бинокль. Немцы располагались за обратными скатами холмов, и было трудно определить, какие у них силы. Но все — и потери, и упорство сопротивления, и частые, ложившиеся рядами впереди минные разрывы, — говорило за то, что у немцев тут большие силы.

Между тем, этого не должно было быть. Перед фронтом Проценко в последние дни отступала сильно потрепанная в боях 117-я немецкая пехотная дивизия, и если, как обычно, главные силы ее прикрывали шоссе, ведущее в город, то здесь, на холмах, прорвавшись через которые он хотел обойти город, не могло быть больше двух потрепанных батальонов. А между тем...

Вдруг Проценко с той силой прозрения, которая возникала у него в трудные минуты, перевернул все происходившее наоборот и представил себя на месте немецкого генерала, уже четвертую неделю отступавшего перед ним и за три недели отдавшего ему три города.

Три города взял Проценко одним и тем же маневром, оставляя против немцев заслон на главной дороге и главными силами обходя город то слева, то справа по трудно проходимым местам, где немцы, не ожидая ударов, в свою очередь оставляли только слабые заслоны. Три раза противник попадал на эту удочку, три раза Проценко входил в города с западных окраин, три

раза 117-я немецкая дивизия стремительно отскакивала назад, оставляя пленных и раненых и с трудом выскальзывая из окружения.

И вот — этот четвертый город, и снова шоссе, ведущее к нему, и снова слева и справа трудно проходимые высоты. В конце концов немецкий генерал, наверное, был капитаном или майором в ту германскую войну и уже полтора года воевал в эту, и первые растерянность и ошеломление у него уже прошли. И не было ничего хитрого в том, чтобы, одинаковым образом потеряв три города, на четвертый раз предугадать действия Проценко.

Проценко с полной ясностью почувствовал, что на этот раз немец перехитрил его и оставил на главной дороге тоже заслон, а за этими холмами, по которым он бил, у противника не два батальона, а может быть полтора, а то и два полка.

Проценко сел рядом с Шеповаловым на разостланную прямо на снегу плащ-палатку, и они вместе развернули на коленях вздувшуюся от ветра карту.

— Сколько времени? — спросил Проценко.

— Семнадцать, — сказал Шеповалов.

— Через час начнет темнеть, — сказал Проценко. — Прикажите тридцать пятому: сейчас же с началом темноты передвинуться с левого фланга на правый, на шоссе. А когда совсем стемнеет, оттяните и восемьдесят первый. Мы его тоже двинем на шоссе.

Проценко посмотрел на карту и отметил по ней путь следования полков, сначала в тыл, потом вдоль фронта с выходом на шоссе.

— Сколько тут? — спросил он у Шеповалова. — Примерно двенадцать километров?

— Да.

— Ну, по такой дороге за четыре часа сосредоточатся у шоссе, а восемьдесят седьмой мы растянем. Вы останетесь здесь. Артиллерию я вам оставлю всю, кроме противотанковой, и деритесь так, чтобы немцы ничего не заметили. Бейте их главным образом огнем, не жалейте снарядов.

— А атаки продолжать? — спросил Шеповалов.

— Общие — нет. Беспокойте их весь вечер мелкими группами. Сегодня у вас главное будет артиллерия. И так довольно потеряли за день людей.

Он помолчал, пока Шеповалов давал приказания адъютанту, а потом сказал:

— С полками на шоссе поеду я сам. — И прибавил уже не официально, поясняя только что отданное приказание: — Понимаешь, Анатолий Дмитриевич, чувствую я, что перехитрили они меня сегодня. Главные силы у них здесь, а на шоссе так, пустяки. Если скрытно передвинем полки, то город будет наш. Приезжай ко мне утром, я где-нибудь около городского собора буду.

Темнело. Над полем становилось все холоднее. Шеповалов отвинтил пробку у фляги и предложил Проценко:

— Выпейте, а то простудитесь, Александр Иванович.

Проценко взял флягу, сделал большой глоток и закашлялся долгим, тяжелым кашлем.

— Вот проклятая хвороба, — сказал он, держась за горло. — Сторожит, как часовой: даже водку в меня не пускает. Ну, я поехал. Действуй.

Он возвращался почти в полной темноте. По проселочной дороге, шедшей через окраину деревни, где помещался штаб, шли двигавшиеся по шоссе передовые части 35-го полка. К ночи подморозило. Люди шли, позвякивая оружием, поеживаясь и то и дело притоптывая мокрыми валенками.

Когда Проценко доехал до своей избы, Вася стал уговаривать его полежать часок и потом догонять войска, потому что «пехоте еще долго топать». Но Проценко почувствовал, что если он сейчас слезет с «виллиса» и ляжет, то сегодня он уже больше не встанет.

Вася соскочил с машины, забежал в избу и принес Проценко пилюли и полосканье. Проценко, не слезая с машины, послушно проглотил пилюли, прополоскал горло и сказал шоферу:

— Трогай.

Всю первую половину ночи он провел в районе шоссе, отдавая приказания и объясняя командирам задачу.

Город надо было взять сегодня ночью. Подтаскивать артиллерию не было времени, и решили возместить ее недостаток темнотой, неожиданностью и густым автоматным огнем. Для первого удара он стянул всех бывших в его распоряжении автоматчиков, прибавил к ним разведывательный батальон и приказал подтащить как можно ближе к немцам все минометы — ротные, батальонные и полковые. Немцев надо было оглушить сразу минометами, автоматами — всем, что было под руками. И если Шеповалов на левом фланге не даст немцам заметить никаких перемен, то они подумают, что здесь, на шоссе, вступили в бой новые части, и, если даже у них окажутся силы для контр-удара, они все равно не выдержат и оставят город, боясь окружения, — того самого окружения, которым они когда-то так систематически и упорно пугали нас.

Бой начался в три часа ночи, а к шести утра в бледной дымке зимнего рассвета первые отряды автоматчиков прорвались на окраины города. Офицер связи, прибывший из армии, торопил Проценко, чтобы он донес о взятии города.

— Нет, — сказал Проценко, — я еще город не взял.

— Как же не взяли, товарищ полковник? — горячился офицер. — Уже на окраинах.

— Окраины — это еще не город, — сказал Проценко. — Я уже скоро два года воюю, товарищ майор. Мне теперь краснеть неудобно. Я уже краснел один раз год назад: донес раньше времени; по сводке взяли населенный пункт, а потом еще три дня его брали.

— Но ведь сейчас-то несомненно возьмете.

— Возьму, — уверенно сказал Проценко. — Возьму и донесу. Ничего, пусть потерпят в штабе армии: не в сегодняшней сводке донесут во фронт, а в завтрашней, не беда.

В семь часов утра Проценко подъехал на своем «виллисе» к городскому собору и остановил машину около широкой, избитой осколками снарядов паперти. Конный связист прискакал с западной окраины и сообщил, что от немцев очищаются последние дома.

— Вот теперь донесем, — сказал Проценко майору.

По улицам мимо него проходили роты, двигавшиеся во втором эшелоне. Многие люди были давно небриты. Старых, воевавших еще в ту войну, солдат можно было узнать по густым усам и молодцеватой выправке. Много было и молодых ребят, совсем молодых. Но и те и другие шли через город привычно, по-солдатски. Проценко вспомнил свою кадровую дивизию, где он был начальником штаба перед самой войной. Да, она имела тогда более молодцеватый вид, лучшую выправку и бойцы в ней были все погодки, ровесники, один к одному. Но у них не было вот этой бывалости, этой привычки, спокойствия перед лицом опасности, которые были у бойцов, проходивших сейчас перед ним. Очевидно, таков был закон войны. Многим пришлось погибнуть, прежде чем те, которые остались живы, стали такими, какими они были сейчас.

Мысли Проценко прервал подъехавший к нему на машине Шеповалов. Он доложил Проценко о ходе боя на левом фланге, вернее уже не о ходе боя, а о ходе преследования. Потом, поймав взгляд Проценко, он тоже несколько секунд рассматривал проходивших бойцов.

— Взяли все-таки город, — сказал он. — Гоним немцев. Подумайте, товарищ полковник, как бы мы их сейчас погнали, если бы у нас была кадровая дивизия полнокомплектная, с которой вы войну начинали.

— Такая, с какой войну начинали? — переспросил Проценко. — Нет, Анатолий Дмитриевич, неправы вы. С такой дивизией, с какой войну начинали, медленнее бы сейчас гнали немцев. Хорошая была дивизия, но та, что сейчас у нас с вами, — лучше. И мы с вами лучше, и командиры наши лучше.

— Но все-таки та кадровая же была, — сказал Шеповалов.

— Это тоже кадровая, — ответил Проценко. — Еще более кадровая, чем та. — Он показал пальцем на улицу, по которой проходили войска. — Вот и мы с вами, и они, — все, кто есть, теперь с университетским образованием, а войну начинали только со школьным, потому что учение — это школа, а университет — война, только война. Вы так говорите, Анатолий Дмитриевич,

потому, что в начале войны из запаса пришли и сами себя не цените: все вам кажется, что вы еще немного штатский человек. А вы сейчас самый что ни на есть кадровый — более кадровый, чем я сам в начале войны был, хоть до этого пятнадцать лет в армии пробарабанил. Ну, что же, — добавил он уже другим, официальным тоном, — подыскивайте помещение для штаба. Распоряжайтесь преследованием. Мне сейчас Вася квартиру найдет, я лягу до вечера.

С подъехавшего грузовика соскочил майор Гвоздев и, подбежав к Проценко, отрапортовал. Проценко, усталым движением поднеся руку к козырьку, посмотрел на его сапоги. Гвоздев весело кивнул на грузовик.

— Первую партию привез, — сказал он. — На плечах вытащили.

— А где остальные? — спросил Проценко.

— К ночи будут.

— Хорошо. Можете итти. Ну, — повернулся он к подошедшему Васе, — нашел квартиру?

— Нашел, товарищ полковник. И кровать для вас застелена.

— Вечером проведай меня, Анатолий Дмитриевич, — сказал Проценко Шеповалову, усаживаясь поудобнее в машину и запахивая бурку.

Он посмотрел вверх, на разорванное белое облачко, на начинавшее голубеть небо, потом перевел взгляд на землю, на которую пятнами ложились солнечные зайцы, и добавил:

— Я к вечеру поднимусь; наверное, лучше станет. Уж больно погода сегодня хорошая.

1943

БЕССМЕРТНАЯ ФАМИЛИЯ

Прошлой осенью, еще на Десне, когда мы ехали вдоль левого берега ее, у нашего «виллиса» спустил скат, и, пока шофер накачивал его, нам пришлось с полчаса, поджидая, лежать почти на самом берегу. Как это обычно бывает, колесо спустило на самом неудачном месте, — мы застряли около наводившегося через реку временного моста.

За те полчаса, что мы там просидели, немецкие самолеты дважды появлялись по три-четыре штуки и бросали мелкие бомбы вокруг переправы. В первый раз бомбежка прошла заурядно, то есть как всегда, и саперы, работавшие на переправе, легли там, где стояли, и переждали бомбежку лежа. Но во второй раз, когда последний из немецких самолетов, оставшись один, продолжал, назойливо жужжа, бесконечно крутиться над рекой, маленький чернявый майор-сапер, командовавший постройкой, вскочил и начал ожесточенно ругаться.

— Так они и будут крутиться весь день, — кричал он, — а вы так и будете лежать, а мост так и будет стоять. После войны все равно этого моста строить не надо будет, после войны мы тут железнодорожный построим. По местам!

Саперы один за другим поднялись и, с оглядкой на небо, продолжали свою работу.

Немец еще долго кружился в воздухе, потом, увидав, что одно его жужжание перестало действовать,

сбросил две последние, оставшиеся у него, мелкие бомбы и ушел.

— Вот и ушел, — громко радовался майор, приплясывая на краю моста, так близко от воды, что, казалось, он вот-вот упадет в нее.

Я, наверное, забыл бы навсегда об этом маленьком эпизоде, но некоторые обстоятельства впоследствии мне напомнили о нем. Поздней осенью я снова был на фронте, примерно на том же направлении; сначала на Днепре, а потом за Днепром. Мне пришлось догонять далеко ушедшую вперед армию. На дороге мне бросалась в глаза одна, постоянно, то здесь, то там, повторявшаяся фамилия, которая, казалось, была непременной спутницей дороги. То она была написана на куске фанеры, прибитом к телеграфному столбу, то на стене хаты, то мелом на броне полуразбитого немецкого танка: «Мин нет. Артемьев», или: «Дорога разведана. Артемьев», или: «Объезжать влево. Артемьев», или: «Мост наведен. Артемьев», или, наконец, просто: «Артемьев» и стрелка, указывающая вперед.

Судя по содержанию надписей, не трудно было догадаться, что это, очевидно, фамилия какого-то из саперных начальников, шедшего здесь вместе с передовыми частями и расчищавшего дорогу для армии. Но на этот раз надписи были особенно часты, подробны и, что главное, всегда соответствовали действительности.

Проехав добрых двести километров сопровождаемый этими надписями, я на двадцатой или тридцатой из них вспомнил того чернявого маленького майора, который командовал под бомбами постройкой моста на Десне, — и мне вдруг показалось, что, может быть, как раз он и есть этот таинственный Артемьев, в качестве саперного ангела-хранителя идущий впереди войск.

Зимой на берегу Буга, в распутицу, мы заночевали в деревеньке, где разместился полевой госпиталь. Вечером, собравшись у огонька вместе с врачами, мы сидели и пили чай. Не помню уже почему, я заговорил об этих надписях.

— Да, да, — сказал начальник госпиталя. — Чуть ли не полтысячи километров идем по этим надписям.

Знаменитая фамилия. Настолько знаменитая, что даже некоторых женщин с ума сводит. Ну, ну, не сердитесь, Вера Николаевна, я же шучу.

Начальник госпиталя повернулся к молодой женщине-врачу, сделавшей в ответ на его слова сердитый протестующий жест.

— А тут не над чем шутить, — сказала она и обратилась ко мне: — Вы ведь дальше вперед поедете?

— Да.

— Они вот смеются над моим, как они говорят, суеверным предчувствием, но я ведь тоже Артемьева, и мне кажется, что эти надписи на дорогах оставляет мой брат.

— Брат?

— Да. Я потеряла его след с начала войны, мы с ним расстались еще в Минске. Он до войны был инженером-дорожником, и вот мне все почему-то кажется, что это как раз он. Больше того, я верю в это.

— Верит, — прервал ее начальник госпиталя, — да еще сердится, что тот, кто оставлял эти надписи, к своей фамилии не прибавил инициалов.

— Да, — просто согласилась Вера Николаевна, — очень обидно. Если бы еще была надпись «А. Н. Артемьев» — Александр Николаевич, я была бы совсем уверена.

— Даже знаете, что сделала? — снова перебил начальник госпиталя. — Она один раз к такой надписи приписала внизу: «Какой Артемьев? Не Александр Николаевич? Его ищет его сестра Артемьева, полевая почта ноль три девяносто «Б».

— Правда, так и написали? — спросил я.

— Так и написала. Только надо мной все смеялись и уверяли, что кто-кто, а саперы редко идут назад по своим же собственным отметкам. Это правда, но я все-таки написала... Вы, когда поедете вперед, — продолжала она, — в дивизиях на всякий случай спросите, вдруг наткнетесь. А вот тут я вам напишу номер нашей полевой почты. Если узнаете, сделайте одолжение, напишите мне две строчки. Хорошо?

— Хорошо.

Она оторвала кусочек газеты и, написав на нем свой почтовый адрес, протянула мне. Пока я прятал в карман гимнастерки этот клочок бумаги, она провожала его взглядом, как бы стараясь заглянуть в карман и проследить, чтобы этот адрес был там и не исчез.

Наступление продолжалось. За Днепром и на Днестре я все еще встречал фамилию «Артемьев»: «Дорога разведана. Артемьев», «Переправа наведена. Артемьев», «Мины обезврежены. Артемьев». И снова просто «Артемьев» и стрелка, указывающая вперед.

В апреле, в Бессарабии, я попал в одну из наших стрелковых дивизий, где в ответ на вопрос о заинтересовавшей меня фамилии я вдруг услышал от генерала неожиданные слова:

— Ну, как же, это же мой командир саперного батальона — майор Артемьев. Замечательный сапер. А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия часто попадалась?

— Да, очень часто.

— Ну, еще бы. Не только для дивизии, для корпуса, — для армии дорогу разведывает. Весь путь впереди идет. По всей армии знаменитая фамилия, хотя и мало кто его в глаза видел, потому что идет всегда впереди. Знаменитая, можно сказать, даже бессмертная фамилия.

Я снова вспомнил о переправе через Десну, о маленьком чернявом майоре и сказал генералу, что хотел бы увидать Артемьева.

— А это уж подождите. Если какая-нибудь временная остановка у нас будет — тогда. Сейчас вы его не увидите, — где-то впереди с разведывательными частями.

— Кстати, товарищ генерал, как его зовут? — спросил я.

— Зовут? Александр Николаевич зовут. А что?

Я рассказал генералу о встрече в госпитале.

— Да, да, — подтвердил он, — по-моему, из запаса. Хотя сейчас такой вояка, будто сто лет в армии служит. Наверное, он самый.

Ночью, порывшись в кармане гимнастерки, я нашел обрывок газеты с почтовым адресом госпиталя и напи-

сал врачу Артемьевой несколько слов о том, что предчувствие ее подтвердилось и что скоро тысяча километров, как она идет по следам своего брата.

Через неделю мне пришлось пожалеть об этом письме.

Это было на той стороне реки Прут. Мост еще не был наведен, но два исправных парома, работавшие как хороший часовой механизм, монотонно и беспрерывно двигались от одного берега к другому. Подъезжая к левому берегу Прута, я на щите разбитого немецкого самоходного орудия увидел знакомую надпись: «Переправа есть. Артемьев».

Я пересек Прут на медленном пароме и, выйдя на берег, огляделся, невольно ища глазами все ту же знакомую надпись. В двадцати шагах, на самом обрыве, я увидел маленький свеженасыпанный холмик с заботливо сделанной деревянной пирамидкой, где наверху, под жестяной звездой, была прибита квадратная дощечка.

«Здесь похоронен, — было написано на ней, — павший славной смертью сапера при переправе через реку Прут майор А. Н. Артемьев». И внизу приписано крупными красными буквами: «Вперед, на запад».

На пирамидке под квадратным стеклом была вставлена фотография. Я вгляделся в нее. Снимок был старый, с обтрепанными краями, наверное долго лежавший в кармане гимнастерки, но разобрать все же было можно: это был тот самый маленький майор, которого я видел больше чем полгода назад на переправе через Десну.

Я долго простоял у памятника. Разные чувства волновали меня. Мне было жаль сестру, потерявшую своего брата, не успев еще, быть может, получить письма о том, что она нашла его. И потом еще какое-то чувство одиночества охватывало меня. Казалось: что-то не так будет дальше на дорогах без этой привычной надписи «Артемьев», что исчез мой неизвестный благородный спутник, охранявший меня всю дорогу. Но что делать? На войне волей-неволей приходится привыкать к смерти.

Мы подождали, пока с парома выгрузили наши машины, и поехали дальше. Через пятнадцать километров, там, где по обеим сторонам дороги спускались глубокие овраги, мы увидали на обочине целую груду наваленных друг на друга, похожих на огромные лепешки, немецких противотанковых мин, а на одиноком телеграфном столбе фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».

В этом, конечно, не было чуда. Как и многие части, в которых долго не менялся командир, саперный батальон привык себя называть батальоном Артемьева, и его люди чтили память погибшего командира, продолжая открывать дорогу армии и надписывать его фамилию там, где они прошли. И когда я, вслед за этой надписью, еще через десять, еще через тридцать, еще через семьдесят километров снова встречал все ту же бессмертную фамилию, мне казалось, что когда-нибудь, в недалеком будущем, на переправах через Неман, через Одер, через Шпрее я снова встречу фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».

1944

*

ПЕХОТИНЦЫ

Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне, поздно вечером, немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было и мокро, однако не так уж холодно. Вечером здесь не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди сплошь покрывалась немецким огнем. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки, не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начинает, — сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести. — А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты, старший лейтенант Савин, который с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три, и надо опять его достичь. Савин, как заметил Савельев, обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник, — говорил он, — должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.

— Ишь, какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.

— Да, — согласился Савельев. — Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще довоевать надо, — сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но иной раз склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые

и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают, — сказал Савельев.

— Да, — согласился Юдин. — А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может, — возразил Савельев. — Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят, — и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Им обоим стало приятно оттого, что Савельев прав и что вчера они уложили немало немцев. Увидеть эти могилы было приятно и потому еще, что обычно, захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было досадно не увидеть ни одного мертвого немца. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все же было обидно не убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы, по приказанию старшего лейтенанта Савина, развернулись редкой цепью и двигались молча, без разговоров.

Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как

в том месте, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. И, наверное, перенесут огонь и будут пристреливаться сюда, прямо по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал ему плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он забыл об этом, и ему казалось, что итти стало совсем легко.

Так они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебегали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный, огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут немцы начали рыть, потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии, — ответил Юдин. — Этого маленького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так чтобы очень, а из строя выбыл.

— Вот заметь, — сказал Савельев, — новичку не повезло. Только прибыл — и уже ранило. А мы с тобой воюем-воюем — и все целы.

— А то как же, — сказал Юдин.

В это время над их головами прошли снаряды тяжелой артиллерии, и сразу холмы, на которых засели немцы, заволоклись сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.

Савельев, с некоторым сожалением поглядев на мокрый, но все-таки уютный окоп, сдернул с шеи ремень автомата и, поудобнее пристроив его подмышкой, двинулся вперед.

Три или четыре минуты Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего рукой подать, — метров двести, а то и меньше, — оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом и, перевернувшись, раскинув руки, грохнулся на землю.

Над головой Савельева снова зашумело. Прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полутораста, стоят легкие пушки и прямо с открытого поля стреляют по немцам. Просвистал еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, который лежал человека через четыре от него налево, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было

тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди пробивали траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив в окоп и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — потную выцветшую гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и смаху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а инстинктивно ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом,

опираясь рукой о скользкую, мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.

— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего немца.

Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.

— Вставай! — сказал Савельев. — Вставай, ты! — и ткнул немца ногой. — Хенде нихт, — сказал он немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял немца за шиворот одной рукой и поставил его в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту, — сказал Егорычев, — а я пойду, — и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, в первую же секунду увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева вдруг открылись результаты действия нашей артиллерии.

Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга были разметаны в траншее и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

«Наверное, хотел спрыгнуть, да не успел», — подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не поспе-

вают теперь делать, — с удовольствием подумал он, — спешат». И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте, — сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый ему автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток, — сказал Савельев.

— Сержант! — окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика. — Когда все соберутся к вам, возьмите с собой еще одного легко раненного и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и Савельев, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый», — подумал Савельев про Юдина.

Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то, — сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета. — Как их снарядами накрыло — видал?

— Видал, — сказал Савельев.

— Как снарядами накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако, едва успел он сделать себе «козырек», как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин? — обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть, — весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку немецкой трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и теперь приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай, — согласился Егорычев.

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой метнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи, пожалуйста! — удивился Егорычев. — Махорку-то не просыпали?

— Нет, не просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать цыгарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку; он думал, что осталось еще на две закурки, а теперь выходило, что останется только на одну.

Едва они успели закурить, как над головами опять засвистели снаряды. Комья земли падали вокруг прямо в воду, и вода обрызгивала бойцов.

— Наверное, заранее пристрелялись, — сказал Егорычев. — Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом ходе сообщения, только за поворотом. Их никого не тронуло, но отбро-

сило на дно окопа, в воду. Они поднялись, и Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.

Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Который час, товарищ старшина? — спросил Савельев.

— А ну, который? — в свою очередь спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое и попрежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет, — сказал он.

— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.

— Ла уж полдень, небось, — сказал Юдин.

— Четыре часа скоро, — сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа? — переспросил он.

— Вот тебе и «неужто», — ответил Егорычев. — С минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. В самих окопах, только налево, поодаль, разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдин? — удивился Савельев.

— Ничего, — спокойно сказал Юдин. — Ранило меня.

Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

«Пожалуй, перебита», — подумал Савельев.

— Как вышло-то? — спросил он Юдина.

— Там Воробьева ранило, — пояснил Юдин. — Я его перевязывал, и аккурат ударило. Воробьева убило, а меня... вот видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури на дорожку, — предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую цыгарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял цыгарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище, — сказал Юдин и поднялся.

Зажав цыгарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это... — сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что «это»?

— Ты поправляйся и обратно приходи...

— Да нет, — сказал Юдин. — Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поныри проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

Савельев посмотрел ему вслед, и хотя он иной раз ругался с Юдиным, особенно из-за мрачного его характера, но сейчас ему было очень жаль, что Юдин уходит.

«Привык, наверное, я к нему», — подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Но не успел он это сделать, как танки открыли огонь, — не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большущую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер большую противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за двести от него. И, конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное, сиди и жди, — сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил. — Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Танки шли веером,

один был совсем близко слева, один шел, казалось, прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был «тигр», а тот, который шел на него, был обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе всех, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев.

Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в пяти—десяти шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.

Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и спрыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство, и, хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк. — Горит! — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы

сказать, идут ли они вперед или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шопотом Андреев. — Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и, наконец, прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк, — сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился этим словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант, как всегда обо всем в своей роте, знал уже и об этом.

— Ну что же, представим, — сказал капитан Матвеев. — Молодец! — и пожал руку Савельеву. — Как же вы его подбили?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу, — сказал Савельев.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается, — сказал старший лейтенант.

— А я принес, — сказал капитан Матвеев. — Я вам четыре медали в роту принес. Прикажите, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант, старшина и еще два бойца.

Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «смирно».

— Красноармеец Савельев, — обратился к нему капитан Матвеев, — от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну вот, — сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными. — Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу.

— Слушай, старшина, — сказал Савельев, когда все остальные ушли.

— Да?

— Привинти-ка.

Егорычев полез в карман, достал висевший там на цепочке перочинный ножик, хозяйственно, не торопясь, открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется, — сказал Савельев.

Егорычев полез в задний карман брюк, вытащил оттуда жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею, — сказал Егорычев. — На крайний случай берег.

Они свернули по цыгарке и закурили.

— Что же это, затихло? — сказал Савельев.

— Затихло, — согласился Егорычев. — А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели, — я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем. — И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка еще один сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев, так же как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру «120». «Сто двадцать, сто двадцать», — подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли в атаку, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков была цифра «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что же, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно, — сердито сказал Юдин. — Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в ту минуту обидным, что вот они идут под огнем, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.

«Все-таки трудное это дело — война, — подумал Савельев, — нельзя в ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра и прощения попросить поздно».

В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко. Она набухла от дождей, и даже отсюда, за двести метров, слышалось ее ворчанье.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, стараясь тихо ступать, чтобы не шуметь. Он немного не дошел до берега реки, как над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завыла другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все хлюпали и хлюпали в болоте где-то слева и справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, портсигар Егорычева, на дне которого была табачная пыль, и добрую улыбку, с какой протянул ему этот портсигар обычно сумрачный старшина.

Было холодно, неуютно и в то же время как-то привычно, впереди шумела река Сожь, и если бы Савельеву пришло в голову считать дни, то он бы легко сосчитал, что как раз кончался восьмисотый день войны.

1943

ПЕРЕД АТАКОЙ

Уже много лет не запомнят в этих местах такой непогожей весны. С утра и до вечера небо одинаково серо, и мелкий холодный дождик все идет и идет, перемежаясь с мокрым снегом. С рассвета и до темноты не разберешь — какой час. Дорога то разливается в черные озера грязи, то идет между двумя высокими стенами побуревшего снега.

Младший лейтенант Василий Цыганов лежит на берегу взбухшего от весенней воды ручья перед большим селом, название которого — Загребля — он узнал только сегодня и которое он забудет завтра, потому что сегодня село это должно быть взято и он пойдет дальше и будет завтра биться под другим таким же селом, названия которого он еще не знает.

Он лежит на полу в одной из пяти хаток, стоящих на этой стороне ручья, над самым берегом, перед разбитым мостом.

— Вася, а, Вася? — говорит ему лежащий рядом с ним сержант Петренко. — Что ты молчишь, Вася?

Петренко когда-то учился вместе с Цыгановым в одной школе-семилетке в Харькове и, по редкой на войне случайности, оказался во взводе у своего старого знакомого. Несмотря на разницу в званиях, когда они наедине, Петренко называет приятеля попрежнему Васей.

— Ну, что ты молчишь? — повторяет еще раз Петренко, которому не нравится, что вот уже полчаса, как Цыганов не сказал ни слова.

Петренко хочется поговорить, потому что немцы стреляют по хатам из минометов, а за разговором время идет незаметней.

Но Цыганов попрежнему не отвечает. Он лежит молча, прислонившись к разбитой стене хаты, и смотрит в бинокль через пролом наружу, за ручей. Собственно говоря, место, где он лежит, уже нельзя назвать хатой, это только остов ее. Крыша сорвана снарядом, а стена наполовину проломлена, и дождь, при порывах ветра, мелкими каплями падает за шинель и за ворот.

— Ну, чего тебе? — наконец оторвавшись от бинокля, повертывает Цыганов лицо к Петренко. — Чего тебе?

— Что ты такой смурный сегодня? — говорит Петренко.

— Табаку нет.

И, считая вопрос исчерпанным, Цыганов снова начинает смотреть в бинокль.

На самом деле он сказал неправду. Молчаливость его сегодня не оттого, что нет табаку, хотя это тоже неприятно. Ему не хочется разговаривать оттого, что он вдруг полчаса назад вспомнил: сегодня день его рождения, ему исполнилось тридцать лет. И, вспомнив это, он вдруг вспомнил еще очень многое, о чем, может, было бы лучше и не вспоминать, особенно сейчас, когда через час, с темнотой, надо итти через ручей в атаку. И мало ли еще что может случиться!

Однако он, сердясь на себя, все-таки начинает вспоминать жену и сына Володьку и трехмесячное отсутствие писем...

Когда в августе они брали Харьков, их дивизия прошла на десять километров в стороне от города и он видел город вдалеке, но зайти так и не смог и только потом, из писем, узнал, что жена и Володька живы. А какие они сейчас, как выглядят, даже трудно себе представить.

И когда он лишний раз сейчас думает о том, что три года их не видел, он вдруг вспоминает, что не только этот, но и прошлый и позапрошлый дни рожде-

ния исполнялись вот так же, на фронте. Он начинает вспоминать: где же его заставали эти дни рождения?

Сорок второй год. В сорок втором году, в апреле, они стояли возле Гжатска, под Москвой, у деревни Петушки. И атаковали ее они не то восемь, не то девять раз. Он вспоминает Петушки и с сожалением человека, много с тех пор повидавшего, с полной ясностью представляет себе, что Петушки эти надо было брать вовсе не так, как их брали тогда. А надо было зайти километров на десять правей за соседнюю деревню Прохоровку и оттуда обойти немцев, и они сами бы из этих Петушков тогда посыпались. Как вот сегодня Загреблю будем брать, а не как тогда, — все в лоб да в лоб.

Потом он начинает вспоминать сорок третий год. Где же он тогда был? Десятого его ранили, а потом? Да, верно, тогда он был в медсанбате. Хотя ногу и сильно задело, но он упросил, чтобы его оставили в медсанбате, чтобы не уезжать из части, а то в военкоматах ни черта не хотят слушать. Попадешь оттуда куда угодно, только не в свою часть. Да. Он лежал тогда в медсанбате, и до передовой линии было всего семь километров. Тяжелые снаряды перелетали через голову. Километров пятьдесят за Курском. Год прошел. Тогда за Курском, а теперь за Ровно. И вдруг, вспомнив все эти названия: Петушки, Курск, Ровно, он неожиданно для себя улыбается и его угрюмое настроение исчезает.

«Много протопали, — думает он. — Конечно, все одинаково шли. Но, скажем, танкистам или артиллеристам, которые на механической тяге, так им не так заметно, а, скажем, артиллеристам, которые на конной тяге, тем уже заметней, как много прошли... А всего заметнее — пехоте».

Правда, раза три или четыре пришлось марши на машинах делать, подбрасывали. А то все ногами.

Он пытается восстановить в уме, какое большое это расстояние, и почему-то вспоминает угловой класс семилетки, где в простенке между окнами висела большая географическая карта. Он прикидывает в уме, сколько он мог пройти от Петушков и досюда. По карте

получается тысячи две километров, не больше, а кажется, что десять. Да, пожалуй. По карте — мало, а от деревни до деревни — много.

Он поворачивается к Петренко и говорит вслух:

— Много...

— Что «много»? — спрашивает Петренко.

— Прошли много.

— Да, у меня со вчерашнего марша еще ноги ноют, — соглашается Петренко. — Больше тридцати километров прошли, а?

— Это еще не много... А вообще много... Вот интересно — от Петушков...

— Какие Петушки?

— Есть такие Петушки... От Петушков досюда два года иду. И, скажем, до Германии еще тоже долго итти будем, не один месяц. А вот война кончится, сел в поезд, раз — и готово, уже в Харькове. Ну, может быть, неделю, в крайнем случае, проедешь. Сюда больше двух лет, а обратно — неделю. Вот когда пехота поездит, — совсем размечтавшись, добавляет он. — Будут поезда ходить. И до того докатаемся, что лень будет даже пять километров пешком пройти. Идет, скажем, поезд, проезжает мимо деревни, в которой боец живет; он — раз, дернет «вестингауз» — остановил поезд и слез.

— А кондуктор? — спрашивает Петренко.

— Кондуктор? А ничего. Нам тогда право будет дано, — продолжает фантазировать Цыганов, — по случаю наших больших трудов останавливать поезд каждому у своей деревни.

— Ну, нам-то прямо до Харькова, — рассудительно говорит Петренко.

— Нам-то? — переспрашивает Цыганов. — Нам с тобой пока прямо до Загребли. А там и до Харькова, — после паузы добавляет он.

Над их головами пролетают несколько мин и падают где-то позади, на поле.

— Должно быть, Железнов назад ползет, — повернувшись в ту сторону, говорит Цыганов.

— А ты его давно послал?

— Да уже часа два.

— С термосом?

— С термосом.

— Ох, горячего бы чего поесть, — мечтательно, как о чем-то почти недосягаемом, говорит Петренко.

Цыганов опять смотрит в бинокль.

Петренко лежит рядом, поглядывает на него и пробует себе представить, о чем бы в этот момент мог думать Цыганов. Он беспокойный. Все, наверное, соображает, как через ручей лучше перебраться. Два часа все смотрит. Высказывая эту мысль вслух, слово «беспокойный» Петренко произнес бы с некоторой досадой, однако именно об этом качестве Цыганова он думает с уважением.

Вот лежит рядом с ним Цыганов Вася, с которым они вместе учились до седьмого класса, когда он ушел из школы, а Цыганов остался учиться в восьмом... Лежит и смотрит в бинокль... И не школа это, а война, и не Харьков, а село где-то около границы. И уже не Вася это, а младший лейтенант Цыганов — командир взвода автоматчиков. Над верхней губой у него рыжеватые усы, которые придают ему солидный и даже пожилой вид: один полковник как-то спросил его, не участвовал ли он в той германской войне.

«Беспокойный, — про себя повторяет Петренко. — И сколько ему довелось всего испытать! Четыре ранения, три ордена и медаль... И уж, кажется, мог бы иногда себя беречь, когда есть возможность... По дороге к повозочному подсесть, проехать километров пять, чтобы хоть ноги не болели. Нет, топает впереди своих автоматчиков. И просыпается раньше всех, а засыпает неизвестно когда».

Петренко сам на фронте недавно, месяца три. И когда он думает о том, что Цыганов воюет почти три года, и прикидывает это на себя, то Цыганов ему кажется героем. В самом деле — сколько уже воюет! И вот идет, идет своими ногами впереди батальона, первый в села входит...

Так думает он, глядя на Цыганова, а Цыганов, на время оторвавшись от бинокля, в свою очередь думает о Петренко. И мысли его совершенно противоположны петренковским.

«Чорт ее знает! — думает он. — Что, если не подвезли в батальон кухню? Железнов термос пустой притащит. А этому вот подай горячего. Он и так выдержит, конечно, он терпеливый, — но горяченького хочется. Три месяца всего воюет, трудно ему. Если бы — как я — три года, тогда бы ко всему привык, легче было бы. А то попал прямо в автоматчики, да прямо в наступление. Трудно».

Он смотрит в бинокль и замечает легкое движение между обломками большого сарая, стоящего на той стороне ручья, на краю деревни.

— Товарищ Петренко, — обращается он на «вы» к Петренко, — сползайте к Денисову, он там, у третьей хаты, в ямке лежит. Возьмите у него снайперскую винтовку и принесите мне.

Петренко уползает. Цыганов остается один. Он снова смотрит в бинокль и теперь думает только о немце, который ворошится в сарае. Надо его из винтовки щелкнуть, из автомата не стоит, спугнешь. А из винтовки сразу дать — и нет немца.

Правый берег высок и обрывист. «Если наступать, как тогда под Петушками, половину батальона уложить можно», — думает Цыганов.

Он смотрит на часы. До наступления темноты осталось еще тридцать минут. Утром его к себе вызывал командир батальона, капитан Морозов, и объяснял задачу. И у него сейчас весело на душе оттого, что он знает, как все будет. Что в 20.30 одна рота обходным путем выйдет на дорогу за село, а он с шумом пойдет прямо — и тогда немцам капут со всех сторон.

Слева раздается подряд несколько автоматных очередей.

— Жмаченко бьет, — прислушиваясь, говорит он. — Правильно.

Он три часа тому назад приказал трем из своих автоматчиков через каждые десять — пятнадцать минут поддавать немцам треску, чтобы они из-за излишней тишины не догадались, что их обходят.

Подумав о Жмаченко, Цыганов начинает по очереди вспоминать всех своих автоматчиков. И тех шестнадцать — живых, что сейчас лежат с ним вместе тут, на

выселках, и ждут атаки, и других — тех, что выбыли из взвода: кто убит, кто ранен...

Много народу переменилось. Много... Он вспоминает рыжеусого немолодого Хромова, который когда-то соблазнил его отпустить такие же усы, а потом в бою под Житомиром спас его, застрелив немца, а потом, под Новоград-Волынском, погиб. Хоронили его зимой, но тоже шел дождь, и когда стали забрасывать могилу, то с лопат сыпалась грязь, и было как-то тяжело и обидно, что земля — такая грязная, мокрая — падает на знакомое лицо. Он спрыгнул в могилу и закрыл лицо Хромова пилоткой. Да. А теперь кажется, что это было давно. Потом еще шли, шли...

Стараясь не думать о тех, которых нет, он вспоминает живых, тех, что сейчас с ним. Железнов ушел с термосом в батальон. Этот — такой, в кровь разобьется: если в походной кухне есть хотя бы ложка горячей каши, так принесет. А Жмаченко ленивый. Идет на своих длинных ногах, ватник без пуговиц, только ремнем затянут. Как грязь на ложе автомата налипла, так и носит ее с собой, а когда окапываться приходится — другой за полчаса себе как следует выкопает, а он против всех только наполовину.

— Жмаченко, а, Жмаченко, что ты своей жизни не жалеешь?

— Та земля, товарищ лейтенант, дуже грязная.

— Будешь так рассуждать, убьют тебя из-за твоей лени.

— Та ни...

И в самом деле: за два года во все атаки ходит, и ни разу не только не поцарапало, даже шинель не задело осколком.

После Жмаченко Цыганов вспоминает о Денисове, к которому он послал сейчас Петренко за снайперской винтовкой. Тот бережет оружие. И автомат и винтовку всегда при себе носит. Откуда она попала к нему — снайперская винтовка? Кто его знает. А следит хорошо. И сейчас, небось, пожалел, что винтовку требуют... Хотя лейтенант требует, а все же жалко отдавать. Хозяин...

Он вспоминает щуплого рябоватого младшего сержанта по фамилии Коняга, на которого он на прошлой неделе раза три накричал: плетется всегда в хвосте, отстает. Тот только покорно вытягивался и молчал. А потом на пятый или шестой день, когда пришлось, наконец, стать в деревне на ночь, Цыганов, неожиданно зайдя в хату, где расположился Коняга, увидел, как тот, разувшись, закрыв глаза и тихонько вскрикивая от боли, отдирает от ног портянки. Ноги у него были распухшие и окровавленные, так что итти ему не было никакой возможности. Но он все-таки шел... И когда Цыганов увидел, как он сдирает с ног портянки, и окрикнул его, он вскочил и растерянно посмотрел на младшего лейтенанта, как будто был в чем-то виноват.

— Милый ты мой, — с неожиданной лаской сказал ему Цыганов, — чортушко, что же ты не сказал?

Но Коняга, как обычно, стоял и молчал, и только когда Цыганов приказал ему сесть, и сел с ним рядом, и обнял его одной рукой за плечо, Коняга объяснил, почему он не хотел говорить: тогда ему пришлось бы уйти на несколько дней в медсанбат, и потом, может быть, он обратно к своим не попал бы.

И Цыганов понял, что Коняга, человек от природы тихий, застенчивый и робкий, так привык к окружающим его товарищам, что расстаться с ними казалось ему более страшным, чем итти днем и ночью на своих распухших ногах. Он так и остался во взводе. Взводу сутки удалось передохнуть, и фельдшер помог Коняге.

Были во взводе и другие, самые разные люди. Цыганов у некоторых из них не успел подробно расспросить о их прошлой довоенной жизни, но ко всем им он уже присмотрелся и, шагая по дороге, иногда занимался тем, что представлял себе, кем бы они могли быть раньше, и бывал доволен, когда, спросив их, выяснял, что не ошибся в своих догадках.

— Товарищ лейтенант!

Во взводе его последний месяц, с тех пор как его из старшины произвели в младшие лейтенанты, называли больше просто «лейтенант», отчасти для краткости, отчасти, может быть, из бессознательного желания польстить.

— Товарищ лейтенант!

Цыганов не оборачивается. Он и так слышит по голосу, что это вернувшийся из батальона Железнов.

— Ну, что скажешь? Кухня приехала?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Что же ты?.. А говорил — из-под земли достану.

— Ночью будет кухня, — отвечает Железнов, — так в батальоне сказали. Кухня вышла, но грязь сильная, еще две лошади припрягли, так что ночью будет. Как село возьмем, прямо туда кашу привезут.

— Ночью — это хорошо, — говорит Цыганов. — А что сейчас нет — плохо.

— Зато подарочек вам принес.

— Что за подарочек? Фляжку, что ли, достал?

— Кабы фляжку! — прищелкивает языком Железнов при одной мысли о водке. — Подарочек от капитана. Сказал мне: «Вот, отнеси».

Железнов снимает ушанку и достает из-за отворота ее маленький комочек бумаги. Цыганов с интересом следит за ним. В бумажку, оказывается, завернуты две маленькие латунные звездочки.

— Капитан для себя делал, ну и для вас приказал сделать.

Цыганов протягивает руку и, взяв звездочки на ладонь, смотрит на них. Ему приятно и внимание капитана и то, что у него теперь есть звездочки, которые можно нацепить на погоны.

— А вот и погоны, — говорит Железнов. — Это уж лично я достал.

И он, вытащив из кармана, протягивает Цыганову пару новеньких красноармейских погон.

— Так это ж красноармейские. Полоски нет.

— А вы на них звездочки прицепите и носите, а полоски я вам прочертить могу.

К Цыганову подползает Петренко.

— Принес? — не отрывая глаз от бинокля, спрашивает Цыганов и, не поворачиваясь, берет из рук Петренко снайперскую винтовку.

Отложив в сторону бинокль, он широко, чтоб было удобнее, раскидывает ноги и, прочно вдавив в землю

локти, ловит в телескопический прицел тот угол развалин сарая, где прячется замеченный им немец. Теперь остается только ждать. В развалинах не заметно никакого движения.

Цыганов терпеливо ждет, весь сосредоточившись на одной мысли о предстоящем выстреле. Дождь продолжает накрапывать, капли падают за воротник шинели, и Цыганов, не отрывая рук от винтовки, вертит головой. Наконец показывается голова немца. Цыганов нажимает на спуск. Короткий стук выстрела — и голова немца там, в развалинах, исчезает. Хотя в этом нельзя убедиться сейчас, а потом, когда будет взято село, уже и не до того будет, — но Цыганов определенно чувствует, что он попал.

Жалость к людям всегда жила в Цыганове, от природы добром человеке. Несмотря на привычку, он, не показывая этого внешне, до сих пор внутренне вздрагивает, видя наших убитых бойцов, и какая-то частица воспитанного с детства ужаса перед смертью оживает в нем. Но в каком бы жалком и растерзанном виде ни представали его глазам немецкие мертвецы, он вполне и непритворно равнодушен к их смерти, они не вызывают у него другого чувства, кроме подсознательного желания посчитать — сколько их.

Цыганов, устало вздохнув, говорит вслух:

— И когда же они кончатся?

— Кто? — спрашивает Петренко.

— Немцы. Ты сиди тут, а я пойду, всех обойду и вернусь.

Взяв автомат, Цыганов выходит из хаты и, то перебегая, то переползая, по очереди заглядывает ко всем своим автоматчикам. Немецкие мины продолжают рваться по всему берегу, и сейчас, когда он не лежит за стенкой, а передвигается по открытому месту, поющий их свист становится не то что страшнее, а как-то заметнее.

Цыганов переползает от одного автоматчика к другому и в последний раз рукой показывает каждому те переходы через низину и ручей, которые он давно приглядел для атаки.

— А колы прямо, товарищ лейтенант? — спрашивает верный себе ленивый Жмаченко: — зачем итти наискоски, когда можно махнуть прямо?

— Дурья твоя голова, — говорит ему Цыганов. — Тут же берег отлогий, а там, вот видишь, гребешок, там, как на берег выскочил — сразу и мертвое пространство. Он тебя из-за гребешка достичь не сможет огнем.

— А колы прямо, так швидче, — внимательно выслушав Цыганова, говорит Жмаченко.

— В общем все, — рассердившись и уже официально, на «вы», говорит Цыганов. — Делайте, товарищ Жмаченко, как вам приказано — и все. А вот, когда село возьмем, будете кашу кушать, тогда ее ложкой из котелка, як вам швидче, так и загребайте.

Цыганов заходит к Коняге. Тот лежит, укрывшись за земляной насыпью, насыпанной над глубоким погребом, подвернув ноги и положив рядом с собой автомат.

В дверях погреба, на предпоследней ступеньке, рядом с Конягой, сидит старуха, повязанная черным платком. Видимо, у них шел разговор, прерванный появлением Цыганова. Рядом со старухой, на земляной ступеньке стоит наполовину пустая крынка с молоком.

— Может, молочка попьете? — вместо приветствия обращается старуха к Цыганову.

— Попью, — говорит Цыганов и с удовольствием отпивает из крынки несколько больших глотков. — Спасибо, мамаша.

— Дай вам бог, на здоровьице.

— Что, одна тут осталась, мамаша?

— Нет, зачем одна. Все в погребе. Только старик корову в лес угнал. Вижу, хлопчик у вас лежит тут, — кивает она на Конягу, — такой тощенький да бледненький, вот молочка ему и принесла. — Она смотрит на Конягу с материнским сожалением. — Мои двое сынов тоже воюют, где они — кто их знает.

Цыганову хочется рассказать ей о Коняге, что этот худой маленький сержант — храбрый солдат и уже которые сутки идет, не жалуясь на боль в распухших ногах, и пять дней назад он застрелил двух немцев.

Но вместо этого Цыганов ободряюще похлопывает рукой по плечу Коняги и спрашивает его:

— Ну, как ноги, а?

И Коняга отвечает, как всегда:

— Ничего, подживают, товарищ лейтенант.

— В темноте, главное, друг друга не растерять, — говорит ему Цыганов. — Ты — крайний, ты за Жмаченко и за Денисовым следи. В какую сторону они, туда и ты, чтобы к селу вместе выйти.

— А мы уже тут с Денисовым сговорились, — отвечает Коняга, — вот через тот бродик и влево брать будем.

— Правильно, — говорит Цыганов, — вот именно, через бродик и влево, это вы правильно.

Ему хочется сказать Коняге что-нибудь твердое, успокоительное, что, мол, ночью будут они в селе и что все будет в порядке, все, наверно, живы будут, разве кого только ранят. Но ничего этого он не говорит. И кто его знает, может быть, вот этот Коняга, с которым он сейчас говорит, дойдет в своем солдатском пути только до этого села Загребля и никуда уж не пойдет дальше, а ляжет в землю под маленький безвестный холмик. На то и война.

Цыганов возвращается к себе. Уже почти совсем стемнело, и немцы, боясь темноты, все бросают по всему косогору мины. Цыганов смотрит на часы.

Если в последний момент не будет какой-нибудь перемены, значит до атаки осталось всего несколько минут. Но капитан Морозов, командир батальона, перемен не любит. Цыганов знает, что он сам пошел с ротой в обход Загребли, и, должно быть, если на то есть хоть какая-нибудь возможность, сейчас Морозов, утопая в грязи, уже обошел село и даже перетащил туда, как и хотел, батальонные пушки.

Несколько минут... Мысль о предстоящей смертельной опасности овладевает Цыгановым. Сейчас мокрая земля, лежащая впереди, кажется особенно неуютной, и жалко расставаться даже с этой жалкой глиняной стенкой, за которой лежишь. Он представляет, как они побегут вперед к Загребле и как будет стрелять по ним немец, особенно вот из тех домов — на самой

круче. Он представляет свист и шлепанье пуль и чей-то крик или стон, потому что непременно же будет кто-нибудь ранен в этой атаке. И неприятный холодок невольного страха проходит по его телу. Впервые за день ему кажется, что он озяб, сильно озяб. Он поеживается, расправляет плечи, одергивает на себе шинель и затягивает ремень на одну дырку потуже. И ему кажется, что уже не так холодно и страшно. Он упрямо старается подготовить себя к предстоящей трудной минуте, забыть о мокрой, грязной земле и о свисте пуль, о возможности смерти. Он заставляет себя думать о будущем, не о близком будущем, а о далеком, о городах, которые они еще будут брать, о границе, до которой они дойдут, и о том, что дальше будет, там, за границей. И, конечно, еще и о том, о чем думает каждый, кто воюет третий год, — о конце войны.

«А через Загреблю не перепрыгнешь, — думает Цыганов, — ее надо взять».

И от этой мысли ему, только что жаждавшему растянуть подлиннее оставшиеся до атаки минуты, хочется сократить их, начать сейчас же, сию секунду.

За селом, за полтора километра отсюда, вдруг разом раздается несколько пушечных выстрелов, и Цыганов узнает знакомый голос своих батальонных пушек. Потом сразу вокруг всего села вспыхивает пулеметная трескотня, и снова стреляют пушки.

«Все-таки дотащили их! В последнюю минуту!» — с восхищением думает о капитане Морозове Цыганов.

Поднявшись во весь рост, закусив зубами свисток, Цыганов громко свистит и бежит вперед, по косогору, вперед, вниз, к броду через неизвестный ручей, за которым лежит знакомое ему еще только по названию село Загребля.

1944

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Начинало чуть заметно темнеть.

Полковник через плечо оглянулся назад, где в эту минуту на острые крыши полуразбитого городка садился багровый, обещавший ветер, закат. Силуэты домов выделялись на багровом фоне, и полковнику вдруг показалось, что это горит Сталинград. Может быть, командующему пришла в голову та же самая мысль. Во всяком случае, он тяжело повернулся на кожаном сиденье машины, посмотрел в ту же сторону, что и полковник, и сказал с легкой одышкой, появившейся у него год назад, на Висле:

— Горит!

А затем уже в третий раз за последние пятнадцать минут повторил:

— Ну, что же, надо ехать.

Помимо служебных отношений, между ним и полковником существовала особого рода душевная связь, редко в чем проявлявшаяся внешне, но очень важная для них обоих.

Полковник с самого начала войны служил в одной дивизии с командующим и теперь командовал дивизией, которой когда-то, еще в Сталинграде, командовал тот. Командующий при всех обстоятельствах называл полковника только по имени и отчеству, и в редкие минуты неофициальных встреч полковник отвечал ему тем же.

Сейчас они только что просидели два часа вдвоем в длинной неуютной столовой немецкого помещичьего

дома на неудобных старых, обитых кожей, стульях с высокими готическими спинками, за неудобным слишком длинным столом.

В этой комнате все было чужое, и должно быть именно от этого острого ощущения чужбины они все два часа проговорили о Сталинграде, почти не прикасаясь ни к чему из стоявшего на столе.

Командующего уже полгода мучила язва желудка, он ничего не пил, кроме минеральной воды, и за обеденным столом лицо его приобретало брезгливое и недовольное выражение. Врачи советовали ему лечь на операцию, но он боялся. Восемь раз раненный и контуженный за войну, последний раз под Берлином, сейчас он не хотел и слышать об операции.

Разговор за столом отличался той отрывочностью и лаконичностью, какие бывают в разговоре двух людей, слишком хорошо знающих свое общее прошлое.

— А помнишь, Алексей Иванович, — начинал командующий, и по выражению его лица полковник уже понимал, что командующий сейчас вспомнил о Кривой Мечетке, об овраге, где они отбивали танковую атаку и где погиб майор Боровой.

— Мечетка? — спрашивал он. — Да?

— Да, — говорил командующий. — Хороший был человек.

И они оба на несколько минут замолкали. Перед их глазами проносились картины того зимнего дня на Кривой Мечетке, мертвые в грязных маскировочных халатах; дымный от разрывов снег, и майор Боровой, стоявший между ними и неожиданно и безмолвно упавший им на руки, в то время как они оба не были даже поцарапаны.

Или вдруг полковник, посмотрев на висевшую над столом громоздкую и безвкусную люстру, украшенную оленьими рогами, улыбнувшись, говорил только одно слово: «Катюша». И командующий тоже улыбался, и они оба безошибочно знали, что вспоминают о том же самом: о банкете, который был устроен в блиндаже командира дивизии в ночь после пленения Паулюса, и о том, как блиндаж был иллюминован двадцатью «ка-

тюшами», — сталинградскими осадными лампами, сделанными из сплющенных снарядных стаканов.

Словом, несмотря на разницу служебного положения, они были друзьями, и, как всяким настоящим друзьям, им было приятно встретиться не только для того, чтобы поговорить, но и для того, чтобы помолчать вместе.

Теперь командующий сидел в машине и не хотел уезжать. Для того чтобы еще несколько минут не уезжать, он придумывал разные предлоги: спрашивал о мелких подробностях, связанных с бытом дивизии, о последних учениях, о которых он и без того все прекрасно знал, и даже вдруг заметил, что в городке грязновато: немцы плохо подметают улицы.

Командующий был правителем этой немецкой провинции. Ему предстояло сейчас ехать принимать у себя чиновников из немецкой администрации. Это было дело не слишком им любимое, но, конечно, весьма нужное. И как ко всем прочим обязанностям, он относился к этому со своей обычной пунктуальностью.

— Ну, что же, трэба ехать с нимцями размовляты, — вдруг по-украински, озорно прищурив глаза, что редко с ним случалось в последний год, сказал командующий. — До побачення!

Он протянул руку полковнику и, задержав на минуту его руку в своей, спросил:

— Значит, сегодня приезжает?

— Приезжает, — сказал полковник. — Послал машину в Берлин. Должна сегодняшним московским поездом.

«Ну, как мы встретимся?» — так думала она,
Пока на всех парах курьерский поезд мчался

— неожиданно продекламировал командующий. — Есть такое стихотворение Апухтина. Читал?

— Нет, не читал, — сказал полковник.

— Прочитай. Впрочем, это не про вас. У вас, я думаю, будет лучше. А все-таки волнуешься? Да?

— Конечно, — просто сказал полковник.

— Ну, хорошо, — командующий выпустил его руку. — Передай от меня привет.

— А вы разве помните ее?

— Смутно. Но она-то помнит. Как-никак, а ведь тогда я был для нее начальством. А начальство забывать не принято. Ну, поехали, — крикнул командующий шоферу и, повернувшись к полковнику, широко и доверчиво улыбнулся.

Машина рванулась с места и понеслась по улице с сумасшедшей скоростью, которую любил командующий, вне зависимости от того, нужно было ему торопиться или не нужно.

Полковник долго стоял неподвижно и смотрел вслед машине. У него было неясное чувство грусти, от которого он не мог отделаться все эти два часа, проведенные с командующим.

Что-то в командующем огорчало его. Он не мог понять что. В последний раз они виделись две недели назад на учениях, и за эти две недели с командующим не произошло никаких перемен. А между тем ему сейчас показалось, что командующий сильно постарел, отяжелел, потолстел, какая-то нездоровая желтизна появилась у него на лице. Как-то особенно устало смотрели глаза. Может быть потому, что они вспоминали о Сталинграде, и он сравнил его, сегодняшнего, не с тем, каким видел две недели тому назад, а с тем, каким тогда видел его в Сталинграде. Наверное, так.

Да, с тех пор он сильно, сильно постарел. И еще эта одышка, появившаяся после бессонных месяцев на Сандомирском плацдарме.

— Надо ему отдохнуть, — подумал полковник и должно быть повторил эти слова вслух, потому что подскочивший ординарец спросил:

— Что поикажете, товарищ гвардии полковник?

— Что? Ничего, — сказал полковник и еще раз про себя подумал: «Отдохнуть». И подумал это не вообще и не о себе, а именно о командующем, так, как мы все, время от времени, думаем друг о друге.

Потом он повернулся и по широкой лестнице, украшенной оленьими рогами, поднялся во второй этаж — в столовую.

Теперь его мысли вернулись к предстоящей встрече. Он подошел к висевшему в простенке длинному и узкому зеркалу, остановился перед ним и долго смотрел

в него на себя. От того, что зеркало было длинное и узкое, он показался себе еще выше, хотя он и на самом деле был очень высок.

В эту минуту с ним случилось то, что случается с человеком, очень привыкшим ко всем предметам, стоящим у него, скажем, на письменном столе, и вдруг на один из них взглянувшим так, как будто он его никогда не видел.

Он каждый день смотрел в зеркало по утрам, когда брился, и однако сейчас вдруг не узнал в нем себя. Это был совсем не тот человек, каким он себя помнил.

Перед ним в зеркале стоял высокий полковник, такой высокий, что его широкие, чуть-чуть сутулившиеся плечи казались даже немножко узкими. Одет полковник был в полевой китель без орденов и ленточек, в длинные брюки и в сейчас вдруг показавшиеся ему странными черные гражданские ботинки.

Лицо у полковника было худощавое, с резкими чертами у губ и на подбородке и с несколькими глубокими морщинами на лбу. Волосы были зачесаны назад и от ровной, проступавшей повсюду, седины казались сивыми. Над верхней губой топорщились короткие, тоже начинавшие седеть, усы, которые он носил уже два года, но сейчас их присутствие на лице показалось ему странным.

«Когда же это я их отпустил? — подумал он. — Неужели еще на Днепре?»

Потом он окинул себя еще раз долгим взглядом с ног до головы и сказал вслух:

— Да, года сорок два.

Так он трезво оценил возраст человека, стоявшего в зеркале. Хотя на самом деле ему шел только тридцать четвертый год и он был самый молодой командир дивизии во всей армии.

— Петя! — закричал он. — Петя!

И голос его гулко и одиноко отдался под высокими сводами столовой.

— Слушаю вас, товарищ гвардии полковник, — сказал, подбегая, запыхавшийся ординарец.

Полковник перевел взгляд с себя на него и тоже вдруг не узнал его. Перед ним стоял одетый в стар-

шинскую форму немолодой сорокалетний человек с круглым лицом и с брюшком, начавшим округляться под туго затянутым ремнем. И полковнику показалось странным, почему этот совсем не похожий на его привычного Петю человек служит у него в ординарцах, почему он одет в военную форму и почему он, полковник, называет его Петей.

— Слушаю вас, товарищ гвардии полковник, — повторил ординарец.

— Подожди, сколько тебе лет? — спросил полковник.

— Тридцать семь, — удивленно сказал ординарец.

— Когда это ты живот завел? Кто это тебе разрешил?

Ординарец развел руками.

— Чтобы через два месяца спустил. Слышишь?

— Слышу, — сказал ординарец, — только... — Он улыбнулся и, переминаясь с ноги на ногу, почти застенчиво, сказал: — Только, Алексей Иванович, я через два месяца уже на гражданке буду. Вы даже не увидите, как я ваше приказание выполню или нет.

— На гражданке? Какая гражданка? — сказал полковник и вдруг вспомнил, что, конечно, это он забыл, а Петя прав: он действительно будет и не через два месяца, а гораздо раньше на гражданской работе, потому что по последнему указу он подлежит демобилизации.

«А как же я?» — чуть не вырвалось у него по-детски. Потому что ему действительно было трудно представить себе свою дальнейшую жизнь без этого человека. Но он сдержался и только сказал, осмотрев Петю с ног до головы:

— Ну, что же, на гражданке. Все равно незачем толстеть. А куда ты поедешь? — после паузы добавил он. И в тоне его голоса Петя почувствовал обиду на то, что он уезжает и бросает своего полковника.

— Куда же ты? — почти с удивлением снова спросил полковник.

— К себе, — сказал Петя. — К семье. У меня же семья.

— Ах, да, да, да, конечно, — сказал полковник. — Конечно, семья, конечно...

Он несколько раз повторил это, словно убеждал себя в том, что у Пети действительно может быть семья, которой он не видел четыре года. Но это соображение относительно петиной семьи дошло только до ума полковника. Чувство же его никак не могло помириться с тем, что у Пети есть семья — так он привык за все эти годы, что семья — это как раз и есть он и Петя, и тот дом, изба или блиндаж, в котором они в данный момент жили.

— Значит, семья, — сказал он уже с нескрываемым удивлением. — Интересно!

И он вдруг представил себе, что не Петя будет подавать ему утром завтрак на стол, а Петя будет сидеть за столом и ему будет подавать завтрак его жена, и что не полковник и Петя будут итти по заснеженному полю от командного к наблюдательному пункту, а просто Петя под руку с женой будет итти где-то в Москве, может быть, по улице Горького. И дети будут звать Петю не Петей, а папой. Совершенно точно: папой. И ему было странно, что кто-то будет звать Петю папой.

Он понял, что все эти годы он не только говорил Пете: «Петя, — сюда, Петя — туда, Петя, сделай то-то и то-то», — но что все эти годы он еще просто-напросто очень любил стоящего сейчас перед ним уже немолодого, толстеющего человека, одетого в солдатскую форму, любил, привык к нему и, по правде говоря, даже не совсем понимает, как будет жить без него.

Наступила долгая пауза.

— Товарищ гвардии полковник, — прерывая молчание, сказал Петя, — что вы меня вызывали?

— Тебя вызывал... — задумчиво сказал полковник, — вызывал. В самом деле, зачем же я тебя вызывал? Да, бритвенный прибор приготовь, быстро.

— Вы же брились сегодня утром, — сказал Петя.

— Усы сбрею, — сказал полковник.

— А вам в усах лучше, Алексей Иванович, — сказал Петя, не скрывая своего недовольства распоряжением полковника. — Лучше в усах, — убежденно повторил он.

— Хорошо. Иди, готовь.

— Лучше вам в усах, — в третий раз сказал Петя. —

Вы уже и фотографию в усах посылали. Едва ли Анна Николаевна довольна будет.

— Да? — переспросил полковник и поймал себя на том, что чуть-чуть не добавил: «Какая Анна Николаевна?» — так ему было странно, что его Аню вдруг назвали Анной Николаевной.

— Слышал, что я тебе сказал? — добавил он почти сердито, и Петя, пожав плечами, вышел. А полковник, заложив руки за спину, начал взад и вперед ходить по столовой своими огромными шагами, за которыми всю войну не поспевал никто из его подчиненных, сколько бы их ни менялось в дивизии.

Несколько дней назад полковник получил телеграмму, извещавшую его о том, что к нему выехала его жена. Два дня подряд он ездил на машине в Берлин и встречал московские поезда. Два дня по целому часу стоял на перроне, пропуская мимо себя всех приехавших, и уходил с перрона только тогда, когда состав начинали отводить на запасный путь. Сегодня он снова послал машину, но ехать сам был уже не в силах.

Через месяц исполнялось три года, с тех пор как они не виделись. История их совместной жизни состояла из нескольких недель счастья и нескольких лет разлуки. Они встретились на Сталинградской переправе, полюбили друг друга в короткие минуты между смертью, только что промелькнувшей мимо, и смертью, назойливо ждавшей их у выхода из блиндажа. Они повенчались, — если это можно было назвать венчаньем, — под стук жестяных кружек людей, сейчас уже давно сложивших свои головы. И в последний раз виделись на волжском берегу, среди горевших развалин тракторного завода, откуда ему надо было итти налево, в свой полк, а ей направо — в свой полк.

Потом ее почти смертельно ранило. Слово «почти» вписал в ее жизнь своими грубыми узловатыми пальцами фронтовой хирург в ту ночь, когда он оперировал ее и, узнав о начале нашего наступления, должно быть в честь этого совершил над ней чудо, на которое в обычные дни был неспособен даже он. . .

Полгода наступления по осенним, зимним и весенним хлябям Дона и Украины. Полгода тыловых госпи-

талей где-то в Средней Азии и в Сибири и, наконец, летом под Орлом принесенное в землянку письмо, написанное незнакомым почерком, потому что она раньше никогда не писала ему писем.

В письмо была вложена любительская фотография: неузнаваемо похудевшее лицо и огромные усталые глаза. Она писала, что вышла из госпиталя, что демобилизована, что учится на врача и работает. На штемпеле стояло «Барнаул». Письмо шло три с половиной месяца.

Он ответил ей письмом, шедшим тоже три с половиной месяца, в котором просил ее бросить все и ехать к нему под Орел.

Через восемь месяцев, под Тарнополем, его догнало ее колесившее за ним по дорогам войны письмо, где она писала что любит, что приедет непременно.

А дальше было то же, что было с миллионами людей, забывшими во время войны слово — «отпуск». Занимались города, форсировались реки, менялись номера дивизий и номера полевых почт, менялась дислокация тыловых госпиталей, эвакуировались и реэвакуировались институты, и письма, как люди, играющие в жмурки, беспомощно тыкались из угла в угол с завязанными глазами, не находя того, кого они искали.

От всего этого осталось пять или шесть недлинных писем и карточка исхудавшего лица с огромными глазами — маленькая пачка бумаги, лежавшая во внутреннем кармане кителя.

И еще осталось щемящее душу неизгладимое воспоминание о ее руках, натертых до ссадин рукавами подвернутой, не по росту большой шинели, о руках, которые он целовал в последнюю минуту их свидания в Сталинграде.

Он спустился в нижний этаж, в ванную. Там все было приготовлено для бритья.

Безразлично глядя в зеркало и на этот раз не видя своего лица, он намылил кисточкой усы и в несколько приемов быстро сбрил их. Потом, нарочно отдаляя тот момент, когда ему снова нужно будет посмотреть в зеркало, он долго мыл лицо горячей водой, плескался, фыркал и, насухо вытершись полотенцем и наощупь

причесав волосы, наконец, взглянул в зеркало. Ему казалось, что лицо его без усов переменится и помолодеет. Но оно до странности не переменилось. Те же складки у губ и подбородка, те же морщины на лбу, те же сивые виски... И даже не было ощущения, что чего-то нехватает в лице, так, как будто он никогда и не носил усов.

Он усмехнулся. Оказывается, война позаботилась о его внешности слишком основательно, для того чтобы предпринимать попытки перемен. Затея со сбриванием усов показалась ему смешной.

Взяв китель подмышку и перекинув полотенце через плечо, он пошел наверх, в спальню. Воротник кителя немножко жал, и ему захотелось посидеть пока так, просто в рубашке.

Едва он прошел половину столовой, как внизу громко хлопнула дверь, потом послышались быстрые шаги по лестнице. И хотя и хлопанье дверей и шум на лестнице — все это происходило по двадцать раз на дню, но он почувствовал, что то, чего он ждал, случилось — она приехала.

Сдернув с плеча полотенце, оглянувшись, он поискал, куда бы его приткнуть, и, не найдя лучшего места, кинул на висевшие на стене ветвистые оленьи рога. Потом, не попадая в рукава, натянул китель.

В открывшуюся дверь с неестественной быстротой вбежал Петя и крикнул:

— Приехала!

Стараясь хоть сколько-нибудь притти в себя, полковник медленно шел по столовой, одну за другой, с военной четкостью, застегивая пуговицы и почему-то считая про себя: «Раз, два, три, четыре». На пятом счете он дошел до двери. Оставались крючки. Он взялся за воротник обеими задрожавшими руками, рывком застегнул крючки и, выйдя на площадку лестницы, прежде чем посмотреть вниз, зажмурился и схватился за перила.

Ему казалось, что он сейчас упадет. Секунду или две он простоял неподвижно и открыл зажмуренные глаза.

По лестнице навстречу ему поднималась его жена, очень бледная, очень спокойная, в простом черном

платье, которое удивило его какой-то странностью. Только в следующую секунду он понял, что эта странность заключалась в том, что до этого он вообще никогда не видел ее ни в чем другом, кроме военной формы.

Она шла по лестнице медленно, не держась за перила, молча глядя на него своими большими прекрасными глазами. Если можно так сказать, у нее не было на лице никакого выражения, совсем никакого: ни волнения, ни радости, ни страха — ничего. Казалось, что она только бессловесно повторяет про себя: «Иду, иду, иду...» и повторяет это уж бог знает как давно и идет тоже бог знает как давно по бесконечной лестнице, наверху которой стоит он.

Вместо того чтобы броситься к ней навстречу, то-есть сделать то, что следовало сделать, он неожиданно для себя продолжал держаться руками за перила и похолодевшими губами повторять то, что он повторял давеча, идя через столовую. Только теперь он уже считал не застегиваемые пуговицы, а ступеньки лестницы, по которым она шла.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

А она все молчала и шла прямо на него, и ее не изменившееся лицо, молодое и красивое, было совершенно такое, какое когда-то он целовал в последний раз в Сталинграде. И когда она дошла до последней ступеньки, он вдруг отпустил перила, медленно потянулся к ней руками, взял ее руки, поднял их на уровень своего лица и поцеловал сначала одну, потом другую, туда, куда он целовал их тогда, в запястья. И с невероятной остротой вспомнил ощущение запекшихся ссадин, которых тогда касались его губы, и щекочущее грубое прикосновение рукавов шинели.

Потом он отпустил ее руки, и они поцеловались. Они поцеловались сначала стоя, потом как-то само собой сели на верхнюю ступеньку лестницы и поцеловались еще раз сидя. Потом он обнял ее за плечи так, что голова ее уткнулась ему в грудь, и, вытянув шею и глядя поверх ее головы, долго сидел и, молча, ничего не видя, смотрел в стену.

Со стеной творилось что-то невероятное: она то была стеной, то вдруг раздвигалась, исчезала, и на ее

месте мелькали обрывки каких-то воспоминаний, картины, совсем, казалось бы, не касавшиеся женщины, которую он сейчас обнимал. Кусок снежного поля, опустевший вокзал с содранной крышей, унылая линия железнодорожных путей и свинцовая вода с торчащими из нее обломками обрушившегося моста.

Нет, это были воспоминания, совсем не связанные с ней. Наоборот, может быть, это было как раз то, что разделяло их все эти годы.

Потом, когда он думал об этой секунде, он вспомнил, что ни одного из этих пейзажей он не видел в жизни. Откуда они явились, кто знает?

Так они просидели, наверное, несколько минут, может быть, даже больше, потому что внизу открылась дверь и в двери появились Петя и повар, несшие вдвоем огромный торт, как всегда в таких случаях неизвестно для чего сделанный и неизвестно кому нужный.

— Товарищ гвардии полковник, — сказал Петя взволнованным голосом.

— Да, да, да, да, да, — сказал полковник, все еще продолжая сидеть на лестнице и почти бессмысленно глядя на Петю. — Да, да, очень хорошо. Очень хорошо, спасибо.

И встав, он потянул за собой жену и, все еще не совсем отдавая себе отчет в том, что он делает, согнул в локте руку, а она так же безотчетно просунула под его руку свою, и они, повернувшись, взошли на последнюю ступеньку лестницы и медленно прошли в столовую.

Сзади них, стуча сапогами, поднимались по лестнице Петя и повар с тортом.

Полковник с женой под руку прошли всю столовую и повернулись. Когда они повернулись, повара уже не было. В дверях стоял один Петя и держал в руках торт. Полковник сделал шаг вперед, выпустил руку жены и, не зная, что делать, с некоторым сомнением протянул руки к подносу, на котором лежал торт. Но Петя, вместо того чтобы передать ему торт, отступил сам на шаг назад и неожиданно дрогнувшим голосом сказал:

— Товарищ гвардии полковник Алексей Иванович!

Он сказал все это без паузы, как полный титул.

— От имени сталинградских ветеранов по случаю вашего счастья, — продолжал он. И вдруг заплакал, и заплакал не по-мужски, а по-детски, как-то жалостно всхлипывая. Именно это заставило его опустить торт. Он быстро поставил торт на стол и, вытащив из кармана носовой платок и все еще продолжая всхлипывать, стал вытирать глаза.

— Ну, что ты, в самом деле? — сказал полковник. — Что ты, в самом деле? — и потряс за плечи Петю. — Петя, что ты, в самом деле? — повторил он в третий раз, чувствуя, что к горлу у него подкатывается комок.

— Сколько лет! — отрывисто, сквозь слезы, сказал Петя. — Сколько лет душа в душу. От живых и от мертвых. С праздником! — И снова отрывисто повторив: «Душа в душу», повернулся и выбежал, не закрыв за собою дверь.

На столе стоял торт, большой, с розовым кремом, по которому белым марципаном была выведена длинная поздравительная надпись.

А полковник стоял у стола, смотрел на этот нелепый торт, и слезы неудержно катились по его щекам. Воспоминания, до этой минуты, казалось, аккуратно, как костяшки домино в ящичке, сложенные в его душе, вдруг все переместились, потеряли обычный порядок, и хотя их попрежнему было ровно столько же, сколько раньше, они уже не могли влезть в эту коробку. Они неуютно ворочались в его душе, вылезали своими углами и, не помещаясь, выталкивали из его глаз наружу слезы.

— Алеша, успокойся, — говорила жена, обняв его за шею, поднявшись на цыпочки и губами и щеками вытирая с его лица слезы.

Он стоял и принимал это так, как будто виделся с ней все эти годы каждый день, как будто это все было не в первый раз, и только бессознательно запрокидывал назад голову, словно хотел, чтобы слезы обратно закатились под веки.

— Ну, что же, будем ужинать, — вдруг сказал он обыкновенным голосом.

— Хорошо, будем ужинать, — сказала она так же просто.

Они сели за огромный стол, на одном конце которого был накрыт холодный ужин на двоих. Стояло несколько бутылок вина с пестрыми иностранными этикетками и целый набор всех размеров хрустальных рюмок. Видимо, Петя хотел щегольнуть богатством и разнообразием сервировки. У прибора полковника лежали странно выглядевшие среди всего этого нож и вилка с потертыми черными деревянными черенками.

— Неужели до сих пор целы? — спросила жена, осторожно двумя руками, как реликвию, взяв ножик и разглядывая его.

— Целы, — сказал он, — конечно. А вот видишь это? Помнишь?

И он показал на стоявшую среди хрусталя стеклянную водочную стопку с полустершимся золотым ободком.

— Помнишь?

— Помню.

— Ну, какого тебе налить, красного или белого?

— Не знаю, — сказала она, глядя на него. — Все равно. Как хочешь.

И пока он наливал ей какого-то вина, она продолжала смотреть на него, не отрывая глаз от его лица. Его рука с бутылкой задержалась в воздухе.

— Что, переменился? — спросил он.

— Не знаю, — сказала она тем же тоном, каким отвечала на его вопрос о том, налить ли ей красного или белого вина. — Я просто смотрю на тебя.

— Смотришь и что думаешь?

— Ничего не думаю, просто смотрю.

Она говорила правду. Она в самом деле ничего не думала в этот момент. Просто сейчас в эти секунды его лицо приближалось к ней через тысячи километров расстояния, через тысячу дней разлуки, с той ужасной, щемящей и сладостной скоростью, с какой приближается земля к садящемуся на нее самолету.

И когда это лицо приблизилось так, что исчезло между ними все пространство, приблизилось так, что она могла дотронуться до него рукой, она протянула руку и через стол, как слепая, провела пальцами по его лицу, раз и другой.

Да, это было оно, его лицо.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего, — сказала она, еще раз провела пальцами по его лицу и продолжала смотреть на него, нащупывая другой рукой на столе рюмку.

— Ну, что же, выпьем.

Они залпом выпили по рюмке вина, не разобрав его вкуса.

— Очень хорошее вино, — механически сказал он неизвестно откуда взявшуюся фразу.

— Да, да, очень, — сказала она.

— Я тебе положу этого салата, — сказал он.

— Да, да, конечно.

Он положил салат на тарелку ей, потом себе, но они оба не притронулись к еде и продолжали сидеть молча.

Теперь он так же безотрывно, как только что она на него, глядел на нее, на ее лицо, и оно приближалось к нему так же точно, как за минуту до этого приближалось к ней его лицо, и они попрежнему молчали.

— Очень пыльно было в машине, — сказала она и кончиками пальцев потерла себе висок и показала ему пальцы. На них в самом деле был налет пыли, и он только сейчас заметил, что платье ее было совсем пыльное.

— Нет, я не хочу есть.

Она отодвинула от себя тарелку и приподнялась.

— Я хочу помыться. Хорошо?

— Хорошо.

— Где это? — Она вопросительно взглянула на него.

— Внизу.

Он взял ее за руку так, как берут детей, и пошел впереди, ведя ее за собой. Они спустились по лестнице. Он уже хотел повернуть по коридору налево, туда, где была ванна, но она остановилась.

— Смотри, — прижавшись к оконному стеклу, сказала она, — дождь.

В самом деле, на темном стекле были видны капельки дождя.

— Да, дождь.

— Дождь, — повторила она. — Пойдем скорей.

— Что? Куда пойдем? — спросил он.

— Туда, на воздух.

Теперь они переменились ролями, и она тянула его за руку. Они вышли из парадного и по короткой каменной лестнице спустились в прилегавший к дому парк. Накрапывал тихий и теплый дождь.

— Пойдем, — сказала она.

— Куда?

— Тут где-нибудь есть скамья, я хочу посидеть. Есть скамья?

— Есть, — сказал он.

— Ну, пойдем. Где это?

Они быстро пошли, почти побежали по усыпанной гравием дорожке, свернули на другую и, наконец, подошли почти к самому концу парка, где над обрывом, спускавшимся к реке, стояла низкая чугунная скамейка.

— Вот сюда, сюда, скорее, сядем, — лихорадочно сказала она.

Он вдруг, как ребенка, подхватил ее на свои большие руки, притянул к себе и сел на скамью, так и не выпуская ее из рук. Он не шевелился, не целовал ее, а только одним сильным лихорадочным движением прижал к себе и затих, уткнув свою голову в ее волосы.

И вдруг им сразу, одновременно обоим, стало страшно; страшно что всего того, что было сейчас, — могло не быть. Но каждый из них подумал об этом страшном по-разному и разное вспомнил в эту минуту.

Он вспомнил, как под Орлом у него на руках умирал его замполит, человек, которого его жена хорошо знала, но о смерти которого он забыл ей написать и еще не успел рассказать. Замполит умирал от смертельной раны в грудь. У него было разорвано легкое, и слова выходили из горла вместе с пеной и кровью. Он ужасно страдал физически, но его душевные страдания заставляли его забывать о боли — настолько они были сильнее и ужаснее. Ускоряя свою смерть, он повторял запекшимися губами одно за другим яростные слова, не похожие ни на одно из тех слов, которые он говорил обычно.

За два дня до этого он получил письмо от жены, которую уже год, как считал мертвой. Теперь он умирал и говорил о ней. Он говорил, как он ее любит, как

он соскучился, как он хочет ее видеть. Он говорил, как они познакомились, как они любили друг друга, какая она, какие у нее волосы, глаза, руки, как он не может вынести мысли, что она когда-нибудь выйдет замуж за другого.

«Выйдет, выйдет! — зло говорил он. — Выйдет!» Жизнь уходила из его тела, лицо его с каждой секундой белело, а страсть бушевала в его глазах так, как будто это лежал человек, которому предстояла жизнь, полная событий, а не умирающий. — «Так и не успел пожить по-человечески». — Это были его последние слова. Потом он закрыл глаза и стиснул зубы. Еще пять минут он умирал молча, не проронив ни звука.

Эту смерть с ужасной очевидностью вспомнил сейчас полковник. И безумный страх перед всем, что осталось позади, охватил его. Он испугался всех тех бесчисленных возможностей умереть и не встретиться, какие прошли через его жизнь за эти три года. Он с ужасом вспомнил все близко разорвавшиеся снаряды, все пролетевшие рядом пули, все бомбежки, все переправы, все бесконечно длинные простреливаемые пространства, которые, если бы сложить их вместе в одно, составили бы наверное двухсоткилометровое поле, по которому он шел под огнем. Шел день, два, три, четыре, пять подряд.

Она же, лежа на его руках, вспоминала совсем другое, и, однако, в сущности, почти то же самое, что и он. Ей тоже представлялась в эту секунду вся их трехлетняя разлука, как одно огромное поле, где стреляют. А он идет. Стреляют, а он идет. И так вся жизнь эти три года. И оттого, что она лежала сейчас на его руках, ей казалось, что вот так же на его руках она была все эти три года, и вот так он шел, держа ее на руках, и в него стреляли, а он шел.

Это было ужасно себе представить: эту землю, изрытую залитыми грязной водой воронками, скошенную осколками траву, зарывшиеся в землю ржавые осколки железа, из которых каждый мог быть убийцей, обрывки чего-то непонятного, и кусок кровавого бинта, застрявшего на стебельке осоки, и брошенный и вмятый в землю противогаз, — и мимо всего этого и по всему этому идет он с ней на руках. Идет год. Идет два. Идет три.

Капля дождя упала ей на лицо. Она открыла глаза, посмотрела вниз, под обрыв и, увидев узкую серую реку, протекавшую там, спросила, как называется эта река.

— Эльба, — сказал он.

— Эльба, — повторила она. — Эльба, — словно запоминая это слово. — Почему здесь? Почему в дождь? И почему так хорошо? А?

«Почему так хорошо?» — мысленно повторил он, и понял, что она спросила о самом главном. В самом деле, почему Эльба? Почему в дождь? И почему так хорошо?

И вдруг он понял все, что происходило с его душой в последнее время, в последние дни и сегодня. Он понял, почему командующий показался ему сегодня постаревшим и усталым, почему сегодня усталым и постаревшим показался себе он сам, почему было тяжело на душе, почему все было как-то не так, как хотелось.

Просто с ним не было этой женщины, которую он держал сейчас на руках, и не было ее год назад, и не было вчера, и не было даже сегодня утром.

А сейчас она была. И все окружающее менялось от этого с необыкновенной, сумасшедшей быстротой. И молодость, как многолетний цветок, после нестерпимого холода разлуки снова распускалась в его душе.

Многолетний цветок! ... Он вдруг с удивительной ясностью вспомнил какой-то зимний день много лет назад, когда он среди зимы приехал на дачу, где жил летом. Около веранды, из-под невысоких сугробов торчали обветренные стебли многолетних цветов. Они торчали из-под снега, почерневшие, сухие, казалось, не возвратимые к той летней жизни.

Как странно было представить себе, что летом с ними случится необычайное: они зацветут. И как в то же время это непременно должно было случиться. Так же непременно, как непременно то, что после зимы наступает весна.

1945

⁂

ОРДЕН ЛЕНИНА

Уже почти под утро, в ту первую ночь, когда меня перебросили в тыл, к югославским партизанам, мы, четверо русских, после бесконечных расспросов о Москве, наконец все-таки решили ложиться спать. Полковник, старший среди нас, сел на сено, накрытое полотнищами грузовых парашютов и служившее нам общей постелью, и, подав этим сигнал остальным, первый начал стаскивать с себя гимнастерку. При этом он невольно вывернул ее наизнанку, и я с удивлением увидел, что внутри, против нагрудного кармана гимнастерки, был привернут орден Ленина с большим круглым отверстием посредине, очевидно пробитым пулей.

— Не мой, — сказал полковник, встретив мой взгляд. — Только держу на хранении, привернул, чтоб, не дай бог, не потерять.

Он приподнялся на сене повыше, прислонился к мешкам с трепаной коноплей, заменявшим нам подушки, и, закурив сигаретку, рассказал мне первую из многочисленных историй, услышанных мною здесь потом.

— Летчик Владимир Сергеевич Ерихонов, старый пилот-миллионер гражданского воздушного флота, был подожжен немецким ночным истребителем недалеко от Загреба, в ночь своего семьдесят третьего полета к партизанам. Самолет горел и начинал разваливаться в воздухе. Ерихонов выбросился последним. Приземляясь, он сломал ногу, и когда через двое суток его, единственного из всего экипажа, нашли партизаны, он не мог сделать

ни шагу без посторонней помощи. Собственно, его нашли не партизаны, а один партизан, Мирко Николич, тринадцатилетний хорватский мальчик, отличавшийся от всех других мальчиков своего возраста двумя вещами: во-первых, на груди его был бронзовый значок с цифрой 1941, означавший, что Мирко Николич партизанит уже три года, и, во-вторых, у него через плечо на веревке висел немецкий автомат, из которого он умел хорошо стрелять. Эти две отличавшие его вещи в свою очередь породили в его характере два свойства — не удивляться и не пугаться при виде смерти, и очень сердиться при всяком праздном упоминании о его возрасте, особенно со стороны людей, у которых не было такого же значка с цифрой 1941, какой был у него.

В остальном он был вполне ребенок, доверчивый, наивный и любопытный.

Когда он, отправившись за ягодами (потому что в батальоне пятые сутки нечего было есть), вдруг наткнулся на сидевшего у скалы с револьвером в руке Ерихонова, он обрадовался, в первый раз в жизни увидав русского летчика.

Заметив звезду на пилотке мальчика, Ерихонов положил на землю револьвер, вздохнул и облегченно выругался разом за все: и за гибель самолета, и за сломанную ногу, и за двухсуточный страх плена.

Первые русские слова, которые таким образом услышал Мирко Николич, были отнюдь не цитатой из Тургенева. К счастью, он их не понял. Он понял только, что это летчик — по шлему, что это русский — по обмундированию и что это больной — по неестественно согнутой, безжизненно торчавшей ноге.

Объяснить самым деловым образом, что сейчас он пойдет за помощью, было для Мирко делом одной минуты. Ерихонов кивнул — он понял. Теперь надо было, не теряя времени, бежать за лошадью. Но в душе Мирко ребенок взял свое. Он опустился на колени рядом с Ерихоновым и уставился глазами в заинтересовавший его предмет.

На груди у русского летчика был портрет Ленина, — несомненно, это был портрет Ленина, Мирко знал его

лицо, — но только почему-то очень маленький, круглый и сделанный из золота и серебра.

— Ленин? — спросил Мирко.

— Ленин, — ответил Ерихонов, попробовал поудобнее сесть и крякнул от боли.

Мирко вскочил, положил рядом с Ерихоновым свой автомат и, показав жестом, что надо делать из автомата, если появится до его прихода кто-нибудь чужой, убежал. Через час партизаны пришли с лошадью и забрали Ерихонова к себе. Надо сказать, что Ерихонов попал к ним в неудачное время. Уже третью неделю здесь шла большая немецкая офанзива (так партизаны называли наступление), и приходилось уходить все дальше в горы, каждую ночь меняя место. Батальон, первоначально оставленный в арьергарде, был давно отрезан от всех остальных и мог рассчитывать только на свои силы.

Фельдшер наложил на сломанную ногу Ерихонова грубые лубки, стянул лубки веревками — и медицинская помощь на этом и кончилась.

Лубки по указаниям фельдшера вытесывал из молодой елки сам Мирко, он же помогал стягивать веревки. И теперь, когда Ерихонов ехал, лежа на скрипучей узкой арбе, Мирко шел следом, то заговаривая с Ерихоновым, то молча шевеля губами и по целым часам думая о чем-то своем.

На третьи сутки, после короткого боя, партизаны еще раз свернули и забрались в совершенную горную глушь. Арбу пришлось бросить. Ерихонова посадили на лошадь верхом, подвязав справа к седлу доску, на которую Ерихонов мог положить свою сломанную ногу.

Мирко попрежнему шел с ним, только теперь не сзади, а рядом и всегда со стороны больной ноги. Он охранял ногу Ерихонова, отгибал и ломал ветки и иногда брал лошадь под уздцы.

Так прошло больше недели. Несколько человек было убито. Кое-как перевязанные раненые, закусив губы, карабкались по камням рядом со здоровыми. Один, у которого были перебиты ноги, не предупредив никого, застрелился. Он не мог итти, а на единственной лошади, которая принадлежала раньше командиру батальона, теперь ехал Ерихонов.

С общего молчаливого согласия честь забоститься об Ерихонове была предоставлена Мирко. Он поил Ерихонова водой из своей немецкой фляжки, он ощипывал и жарил ему на костре птиц, если удавалось их подстрелить. Когда же вовсе нечего было есть, он вдруг исчезал, уступив на время свое место другому партизану, и возвращался, неся в руках пилотку, в которой лежало несколько огрызков сухарей, крошечных кусочков засохшего сыра и два или три стручка паприка. Партизаны отдавали для русского последнее, что у них было припасено на совсем уже черный день.

Мирко в этих случаях не приходилось просить, он просто молча шел от одного к другому, и они знали, что сегодня он сам не достал ничего, чем можно покормить русского, и так же молча, как и он, шарили по карманам и ссыпали ему в пилотку последние крохи.

Подойдя к Ерихонову, Мирко протягивал ему пилотку и вдруг становился необычайно говорливым. Он чувствовал подозрительный взгляд летчика и изо всех сил старался не дать ему заговорить и спросить, откуда берется эта еда. Он задавал Ерихонову множество вопросов о Москве, о русской армии, о его полетах — и Ерихонов, который все еще понимал хорватский язык только с пятого на десятое, невольно отвлекался, пытаясь с трудом подыскать понятные для мальчика слова.

На третий или четвертый раз Ерихонов, приняв от Мирко пилотку, стиснул ее в свободной от поводьев руке и, не притрагиваясь к еде, приказал Мирко взять лошадь под уздцы и отвезти его к командиру батальона Николе Петрич.

Петрич был рослый угрюмый белградский металлист, молчаливый и в обычных обстоятельствах, а в последние дни вообще не выдавливавший из себя ни одного слова, кроме самых необходимых приказаний.

— Откуда эта еда? — сухо спросил Ерихонов, подъехав к нему. — Я не хочу есть один, когда все другие голодают.

Петрич посмотрел на дно пилотки, потом на Ерихонова и понял, что лгать в этих обстоятельствах бесполезно.

— Ты тоже сбрасывал нам пушки, машинки и патроны не потому, что они там у тебя в России были лишние, — сказал Петрич.

— Все равно, если так будет продолжаться, я буду выбрасывать это на землю, — упрямо ответил Ерихонов.

— Как хочешь, — сказал Петрич и, показав сначала на Мирко, а потом на пилотку, добавил: — Он все равно будет тебе приносить эти крохи каждый день, если не будет другой еды.

Они с минуту упрямо смотрели друг другу в глаза, потом Петрич повернулся и отошел.

Он возвращался по тропинке на свое обычное место в голове отряда и думал о том, что этот русский летчик — хороший, упрямый человек и, будь он, Петрич, на его месте, он сам непременно так же спорил бы.

И тем не менее — не стоило отказываться от этой еды человеку, который семьдесят два раза (Петрич знал это от Мирко) перелетал ночью через горы над головами немцев и, наверное, вооружил не одну и не две партизанских бригады, а теперь со сломанной ногой ехал на его лошади.

Петрич, как и большинство окружавших его людей, редко и неохотно говорил вслух о своем отношении к русским. В их душах жили любовь и признательность к ним — глубокие и молчаливые.

Само собой подразумевалось, что последний сухарь в батальоне съест именно этот русский, и так же ясно было, что если придет конец, то будет сделано все, чтобы русский спасся.

Что до Ерихонова, то он, не притронувшись к еде, засунул пилотку в седельный карман. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на следующий день Мирко не подстрелил из автомата какую-то мало съедобную, но большую птицу. Ее хватило им на целых два дня. А на третий день после этого разговора остатки батальона были загнаны немцами в глубокое ущелье, почти не имевшее выходов. Оставалась только надежда неожиданно перевалить через неприступную вершину горы и так, быть может, выйти к своим. Но прямо через гору не было даже тропок, и лошадь не могла пройти. Нести

Ерихонова на носилках было безнадежным делом, — носильщики сорвались бы в пропасть вместе с ним.

Из ущелья, правда, вела в обход горы еще одна тропа, но она выводила на равнину, где в каждом селе был немецкий гарнизон. Отряд не мог итти туда, но два-три человека, пожалуй, смогли бы там спрятаться и потом незаметно исчезнуть.

Петрич вызвал к себе двух автоматчиков и Мирко.

— Вы пойдете с русским по тропинке в обход горы, — сказал он автоматчикам.

Он объяснил, как и куда сворачивает тропинка: сначала нужно повернуть влево, а потом, когда будет развилка, — вправо.

— Вы дойдете с ним до ближайшего села и спрячете его там, пока он не выздоровеет.

— Нас, наверно, на тропе по дороге встретят немцы, — покачав головой, сказал один из автоматчиков.

— Не знаю. Думаю, что они знают, что мы туда не пойдем. Во всяком случае, когда вы уйдете, мы здесь начнем бой: все немцы, что есть поблизости, пойдут на нас.

— Как же ты начнешь бой? — снова рассудительно заговорил автоматчик, знавший, что главная надежда для батальона заключалась в том, чтобы начать взбираться на голую вершину сейчас же, в сумерках, и ночью.

Петрич поморщился. Он знал это и сам.

— Вы должны спасти летчика. Он русский и он летчик, — сказал он и отвел в сторону Мирко.

— Ты нашел летчика, ты должен его довести, — в голосе его не чувствовалось никакого снисхождения к возрасту Мирко. — Ну, иди.

Петрич похлопал его по плечу, повернулся и ушел.

Через десять минут два автоматчика, Мирко и Ерихонов двинулись по еле заметной тропке, шедшей вдоль горы, мимо немцев.

Когда Мирко сказал Ерихонову о предстоящем пути, умолчав, однако, о том, что Петрич будет тем временем вести бой, Ерихонов кивнул головой и сказал только два

слова: «Ладно, Николич». Вынув пистолет из кобуры, он положил его за пазуху.

Мирко звал Ерихонова, так же как звали друг друга все партизаны, — на «ты» и по имени — Володей.

Что же до Ерихонова, то он всегда называл Мирко по фамилии — Николичем; он привык называть по фамилиям товарищей в своей летной части.

Но сейчас эти привычные слова: «Ладно, Николич» вдруг прозвучали как-то неожиданно грустно, словно они прощались, и Мирко вздрогнул, подумав о предстоящей опасности.

Через полчаса пути, когда начало совсем смеркаться, они услышали позади себя перестрелку. Сначала послышались автоматные очереди, потом начали стрелять минометы — все чаще и чаще.

Ерихонов остановил лошадь и прислушался. Мирко видел в полутьме его удивленное, печальное лицо.

— Володя, поедем, — сказал Мирко.

— Подожди!

Ерихонов долго прислушивался, потом молча повернул лошадь и поехал назад. Он все понял.

Мирко забежал вперед и схватил лошадь под уздцы.

— Володя! — умоляюще повторил он, глядя в глаза Ерихонову.

Оба автоматчика тоже стали перед лошадью Ерихонова, загораживая ему дорогу.

— Уйди! — не своим голосом крикнул Ерихонов и дернул поводья.

Но Мирко и оба автоматчика продолжали стоять неподвижно.

Стрельба все разгоралась. Ерихонов понимал, что поздно что-нибудь изменить, что для этих людей, которые сейчас там дрались, спасая ему жизнь, не могло быть ничего страшней и бессмысленней их возвращения, и, однако, ему было не легче от этого. Стыд и бессильное отчаянье овладели им.

— Эх, вы! И помереть-то вместе со всеми, как человеку, не даете, — сказал он и неожиданно для себя заплакал — в первый раз за три года войны.

Теперь он относился ко всему безучастно. Мирко повернул его лошадь и повел ее под уздцы. Ерихонов ехал

молча, угрюмо опустив голову, и за всю ночь не сказал больше ни одного слова.

За ночь они два раза повернули так, как им сказал Петрич. Второй раз Мирко долго сомневался: ему казалось, что идущая влево тропа — не тропа, а просто след высохшего ручья, но, посоветовавшись, они все-таки решили, что это развилка двух троп, и повернули направо.

На рассвете, поднимаясь на крутой склон и выехав из-за большого камня, они наткнулись на немцев. Немцы, как и ожидал Петрич, ушли туда, где был бой, но патруль из четырех человек они все-таки на тропинке оставили.

Их было четверо на четверо. Но немцы, потому что Ерихонов ехал верхом, первые заметили их и первыми начали стрелять.

Один автоматчик сразу молча упал, другой залег за осыпь камней и, хрипло крикнув: «Мирко, уводи летчика!», дал первую очередь.

Мирко изо всей силы наотмашь ударил рукой лошадь по крупу, она повернулась и бросилась вскачь назад, но Ерихонов, натянув поводья, круто остановил ее за огромным камнем, стоявшим у дороги. Перекинув здоровую ногу, он неловко пытался слезть с лошади.

— Володя! — почти плача, крикнул Мирко.

Но Ерихонов не слушал его, он вытащил из-за пазухи револьвер и все пытался освободить застрявшую ногу и слезть.

Мирко в отчаяньи схватил лошадь под уздцы и силой потянул ее назад под гору.

Автоматная очередь задребезжала по камню, и Мирко скорее почувствовал, чем увидел, что Ерихонов бессильно обвисает на теле лошади.

— Уведи летчика! — еще раз, между двумя очередями, крикнул автоматчик.

Мирко вскочил на круп лошади, ухватил одной рукой поводья, а другой с недетской силой обнял Ерихонова и, дернув лошадь, выскочил из-за камня обратно на тропу.

Тропа шла под уклон. Лошадь, спотыкаясь, отчаянно запрыгала с камня на камень, все быстрее и быстрее, потом сползла, упираясь копытами, по каменной осыпи

и галопом помчалась по узкому каменному руслу ручья между трещавшими и смыкавшимися над их головами ветками.

Так они проехали еще минут пять. Потом лошадь вдруг начала валиться на бок, и Мирко едва успел соскочить, чтобы поддержать беспомощно падавшего вместе с лошадью Ерихонова.

Кругом был глухой кустарник. Мирко оттащил Ерихонова от лошади, бившейся на земле, и, посмотрев на ее окровавленный круп, зажмурившись, в упор выстрелил ей в голову.

Ерихонов лежал неподвижно. Мирко расстегнул ему пояс и задрал гимнастерку. Вся левая половина груди Ерихонова была залита кровью, и Мирко подумал, что он убит.

Если бы Мирко был немножко старше и немножко терпеливее, он бы, наверное, растормошил Ерихонова, прислушался к его сердцу и понял бы, что Ерихонов жив и что две касательно прошедших пули только разодрали ему грудь, даже не задев кости.

Но Ерихонов был в глубоком обмороке. Мирко не знал, что при этом у человека почти не заметно дыхания. Он трижды отчаянно крикнул:

— Володя!

Летчик не отзывался, и остолбеневший от горя и ужаса Мирко опустился перед ним на колени.

Побелевшими губами он шептал про себя какие-то неслышные даже ему самому слова и с отчаяньем вспомнил, что сказал ему на прощанье Петрич. Наверное, ночью они спутали тропу.

Сзади громко донеслись выстрелы. Мирко вскочил, ощупал свой автомат, о котором в последние минуты совсем забыл.

Снова опустившись на колени, он дотянулся до окровавленной гимнастерки Ерихонова и стал отвинчивать орден Ленина. Он не тронул других орденов — только этот, о котором говорил Ерихонов, что он самый главный.

Отвинтив орден, Мирко скинул с себя домотканный рыжий армячок и остался в одной зеленой партизанской рубашке.

Пошарив по земле, он нашел ветку с острым сучком и, проколов им свою рубашку, привинтил орден на грудь.

Потом он встал. Он знал, что мертвым отдают честь, но, потянув руку к пилотке, почувствовал, что сейчас заплачет, повернулся и, на ходу перевесив автомат с плеча на шею, быстро пошел вниз по руслу ручья.

Он ясно, как никогда еще в своей детской жизни, знал, что ему теперь предстояло.

Через четверть часа он добрался до места, где они встретили немцев. Он вылез шагов на тридцать выше тропы. Сверху были видны неподвижно лежавшие тела четырех убитых и два живых немца, один из которых стоял, прислонившись к дереву, и курил, а второй, сидя на корточках, сняв каску, устало вытирал платком лицо и лысую голову.

Мирко сделал еще несколько шагов. Мелкие камешки посыпались из-под его ног. Немец, стоявший у дерева, потянулся к автомату. Но Мирко уже нажал на спуск. Под треск длинной очереди, дергаясь вместе с прижатым к животу автоматом, он увидел, как немец взмахнул руками и стал падать.

Мирко в упоеньи все еще нажимал на спуск онемевшим пальцем — и когда немец падал, и когда он уже лежал на земле. Второй немец выстрелил из винтовки. Мирко вскинул снова автомат, еще раз нажал на спуск и только тут понял, что он одной очередью выпустил все патроны.

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, не выпуская из рук автомата, он побежал вниз, прямо на немца.

Немец выстрелил еще раз. В первую секунду Мирко не понял, что он ранен, ему просто показалось, что он споткнулся. Уронив автомат, он упал вниз с откоса, но, зажмурившись от боли, повернулся и сел. Он был ранен в живот, у него сразу онемели ноги, и он с удивлением почувствовал, что не может встать.

Он продолжал сидеть, прислонившись спиной к камню, молча глядя перед собой. Немец подошел к нему почти вплотную, но Мирко продолжал смотреть мимо него, — его уже ничто больше не интересовало. Теряя

сознание, он все силился понять, почему он не может подняться.

Так он и умер с этим удивленным выражением лица. Подойдя к мальчику, немец заметил на груди у него что-то блестящее, не то значок, не то орден. Он вскинул винтовку и, прищурив один глаз, тщательно прицелился и выстрелил...

— Вот и вся история, — сказал полковник. — Потом партизаны нашли тело и русский орден отдали нам, русским, хотя, по чести говоря, будь я тогда там, я бы похоронил мальчика, не снимая орден с его груди.

— А что же с Ерихоновым? — спросил я.

— Ничего. Летает. Еще раз обнаружил живучесть русской натуры. Очнулся, пять суток полз, потом подобрали. Потом резали, сшивали и штопали. Это уж вам пусть лучше доктор расскажет.

Полковник помолчал и добавил:

— Уже месяц как снова летает, но все в Словению да в Черногорию. Обещал зайти за орденом, когда прилетит сюда.

Послышалось гудение снижавшегося самолета.

— Я думал — больше никто не прилетит сегодня. Больно паршивая погода, — сказал полковник.

— А вдруг как раз Ерихонов? — спросил я.

— Возможно. Он, говорят, уже за сотню полетов перевалил. Когда никто не летает — он летает. Он говорит, что для людей, которые один раз воскресили его из мертвых, ему не жаль умереть второй раз.

1944

КАФЕ «СТАЛИНГРАД»

По дороге из Лясковаца на Пирот мы остановились на ночлег в городке Власотинцы. Городок был взят у немцев только позавчера, но маленькая харчевня, в которой мы, ужиная, засиделись далеко за полночь, уже называлась кафе «Сталинград».

Это величественное название, написанное красной краской на разбитом и заклеенном стекле единственного окна, выглядело наивно и трогательно, вызывая невольную улыбку.

Нас было человек пятнадцать, и хозяин сдвинул вместе все три грубых деревянных стола, находившихся в кафе.

Ужин, который, впрочем, был для нас одновременно и завтраком и обедом, потому что мы ничего не ели со вчерашнего дня, тянулся добрых два часа.

Покончив с мясом и красным перцем, в разных комбинациях составлявшими все наличное меню, мы еще долго сидели, греясь у большого очага и с удовольствием прополаскивали опаленные перцем глотки кисловатым белым вином.

Командир бригады майор Симич, взяв со стола кувшин с вином, поднял его и неуловимым движением, как-то по-особому наклонив и чуть повернув, на лету прямо ртом поймал начавшую литься оттуда струю. Потом он начал отодвигать руку с кувшином все дальше и дальше от лица, но струя попрежнему неизменно попадала ему в рот.

Когда он снова поставил кувшин на стол, не произнесший до этого за весь вечер ни слова молчаливый русский капитан, приехавший в город для оборудования аэродрома, повернулся к Симичу.

— Наверно, в Испании бывали? — спросил он.

— Бывал, — ответил Симич.

— Там все так вино пьют, — сказал капитан и, закурив, снова погрузился в молчание.

Симич долго смотрел на бушевавший в очаге огонь и наконец задумчиво сказал, обращаясь ко мне:

— В очаге всегда видишь какие-нибудь картины. Верно?

— Картины?

— Да. Смотришь и вспоминаешь. Огонь всегда на что-нибудь похож. Вот сейчас он весь языками — как будто горы около Сантандера, и сучки щелкают, как выстрелы.

При этих словах лицо его, обращенное ко мне, стало задумчивым и печальным.

— Вы что, были в последние дни Сантандера? — спросил я.

— А иногда, — сказал он, прямо не отвечая на мой вопрос, — иногда видишь в огне лицо человека, которого нет, и это, конечно, уже вовсе фантазия, потому что огонь совсем не похож на лицо человека. А все-таки видишь. Да, я видел последние дни Сантандера и как раз вспомнил одного человека, с которым мы были там вместе в интернациональной бригаде.

Симич не был разговорчив, но я успел заметить, что, раз начав говорить о чем-нибудь, он обычно договаривал до конца все, что было у него на душе.

Я молчал и ждал продолжения.

— Я командовал там батареей, а он у меня был в батарее командиром орудия, — после длинной паузы сказал Симич. — Он был болгарин. Попов. Правда, у него была там другая фамилия, но это не важно, я знал настоящую. В последний день у нас из четырех осталось две пушки. Все лошади были побиты бомбежкой, пушки двигали на руках, а чтобы вообще утащить их, нечего было и думать. Испанская зима — дождь и грязь. . .

— Да, там зимой грязь отчаянная, — второй раз неожиданно отозвался русский капитан и так же неожи-

данно замолчал и отвернулся, как будто эти слова были сказаны не им, а кем-то другим.

— Совершенно верно, — сказал Симич, — грязь ужасная. Скоро мне разбили еще одну пушку и убили расчет, и я пошел к Попову. Последняя пушка была его.

И в это время как раз пошли немецкие танки и марокканцы. Мы стали стрелять по ним. У Попова остался только один человек и я. Мы подносили снаряды и заряжали, а Попов стрелял. Потом у нас убило еще одного. Мы остались с Поповым вдвоем. Все время, не переставая, шел сильный дождь. Но Попов, когда я подошел, был без своей кожаной куртки, а потом стащил с себя рубашку и остался полуголым. Ему было жарко.

Скоро мы подожгли один танк и как будто еще один, но снарядов у нас оставалось всего три штуки.

Тогда Попов оторвался от пушки, нагнулся и достал наполовину закопанный в землю кувшин с пивом.

«Какая жара, а, Пабло?» — сказал он мне. (Меня так там звали — Пабло.)

Он пил из этого кувшина по-испански, как я недавно, — ловил струю ртом, жадно глотал и все повторял: «Жара, Пабло, жара». По его голому телу текли струи дождя.

Я тоже напился из кувшина, и мы выпустили последние три снаряда. Попова ранило прямо в грудь, и он упал. Я вынул замок из пушки, закинул его подальше и поднял Попова на плечи.

Он говорил мне то, что многие говорят в такие минуты: «Слушай, Пабло, оставь меня, Пабло». И ругался на всех трех языках, которые он знал.

Но я дотащил его до ущелья и опустился вниз. Республиканцы подобрали там нас обоих, потому что я тоже был ранен.

Его отправили из Сантандера с последней партией раненых, которая оттуда выбралась. А я остался. Я был ранен не особенно тяжело.

«Спасибо, Пабло, прощай», — сказал он мне, когда его увозили.

«Почему — «прощай»? Еще увидимся», — сказал я ему, хотя на самом деле совсем не думал, что мы с ним увидимся.

Симич долго молчал, ожесточенно колотя кочергой головешки в очаге. Потом почти сердито сказал:

— Откуда я мог знать, что мы с ним увидимся? Я был из тех, кто в Испании допил всю чашу до дна. Ведь в Европе тогда еще не хотели понимать, что такое фашизм. Я переходил французскую границу, сидел два года во французском концлагере, бежал, потом сидел в немецком концлагере, опять бежал. Откуда я мог знать, что мы увидимся? Этого никто не мог тогда сказать.

Он снова свирепо заколотил кочергой по головешкам, словно вымещая на них неутихающую горечь своих воспоминаний.

Разбив все до одной головешки на маленькие угли, он сказал снова спокойно:

— Ну, вот, можно закрывать трубу... Полгода назад меня послали командовать бригадой в Северную Македонию. Там было тогда плохо, и туда многих посылали.

Я шел пешком через горы одиннадцать суток и добрался до бригады вечером на двенадцатые, усталый и более злой, чем обычно.

Начальник штаба доложил мне о делах, которые последний месяц шли не слишком весело. В заключение, оставив эту неприятность под самый конец, он сказал, что из трех командиров батальонов двух нет в строю: один убит, а другой вчера тяжело ранен.

«Где он?»

«Похоронен».

«Да нет, раненый?»

«Здесь, в соседнем доме».

Я сказал, чтобы меня провели к раненому. В деревне уже два раза побывали немцы, и от нее остались только развалины. В доме, в который я вошел, не было ни дверей, ни оконных рам, с остатков крыши струи дождя падали прямо на глиняный пол. Раненый лежал в углу на охапке мокрой соломы, накрытый с головой двумя шинелями, и хрипло, со свистом, дышал, так, что было слышно на весь дом.

«Что, легкое прострелено?» — тихо спросил я.

«Да», — сказал начальник штаба.

Раненый застонал и что-то быстро проговорил. Я наклонился к нему, стараясь понять.

«Это он бредит, — сказал начальник штаба. — Ты не поймешь. Он вообще хорошо по-сербски говорит, а когда бредит — все по-своему. Он болгарин».

«Давно в бригаде?» — спросил я.

«Год, — сказал начальник штаба. — Перешел границу и пришел к нам. Бойцом начал. Храбрый человек».

Раненый повернулся на соломе, открыл глаза и, несмотря на его измученное, мокрое от холодного пота лицо, я узнал его.

«Попов!» — позвал я его.

«А, Пабло», — сказал он спокойно, и потому, что он нисколько не удивился, я понял, что он умирает.

«Сядь! — сказал он. — Только подложи шинель, тут мокро».

Я сел рядом с ним, пожал ему лихорадочно горевшую руку и сказал, что я назначен командиром их бригады и он теперь снова будет служить под моей командой.

Он ничего не ответил: он слишком хорошо знал, что уже не будет служить ни под чьей командой.

Мы несколько минут просидели молча. Потом он чуть-чуть приподнялся на соломе, прислонил голову к стене и сказал:

«Опять в грудь. Как тогда. И, ты знаешь, — опять танк».

«Тяжелый танк, — вмешался в разговор начальник штаба. — Он сам встал за пушку и зажег его. Он тебе расскажет. Ты расскажи командиру», — обратился он к Попову.

Но Попов ничего не ответил. Видимо, все это было уже от него далеко и мало его интересовало.

Помолчав с минуту, он дотронулся до моей руки и тихо сказал:

«Ты, Пабло, не ожидал меня здесь встретить, да?»

«Почему не ожидал?» — сказал я.

«Не ожидал, не ожидал, — упрямо повторил он. — Я же болгарин».

«Ты антифашист», — сказал я.

«Да, да», — горячо прошептал он, и по той неожиданной силе, с какой он вдруг стиснул мою руку, я понял, что сейчас он заговорит о том единственном, что в эти минуты еще волновало его.

«Да, да, — еще раз повторил он, — и ты не верь тому, что говорят про наш народ из-за того, что этот проклятый болгарский экспедиционный корпус стоит здесь, в Македонии».

«Про народ ничего не говорят», — сказал я.

«Говорят, говорят, — зашептал он. — Болгары, болгары. И про меня когда-то говорили, когда я был жив».

Он, очевидно, так свыкся с мыслью о неизбежности смерти, что бессознательно сказал о себе в прошедшем времени.

«Хороший, хотя и болгарин, храбрый, хотя и болгарин. . . Нельзя так! Димитров тоже болгарин. А этих, которые сейчас там в Софии, фашистов, — мы их расстреляем. Помнишь, как мы с тобой расстреляли тех, из пятой колонны, в Кордове? Помнишь?»

«Помню», — сказал я.

Он еще выше приподнялся на соломе и, глядя мне прямо в глаза своими лихорадочно блестящими глазами, переждав приступ мучительного кашля, громко сказал:

«Наш народ сейчас, как больной, но он выздоровеет. Веришь?»

Я хотел сказать, что вполне ему верю, но он снова перебил меня, и я понял, что он ничего не хочет сейчас слушать, что перед смертью он хочет только говорить.

«Выздоровеет! — повторил он. — А я умру».

Мысль о смерти, очевидно, напомнила ему вчерашний день, и, неожиданно, устало улыбнувшись, он сказал:

«А танк был совсем, как тогда, и дождь шел. Только не было пива, — помнишь, — из горлышка. . .»

Он бессильно опустился на солому и, закрыв глаза, попросил:

«Слушай, спой «Бандера Роха».

Я молчал.

«Спой».

Было странно вдруг петь здесь, в разбитой македонской хате, старую песню испанских республиканцев, но я не мог ему отказать и неуверенным голосом спел один куплет.

«Дальше», — сказал он.

«Дальше я не помню».

«А я помню. — Он запел, но снова закашлялся. — Нет, не могу петь. А все-таки, Пабло, не для того, — сказал он совсем тихо, после долгого молчания, — не для того мы там вместе стреляли из одной пушки — ты и я, чтобы здесь сидел этот проклятый экспедиционный корпус. Не для того. — повторил он с нескрываемой горечью и мукой. — Не может быть, чтобы так было и дальше. Не может этого быть!»

Это были последние слова, которые я от него слышал. Он сделал такое движение, как будто, кончив разговор, хотел повернуться к стене. И затих, тяжело, со свистом дыша своим простреленным легким.

Не знаю, не хотел он дольше говорить или не мог, но через час он умер, не сказав больше ни одного слова.

— Вот о ком я вспомнил, глядя на огонь, когда вы меня спросили, был ли я в Испании, — сказал Симич, повертываясь к русскому капитану. — Вы там тоже, конечно, были?

— Как вам сказать, — первый раз за весь вечер улыбнулся капитан, — во всяком случае, мне много рассказывали об Испании. А «Бандера Роха» — хорошая песня, — я бы тоже, пожалуй, не отказался услышать ее перед смертью. Она напоминает мне молодость.

— Что-то дымно, ест глаза, — сказал Симич, — наверно, все-таки рано закрыли трубу. Давайте выйдем на воздух.

Мы открыли дверь и вышли. Была ясная лунная ночь. По проходившему через городок к фронту Нишскому шоссе беспрерывно шли войска, двигалась югославская пехота, ехали тупоносые грузовики «Рено» с прицепленными к ним короткими полевыми болгарскими пушками. Болгарские и югославские солдаты шли, тихо переговариваясь, позванивая оружием. То здесь, то там вспыхивали красные точки сигареток.

— Попов был прав, — обратился я к Симичу, — этого не могло не быть.

— Да, — просто сказал Симич. — Тогда казалось, что еще очень далеко до этого, но я тоже верил, — даже тогда, — что это в конце концов все равно будет.

1944

КНИГА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Высокий, покрытый хвойным лесом холм, на котором похоронен Неизвестный солдат, виден почти с каждой улицы Белграда. Если у вас есть бинокль, то, несмотря на расстояние в пятнадцать километров, на самой вершине холма вы заметите какое-то квадратное возвышение. Это и есть могила Неизвестного солдата.

Если вы выедете из Белграда на восток по Пожаревацкой дороге, а потом свернете с нее налево, то по узкому асфальтированному шоссе вы скоро доедете до подножья холма и, огибая холм плавными поворотами, начнете быстро подниматься к вершине между двумя сплошными рядами вековых сосен, подножья которых опутаны кустами волчьих ягод и папоротником.

Дорога выведет вас на гладкую асфальтированную площадку. Дальше вы не проедете. Прямо перед вами будет бесконечно подниматься вверх широкая лестница, сложенная из грубообтесанного серого гранита. Вы будете долго итти по ней, мимо серых парапетов с бронзовыми факелами, пока, наконец, не доберетесь до самой вершины.

Вы увидите большой гранитный квадрат, ограниченный мощным парапетом, и посредине квадрата, наконец, самую могилу — тяжелую, квадратную, облицованную серым мрамором, крышу которой с обеих сторон, вместо колонн, поддерживают на своих плечах восемь согбенных фигур плачущих женщин, изваянных из огромных кусков все того же серого мрамора.

Внутри вас поразит строгая простота могилы. В каменный пол, со стертыми бесчисленным множеством ног плитами, вделана, вровень с ним, большая медная доска.

На доске вырезано всего несколько слов, самых простых, какие только можно себе представить:

«Здесь похоронен неизвестный солдат»

И дата:

«1912—1918»

А на мраморных стенах слева и справа вы увидите увядшие венки с выцветшими лентами, возложенные сюда в разные времена, искренне и неискренне, послами сорока государств.

Вот и все. А теперь выйдите наружу и с порога могилы посмотрите во все четыре стороны света. Быть может, вам еще раз в жизни (а это бывает в жизни много раз) покажется, что вы никогда не видели ничего красивее и величественнее.

Перед вами будет расстилаться вид, которого вы долго не забудете. На пятьдесят километров во все стороны земля будет открыта вашему взгляду.

На востоке вы увидите бесконечные леса и перелески с вьющимися между ними узкими лесными дорогами.

На юге вам откроются мягкие желто-зеленые очертания осенних холмов Сербии, зеленые пятна пастбищ, желтые полосы жнивья, красные квадратики сельских черепичных крыш и бесчисленные черные точки бредущих по холмам стад.

На западе вы увидите Белград, разбитый бомбардировками, искалеченный боями и все же прекрасный Белград, белеющий среди блеклой зелени увядающих садов и парков.

На севере вам бросится в глаза могучая серая полоса бурного осеннего Дуная, а за ней тучные пастбища и черные поля Воеводина и Баната, югославской житницы.

И только когда вы окинете отсюда взглядом все четыре стороны света, вы поймете, почему Неизвестный солдат похоронен именно здесь. Он похоронен здесь потому, что отсюда простым взглядом видна вся прекрасная сербская земля, все, что он любил и за что он умер.

Так выглядит могила Неизвестного солдата, о которой я расказываю потому, что именно она будет местом действия моего рассказа.

Правда, в тот день, о котором пойдет речь, обе сражавшиеся стороны меньше всего интересовались историческим прошлым этого холма.

Для трех немецких артиллеристов, оставленных здесь передовыми наблюдателями, могила Неизвестного солдата была только лучшим на местности наблюдательным пунктом, с которого они, однако, уже дважды безуспешно запрашивали по радио разрешения уйти, потому что русские и югославы начинали все ближе подходить к холму.

Все трое немцев были из белградского гарнизона и прекрасно знали, что это могила Неизвестного солдата. Но это им было совершенно безразлично, за исключением того приятного обстоятельства, что на случай артиллерийского обстрела у могилы были толстые и прочные стены. Так обстояло с немцами.

Русские тоже рассматривали этот, как они его называли, «холм с домиком на вершине» как прекрасный наблюдательный пункт, но наблюдательный пункт неприятельский и, следовательно, подлежавший обстрелу.

— Что это за жилое строение? Чудное какое-то, сроду такого не видал, — говорил командир батареи, капитан Николаенко, в пятый раз внимательно рассматривая в бинокль могилу Неизвестного солдата. — А немцы сидят там, это уж точно. Ну как, подготовлены данные для ведения огня?

— Так точно! — отрапортовал стоявший рядом с капитаном командир взвода, молоденький лейтенант Прудников.

— Начинай пристрелку.

Пристрелялись быстро, тремя снарядами. Два взрыли обрыв под самым парапетом, подняв целый фонтан земли. Третий ударил в парапет. В бинокль было видно, как полетели осколки камней.

— Ишь, как брызнуло! — сказал Николаенко. — Переходи на поражение.

Но лейтенант Прудников, до этого долго и напряженно, словно что-то вспоминая, всматривавшийся в бинокль, вдруг полез в полевую сумку, вытащил из нее не-

мецкий трофейный план Белграда и, положив его поверх своей двухвёрстки, стал торопливо водить по нему пальцем.

— В чем дело? — строго сказал Николаенко. — Нечего уточнять, все и так ясно.

— Разрешите, одну минуту, товарищ капитан, — пробормотал Прудников.

Он несколько раз быстро посмотрел на план, на холм и снова на план и вдруг решительно, уткнув палец в какую-то, видимо, наконец найденную им точку, поднял глаза на капитана.

— А вы знаете, что это такое, товарищ капитан?

— Что?

— А все — и холмы и это жилое строение?

— Ну?

— Это могила Неизвестного солдата. Я все смотрел и сомневался. Я где-то на фотографии в книге видел. Точно. Вот она и на плане — могила Неизвестного солдата.

Для Прудникова, когда-то до войны учившегося на историческом факультете МГУ, это открытие представлялось чрезвычайно важным. Но капитан Николаенко неожиданно для Прудникова не проявил никакой отзывчивости. Он ответил спокойно и даже несколько подозрительно:

— Какого еще там неизвестного солдата? Давай, веди огонь.

— Товарищ капитан, разрешите! — просительно глядя в глаза Николаенко, сказал Прудников.

— Ну, что еще?

— Вы, может быть, не знаете... Это ведь не просто могила. Это, как бы сказать, национальный памятник. Ну... — Прудников остановился, подбирая слова. — Ну, символ всех погибших за родину. Одного солдата, которого не опознали, похоронили вместо всех, в их честь, и теперь это для всей страны как память.

— Подожди, не тараторь, — сказал Николаенко и, наморщив лоб, на целую минуту задумался.

Был он большой души человек, несмотря на грубость, любимец всей батареи и хороший артиллерист. Но, начав войну простым бойцом-наводчиком и дослужившись

кровью и доблестью до капитана, в трудах и боях так и не успел он узнать многих вещей, которые, может, и следовало бы знать офицеру. Он имел слабое понятие об истории, если дело не шло о его прямых счетах с немцами, и о географии, если вопрос не касался населенного пункта, который надо взять. А что до могилы Неизвестного солдата, то он и вовсе слышал о ней в первый раз.

Однако, хотя сейчас он не все понял в словах Прудникова, но своей солдатской душой почувствовал, что, должно быть, Прудников волнуется не зря и что речь идет о чем-то в самом деле хорошем и стоящем.

— Подожди, — повторил он еще раз, распустив морщины. — Ты скажи толком, чей солдат, с кем воевал, — вот ты мне что скажи!

— Сербский солдат, в общем югославский, — сказал Прудников. — Воевал с немцами в прошлую войну четырнадцатого года.

— Вот теперь ясно.

Николаенко с удовольствием почувствовал, что теперь действительно все ясно и можно принять по этому вопросу правильное решение.

— Все ясно, — повторил он. — Ясно, кто и что. А то плетешь нивесть чего, — «неизвестный, неизвестный». Какой же он неизвестный, когда он сербский и с немцами в ту войну воевал? Отставить огонь! Вызовите ко мне Федотова с двумя бойцами.

Через пять минут перед Николаенко предстал сержант Федотов, неразговорчивый костромич с медвежьими повадками и непроницаемо-спокойным при всех обстоятельствах, широким рябоватым лицом. С ним пришли еще двое разведчиков, тоже вполне снаряженные и готовые.

Николаенко кратко объяснил Федотову его задачу — влезть на холм и без лишнего шума снять немецких наблюдателей. Потом он с некоторым сожалением посмотрел на гранаты, в обильном количестве подвешенные к поясу Федотова, и сказал:

— Этот дом, что на горе, он — историческое прошлое, так что ты в самом доме гранатами не балуйся, — и так наковыряли. Если что — с автомата сними немца и все. Понятна твоя задача?

— Понятна, — сказал Федотов и стал взбираться на холм в сопровождении своих двух разведчиков.

Старик серб, сторож при могиле Неизвестного солдата, весь этот день с утра не находил себе места.

Первые два дня, когда немцы появились на могиле, притащив с собой стереотрубу, рацию и пулемет, старик по привычке толокся наверху под аркой, подметал плиты и пучком из перьев, привязанных к палке, смахивал пыль с венков.

Он был очень стар, а немцы были очень заняты своим делом и не обращали на него внимания. Только вечером второго дня один из них наткнулся на старика, с удивлением посмотрел на него, повернул его за плечи спиной к себе и, сказав: «Убирайся», шутливо и, как ему казалось, слегка поддал старика под зад коленкой. Старик, спотыкаясь, сделал несколько шагов, чтобы удержать равновесие, спустился по лестнице и больше уже не поднимался к могиле.

Он был очень стар и в ту войну потерял всех своих четырех сыновей. Поэтому он и получил это место сторожа и поэтому же у него было свое особенное, тщательно скрываемое от всех, отношение к могиле Неизвестного солдата. Где-то в глубине души ему казалось, что в этой могиле похоронен один из его четырех сыновей.

Сначала эта мысль только изредка мелькала в его голове, но после того, как он столько лет безотлучно пробыл при могиле, эта странная мысль превратилась у него почти в уверенность. Он никому и никогда не говорил об этом, зная, что над ним будут смеяться, но про себя все крепче свыкался с этой мыслью и, оставшись наедине с самим собой, только думал — какой из четырех?

Прогнанный немцами с могилы, он плохо спал ночь и с самого рассвета не находил себе места, слонялся внизу вокруг парапета, страдая от обиды и от нарушения многолетней привычки — подниматься каждое утро туда, наверх.

Когда раздались первые разрывы, он спокойно сел, прислонившись спиной к парапету, и стал ждать — что-то должно было перемениться.

Несмотря на свою старость и жизнь в этом глухом месте, он знал, что русские наступают на Белград и зна-

чит в конце концов должны притти сюда. После нескольких разрывов все затихло на целых два часа, только немцы шумно возились там наверху, громко кричали что-то и ругались между собой.

Потом вдруг они начали стрелять из пулемета вниз. И кто-то снизу тоже стрелял из пулемета. Потом близко, под самым парапетом, раздался громкий взрыв и наступила тишина. А через минуту всего в каких-нибудь десяти шагах от старика с парапета кубарем прыгнул немец, упал, быстро вскочил и побежал вниз, к лесу.

Старик на этот раз не слышал выстрела, он только увидел, как немец, не добежав нескольких шагов до первых деревьев, подпрыгнул, повернулся и упал ничком.

Старик перестал обращать внимание на немца и прислушался. Наверху, у могилы, слышались чьи-то тяжелые шаги. Старик поднялся и двинулся вокруг парапета к лестнице. В эту минуту сержант Федотов, — потому что услышанные стариком тяжелые шаги наверху были именно его шагами, — убедившись, что, кроме трех убитых, здесь больше нет ни одного немца, поджидал на могиле своих двух разведчиков, которые оба были легко ранены при перестрелке и сейчас еще карабкались на гору.

Федотов обошел могилу кругом и, зайдя внутрь, рассматривал висевшие на стенах венки.

Венки были погребальные, — именно по ним Федотов понял, что это могила, и, разглядывая мраморные стены и статуи, думал о том, чья бы это могла быть такая богатая могила.

За этим занятием его и застал старик, вошедший с противоположной стороны.

По виду старика Федотов сразу сделал правильное заключение, что это сторож при могиле, и, сделав три шага ему навстречу, похлопал старика по плечу свободной от автомата рукой и сказал именно ту успокоительную фразу, которую он всегда говорил во всех подобных случаях:

— Ничего, папаша. Будет порядок!

Старик не знал, что значат слова: «Будет порядок!», но широкое рябоватое лицо русского осветилось при этих

словах такой добродушной, успокоительной улыбкой, что старик в ответ тоже невольно улыбнулся.

— А что малость поковыряли, — продолжал Федотов, нимало не заботясь, понимает его старик или нет, — что поковыряли — так это же не сто пятьдесят два, это семьдесят шесть, заделать пара пустяков. И граната тоже пустяк, а мне их без гранаты взять никак нельзя было — объяснил он так, словно перед ним стоял не старик сторож, а капитан Николаенко.

— Вот какое дело, — заключил он, — понятно?

Старик закивал головой — он почти не понял того, что сказал Федотов, но смысл слов русского, он чувствовал, был такой же успокоительный, как и его широкая, добрая улыбка, и старику захотелось в свою очередь сказать ему в ответ что-то хорошее и значительное.

— Здесь похоронен мой сын, — вдруг неожиданно для себя, в первый раз в жизни, торжественно сказал он. — Мой сын, — старик показал себе на грудь, а потом на бронзовую плиту.

Он сказал это и с затаенным страхом посмотрел на русского — сейчас тот не поверит и будет смеяться.

Но Федотов не удивился. Он был советский человек, и его не могло удивить то, что у этого бедно одетого старика сын похоронен в такой могиле.

«Стало быть, отец, вот оно что, — подумал Федотов. — Сын, наверное, известный человек был, может, генерал».

Он вспомнил похороны Ватутина, на которых он был в Киеве, просто, по-крестьянски одетых стариков-родителей, шедших за гробом, и десятки тысяч людей, стоявших кругом.

— Понятно, — сказал он, сочувственно посмотрев на старика. — Понятно. Богатая могила. . .

И старик понял, что русский ему не только поверил, но и не удивился необычайности его слов, и благодарное чувство к этому русскому солдату переполнило его сердце.

Он поспешно нащупал в кармане ключ и, открыв вделанную в стену могилы дверку шкафа, достал оттуда переплетенную в кожу книгу почетных посетителей и вечное перо.

— Пиши, — сказал он Федотову и протянул ему ручку.

Приставив к стене автомат, Федотов взял в одну руку вечное перо, а другой перелистнул книгу.

Она пестрела пышными автографами и витиеватыми росчерками неведомых ему царственных особ, министров, посланников и генералов, ее гладкая бумага блестела, как атлас, и листы, соединяясь друг с другом, складывались в один сияющий золотой обрез.

Федотов спокойно перевернул последнюю исписанную страницу. Как он не удивился раньше тому, что здесь похоронен сын старика, так он не удивился и тому, что ему надо расписаться в этой книге с золотым обрезом. Открыв чистый лист, он, с никогда не покидавшим его чувством собственного достоинства, своим крупным, как у детей, твердым почерком неторопливо вывел через весь лист фамилию «Федотов» и, закрыв книгу, отдал вечное перо старику.

— Федотов! — донесся снаружи голос одного из бойцов, наконец взобравшихся на гору.

— Здесь я! — сказал Федотов и вышел на воздух.

На пятьдесят километров во все стороны земля была открыта его взгляду.

На востоке тянулись бесконечные леса.

На юге желтели осенние холмы Сербии.

На севере серой лентой извивался бурный Дунай.

На западе лежал белеющий среди увядающей зелени лесов и парков еще не освобожденный Белград, над которым курились дымы первых выстрелов.

А на дубовом пюпитре под аркой могилы Неизвестного солдата лежала книга почетных посетителей, в которой самой последней стояла написанная твердой рукой фамилия неизвестного советского солдата Федотова, родившегося в Костроме, отступавшего до Волги и смотревшего сейчас отсюда вниз, на Белград, до которого он шел три тысячи верст, чтобы освободить его.

1944

СВЕЧА

История, которую я хочу рассказать, произошла девятнадцатого сентября сорок четвертого года.

К этому времени Белград был уже взят; в руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу.

На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через маленький полукруглый скверик, в котором стояло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева; торчали только одни расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста.

Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и, наконец, когда немножко затихло, двое легко раненных уползли назад, таща на себе двух тяжело раненных. Пятый — мертвый — остался лежать в сквере.

Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулаев и что он погиб девятнадцатого числа утром в Белграде, на берегу реки Сава.

Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице.

Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулаева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят.

А немцы все стреляли — и днем, и на закате, и в сумерках.

Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали каменные развалины дома, по которым даже трудно было определить, что из себя представлял этот дом раньше. Его настолько сравняло с землей в первые же дни, что никому бы не пришло в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить.

А между тем под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбило второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбило первый этаж, она перешла в подвал.

Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как в эту минуту одна мина разорвалась около развалин, и старуха, оглушенная, свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался только один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Она окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил. И она поняла, что он убит.

Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову,

в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево.

Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Старуха долго думала, потом, порывшись в своем единственном узле, вытащила оттуда что-то, спрятала под черный вдовий платок и неторопливо вылезла из подвала.

Она не умела ни ползать, ни перебегать, она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ей встретился кусок решетки, оставшейся целой, она не стала перелезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обошла ее и вышла в сквер.

Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи.

Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю.

Немцы продолжали стрелять, но все их мины попрежнему падали далеко от нее.

Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два, и молчала.

Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, в которые рвались мины.

Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре она нашла то, что искала: это была большая воронка от тяжелого снаряда, сделанная еще несколько дней назад и начавшая наполняться водой.

Опустившись к воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это.

Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к мертвому русскому. Она взяла его подмышки и потащила.

Тащить нужно было всего десять шагов, но она была очень стара и три раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила его до воронки и опустила в нее. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала.

А немцы все стреляли, и попрежнему их мины рвались далеко от нее.

Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб.

Потом она стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его так, что из-под земли ничего не было видно. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу, и, снова отдохнув, начала подгребать к этому месту еще земли. Так она через несколько часов горстями насыпала над мертвым маленький холмик.

А немцы все стреляли.

Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу, одну из двух венчальных свечей, сорок пять лет хранившихся у нее со дня свадьбы.

Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив под платком руки на коленях.

Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, а один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и снова терпеливо зажигала свечу.

Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла перегоревший, проржавленный кусок жести и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю рядом со свечой так, что этот жестяной полукруг закрывал свечу от ветра.

Сделав это, старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал.

Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулаев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост.

Через час или два совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу.

Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулаеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром.

Тело Чекулаева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек.

— Смотрите, — сказал красноармеец.

И все посмотрели туда, куда он показывал.

Около разбитой ограды сквера, над засыпанной землей старой воронкой от снаряда, высился маленький холмик. В головах его был воткнут проржавленный жестяной полукруг, внутри которого тихо горела свеча. Она сгорела уже почти вся, огарок оплыл кругом воском, но маленький огонек, не угасая, попрежнему трепетал над ней.

Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные таким сильным чувством, которое мешает сразу заговорить.

Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше в сквере, появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими старческими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле, и, подняв огарок, зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех к ней, поддержал ее под локоть и помог подняться.

Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.

Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Сава, за которой шел бой, — догонять свою роту.

А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.

И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.

1944

НОЧЬ НАД БЕЛГРАДОМ

До войны Дуся Желябова работала осветителем в киностудии. В ее власти находилась дуговая лампа, слепящий белый свет которой она по приказанию оператора направляла то на пол павильона, то на декорации, то на загримированных артистов.

Дуся работала в киностудии лет восемь. При свете ее пятисотки Любовь Орлова бежала за поездом, прижимая к груди черного ребенка; Черкасов, поднимая огромный меч, вел русские полки на ливонцев; Щукин, — так похожий в своем гриме на Ленина, что, неожиданно встретив его в коридоре, люди вздрагивали, — говорил с построенной в павильоне трибуны речь.

Дуся знала по имени, отчеству и в лицо всех киноартистов и хранила у себя дома кадры кинопленок из всех картин, на съемках которых светила своей пятисоткой.

Потом началась война. Киностудию эвакуировали. Дуся вместе с громоздким имуществом осветительного цеха долго ехала в теплушке все дальше, в тыл, в Среднюю Азию. Там, в большом среднеазиатском городе, теплушка остановилась и дальше не пошла.

Киностудия временно разместилась на одной из узких улочек старого города, в маленьких помещениях, никак не предназначенных для киносъемок.

Время было тяжелое. С фронтов, одно за другим, доходили самые неутешительные известия. Давали свет только на несколько часов по ночам и то с перерывами,

потому что электроэнергия была нужна для эвакуированных сюда военных заводов.

Больших картин не снимали, делали только боевые киносборники, состоявшие каждый из нескольких короткометражек.

Почти никто еще толком не знал, как снимать войну, но все хотели снимать именно войну, и в каждой короткометражке было непременно много выстрелов, беготни и умирающих людей.

Для съемок в городе не было танков, которые ушли на фронт; не было самолетов, которые улетели отсюда; не было немецких касок, обмундирования, оружия, потому что тогда немцев еще очень мало брали в плен. Не было, наконец, саксаула, чтобы топить павильон, и актеры, свободные от съемки, окружали дусину пятисотку, чтобы хоть немного погреть около нее леденевшие руки.

Почти все осветители-мужчины ушли на фронт. Дуся приходила по утрам в барак, где было их общежитие, ложилась на свой топчан прямо в ватнике, штанах и сапогах и, закрыв глаза, мучительно думала.

Все чаще ей казалось, особенно в дни плохих сводок, что все, что она и другие здесь делают, вовсе не нужно и ни к чему и что настоящее дело только там, на фронте, куда уехало большинство ее товарищей по цеху.

Однажды, весной 1942 года, она пошла в военный комиссариат и записалась добровольцем на фронт.

Когда она пришла прощаться в киностудию, режиссер, с которым она последнее время работала, толстый, шумный, часто бранившийся человек, посмотрел на нее грустными глазами и тихо сказал:

— Жалко, жалко.

Но ничего не возразил. Потом он посмотрел на нее еще раз и сказал:

— Я тоже просился на фронт, но мне не разрешили, сказали, что нужней, чтобы я делал вот это.

Он кивнул на угол павильона, где в это время стояла декорация подъезда какого-то дома с иностранной вывеской.

В студии снималась картина о подпольной борьбе с немцами в оккупированных странах Западной Европы.

Дусе в ее нынешнем настроении съемки этой картины казались особенно ненужными.

«Какая уж там Западная Европа, — подумала она, — когда немцы Харьков взяли».

И, с сожалением последний раз посмотрев на режиссера, она тихо протянула ему руку и попрощалась.

Над Белградом стояла тихая темная ночь. Сегодня утром были убиты последние, засевшие на чердаках, немцы. Бои перекочевали за Дунай и Саву, и в оглушенном семидневным сражением городе стояла небывалая тишина.

Генерал, командовавший стрелковой дивизией, которая брала южную часть города, любил музыку и песни до самозабвения. Когда-то мальчишкой он пел несколько лет на клиросе. Должно быть, любовь к пению возникла у него именно с тех пор. Во всяком случае, всякий человек в дивизии, который имел голос и умел петь, был для него человеком особым, которого он знал по имени, отчеству и фамилии, держал на особом счету, даже берег, поскольку это было возможно здесь, где был не штаб фронта и не штаб армии, а просто-напросто стрелковая дивизия.

Всякими правдами и неправдами генерал устроил у себя в дивизии маленький ансамбль, члены которого по штату числились санитарами, в спокойное время сидели в дивизионном тылу, а в бурное — ничего не поделаешь, — в самом деле выносили раненых, как им и было положено.

Белград был взят, и дивизия должна была наутро, не задерживаясь, итти дальше, за Дунай, на север.

Но генералу хотелось чем-то ознаменовать этот день, и, вспомнив о своем ансамбле, он решил в ночь перед выступлением дать концерт в Народном театре, — в самом большом из сохранившихся театральных зданий Белграда.

Весть об этой затее быстро распространилась, и к ночи в просторное здание театра наехало гостей даже больше, чем ожидалось.

Приехало много югославских офицеров и партизан. Приехал член военного совета армии, и кто-то из политотдела фронта, и двое генералов из танкового корпуса,

и несколько корреспондентов, и даже интендантский полковник из главного трофейного управления, с которым не дальше как утром генерал имел такой крупный разговор, после которого, казалось бы, они должны бы никогда в жизни не встречаться.

Ночь была очень темная и очень тихая. Должно быть поэтому оживление, царившее у подъезда театра, было особенно заметно.

Одна за другой к дому с полным светом подъезжали легковые машины и «виллисы». Перекликались шоферы, шумно хлопали дверцы и, обшаривая тротуар белыми кругами света от ночных фонарей, ходили взад и вперед автоматчики.

Дуся Желябова вместе с остальными товарищами по ансамблю ходила по сцене за еще закрытым занавесом и примеривалась, где кто будет стоять, куда поставить табуретки для баянистов и как подальше отодвинуть рояль, чтобы он не мешал русской пляске.

Все волновались — и потому, что устали и во время боев несколько ночей перед этим не спали, и потому, что это был незнакомый город, и, главное, потому, что вчера в последнем бою лучший танцор, сержант Лариков, был ранен, а Оля Соломина, певшая в их ансамбле лирические песни, была убита.

Дуся попала в ансамбль всего три месяца тому назад и совсем случайно. Просто она как-то вечером пела у себя в батальоне, где была санинструктором, свои родные самарские «страданья», а генерал как раз приехал и услышал, и заставил ее петь еще раз уже при себе, и потом, через два дня, приказал зачислить ее в ансамбль.

Обычно она пела «страданья», волжские и другие частушки под гармонику. Но сегодня, после того как Оля Соломина погибла, Дусе нужно было петь не только за себя, но и за нее.

Ей было грустно, и жаль Олю, и тревожно за себя: как она споет? И она, не выдержав, слыша, как там, за занавесом, шумит и наполняется людьми зал, подошла к занавесу и, чуть раздвинув его, выглянула.

В зале было много знакомых лиц, но еще больше незнакомых. Три четверти зала зеленело куртками югославских партизан. В самом первом ряду, друг подле друга,

сидело несколько югославских священников в черных клобуках и черных рясах, с большими нагрудными крестами.

Свои, красноармейцы, сидели молча. У них были истомленные семидневными боями лица, но они терпеливо ждали, не переговариваясь и ничем не пытаясь нарушить тишину зала.

Наконец занавес раздвинулся. Два баяна исполнили «Светит месяц» и прелюдию Листа. Потом шел танец, в котором принимал участие почти весь ансамбль. В конце первого отделения должна была выступить Дуся, сначала со своими частушками, а потом с песенками, которые ей приходилось петь вместо Оли Соломиной.

Дуся видела и слышала, как в зале слушали выступление ее товарищей. Весь зал дружно аплодировал и, словно никого не желая обидеть, всех поочередно подолгу не отпускал со сцены.

Выходя, Дуся была спокойна за себя. Она знала, что все будет хорошо. Она под саратовскую гармошку спела «страданья», а потом частушки «Если Волга разольется, Волга-матушка река». Она пела их заученно весело и даже видела уголком глаза, как сидевшие в первом ряду священники улыбались после каждой частушки и громко хлопали, высоко поднимая свои длинные черные рукава.

И, однако, ей было все грустнее и тревожнее с приближением той минуты, когда ей придется петь первую песенку Оли Соломиной.

И вот подошла эта минута. Нужно было петь песню, начинающуюся словами:

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет...

Это была песенка, которую Оля особенно хорошо, с душой пела.

И вдруг Дуся почувствовала, что она не может ее петь. Она растерянно посмотрела на зал и впервые только в эту секунду со всей ясностью почувствовала, что это — далекая страна, что это — Белград и что в зале — три четверти югославов, людей, говорящих на похожем, но все-таки непонятном языке.

Должно быть, от этого внезапного ощущения, что она за границей, она вспомнила холодный павильон кино-

студии в среднеазиатском городе, и лицо режиссера, говорившего: «Сказали, что нужней, чтобы я делал вот это», и декорацию подъезда, и вывеску с иностранной надписью на ней, и слова песенки из этой картины, песенки, которую в этот месяц пела вся киностудия.

И неожиданно для себя, для товарищей, для всего зала Дуся сделала шаг вперед и, закрыв глаза, тихо запела эти вдруг пришедшие ей на память слова:

Ночь над Белградом тихая
Вышла на смену дня.
Вспомни, как ярко вспыхивал
Яростный гром огня,
Вспомни годину ужаса —
Черных машин полет...
Сердце сожми, — прислушайся:
Песню ночь поет.
Пламя гнева горит в груди,
Пламя гнева, в поход нас веди!
Час расплаты готовь!
Смерть за смерть! Кровь за кровь!
В бой, славяне! Заря впереди!

Она пропела первый куплет и второй, закрыв глаза. Она пела, не думая о словах, не замечая их.

Перед ее глазами проносились в эти минуты холодные зимние дни первого года войны, и далекий среднеазиатский город, и листы газет со сводками, кончавшимися словами: «После упорных боев нашими войсками оставлен. . .», и нетопленные павильоны, в которых тогда — боже мой, как это было давно! — именно тогда, когда были эти страшные слова в газетах, снималась картина о далеком городе, в котором она сейчас пела эту песенку.

«Неужели кто-то думал и знал тогда о том, что через три года мы будем в этом самом городе? Неужели кто-то мог об этом догадываться и все предвидеть? — мысленно спрашивала себя Дуся. И мысленно же отвечала: — Да, да, как это ни странно, но — да. Кто-то и знал, и думал, и догадывался, и предвидел. Наверно так, потому что иначе не могло быть ничего из того, что случилось за эти годы».

Она кончила песню и открыла глаза. Зал молчал, как завороженный.

А потом случилось такое, чего Дуся никогда не видела. Люди начали хлопать. Хлопали все сильней и сильней. Потом они начали что-то кричать, и по одному подниматься с мест, и опять хлопать, и еще хлопать уже стоя.

И она поняла, что она никуда не уйдет, если не споет эту песню второй раз. Она беспомощно подняла руки перед кричавшим и громыхавшим залом.

И зал так же неожиданно и покорно затих, как неожиданно и бурно поднялся.

И Дусе в этой тишине захотелось, перед тем как снова петь, сказать какие-то слова о том, что сама сейчас только что почувствовала.

— Эта песня, — сказала она, делая шаг вперед, — из одной кинокартины о вашем Белграде. Эту картину мы снимали три года назад очень далеко отсюда, в эвакуации, в Средней Азии. Тогда там было очень холодно, трудно и плохо. И немцы взяли Харьков. И были под Москвой. Но мы все равно снимали эту картину. Я тогда работала в киностудии.

И оттого, что она вспомнила о самой себе, она смутилась и, отступив на шаг, растерянно сказала:

— Вот... Я ее еще раз спою.

И начала петь еще раз.

На большой сцене Народного театра в Белграде стояла маленькая некрасивая девушка в солдатской гимнастерке, в грубых керзовых сапогах и пела неуверенным, то звеневшим, то срывавшимся голосом песню «Ночь над Белградом».

А в зале плакали. Плакали люди, три с половиной года бывшие партизанами и не раз смотревшие смерти в глаза.

И когда я сейчас вспоминаю этот вечер, я думаю, что она пела, быть может, и не очень хорошо. Но люди плакали.

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать.

1944

ВОСЬМОЕ РАНЕНИЕ

Восьмое ранение он получил в песках под Моздоком. Был очень холодный ноябрьский день. Еще ночью задул сильный ветер с Каспийского моря и продолжался весь день не переставая, сметая с песчаных горбылей снег, засыпая колючей порошей пушки, забиваясь под воротники шинелей.

Был день как день, — обычный, один из тех, к которым за полтора года войны Корниенко уже привык и не находил в них ничего особенного. С утра было тихо, к полудню немецкие артиллеристы начали ловить его батарею, но не поймали. Потом стоявший слева полк атаковали несколько вражеских танков. Корниенко открыл огонь и поджег один танк, остальные ушли. Потом, часов до пяти вечера, опять было тихо.

Ветер был такой промозглый, что даже во время боя, работая у орудий, люди кутались в свои синие выцветшие башлыки, плотно обвязывая их вокруг воротника шинели. Только сам Корниенко поднял уши у шапки и опустил воротник, а башлык заправил за ремень. Ему было так же холодно, как и всем, но так поступать у него была своя причина: пять дней назад его контузило, он плохо слышал, и ему все казалось, что это от того, что мешают шапка и башлык. Однако лучше слышать он не стал, и, когда в пять часов вечера на батарею налетели бомбардировщики, он, стоя в отдалении от своих казаков, не услышал гула, перешедшего в свист, и бро-

сился на землю только в ту секунду, когда где-то совсем рядом раздался взрыв.

Восьмое ранение было в живот. Он почувствовал боль и, превозмогая ее, попробовал сесть. Но руки скользили по снегу, и сесть ему долго не удавалось. Наконец, застонав, он все-таки сел и, опершись руками о землю, попробовал встать. И раньше, когда он бывал ранен, ему казалось, что главное — встать, оторваться от земли, тогда он превозможет рану и останется жив. Но сейчас он не мог приподняться. Через минуту к нему подбежало несколько казаков, и пока двое укладывали его на носилки, остальные молча стояли вокруг. Он не мог видеть своей раны, но, встретившись взглядом с их глазами, понял, что, наверное, вид ее был ужасен. Он почувствовал, что перед тем, как его унесут, он должен что-то сказать, своим батарейцам, что они ждут этого. Но в эту минуту ему хотелось сказать им только одно — что напрасно они на него смотрят, как на покойника, что он не умрет.

— Достаньте, в правом кармане смертельник лежит, — сказал он шопотом.

Санитар расстегнул у него карман гимнастерки и достал оттуда черную круглую коробочку, похожую на те, в которые хозяйки кладут иголки.

— Открой, — сказал Корниенко, когда санитар достал смертельник.

Санитар открыл: коробочка была пуста. Тогда, обращаясь к казакам, уже совсем тихо, так, что даже не все расслышали, Корниенко сказал:

— С финской войны еще вожу и ничего не кладу, потому что все равно меня не убьют.

Он сказал это с ожесточением: ему было обидно, что батарейцы так легко могли поверить в возможность его смерти.

Его подняли с земли, и он сразу потерял сознание.

В первый раз он очнулся, когда в полевом госпитале его стали готовить к операции. Он открыл глаза, увидел над собой знакомое лицо врача, у которого он один раз уже оперировался, и попросил, чтобы ему дали стопку водки. Врач не удивился этой просьбе: у казаков она

была достаточно частой, и сам врач считал, что перед обработкой раненого водка иногда не вредит. Но Корниенко он отказал.

— На этот раз нельзя, — сказал он. — У вас рана в живот.

— Ну, не надо, — покорно ответил Корниенко и снова потерял сознание от боли, как только ему начали промывать рану.

Следующие две недели он почти все время был без сознания. Иногда, сквозь полусон, он чувствовал, что его куда-то везут на машине, потом один раз он почувствовал раскачивание поезда, потом опять наступала темнота, и в голове его проносились какие-то дикие, странные образы, обрывки воспоминаний, — все, что потом он, как ни старался, так и не мог вспомнить. Сознание окончательно вернулось к нему только в большой прохладной комнате с высоким белым потолком и двумя длинными рядами кроватей.

— Сестрица, — сказал он и удивился, что сестра, бывшая рядом, не слышит. — Сестрица! — почти крикнул он.

Тогда сестра медленно повернулась, словно до нее долетел едва слышный шопот.

— Что за город? — спросил Корниенко.

— Ереван, — сказала сестра.

В окне виднелись крыши соседних домов, — все в желтых пятнах южного солнца. На стене против койки висели большие часы с маятником. В первую секунду Корниенко показалось, что они стоят, потому что они не тикали, но потом он увидел, как качается маятник, и понял, что просто он еще плохо слышит после контузии. Он со злобой вспомнил об этой контузии, которая была не только неприятна сама по себе, но из-за которой он к тому же был еще и ранен. Он постарался не думать об этом и, чтобы отвлечься от дурных мыслей, решил поговорить с сестрой. Долго не мог он решить, с чего начать, потому что был неразговорчив вообще, а с женщинами в особенности. Наконец он спросил:

— Сестрица, а хороший город Ереван?

— Очень хороший, — сказала сестра. — Вот встанете, — увидите.

Он попытался приподнять голову с подушки, потому что так, снизу, в окно ему было видно очень мало.

— Не надо, лежите тихо, — сказала сестра. — Вам сейчас опять будут делать переливание крови.

Так потянулись долгие недели.

Ему еще два или три раза делали переливание крови. Всего, как сказал ему доктор, в него влили почти два литра.

— Два литра крови, — сказал доктор, веселый черноусый, начинавший толстеть армянин. — Два литра нашей армянской крови. Здоровая, хорошая кровь. Ты еще будешь молодцом, дорогой. Потолстеешь, твоему коню будет еще тяжело тебя возить.

Вспомнив о коне, Корниенко попросил принести его документы, среди которых была фотография его коня Зорьки, сделанная полгода назад одним заезжим фотокорреспондентом. Когда ему принесли документы, он показал доктору фотографию. Конь стоял на скале, около купы деревьев, и на фотографии было хорошо видно, какой он поджарый, крепкий, подобранный.

— Вот конь, — сказал Корниенко врачу, не добавив от себя никакой похвалы, потому что было достаточно взглянуть на фотографию, чтобы видеть — такой конь в похвалах не нуждается.

Но доктор, очевидно, никогда не бывший кавалеристом, с деланным сочувствием сказал:

— Ничего, хорошая лошадка, — и, бережно положив карточку около Корниенко, пошел к следующему больному.

«Хорошая лошадка!» Не понимает, — сказал про себя Корниенко, и, дотянувшись до фотографии, поднес ее близко к глазам. — Разве можно сказать, что это хорошая лошадка? Это же трофейный конь, арабских кровей, во время разведки взятый у офицера. Да еще как взятый! Лихо взятый».

Он долго смотрел на фотографию. Был он холост и бездетен и, должно быть, оттого любил лошадей еще больше, чем остальные кавалеристы. Эта фотография была единственной, которую он возил в своем бумажнике. Правда, и его товарищи часто за дружеской беседой, после выпитой рюмки, показывали вместе с фотогра-

фиями своих жен и детей и фотографии своих любимых коней, но у Корниенко была только одна эта, и потому он ее особенно ценил. Он положил фотографию под подушку и потом, когда его кто-нибудь навещал, если человек ему нравился, обычно показывал ему ее. Собственно говоря, он сначала не думал, чтобы в этом далеком и чужом городе кто-нибудь мог его навестить. Но его навещали. Один раз приходили школьники, другой раз зашел однополчанин, с которым он служил еще в мирное время под Кишиневом и который после ранения отдыхал здесь. Три раза заходили его навещать женщины, которые отдали ему свою кровь. Два раза они приходили все втроем, шумно и весело, и приносили разные вкусные вещи, которые, однако, доктор запретил ему есть. На третий раз пришла только одна из женщин—высокая девушка армянка, как ему показалось, очень красивая, но такая бледная, что ему вдруг стало неловко от того, что именно она дала ему свою кровь. Он спросил, как ее здоровье. Она удивленно сказала:

— Хорошо.

— Вы мне бледной показались, — сказал Корниенко, — поэтому я вас спросил.

Девушка, поняв, очевидно, его мысль, стоявшую за этим вопросом, заторопилась сказать, что она всегда такая бледная, — южанка, а бледная, — и загар ее не берет. Девушка села около него. Они помолчали несколько минут. Потом он спросил, как ее зовут. Она сказала, что ее зовут Аннуш. Разговор опять оборвался. Корниенко было приятно, что она сидит рядом с ним, и в сущности он бы мог о многом ей рассказать. Если бы сидел рядом кто-нибудь из товарищей, то он, наверное, сразу бы вспомнил не один десяток фронтовых историй. Но то, что это было в тылу, в госпитале, и то, что перед ним сидела девушка, которая могла бы воспринять разные невероятные истории, какие он мог рассказать ей, как пустое бахвальство, — все это удерживало его от рассказов.

— Расскажите что-нибудь о себе, — попросил он.

Она смутилась. Ей уже давно сказали в госпитале, что вот этот бледный, усталый человек, лежащий перед ней, ранен в восьмой раз, что он награжден тремя орденами Красного Знамени, что он и есть именно один из тех,

кого называют героями. Но он молчал и ничего не говорил о себе, — так что же могла рассказать ему она, простая девушка, только недавно окончившая десятилетку и ничего не видавшая в жизни? Однако молчание становилось тягостным, и она, запинаясь, стала рассказывать ему о том, как в последние годы жила каждое лето у отца в Нухе, в совхозе, как она после работы часто гуляла по вечерам и каталась верхом. Корниенко внимательно слушал, потом вдруг спросил, какая у нее была лошадь. Она рассказала. Тогда он запустил руку под подушку и вынул фотографию своего коня.

— Вот посмотрите, — сказал он.

Она посмотрела на фотографию и сделала несколько замечаний, к большому удовольствию Корниенко, свидетельствовавших о том, что она несомненно понимала толк в лошадях. Оживившись, он начал рассказывать о том, как ходил в разведку и как ему достался этот конь. Он редко рассказывал о случаях, происходивших в его фронтовой жизни, — да и некогда было о них рассказывать все эти полтора года. Но однажды начав говорить, он рассказал все с подробностями, оживленно и весело. Ему очень хотелось, чтобы она представила себе, как все это было: и как он под носом у немцев вскочил на коня, и как удрал от них. Потом, еще раз поглядев на фотографию, он добавил:

— Тут этого не видно, а у коня левое ухо прострелено. Они прострелили, когда я от них тикал, — насквозь, как березовый листочек.

Когда девушка уходила, она неожиданно вскинула на него свои большие, с мохнатыми ресницами, глаза и, встретив его взгляд, поняла, что он очень хочет, чтобы она пришла еще. Она посмотрела на него неожиданно, и он не успел спрятать этот просящий взгляд. Девушка сказала, что в следующее воскресенье придет к нему опять.

После ухода Аннуш Корниенко долго лежал, закрыв глаза, и вспоминал, с каким интересом она слушала рассказанную им историю. Он представил себе, как, выйдя из госпиталя, он пойдет по солнечной улице, она — рядом с ним, и тогда там, на улице, идя рядом, он, наверное, сумеет ей рассказать множество других фронтовых историй.

Тут он с досадой вспомнил об одном обстоятельстве,

которое его давно огорчало. До сих пор он так и не удосужился получить ни одного из своих трех орденов: два раза привозили в полк для него награды, и оба раза он, снова раненный, оказывался как раз в это время в госпитале. В душе он был самолюбив, и то, что у него не было этих орденов, очень огорчало его, особенно теперь, когда он представил себе, как, выписавшись из госпиталя, пойдет гулять с девушкой по Еревану. Вот он будет ей рассказывать истории, а про ордена вспомнить не посмеет; не станешь же ей показывать удостоверение, в котором написано, что он награжден. Ему стало обидно от этой мысли, и он невольно подумал, что хорошо, если бы комиссар полка догадался и прислал кого-нибудь в госпиталь с орденами для него. Несколько минут он мечтал о том, как это могло бы быть, как входит в палату Гуляев или, может быть, Загоруйко (лучше Загоруйко, — он хороший парень) и вручает ему ордена. Он попросит, чтобы постирали гимнастерку, привинтит к ней ордена и перед тем, как девушка придет, положит гимнастерку на тумбочку, рядом с койкой.

Вечером в палату принесли центральные газеты, пришедшие сразу за несколько дней. Корниенко без посторонней помощи приподнялся на подушках и стал разглядывать газеты, одну за другой. У него от слабости еще рябило в глазах, и он читал только заголовки и смотрел фотографии. В одном из номеров он увидел на фотографии знакомое лицо. Приблизив газету к самым глазам, он прочел подпись: «Командир Н-ского полка майор А. М. Чуйко, награжденный орденом Ленина». Корниенко долго смотрел на фотографию.

«А. М. .. Александр Михайлович, — подумал он. — Только теперь майор и усы отпустил. . .»

Он долго, пристально — целых полчаса смотрел на фотографию.

— Александр Михайлович. .. Александр Михайлович. .. — повторял он машинально и снова смотрел на фотографию.

Вид ее всколыхнул в его памяти такую тьму воспоминаний. В голову лезло все сразу — и действительная служба в учебной батарее, и первые дни войны, Кишинев, Бендеры, Одесса, и то, как он, сам сев за руль полуторки

и посадив рядом с собой своего тяжело раненного командира батареи капитана Чуйко, привез его в госпиталь и сдал там на руки врачу, неподвижного, потерявшего сознание. То, что было между ними, нельзя было назвать дружбой: Корниенко преклонялся перед Чуйко, это был человек, за которого он, не задумываясь, отдал бы жизнь, человек, который из упрямого, любопытного, но неграмотного парня сделал его артиллеристом, влюбил его в артиллерию, заставил почувствовать, что такое настоящая жизнь. Пастух из Усть-Лабинской станицы, грузчик в Керченском порту, шофер-самоучка, Корниенко пришел на действительную, в батарею, таким, каким бы он сейчас, пожалуй, себя и не узнал. У него были только упрямое решение выбиться в люди, воловье здоровье и от природы золотые руки — а остальное дал ему Чуйко. Сам одержимый артиллерист, он заставлял Корниенко учиться математике, баллистике и даже в воскресенье утром, встретив его где-нибудь, кивал ему, как заговорщик, и говорил:

— Пойдем, Корниенко, до пушек.

И они шли «до пушек», и Чуйко, казалось, никогда не надоедало объяснять, а Корниенко — слушать. Он сделал из Корниенко лучшего артиллериста батареи, и, когда тот стрелял на учебных стрельбах, Чуйко волновался всегда так, словно вся его судьба зависит от того, насколько удачно будет стрелять его ученик.

Потом они вместе попали на фронт, чтобы через два месяца, под Одессой, расстаться, — казалось, навсегда. Нет, это не было дружбой, — это было больше, чем дружба. Самолюбивый, уверенный в себе, считавший (и не без оснований), что, куда бы он ни попал, он со своими пушками справится лучше всех, Корниенко в то же время совершенно забывал о самолюбии, когда вспоминал про Чуйко. В самые трудные минуты жизни Корниенко не покидало страстное желание, чтобы именно Чуйко посмотрел на его работу.

«Н-ский артиллерийский полк... Где он, этот полк? Где майор Чуйко? Куда ему написать? Почему не напечатали адреса в газете? Чего им стоило: «Н-ский артиллерийский полк, такая-то военно-полевая почта». Не напечатали...»

Он посмотрел еще раз на фотографию, и ему уже не из самолюбия, а из благодарности к Чуйко захотелось, чтобы вот так же была напечатана и его, Корниенко, фотография и чтобы Чуйко так же, как он сегодня, увидел бы эту газету.

Ночью в палате горел синий свет. Корниенко не спал. Ему было в последнее время так тяжело от своей раны да, наверное, и от усталости за эти полтора года, что он как-то не думал о возвращении на фронт и о войне. Ему было спокойно, хорошо, и казалось, что можно еще долго так лежать и после выписки из госпиталя гулять по улицам, подставляя лицо солнцу.

Но при воспоминании о Чуйко его мысли вернулись в полк, и он стал озабоченно думать, кто же теперь там командиром батареи, и, ревниво перебирая всех, кто мог бы быть назначен на эту должность, прикидывал, что все равно тот, другой, не справится так, как справлялся он. Он соображал, где мог стоять сейчас полк, — если на прежнем месте, то, наверное, батарейцы вырыли уже блиндажи, — как он им говорил, — под горкой, и наблюдательный пункт давно сделали там, где тогда собирались, на холме, слева. И, должно быть, сейчас в термосах ужин принесли. А завтра с утра опять бой будет. И он почувствовал, что его там нехватает. А может, думают, что умер он? И если так, то интересно, что говорят про него.

И когда он представил себе все, что может сейчас происходить на батарее, у него было такое чувство, будто он надолго уехал из дома, и даже если этот дом совсем не там, где был, а перекочевал в другое место и совсем на других пригорках роют себе норы его артиллеристы, то все равно именно это и было домом, и никуда от этого до конца войны нельзя было уйти.

Из госпиталя он вышел через полтора месяца. Был воскресный день, ясный и теплый. Снег, выпавший в начале января, давно стаял. По широким сухим тротуарам, наступая на солнечные пятна, прогуливались пары. Встречалось много раненых, на костылях и без костылей, с нашивками на шинелях. Они шли особенно медленно, некоторые потому, что им еще трудно было ходить, другие потому, что не привыкли к воздуху, к солнцу. Все,

что они делали после выздоровления, они делали особенно неторопливо и с удовольствием. То же чувство испытывал и Корниенко. Он шел по тротуару, прихрамывая на левую ногу, на которой в последнее время опять открылась старая рана, и тяжело опираясь на палку. Рядом с ним шла Аннуш. Она весело и подробно рассказывала ему про улицы, по которым они шли, про дома, магазины и вывески. Он делал вид, что слушает ее, хотя на самом деле слышал не все, целиком поглощенный ощущением воздуха и солнца и тем, что вот он снова может сам передвигаться, итти, куда хочет, по этому южному сверкающему городу.

— Коля, да вы меня не слушаете, — вдруг сказала Аннуш.

— Нет, я слушаю, слушаю, — ответил он, легонько взяв за локоть и прижав к себе ее руку.

И она стала что-то щебетать. А он шел и думал, что сделал очень хорошо, назвавшись ей Колей, хотя на самом деле его имя было Карп, — Карп Корниенко. Его давным-давно никто не называл по имени, в армии все его звали или «товарищ Корниенко» или просто «Корниенко», а другой жизни, кроме армии, у него давно уже не было. И когда она спросила, как его зовут, он вспомнил свое имя «Карп», и оно ему показалось таким некрасивым, что он вдруг, без раздумья, сказал: «Коля». Теперь он был Коля, и она так ласково и весело выговаривала это его новое имя, что оно ему особенно нравилось. Он почему-то вспомнил газету «Известия». Когда-то в ней на последней странице печатались объявления: «Меняю имя Никодим на Николай» или «Фекла — на Татьяна». Какими тогда занимались пустяками и как все это, в сущности, было давно!

— А вот это военный комиссариат, — сказала Аннуш, когда они проходили мимо одного из зданий.

Он посмотрел на дом. У входа была обычная, как в тысяче других городов, вывеска. Он прикинул в уме, через сколько времени он попадет в этот дом после врачебной комиссии, и подумал, что едва ли раньше, чем через месяц. Он шел по городу, и все встречные невольно смотрели на него, на восемь нашивок, — три золотых и пять красных, — пришитых к его шинели.

Когда Аннуш привела его в домик к своим родителям, он, сев за накрытый к обеду стол, где уже собралась семья (старики, сестра и младший брат Аннуш — мальчишка лет тринадцати), в первую минуту чувствовал себя неловко: с такой предупредительностью, словно к больному, все относились к нему. А мальчишка просто ел его глазами. Зачерпнув ложку супа, он, не донеся ее до рта, останавливался и смотрел на Корниенко так жадно, как будто тот сейчас провалится сквозь землю и он никогда его больше не увидит. Корниенко встретился с ним взглядом, вспомнил себя таким же пареньком, неожиданно подмигнул, и оба они рассмеялись. Напряженность исчезла, и дальше пошел длинный шумный, бестолковый обед с тостами, которые Корниенко не всегда понимал, и армянскими кушаньями, которых он никогда еще не пробовал.

Вечером он вернулся в дом для выздоравливающих. Было уже поздно, никто не спал: некоторые лежали, некоторые сидели на кроватях. К потолку поднимался густой табачный дым. На крайней койке, привалившись к прислоненным у изголовья костылям, сидел одноногий лейтенант и, тихонько подыгрывая себя на гармони, пел вполголоса:

Под весенним солнцем развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

Корниенко дошел до своей кровати и лег.

«Да, наверное, там оттепель, — подумал он. — Судя по всему, полк наступает где-нибудь под Армавиром. Кони, наверное, устали, но пушки все-таки тащат».

Он представил себе как едет на своей Зорьке впереди батареи, и ему стало жаль одноногого лейтенанта, который, — не то что он, Корниенко, — никогда уже больше не вернется в свой полк.

Через месяц на медицинской комиссии его признали инвалидом, освободили вчистую и выдали пенсионную книжку. Все это случилось в течение каких-нибудь трех часов, потому что дело казалось врачам ясным. Он переходил из рук в руки, его выстукивали, осматривали, вы-

писывали бумажки. Он опомнился только, когда вышел на улицу и остановился в недоумении: куда же, собственно, ему теперь итти? В кармане гимнастерки у него лежала пенсионная книжка. Он с удивлением ощупывал карман: она действительно там лежала. «Вчистую». Это слово, которое он когда-то механически повторял, говоря о других, сейчас вдруг стало огромным, страшным и готово было, казалось, его раздавить. Он задумался и попробовал на минуту представить себе, как будет дальше жить. Значит у него не будет полка, не будет батареи, там будет другой командир, а он уже не увидит никого из тех, с кем воевал. Он не будет ехать рядом со своими пушками по грязным весенним дорогам и подгонять лошадей, не будет выбирать наблюдательные пункты, не будет вести огонь, и в термосе не принесут вечером еду, и он не перекурит с друзьями, и никто уже ему не скажет «товарищ командир», потому что он уже не будет командиром, и никому он не отдаст приказания, потому что некому будет приказывать. И он даже не будет знать, где находится его прежняя батарея, потому что никто ему этого не скажет, он не будет иметь к ней никакого отношения.

Он медленно шел по улице, прихрамывая, опираясь на палку тяжелее, чем обычно. «Это старый кадровик», — обычно говорили про него, когда заходила о нем речь в полку с кем-нибудь незнакомым. И он никогда раньше особенно не вдумывался в это слово. Но сейчас он вдруг сообразил, что позади осталось чертовски много лет — три года действительной, три года сверхсрочной, полтора года войны. Жизнь без армии давно перестала существовать для него. И сейчас он, трезво рассуждая, очень хорошо представлял себе, как он, освобожденный вчистую, будет где-нибудь работать, хотя бы в этом городе, в каком-нибудь учреждении, или за городом, в совхозе, и, может быть, женится — и все пойдет так, как идет в жизни у многих тысяч людей. Он представлял это себе умом, но когда он хотел хотя бы на минуту почувствовать, какая она будет, эта жизнь, без того, чтобы утром сделать поверку, без того, чтобы заботиться о сотне своих людей, без того, чтобы знать их всех, со всеми их до-

стоинствами и недостатками, со всеми их привычками и слабостями, — он не мог себе этого представить, это было невозможно.

Когда он остановился, то увидел, что незаметно для себя прошел почти весь город. Он повернулся и поспешно, как только мог, пошел назад. Но когда он дошел до военкомата, был уже вечер и занятия кончились.

Было совсем темно, когда он добрался до дома, где жила Аннуш. Там его все ждали, и Аннуш, выбежавшая ему навстречу, спросила:

— Ну, как? Что тебе сказали?

— Ничего, все в порядке, — ответил Корниенко. — Говорят, скоро совсем поправлюсь. Завтра вечером поеду догонять свою часть.

Он видел по ее глазам, что она не верит или по крайней мере не совсем верит, чтобы на медицинской комиссии могли сказать ему, что все хорошо. Но она не посмела переспросить его и только молча взяла за руку и привела в комнату, где его встретили ее родители. И началась обычная домашняя суета с приготовлением ужина. Он сидел у них весь вечер, половину ночи и по тому, как с ним говорили Аннуш и окружающие, чувствовал, что, куда бы он ни уехал, в этом доме его будут ждать.

Командир дивизии полковник Вершков сидел над картой в низкой черной халупе. Войдя, он забыл стащить с себя папаху и сейчас, сдвинув ее на затылок, грудью навалившись на стол, рассматривал с начальником штаба карту. Левой рукой он машинально размешивал ложкой в стакане воображаемый чай, который уже давно был выпит.

— К вам прибыл лейтенант Корниенко, — приоткрыв дверь, сказал адъютант.

— Корниенко? — переспросил полковник и со звоном опустил ложку в стакан.

— Так точно, товарищ полковник, — сказал Корниенко, входя и оттесняя плечом адъютанта.

— Ей-богу, живой, — сказал полковник, вставая и делая два шага навстречу Корниенко.

В самые тяжелые дни боев самыми радостными для полковника были те минуты, когда он узнавал, что тот или другой из его знакомых казаков после ранения возвращался в часть.

— Здравствуй, Корниенко.

— Здравствуйте, товарищ полковник, — сказал Корниенко и в свою очередь сделал два шага навстречу полковнику, стараясь не прихрамывать (палку он оставил за дверью).

— Вот правильно, — сказал полковник, обращаясь к начальнику штаба. — Правильно. Выздоровел — и направился в часть, в свою же часть.

— Никак нет, — сказал Корниенко, продолжая стоять навытяжку. — Никак нет, товарищ полковник, не направляли меня в часть. Я без документов прошел, два раза задерживали меня.

— Без документов? — удивленно протянул полковник.

— Так точно. — Корниенко все еще продолжал стоять навытяжку. — Вот мне весь документ дали, — добавил он неожиданно для самого себя дрогнувшим голосом. — Вот он, документ.

Он положил, почти бросил перед полковником на стол свою пенсионную книжку. Он хотел сказать что-то очень важное, давно приготовленное, но промолчал, потому что почувствовал, в первый раз в жизни, как комок подступает ему к горлу.

Полковник перелистал пенсионную книжку, потом перевел взгляд на Корниенко, на его восемь нашивок, на грязную, оборванную шинель, в которой он, видимо, добирался сюда то попутными машинами, то пешком по весенней кубанской грязи, и наконец медленно сказал:

— Садись.

Когда через час за Корниенко закрылась дверь, полковник повернулся к начальнику штаба, бывшему свидетелем всего разговора, и сказал, разводя руками, словно оправдываясь в собственной слабохарактерности:

— Что, Федор Ильич, что я могу с ним сделать? Ну, что я могу с ним сделать?

— Ничего, Сергей Иванович, — улыбнулся начальник штаба.

Но полковник продолжал оправдываться:

— Вы понимаете, если человек из Еревана добрался сюда, под Ростов, больной, без документов, без аттестата, — разве я могу ему после этого сказать: «Нет, вы не в силах нести службу»? Может, и правда, он не в силах, но не нести эту службу он уже совсем не в силах, — сами видите. . . О чем вы задумались, Федор Ильич? — спросил полковник у начальника штаба, который, посасывая трубку, молча ходил по комнате.

— Все о том же, — сказал начальник штаба. — Все о том же — о войне. Вот вы тут говорили весь этот час с Корниенко, а я слушал и думал: «Победим, непременно победим».

А Корниенко в это время ехал в свой полк на вездеходе полковника, который тот лично приказал ему дать. Он ехал, и хотя счастье, что он возвращается к своим, переполняло его душу, но в то же время его не переставали мучить две смутные мысли. Во-первых, ему не нравилось, что полковник сказал: «Съездите пока к себе на батарею, а там мы завтра решим, куда вас назначить». Это «завтра решим» не нравилось Корниенко и мучило неизвестностью. Кроме того, хотя ему и было приятно, что полковник дал ему свою машину, в то же время как раз это пугало его. Ведь раньше полковнику никогда не приходило в голову возить его на своей машине. А сегодня вот он дал ему машину, — как инвалиду, как человеку, которому, по мнению полковника, трудно даже добраться до своего полка. И эта вторая мысль тоже пугала Корниенко, заставляла его с завистью поглядывать на казаков, трусивших по обочинам дороги на своих низкорослых донских лошадках.

На батарее, уже под вечер, когда Корниенко увидел всех живых и помянул всех мертвых, когда все уже было переговорено и рассказано по три раза, когда он дотошно осмотрел пушки, из которых две были новые, а две еще старые, его пушки, — Корниенко с товарищами уселся, наконец, укрываясь от ветра, под стену разбитого сарая и спросил, нет ли закурить. Ему растерянно ответили, что закурить-то есть, но вот уже сутки, как вся бумага вышла, не из чего ни одной цыгарки скрутить.

— Неужели не из чего? — спросил Корниенко.

— Не из чего.

Тогда он полез в карман гимнастерки и достал оттуда сложенную в восемь раз, потертую на сгибах, газетную страницу. Это был старый, прошлогодний номер армейской газеты, где была статья о нем, в которой описывались его подвиги. Он с особенной бережливостью хранил эту газету именно потому, что ему так до сих пор и не выдали ни одного ордена, а в газете корреспондент очень интересно и подробно описывал все, что касалось Корниенко, и даже указал на заслуженные им награды. Корниенко вынул газету, минуту помолчал, держа ее в руках, потом, оторвав сначала клочок на цыгарку себе, передал ее товарищам.

— Ладно. Все равно уж, — сказал он, не объясняя никому, что это за газета. — Все равно уж, завернем из нее. На радостях.

1943

ТРЕТЬЕ ЛЕТО

За Сталинград полковник Пряничников получил генерала. На долю его дивизии выпала судьба сделать последний выстрел в Сталинграде. Это было неподалеку от завода «Баррикады», в так называемом районе бензобаков. Назывался он так потому, что на этом участке, давно потерявшем всякое подобие городских улиц, когда-то, в начале боев, высились большие бензинохранилища, от которых к последним дням остались только раскиданные по берегу огромные перегоревшие и покоробленные куски железа. Когда уже в южной части города все было кончено, здесь, в районе бензобаков, еще держались остатки немецкого саперного батальона. Эти немецкие саперы дрались отчаянно и сдались в плен самыми последними в городе.

Дивизия теперь была гвардейская и называлась Сталинградской, и все ее бойцы, независимо от того, старые ли они были или новые, должны были называться гвардейцами-сталинградцами. Пряничников много думал над тем, как сделать сталинградские традиции не только прошлым дивизии, но и будущим.

Дни боев в Сталинграде летели с такой быстротой, складывались из такого бесконечного количества дел и забот, что только потом, когда отгремел последний выстрел, Пряничников по-настоящему задумался над тем, что же представляют собою люди, которых стали называть сталинградцами, — его бойцы, его командиры, он сам, наконец. Ему необходимо было это уяснить и решить

совершенно твердо, потому что, только поняв все это, можно было попытаться тысячи новых людей сделать похожими на сталинградцев.

Прянишникову казалось, что слова «стоять насмерть» родились именно в Сталинграде и они были там не лозунгом, а просто естественным отношением к существовавшему положению вещей, потому что стоять там действительно можно было только насмерть. Бойцы, дравшиеся в Сталинграде, сцепились с немцами так плотно, что оторваться, отступить из своих окопов и блиндажей могли только ценой бессмысленной гибели. Сражаясь, они могли, конечно, умереть, но выжить они могли только сражаясь. Сталинградцы привыкли к тому, что можно сражаться и не отступать перед сильнейшим врагом, то есть, в сущности, не признавать его сильнейшим, несмотря на его очевидное превосходство в силах.

Второе, что по мнению Прянишникова, было отличительным свойством сталинградцев, — это то, что они вполне знали себе цену. Сталинград приучил человека, вооруженного автоматом, полдюжиной гранат и пулеметом, считать себя, что бы ни творилось кругом, силой, которая может задержать много, иногда очень много немцев. Этот скупой счет на людей, который тогда был тягостным и вынужденным, тем, кто это пережил, давал ощущение внутренней силы и самостоятельности в поступках.

Было и еще многое другое, что в большей степени относилось к командирам, чем к бойцам: привычка в случае необходимости разумно экономить все, начиная от снарядов и кончая хлебом, привычка постоянно чувствовать врага тут же, рядом с собой, и не нервничать от этого, наконец, полезная привычка знать почти каждого бойца в лицо.

Когда весной дивизию переформировали, пополнили и в месяцы затишья направили под Орел, в ближний тыл армии, Прянишников имел свои совершенно твердые взгляды на то, как именно он будет воспитывать дивизию в сталинградских традициях. В армии ему однажды дали понять, что его никто не упрекнул бы, если бы он попросил неделю отпуска, чтобы съездить в Москву повидать семью. Он разволновался, полночи

проходил по избе, одержимый соблазнительными мыслями о Москве, семье и отдыхе, но к утру пришел к убеждению, что как раз сейчас сделать это он не может.

С утра до ночи он бывал в поле. Он заставил окопы и блиндажи рыть основательно, по-сталинградски, словно немецкие бомбы и снаряды должны были обрушиться именно на эти окопы и блиндажи. К неудовольствию многих своих командиров, он решительно запретил использовать саперов для этой работы.

— Пехота сама себе сапер, — говорил он. — Бросьте вы эти барские замашки. А блиндажи чтобы все равно были.

Что же до саперов, то он заставлял их наводить переправы, производить минирование и разминирование, справедливо считая, что это первое дело сапера.

Пехоту он «обкатывал танками» как только мог. Не раз и сам во время этих импровизированных танковых атак сидел в окопе вместе с бойцами. Он наблюдал при этом за людьми. Они вели себя по-разному: одни, когда к ним на большой скорости приближался танк, бежали по окопу, так, чтобы он прошел где-нибудь в стороне, не над головой, другие, наоборот, с обычным русским азартом сами бежали под танк и старались очутиться как раз под ним, чтобы испытать это ощущение и приучить себя к нему. Таких с течением времени становилось все больше и больше.

— Крепостей для солдата не строят, — говорил Прянишников. — Солдат сам себе строит крепость.

Удобные рубежи обороны, естественные препятствия — все это было хорошо, и он от этого не отказывался. Но он твердо знал: тот рубеж, на котором стоит дивизия, когда на нее нападает враг, — удобный рубеж, и сделать именно этот рубеж еще более удобным — забота командиров и солдат.

Наедине с самим собой Прянишников много, и подчас тревожно, думал о будущем. Затишье, которое тянулось четвертый месяц, стало казаться ему чреватым близкими грозными событиями. В конце июня он много исподволь разговаривал со своими командирами. Самая конфигурация фронта и тот участок, который на нем занимала дивизия, невольно заставляли думать о том,

что если немцы вообще будут наступать, то удар они нанесут, согласно всем шаблонам своей стратегии, именно здесь или где-то рядом.

Разговаривая с командирами, Прянишников чувствовал, что тревожится не он один. Когда он видел и слышал, как у нас подтягивается тяжелая и самоходная артиллерия, он невольно думал, что нечто подобное творится сейчас и у немцев. И мысль о том, каким будет первое столкновение после такого долгого перерыва, естественно, волновала его. В нем были те же самые общие твердость и спокойствие, которые, он чувствовал, были во всей армии, — спокойствие за общий исход войны и даже за исход летней кампании, как бы она ни началась. Но самое начало его тревожило. Он больше всего на свете не хотел, чтобы это началось так, как в прошлом году: тогда пришлось наверстывать потерянное. Теперь он не хотел наверстывать и, значит, не хотел терять. Казалось, все было сделано для того, чтобы это не повторилось, и все-таки он все время вспоминал о наших неудачах прошлого лета и не мог отделаться от этой мысли. Он чувствовал, что если немцы ударят летом так, как раньше, и нам удастся дать отпор им, — это окажет необыкновенное влияние на весь ход войны.

Четвертого июня стоял теплый летний вечер. Прянишников вышел из душной избы на крылечко покурить. Было тихо. Ничто не напоминало о войне. Далеко внизу, в лесистой лощине, тихо посвистывали знаменитые курские соловьи. И если бы сейчас с ним рядом, на завалинке, сидела жена, то в этом, право, не было бы ничего удивительного, — так тиха и по-дачному спокойна была ночь.

Чиркнув спичкой, Прянишников увидел стоявшего на часах автоматчика. Это был старый знакомый, рослый курносый парень, охранявший штаб Прянишникова еще в Сталинграде. Насколько генерал помнил, часовой был одним из моряков, пришедших к нему целым батальоном на пополнение в Сталинград. Сейчас еще несколько десятков их осталось в дивизии.

— Тихо, а? — сказал Прянишников, обращаясь к моряку.

— Точно, товарищ генерал, — сказал тот. — Не то, что в Сталинграде.

Ему, видимо, нетерпелось напомнить генералу о том, что он был с ним в Сталинграде.

— Ну, как думаешь, — спросил Прянишников, — скоро опять война начнется?

— Должно быть, скоро, товарищ генерал, — сказал моряк. — Вроде как друг друга ожидаем.

— Почему же ожидаем? — заинтересовался Прянишников.

— Потому что — кто кого перехитрит, — убежденно сказал моряк.

— Ну, и кто же кого перехитрит?

— Мы, — сказал моряк еще убежденнее. — Он начнет, мы ему сперва юшку пустим, а потом сами жару дадим.

Стратегический план моряка относительно того, чтобы «сперва пустить юшку, а потом дать жару», в общих чертах совпадал с представлением Прянишникова о том, как развернутся бои. Прянишникову почему-то стало приятно, что их мнения совпадают.

Утром пятого, когда с переднего края донесся далекий перекатывающийся грохот канонады, Прянишников, подняв дивизию по боевой тревоге, вдруг почувствовал, что волнение, владевшее им в последний месяц, исчезло. Ожидание кончилось, предстояло дело, и каким бы трудным оно ни было, выполнять его было спокойнее, чем ждать.

К полудню он получил из штаба армии приказ о выдвижении дивизии на тридцать километров вперед. Через десять минут первые части двинулись. А он еще полтора часа отдавал приказания о движении остальных частей, своих и приданных танков, гвардейских минометных дивизионов, тяжелых артиллерийских дивизионов, полков самоходных пушек и многих других частей, которыми, в предвидении будущих боев, обросла его дивизия.

День выдался жаркий и ясный. Ни один лист не трепетал на деревьях. Линия фронта проходила в тридцати километрах. Сплошной, но негромкий гул доносился оттуда. В три часа дивизия двинулась к передовым. Дороги

заклубились далеко в стороны стлавшейся пылью, деревенские улицы наполнились грохотом гусениц, скрипом колес, звонкими ударами копыт о булыжник и глухим топотом пехоты.

Задержавшийся в штабе и теперь обгонявший войска на маленьком открытом «виллисе», Пряничников невольно залюбовался этой картиной военной мощи, неторопливым движением тяжелой артиллерии, гарцованием конно-артиллерийских батарей, быстрым колыханием штыков шедшей ускоренным маршем пехоты. Как ни привычны были для него все впечатления, связанные с войной и армией, в которой он провел двадцать пять лет жизни, — все равно вид хорошо идущего сильного войска неизменно волновал его душу.

Вражеская авиация почти не беспокоила. Изредка появлялись отдельные самолеты, но зато впереди, по мере приближения к фронту, все отчетливее слышался почти беспрерывный тяжкий гул бомбежки, легко отличимый от канонады.

— Ишь, долбят, — говорили в рядах.

— Не меньше, как двухсотками лупят, — подтверждал кто-то.

— А ты откуда знаешь?

— По звуку слыхать.

И хотя все были рады, что немецкая авиация не застигает их в самый неприятный момент, на марше, но то, что слышалось и происходило впереди, представлялось всем очень серьезным и тяжелым, тем более, что через три-четыре часа им самим предстояло попасть туда.

По расчетам Пряничникова, дивизия должна была прибыть в назначенный ей район в темноте, и если немцы окончательно не переменились, то в бой дивизии предстояло вступить только с рассветом. Это было бы наиболее удачным вариантом, ибо тогда удалось бы за несколько ночных часов после марша привести дивизию в порядок, расставить артиллерию и заставить бойцов вырыть себе хоть небольшие укрытия.

Они подошли к передовым действительно почти в полной темноте, когда бой начал затихать. Небо под вечер заволокло тучами, и впереди, в непроглядной темноте, то там, то здесь вспыхивала перестрелка.

Ровно в одиннадцать вечера к Прянишникову прибыл офицер связи с приказом из армии. В приказе были некоторые неприятные новости. Дивизия первого эшелона, прикрывавшая вначале участок, за которым сейчас стоял Прянишников, приняла на себя первый удар немцев; немцы прошли через ее боевые порядки и продвинулись на восемь километров. Теперь, как гласил приказ и как понимал это сам Прянишников по звукам затихавшего боя, впереди него находились вперемежку прорвавшиеся немецкие танки и пехота и части нашей дивизии, засевшие в своих блиндажах и окопах и продолжавшие сопротивление уже позади прорвавшихся немцев.

Начиная марш, Прянишников еще не представлял себе ясно всей картины, и только теперь, когда он узнал, что немцы все-таки прорвали первую линию обороны и впереди стоящая дивизия понесла большой урон, его поразило то, что он не встретил на дорогах никаких признаков отступления и неудачно начатого боя. По дорогам навстречу ему ехали весь день санитарные машины, шли легко раненные, ползли на заправку бензовозки, сновали грузовики со снарядными ящиками, но никаких признаков общего движения назад не было. Положение было тяжелым, но дивизия впереди продолжала драться, и немцы, щедро полив своей кровью эти восемь взятых километров, очевидно, завязли, занятые уничтожением многочисленных маленьких гарнизонов, сидевших по всей глубине обороны, ждавших выручки и не испытывавших склонности куда-либо отступать.

В приказе дивизии Прянишникова была поставлена задача с утра контр-атаковать немцев, прорвавших первую линию обороны, и отбросить их в исходное положение. Прянишников всю ночь объезжал свои части, перетаскивая с места на место артиллерию с таким расчетом, чтобы она могла как можно дольше поддерживать завтрашнюю контр-атаку, а на случай «неблагоприятных обстоятельств» — воспрепятствовать дальнейшему прорыву немцев. В войсках было тихо. Многие притомились после марша и спали, другие неторопливо переговаривались между собой и, сидя вдвоем или втроем, накрыв головы одной плащ-палаткой, перекуривали. Чувствовалась серьезность положения, общее, тщательно сдержи-

ваемое волнение и та особая неразговорчивость, какая рождается у людей перед неизбежным и тяжелым испытанием.

В три часа ночи к Прянишникову прибыл капитан — один из командиров штаба дравшейся впереди дивизии. Это был уже не молодой для своего звания, видимо призванный из запаса, офицер, высокий, сутулый с отрывистой, хрипловатой речью. На лице его застыл отпечаток большой усталости. Он рассказывал обо всем, происшедшем за день, короткими точными фразами. Когда Прянишников задавал вопросы, он отвечал на них не сразу, близко придвигался к Прянишникову и переспрашивал. Только на пятом или шестом вопросе Прянишников понял, что капитан, очевидно, контужен, ему трудно говорить и он плохо слышит.

— Вы контужены? — спросил Прянишников.

— Да.

Прянишникову все больше нравилось то, как ведет себя этот человек и как он рассказывает о бое.

— Сейчас мы и немцы — как слоеный пирог, — сказал капитан. — Меня, пока я пробирался, два раза наши окликали и два раза немцы.

Прянишников спросил его о расположении остатков дивизии.

— Я не могу вам точно сказать, — ответил капитан, — потому что телефонная связь прервана и рации почти все разбиты. Но я могу вам указать, — и он развернул карту, — где стояли утром. Там же и сейчас, очевидно, стоят, если не все убиты.

Он показал на карте расположение полков и артиллерийских батарей.

— Мы в штабе по звуку чувствуем, — сказал он, — что в большинстве мест еще держатся, стреляют.

Он был, видимо, утомлен чувством неотвратимой опасности, висевшей над ним весь день. Однако растерянности от общего положения у него не было, и в том, как он говорил с Прянишниковым, чувствовалась уверенность, что этот генерал, перед которым он сидит, должен завтра исправить положение.

Доложив обстановку, капитан попросил разрешения итти.

— Выпейте чаю, — сказал Прянишников, и ординарец, считая это за приказание, быстро налил в жестяную кружку кипятку.

Капитан поблагодарил, обжигаясь, в несколько глотков выпил кружку до дна и повторил:

— Можно итти?

— Вы куда собираетесь?

— Обратно, к себе в штаб.

— Хорошо, — сказал Прянишников. — Я вам дам своего офицера для связи.

Когда капитан с офицером связи вышли из палатки Прянишникова, он невольно посмотрел им вслед.

«Да, — подумал он, — кажется, у нас начинают воевать не только смело, но и, наконец, спокойно».

Бой завязался утром, в начале шестого. За ночь саперы вырыли для Прянишникова и его штаба несколько маленьких блиндажей на склоне лесистого оврага. С частями была установлена дублируемая по радио телефонная связь, и Прянишников чувствовал, как все, до последней, нити сошлись в его руках.

Он вышел из блиндажа и сделал шагов двадцать наверх, — туда, откуда в синей утренней дымке виднелась широко расстилавшаяся впереди холмистая равнина, — и, развернув карту, прикинул ее на местности. Местность эта была ему хорошо знакома — в мае и июне он несколько раз рекогносцировал ее с большинством своих командиров, — и сейчас, когда он глядел на карту, он почти реально видел на ней все холмы, овраги и дороги.

— Товарищ генерал, к телефону! — крикнул снизу телефонист.

Он спустился к телефону. Из корпуса сообщили, что с наших аэродромов поднялось двести бомбардировщиков и в ближайшие минуты они будут бомбить немцев перед участком дивизии. Прянишников повеселел. Он подумал о том, какое хорошее чувство испытают бойцы, которым через пять минут итти в атаку, когда над их головами пройдут свои бомбардировщики.

Еще в ту секунду, когда бомбардировщики шли над дивизией, немцы открыли по ним зенитный огонь; они нервничали и хотели встретить самолеты как можно

раньше и, кроме того, быть может, надеялись, что, обманутые слишком ранними зенитными разрывами, бомбардировщики спутают, где действительный передний край, и отбомбятся по своим войскам.

Бомбардировщики прошли через зенитный огонь, и черные столбы земли и дыма один за другим стали подниматься там, где были немцы. Прянишников отдал последние приказания, и не успел затихнуть грохот бомбежки, как по всему фронту дивизии началась ожесточенная артиллерийская канонада. Дивизионная артиллерия, приданные ей тяжелые полки одновременно открыли огонь, покрывая им бо̀льшую часть глубины расположения немцев, километров на шесть — на семь от переднего края. Огонь мог бы быть еще мощнее, если бы Прянишников ввел сразу в бой все имевшиеся в его распоряжении артиллерийские средства. Но этого не было сделано: еще ряд тяжелых батарей и гвардейские минометные дивизионы безмолвно стояли, скрытые за складками местности, и молча ждали своей очереди. Дивизия двигалась вперед, но надо было быть готовым ко всему, и Прянишников стремился сохранить в своих руках все возможности для контр-ударов.

Дивизия двинулась ровно в пять. Впереди, на пересеченной равнине, то там, то здесь словно выскакивали из земли короткие дымки минных разрывов. За ближайшими холмами, как доложил наблюдатель, передвигались немецкие танки. Иные из них были видны отсюда в бинокль. Очевидно, наблюдая за полем боя, то одна, то другая машина выскакивала на гребень холма. Вдоль всего гребня ложились сплошные разрывы нашей тяжелой артиллерии. Впереди, на равнине, еле видными отсюда мелкими точками двигалась пехота двух полков первого эшелона. По всему полю рвались немецкие снаряды. Тяжелые чемоданы 240-миллиметровых немецких батарей уже залетали сюда, в глубину, где был штаб дивизии, и еще дальше, на скрещение дорог, по которым подвозились снаряды.

Бой разгорался. Немцам, вместо того чтобы развивать успех предыдущего дня, на первых порах приходилось заботиться о том, чтобы остаться на тех позициях, которые они заняли вчера.

Оставив за себя в блиндаже начальника штаба, Прянишников поехал в полки.

На одной из полевых дорог генерал обогнал стрелковую роту, подходившую походным строем к месту развертывания колонны. Впереди нее шла батарея легких противотанковых пушек, бронебойщики тащили на плечах свои длинные «дегтяревки». У некоторых солдат на поясах висели бутылки с горючей жидкостью. Прянишников остановил машину и подозвал к себе одного из бойцов, на поясе которого в холщевый мешок были аккуратно засунуты три бутылки с КС.

— Будешь танки поджигать? — спросил Прянишников.

— А как же? — сказал солдат.

Прянишников увидел его немолодое скуластое лицо с решительно сжатыми губами и зеленую ленточку сталинградской медали на левой стороне груди. Лицо показалось генералу знакомым: он, очевидно, видел его в Сталинграде. Впрочем, всегда, когда он видел на груди у человека зеленую сталинградскую ленточку, ему казалось, что он помнит его в лицо.

— А если «тигр»? Все равно подожжешь? — спросил генерал.

— «Тигр»? Как раз аккурат для него и припас. Тут, разрешите доложить, товарищ генерал, бойцы раненые шли вчерась, так все говорят: «Тигр», «тигр», бронебойка средний танк берет, а его не берет. А от бутылки, — говорят, — горят эти «тигры» очень спокойно».

— Значит, ты и запасся?

— Вот я и запасся, — сказал солдат, легонько хлопнув по мешку с бутылками. — Сожгем их.

Когда Прянишников приехал в штаб полка, разместившийся в наскоро вырытых окопах за гребнем холмика, бой разгорелся уже с полным ожесточением. Пехота на левом фланге того полка, в который прибыл Прянишников, двигалась удачно, прошла уже больше двух километров и в нескольких местах соединилась с частями дравшейся тут вчера дивизии, просидевшей ночь в окружении.

Он связался по телефону с начальником штаба. На правом фланге было менее благополучно. Начальник

штаба, полковник Гриценко, медлительный в речах и спокойный при всех обстоятельствах украинец, своим ленивым голосом сообщил Пряничникову, что на правом фланге танковая бригада, поддерживающая дивизию, остановлена немецкими танками; там у немцев танков втрое больше, и много наших уже сгорело, и сейчас он принял меры, чтобы в лесок (который в дивизии условно по карте назывался «Зеленое яблоко») переместилась самоходная артиллерия и не допустила дальнейшего прорыва немецких танков в тыл дивизии.

— Да, да, — сказал Пряничников, — и на всякий случай из глубины подтяните тяжелые гвардейские минометы. В случае, если все-таки прорвут или обойдут еще глубже, — чтобы накрыли их. Давайте, выполняйте.

Он не добавил никаких подробностей, так как знал, что, если немецкие танки обойдут его с правого фланга, они пойдут именно по лощине, южнее рощи «Зеленое яблоко», и что все это заранее условлено между ним, начальником штаба и начальником артиллерии; именно там будут накрывать немцев «катюши», и для этого не нужно никаких дополнительных приказаний. Очѐвидно, немцы намерены, дав ему возможность продвинуться вперед левым флангом, задержать правый, обойти его и взять всю дивизию в мешок. И он лишний раз подумал, как хорошо сделал, что не ввел сразу в бой всю артиллерию, заставив немцев заблуждаться относительно количества сил, находящихся в его распоряжении. Он не ввел их в бой сразу, и теперь Гриценко там спокойно маневрировал ими.

Здесь, на левом фланге, немцы тоже попробовали двинуть в атаку танки. Штук пятьдесят перевалило через гребень и двинулось навстречу пехоте.

Командир полка майор Ясинский, еще в Сталинграде отличавшийся своей невозмутимостью, и здесь не изменил себе. Он, в присутствии генерала, не нервничал и спокойно распоряжался всей своей артиллерией. Она встречала танки по рубежам, и поражения, наносимые ею танкам, были на этом широко открывавшемся глазам поле как бы наглядной диаграммой все возраставшей силы сопротивления. Вдалеке, почти на самом гребне холма, горели две машины. Ближе, на нижних скатах,

горели еще три. На равнине, которую они пересекли для того, чтобы подойти вплотную к нашей наступавшей пехоте, было подожжено пять машин. Дальше начинался передний край. Здесь вступили в действие 45-миллиметровые противотанковые пушки и бронебойки. Поле боя то заволакивалось дымом разрывов, то снова открывалось глазу. Когда, оторвавшись от телефона, Ясинский со вздохом облегчения сказал: «Начинают отходить», перед самыми позициями пехоты стояло, насколько Прянишников мог сосчитать глазом, еще одиннадцать немецких сожженных или подбитых машин.

Отбив атаку танков, полк продолжал уже медленнее, но все так же упорно продвигаться дальше под огнем немецкой артиллерии и минометов. Здесь все как будто было в порядке. Прянишников решил переехать на правый фланг.

Как только они отъехали от штаба полка, в небе появилась немецкая авиация. До сих пор она бомбила небольшими группами, по пять — восемь самолетов. Теперь шло сразу около полутора сотен машин. Несколько раз по дороге Прянишникову с адъютантом и шофером приходилось вылезать из машины и ложиться на землю. В воздухе стоял оглушительный треск наших зениток, перекрывавший даже грохот авиабомб.

«Наконец-то наша пехота не беззащитна», — подумал Прянишников.

Все небо пестрело пятнами разрывов, и хотя сравнительно малый процент самолетов был подбит этим огнем, все же теперь им приходилось бомбить с большой высоты, нервно, наспех.

Переезжая с левого фланга на правый, Прянишников с удовольствием убедился в том, что его постоянные требования — уметь зарываться в землю — в общем выполнены. У всех артиллерийских позиций были отрыты щели. Пехота лежала хотя и в мелких, но в окопах и продолжала рыть их.

Когда он подъехал к рощице, в которой должен был помещаться, по его расчетам, штаб правофлангового полка и кругом которой шла оглушительная стрельба, навстречу ему из-за рощи выскочил грузовик с пустыми снарядными ящиками. Увидев генерала на «виллисе», шо-

фер на секунду притормозил, крикнул взволнованным голосом: «Не ездите, товарищ генерал, там танки!» и, дав газ, умчался. Прянишников приказал притормозить «виллис», вышел и огляделся: может быть, правда, следовало дальше итти пешком? В это время слева, прямо из травы, показались сбитая набекрень пилотка, молодое лицо и длинный ствол противотанкового ружья.

— Товарищ генерал, — приложив руку к пилотке, сказал боец. — Чего он зря про танки говорит! Никаких тут нету танок.

И было в этих словах такое спокойствие и презрение к панике, что Прянишников рассмеялся.

— А где же штаб полка? — спросил он.

— Вот тут, в рощице.

— А ты тут чего один сидишь?

— Я не один. Тут мы кругом сидим, замаскированные. На случай, если танки сюда выйдут. Вот вы войдете в рощицу, налево там и штаб будет.

Прянишников сел в автомобиль. Продираясь через кустарник, «виллис» въехал в рощу. Штаб полка помещался в русле высохшего ручья. Один берег был подрыт, и в двух или трех ямках, закрытых плащ-палатками, разместился штаб.

— Два раза танки сзади нас на дорогу выходили, — сказал командир полка, полковник Сухов.

— Ну?

— Отбивали.

— Связь есть с дивизией?

— А как же? Три раза рвалась, три раза устанавливали.

Прянишников вновь связался по телефону с начальником штаба. Ленивый голос полковника Гриценко действовал на него успокаивающе.

— Насколько я понимаю, — медленно выговаривая слова, сказал Гриценко, — первые контр-атаки немцев мы по всему фронту отбили. Сейчас они перегруппировываются. Может, вы приедете, товарищ генерал?

— Скоро приеду, — ответил Прянишников.

Он почувствовал, что, пожалуй, Гриценко был прав, и, преодолев в себе с начала войны укоренившуюся привычку во время боя быть непременно где-нибудь в полку

или в батальоне, решил немедленно вернуться: при наличии связи оттуда, из штаба, ему, пожалуй, легче будет все видеть.

— Уезжаете, товарищ генерал? — спросил Сухов.

— Да.

— Полюбопытствуйте. Тут у нас в роще-то бой был.

— Какой бой?

— Сюда час назад прорвались все-таки их танки, но мы отбили.

— А что же вы сразу не сказали?

— А чего же? Отбили же. Так тут стоят два «тигра». Может, полюбопытствуете. Не видали?

Они сели в машину и, проехав вдоль опушки рощи, на самом краю ее увидали несколько сожженных немецких танков. Один из них был «тигр». Это была тяжелая махина, грубо сделанная и, видимо, неповоротливая, но с такой толстой броней, какой Прянишников еще никогда не видел. На танке виднелись вдавлины от нескольких попавших туда и не пробивших его снарядов.

— А вот этот пробил, — сказал Сухов, обходя танк сбоку и показывая небольшое отверстие, развороченное в броне. — В лоб не бьет, а так пробивает. Там, в лощинке, второй «тигр». Хотите пойти?

В этот момент, запыхавшись, подбежал адъютант командира полка.

— Начальник штаба вас просит, товарищ полковник. Опять танки идут.

Они не стали возвращаться на командный пункт и вдоль края рощи вышли на пригорок, где помещался наблюдательный пункт. Прянишников решил остаться здесь до отражения атаки.

На расположение полка двигалось около трех десятков танков, — во всяком случае, столько их было в поле видимости. Большинство из них, повидимому, были тяжелые. Учтя опыт предыдущей неудачной атаки, немцы решили одновременно подавить нашу артиллерию. Несколько тяжелых немецких дивизионов било по расположению наших, приблизительно засеченных ими, батарей. Батареи сначала отвечали, но когда танки приблизились на дистанцию тысяча двести метров, они перенесли огонь по танкам. Через десять минут на скатах холмов стала

показываться идущая за танками немецкая пехота. Несколько десятков немецких тяжелых снарядов разорвались на опушке рощи, где был наблюдательный пункт. Один — совсем рядом. Когда Прянишников поднялся, он увидел шагах в десяти от себя огромную дымящуюся воронку. Несколько человек уже не поднялись. Среди них был и адъютант Сухова, только недавно подбегавший к нему. Танки продолжали двигаться.

— Донесли в дивизию о движении танков? — спросил Прянишников начальника штаба полка.

— Так точно, донес.

Прянишников, сев на землю, развернул на коленях карту.

Танки начали входить в лощину, которая узкой горловиной шла к рощице, где они сидели. Еще с утра на эту лощину был нацелен дивизион не вступавших в бой гвардейских минометов. Уверенные в успехе, танки подтормозили и ждали пехоту. Она вслед за ними начинала спускаться в лощину, стараясь распространиться вправо и влево, против оставшихся там и продолжавших вести по ней огонь наших рот. Прянишников проверил по карте.

«Да, точно, если в дивизию сообщено, то Гриценко должен сейчас дать сюда огонь «катюш». Очевидно, это будет через минуту или через две, но не позже, только не позже».

Он посмотрел на часы. Боже мой, как летело время: было уже одиннадцать пятьдесят две — почти семь часов боя.

— Прикажите подвинуть самоходную батарею на опушку, быть в готовности, — охрипшим, ставшим отрывистым от волнения голосом сказал Сухов начальнику штаба.

— Связи нет. Порвало.

— Восстанавливают?

— Да.

— Давайте, восстанавливайте, а тем временем пошлите наших связных.

Прошли еще одна или две томительных минуты. Прянишникову не хотелось звонить в штаб. Ему казалось, что все должно быть так, как намечено, без его звонка.

Да сейчас и не время было заниматься проверкой точности работы штаба. Он приказал соединить себя с Гриценко.

— Гриценко! — крикнул он в телефон.

— Слушаю, товарищ генерал.

В эту секунду рев залпа заглушил все. Залп лег поперек всей лощины, по которой двигались немцы. Сплошной черный дым поднялся впереди, и долгие раскаты еще продолжали греметь кругом.

— Что, товарищ генерал? — не слыша голоса Пряничникова, спросил в телефон Гриценко.

— Ничего! — крикнул Пряничников. — Теперь ничего. Скоро приеду, — и положил трубку.

Когда дым в лощине начал рассеиваться, Пряничников увидел: посредине лощины горели три танка, пораженные прямыми попаданиями. Среди стлавшегося по земле дыма неподвижными точками лежала мертвая немецкая пехота. Большинство танков беспорядочно отходило назад. Но с десяток танков, не попавших в зону действия огня «катюш», уже выскочили из лощины и двигались прямо к лесу. В это время из-за опушки один за другим раздались несколько артиллерийских залпов.

— Стодвадцатидвухмиллиметровые, — определил по звуку Пряничников.

— Да, самоходные бьют, — сказал Сухов.

Снаряды ударились в землю между танками, но ни один из них не попал. Следующий залп был удачнее: сначала один танк, потом другой вспыхнули. От удара один из них завалился набок.

— Стодвадцатидвухмиллиметровые. Как орехи колет, — удовлетворенно сказал Сухов. — Что, наладили связь?

— Нет, товарищ полковник, — сказал начальник штаба, — и связные еще не могли поспеть. Наверное, сами по обстановке решили.

— Кто командир батареи? — спросил Пряничников.

— Васильев.

Пряничников записал эту фамилию на краю карты. В таких случаях он не любил забывать людей, а память за время войны, должно быть от усталости, все чаще стала изменять ему.

Самоходные орудия продолжали стрелять. Загорелся третий танк. Остальные повернули, но им вдогонку еще летели снаряды, и на самом гребне высоты задымился четвертый танк. Шесть перевалили через высоту и скрылись.

— Где Коля? — сказал Прянишников.

— Здесь, — поднялся с земли молодой парень, выполнявший обязанности шофера, разбитной московский таксомоторщик, который в Сталинграде, за ненужностью машины, был при Прянишникове ординарцем. Глаз и щека его были перевязаны окровавленным платком.

— Тебя задело?

— Да. Осколков штук двенадцать, — сказал Коля. — Маленькие-маленькие, как булавочная головка. И откуда, скажите, пожалуйста: снаряд такой здоровый, а осколки такие маленькие. Поехали, товарищ генерал?

— Поехали.

После неудачной танковой атаки немцы опять начали бомбежку, но Прянишников торопился в штаб и, несмотря на увещевания Коли, приказал гнать машину вовсю. На перекрестке дороги они чуть не наехали на шедшую по дороге, видимо с левого фланга, группу раненых. Коля затормозил.

— Ну, как, горячо? — спросил Прянишников.

— Горячо, товарищ генерал, — сказал шедший впереди сержант, несмотря на ранение в шею и руку, сохранявший боевую выправку. — Горячо, — повторил он, откозыряв левой, здоровой рукой. — Бьемся.

— Товарищ генерал, — выскочил из рядов рослый человек с перевязанной головой, в разорванной гимнастерке, под которой перекрещивались через плечо бинты. — Я же вам говорил, что пожгу эти «тигры». Вот и пожег.

Прянишников узнал в нем давешнего бронебойщика, которого он перегнал по дороге на передовые.

— Как же ты его пожег?

— «Тигра»-то? — сказал бронебойщик с таким выражением, словно «тигр» был его старым знакомым. — Тремя бутылками пожег. Все три истратил.

— Ну как же, все-таки?

— Он через окоп пошел. Я выскочил и — по нему бу-

тылку. Одна соскочила, другая попала, и он загорелся. Уже он загорелся, а я в него третью кинул. В запале был, до конца его дожечь хотел.

— Я тоже сжег! — крикнул кто-то из толпы.

— Сгорел? — спросил Прянишников.

— Сгорел, товарищ генерал. Справно горят.

Прянишников приказал адъютанту записать фамилии бронебойщиков, вытащил портсигар, закурил и дал раненым. Они брали папиросы неторопливо, аккуратно, с достоинством, но закуривали быстро и с жадностью: чувствовалось, что им досмерти хотелось курить.

— Записал? — спросил Прянишников.

— Записал.

— Ну, поехали. Желаю поправляться! — крикнул он раненым.

В штабе, пока Гриценко докладывал Прянишникову обстановку, Коля, вынув неведомо откуда щетку, обчищал генеральскую гимнастерку и брюки.

— Пообдало вас землицей, товарищ генерал.

Ему принесли кружку воды. Он умыл лицо, полил водой голову и, расстегнув гимнастерку, зачерпнул две полных пригоршни воды и вылил их за ворот.

— Который теперь час? — спросил он у Гриценко.

— Пятнадцать пятьдесят.

— Да ну?

На часах Прянишникова было попрежнему одиннадцать пятьдесят две.

— Скажи, пожалуйста, стали, — сказал он.

— Это вы, наверное, повредили, когда упали, как снаряд разорвался, — напомнил Коля.

Положение рисовалось сложным, но в общем благоприятным. На левом фланге и в центре мы прошли четыре километра, на правом — несколько меньше. Судя по донесениям и пленным, на участке дивизии к разгару боя уже дрались немецкая танковая и пехотная дивизии и какой-то еще гренадерский полк, о котором Прянишников никогда не слышал.

— Какие приказания сверху? — спросил он у Гриценко.

— Приказывают удерживать занятые позиции.

— А как левее дела?

— Примерно так же, как и у нас. Ничего.

— Ну, что же, будем удерживать. Обедом покормишь?

— Пожалуйста, только остыл.

Бой продолжался. В пять и в семь немцы повторили атаку крупными силами пехоты и танков, но уже по какому-то ощущению, носившемуся в воздухе боя, Пряничников чувствовал, что на сегодня они утомлены.

Несколько раз над головой в ту и в другую сторону проходили то наши, то немецкие бомбардировщики, несколько раз высоко в воздухе возникали бои между истребителями.

Перед самым вечером, за пять минут до последней бомбежки, наступила полная тишина. Не было слышно ни одного выстрела.

— Ну, вот и милиционер родился, — сказал Пряничников, и все улыбнулись.

Поговорка была старая, сталинградская. «Милиционер родился» — и сразу навел порядок и тишину.

Через пять минут началась последняя немецкая бомбежка.

— Под занавес! — сказал Пряничников.

И действительно, когда она прекратилась, все понемногу начало затихать. Бой в этот день исчерпал у обеих сторон все человеческие силы и медленно гас.

К Пряничникову с докладом явился начальник тыла, толстый веселый подполковник с тихой фамилией Овечка. Он долго служил в армии, был старше Пряничникова лет на десять, и поэтому генерал звал его батькой.

— Ну, как, батька? — сказал Пряничников, когда тот доложил о доставке снарядов и продовольствия. — Могу я водки теперь выпить?

— А почему же нет, товарищ генерал?

— Ну, это зависит только от тебя.

— Почему, товарищ генерал?

— А потому. У меня привычка фляжку откупоривать только тогда, когда все бойцы норму свою получили. Так как же, выдал ты сегодня норму?

— Можете откупоривать, — сказал Овечка.

— Хорошо. Тогда и тебя угощу.

Прянишников взял флягу и налил в походные стаканчики себе, Гриценко и Овечке.

— А помнишь, какие к нам месяц назад листовки падали, Гриценко? — вдруг вспомнил Прянишников, поморщившись и закусив корочкой хлеба.

— Какие? Ведь много бросали.

— Да те, про Сталинград. Как они там писали? «Нам известно, что сюда на фронт прибыли сталинградские головорезы. Войска германской армии горят желанием встретиться с ними». Ну, что же, пускай горят. Сколько танков у них сегодня сгорело?

— Всего девяносто три.

— Впредь до уточнения скинь треть, потому что один и тот же танк иногда в одном полку справа считают, а в другом слева. Так что считай пока — шестьдесят три... Да...

Он потянулся, встал и, долгим взглядом окинув ту сторону, где в темноте лежали позиции немцев, медленно и серьезно сказал:

— Ну, что же. Вот и встретились.

В эту ночь Прянишников так и не лег спать. Вся короткая ночь ушла на передвижения. Подтягивались и перемещались на новые позиции батареи, из тыла подошла и стала на левый фланг дивизии танковая бригада, а еще не введенный в бой полк полковника Бессонова Прянишников за ночь подтянул вперед, один батальон оставил в дивизионном резерве, а два заставил закопаться позади своего левого, выдвинутого вперед, фланга.

Он предвидел, что завтра главный удар немцев придется именно сюда. Свой наблюдательный пункт, на котором в этот день сам так и не был, он передвинул несколько назад и вправо, — именно так, чтобы теперь в поле зрения находились все позиции, занимаемые дивизией, и чтобы при любых обстоятельствах постараться не менять его завтра.

Ночью он еще раз объехал полки и настойчиво, придирчиво требовал, чтобы продолжали окапываться. Для этого кое-где приходилось будить и поднимать утомлен-

ных бойцов и командиров, но Пряничников был на этот раз беспощаден. Если во время боя он старался сдерживаться и редко говорил горькие слова командирам, то сейчас он так и сыпал ими, не стесняясь в выражениях. То, что дивизия сходу вступила во встречный бой, спутало карты немцев. Накануне, продвинувшись на восемь километров, они считали, что фронт уже прорван, и сегодня вступили во встречный бой не со всеми силами, какими располагали. Наткнувшись на сопротивление, они, несомненно, за ночь подтянут крупные силы именно сюда, и — Пряничников это чувствовал — придется приложить все усилия, для того чтобы удержаться и не отступить.

Ночью Пряничников не только поехал сам, но и послал почти всех офицеров своего штаба проверять готовность полков к завтрашнему дню.

— Главное, чтобы были зарыты, как следует зарыты, — повторял он офицерам. — Если плохо зарыты и если спят — поднять, устали — все равно поднять, пусть роют. Если не поспят, завтра сама горячка боя спать не даст — взвинтит нервы, а если не зароются — погибнут.

Незадолго до рассвета генерал имел крупный разговор с полковником Бессоновым. Тот, видимо, считая, что его полк попрежнему находится во втором эшелоне и ему, быть может, завтра предстоит передвинуться, не проявил рачительности в укреплении своих позиций.

— Стоите во втором эшелоне? — раздраженно говорил Пряничников в лицо стоявшему перед ним навытяжку Бессонову. — Я вижу — вы за три месяца засиделись в тылу, отвыкли от условий современной войны. Сейчас стоите во втором эшелоне, а через полчаса будете принимать на себя всю тяжесть боя, весь удар. Что вы думаете? Что у вас слишком много артиллерии, да? Целиком надеетесь на нее? Напрасно. Могу часть отобрать, если слишком много. «Немецкие танки не пройдут», — имейте в виду, — это общая формула. Вообще не пройдут — да, но, в частности, завтра могут пройти на каком-то участке. Не здесь, так там, надо это помнить. Думаете, я вас передвину? Лень рыть окопы! Так это

мое дело — передвину я вас или нет, а ваше дело — устроить так, чтобы там, где вы стоите, была неприступная позиция, хотя бы вы тут стояли всего шесть часов.

Прянишников приехал к себе на наблюдательный пункт, когда уже начинало светать. Пункт был расположен не на самом гребне холма, а немного позади, на скате его, и только две замаскированных траншеи выходили на самый гребень холма, где в узких, глубоко отрытых щелях стояли стереотрубы. Блиндаж наблюдательного пункта был глубоко врыт в землю и перекрыт четырьмя накатами бревен.

— Сколько накатов? — спросил Прянишников у командира саперного взвода, который со своими саперами заканчивал устройство блиндажа.

— Четыре.

— Почему четыре? — уже сердясь, спросил он. — Если вы хотите сделать блиндаж безопасным от прямого попадания мин и семидесятишестимиллиметровых снарядов, то достаточно трех, а если хотите обезопасить от тяжелых, то четыре наката — это филькина грамота, нужно шесть. Что, мне вас заставить перечитать устав? Два наката сейчас же. Я не собираюсь менять наблюдательный пункт из-за того что по мне пристреляется тяжелая артиллерия. Понятно?

В течение часа, оставшегося до полного рассвета, саперы уложили еще два наката.

— Вот это так, — сказал Прянишников, вернувшись из хода сообщения, где он просматривал в стереотрубу поле боя. — Теперь я буду как у Христа за пазухой, — сказал он с откровенностью человека, который не считает признаком трусости привычку добиваться безопасности там, где это можно сделать. — Теперь пусть хоть целым дивизионом пристреливаются.

Уже совсем рассвело, а немцы все еще не начинали.

— Проверьте радио, — говорил Прянишников Гриценко, — проверьте как следует, — со всеми полками и дивизионами. От этого многое будет зависеть, быть может, все. В течение первого часа, ручаюсь чем угодно, все телефонные провода порвут.

Гриценко доложил, что связь на все время боя обеспечена.

— Хорошо, — сказал Прянишников. — Что же они не начинают?

Словно отвечая на его слова, немцы действительно начали.

— Шесть ноль ноль, — сказал Прянишников, посмотрев на часы. — Все-таки, как ни говорите, — обратился он к Гриценко, — а они большие любители порядка.

Все, что Прянишников предвидел с ночи, начинало оправдываться. Уже к шести тридцати, после короткой, но решительной артиллерийской подготовки, насколько можно было судить по донесениям из всех полков, перед фронтом дивизии появилось больше двухсот танков.

— Полнокомплектная танковая дивизия, — сказал Прянишников. — Я не думаю, чтобы они за одну ночь пополнили вчерашние и позавчерашние потери. Скорее всего, наши предшественники и мы за эти два дня уже вывели одну танковую дивизию из строя. По-моему, это новая. Как вы думаете?

— Весьма вероятно, — сказал Гриценко.

— Очень вероятно.

Из полков все время поступали сведения о подбитых и сожженных немецких танках. Через два часа общее число их дошло до шестидесяти. По привычке Прянишников скинул одну треть.

— Для начала хорошо, — сказал он. — А главное, хорошо то, что мы еще не ввели всю артиллерию.

К девяти часам утра связь с левофланговым полком Ясинского прервалась, и Прянишников получил донесение, что немецкие танки и самоходные орудия обошли полк Ясинского справа и слева и двигались дальше, причем главная масса их, обойдя дивизию слева, стремилась выйти за правый фланг соседа, на его тылы.

— Придется тронуть танковую бригаду, — сказал Прянишников. — Отдайте ей приказание вступить в бой.

Гриценко связался по радио с командиром танковой бригады, и через двадцать минут с левого фланга, от Бессонова, донесли, что перед фронтом полка и левее его идет ожесточенный танковый бой, судя по началу его, складывающийся не в пользу немцев.

— Ну, да, неожиданность, — сказал Прянишников. — Они не ожидали встретить наши танки. Но бригада там у нас не такая сильная, и, когда немцы освоятся с обстановкой, танкистам придется туго. Оттяните половину самоходных орудий назад, на высоту, к деревне Подосиновка.

— Назад? — переспросил Гриценко.

— Да, да, назад, — на тот случай, если немцы сомнут бригаду. Я предпочитаю сегодня обойтись без боя в окружении. И запросите по радио танкистов, чтобы прислали мне оттуда одного командира. Радио — хорошее дело, но я хочу посмотреть человеку в лицо. Что, с Ясинским нет связи?

— Нет. Очевидно, рацию разбили.

— Пошлите офицера связи. Пошлите двух сразу, пусть попробуют добраться разными маршрутами.

В следующий час пришли три донесения о первых серьезных потерях в офицерском составе. У Сухова прямым попаданием снаряда были сразу убиты начальник штаба и заместитель. Самого Сухова ранило, но он остался руководить боем. С Бессоновым была еще телефонная связь: он доносил, что часть танков развернулась против его полка, сейчас он отбивает ожесточенную танковую атаку и ждет пехотной атаки, потому что, по его наблюдениям, в близлежащих лощинах скопилось больше полка немецкой пехоты.

— Минут на десять связь прервется, товарищ генерал! — кричал в телефон Бессонов.

— Почему?

— Меняю наблюдательный пункт.

— Почему?

— Сильно накрывает артиллерия. Нащупали.

— Впредь наука будет! — крикнул в телефон Прянишников. — Будешь как следует наблюдательные пункты строить! Меняй, но только скорей.

Наблюдательный пункт самого Прянишникова немецкая артиллерия еще не нащупала, и только два или три раза весь холм содрогался от ожесточенной бомбежки.

— Ишь, сколько высыпало, — говорил Прянишников, глядя в небо, откуда, вырываясь из мелких тучек, пикировали немецкие самолеты.

Во время бомбежки Пряничников сидел в узком ходе сообщения у стереотрубы, справедливо считая, что и шесть накатов не спасут от удара 250-килограммовой бомбы, а сидеть на воздухе, наблюдая за тем, как пикируют немецкие самолеты, было все-таки веселее. Впрочем, наблюдать за ними он не особенно успевал: донесения шли одно за другим. Положение усложнялось, а от Ясинского попрежнему не было сведений. Наконец от него пришло донесение. Он сообщал, что рация была повреждена и ее исправляли, что немецкие танки находятся уже позади него, но полк продолжает оставаться на прежних позициях и ведет бой сейчас главным образом с пехотой противника.

— Запросите его, прибыли ли к нему офицеры связи, и пусть пришлет офицера с докладом, — сказал Пряничников.

Но когда по радио передали это приказание Ясинскому и потребовали его подтверждения, то подтверждения не последовало, — видимо, рация опять была повреждена или разбита.

Тучи над головой понемногу рассеялись. Небо стало синим, и палящее июльское солнце припекало голову. Во втором часу дня наконец прибыл офицер связи из танковой бригады. Последние два километра он прошел пешком, так как его броневик разбило по дороге при бомбежке. Гимнастерка его и брюки были в темных пятнах крови.

— Ну, как там? — спросил Пряничников, когда офицер отрапортовал.

— Ведем бой, — ответил тот.

— Знаю, что ведете. Что, сами видели, как бой идет? Рассказывайте.

Танкист, помрачнев, стал рассказывать о том, какие большие потери в машинах они понесли за первые два часа боя, причем с каждой фразой лицо его все больше искажалось, как будто это сообщение причиняло ему физическую боль. Он рассказывал о том, как удачно начался бой, как они, выйдя неожиданно с исходных позиций из лесу, встретили обтекавшие лес немецкие «тигры» и «фердинанды». Фланговым огнем в первые же пятнадцать минут боя они сожгли одиннадцать тяжелых не-

мецких танков и несколько легких, а потом на них с трех сторон обрушились главные силы немецкой танковой дивизии, и трудно сказать, в каком положении дело теперь, после того как он час добирался сюда.

— Сколько, по вашим подсчетам, вы уже потеряли машин?

Он сделал длинную паузу и потом, колеблясь, словно боясь осудить действия своего командира, сказал:

— Как пожгли мы этих одиннадцать «тигров», так зарвались немного — в лоб вышли. Тут нас и накрыли. Сильные все-таки эти машины.

— Да, надо было сманеврировать. Ну, хорошо. Поезжайте и передайте вашему полковнику, что я приказал, не выходя из этого района, в случае окружения танками занять круговую оборону. Будет нужно — закопайте танки, но не уходите. Передайте ему, что на поддержку сзади него подходит самоходная артиллерия. Если вас окружат, то пусть знает, что не надолго. Поезжайте.

Танкист замялся:

— Не на чем, товарищ генерал.

— Ах, да, у вас же броневик разбили. Ну, ладно. Найдите моего шофера, — сказал Прянишников начальнику штаба, — пусть доставит на моем «виллисе». И обратно чтобы с последними сведениями приехал.

От Ясинского сведений все еще не было. Сухов регулярно доносил о ходе боя, и хотя в общем обстановка складывалась у него благоприятно, — перед позициями горело уже больше двадцати танков и немцы почти нигде не продвинулись, — но Сухову не повезло сегодня с командным составом: у него убитыми и ранеными выбыли несколько командиров.

К трем часам дня выяснилась новая неприятность: начальник артиллерии доносил, что, отбивая ожесточенные танковые атаки, артиллеристы израсходовали значительно больше снарядов, чем предполагалось. Количество снарядов в некоторых батареях уже подходило к цифре неприкосновенного запаса. Видимо, грузовики со снарядами застряли где-то по дороге, под непрерывной бомбежкой. Подполковник Овечка с утра был в тылах, и

Прянишникову все не удавалось связаться с ним, чтобы запросить о положении со снарядами.

— Василий Акимович, — обратился к Прянишникову заместитель по политической части полковник Прохоров, его бывший комиссар еще по Сталинграду, — я поеду насчет снарядов.

— Да, да, поезжай, Андрей Семенович, — сказал Прянишников. — Поезжай и вытащи. Сейчас это главное. Наверное, не туда заехали или застряли, или где-нибудь мосты побили, так, вместо того чтобы раз-раз и мост поправить, объезды на пять километров устраивают. Чортова привычка! Поезжай.

Прохоров уехал, и Прянишников про себя лишний раз подумал то, что он уже думал много раз: какой золотой человек его бывший комиссар и как он здорово в своем новом положении заместителя нашел свое место.

С Бессоновым связь рвалась два раза и дважды восстанавливалась. Он доносил, что держится прочно, но предвидел еще более ожесточенные атаки и просил на этот случай для большей надежности вернуть ему забранный у него Прянишниковым третий батальон. Прянишников знал по себе, что командир дивизии, у которого забрали полк, как бы хорошо ни понимал обстановку, все равно в душе чувствует себя обокраденным и все время помнит об этом отобранном батальоне или полке. Несмотря на серьезность обстановки, Прянишников невольно улыбнулся и, приободряя Бессонова, сказал, что держится он молодцом.

— Что же касается батальона, — добавил он, — то ты представь себе, что его никогда у тебя не было. Про него забудь.

Бессонов пробовал что-то возразить.

— Все, — сказал Прянишников. — Все. Сегодня еще не последний день боев. Еще завтра бои будут. Держись с тем, что есть.

В четыре часа с левого фланга донесли, что танковая бригада, понеся тяжелейшие потери, полчаса назад была окончательно обойдена немецкими танками, но поставленные сзади нее два дивизиона самоходных орудий остановили немцев, и, попав под фланговый огонь, немецкие танки начали отход.

— Как ты думаешь, Гриценко? Что дальше будет? — спросил Прянишников.

— Теперь в другом месте ткнутся, — сказал Гриценко.

— Совершенно верно. Ну-ка, запроси Сухова, что у него там с танками. Много ли наблюдается немецких танков?

Через пять минут Гриценко сообщил донесение Сухова о том, что перед фронтом его полка действует главным образом немецкая пехота, а в смысле танков относительное затишье.

— Прикажи, чтобы держали в готовности все противотанковые средства, — сказал Прянишников. — И отдай приказание, чтобы подготовили огонь «катюш» по тем же лощинам, что и вчера. Если немцы пойдут, больше им негде прорваться, как по этим лощинам.

Чутьем человека, уже хорошо изучившего тактику немцев, он предвидел, что, потерпев неудачу на левом фланге, у Бессонова, и считая, что Ясинский все равно окружен и является их добычей, немцы сейчас перегруппируются и бросят свои главные силы направо, на Сухова.

С четырех до шести установилось относительное затишье. Немецкие атаки ослабели не только перед фронтом Сухова, но и перед фронтом Бессонова. Все это лишний раз подтверждало соображения Прянишникова относительно немецкой перегруппировки.

Прянишников тоже занялся некоторой перегруппировкой, главным образом артиллерии. У него уже не было не введенных в бой артиллерийских резервов, и он рискнул, к огорчению Бессонова, перетащить от него один тяжелый артиллерийский дивизион несколько ближе к правому флангу. Он приказал начальнику артиллерии отдать распоряжение об уточнении данных для стрельбы по холмам, на которых сейчас стоит правофланговый батальон Сухова. Он делал это на тот случай, если у Сухова потеснят правый фланг. Тогда на этом пространстве окажутся немцы.

Ровно в шесть часов вернулся из тылов Прохоров.

— Ну, как Андрей Семенович?

— Подтащили снаряды, — сказал Прохоров. — Теперь опять почти комплект будет. Так и есть, два мостика расковыряли немцы бомбежкой, так такой объезд через гать, через топь устроили, что пятьдесят грузовиков стояли, — вместо того чтобы мосты навести.

— Ну, навели теперь?

— Навели. Что слышно, Василий Акимович?

— Пока ничего, — сказал Прянишников, — но полагаю, что сейчас должны нажимать на Сухова. Будут новую щель искать.

— Хорошо, — сказал Прохоров. — Я поеду к Сухову.

— Поезжай, он там раненый. Ты посмотри, Андрей Семенович, он говорит, что легко, а может быть, его все-таки нужно вывезти. В общем, поезжай.

Только Прохоров уехал, как началось то, что два часа ожидал Прянишников. Около сотни немецких танков и, судя по всему, не меньше полутора-двух полков пехоты двинулись на позиции, занимаемые Суховым. В течение двух часов там творился сущий ад. Ожегшись еще утром, потеряв много танков, немцы на этот раз поддерживали свою танковую атаку огнем, по крайней мере, трех артиллерийских полков. Минутами поле боя казалось отсюда окутанным сплошными дымами разрывов. В критический момент, стремясь не допустить разрыва между своими батальонами, Сухов запросил по радио разрешения загнуть фланг и несколько отойти своим правофланговым батальоном.

— Запросите, подготовлены ли сзади позиции? — приказал Прянишников.

Через пять минут Гриценко сообщил, что Сухов доносит, что подготовлены.

— Тогда разрешите, — сказал Прянишников. — Подготовлены данные у артиллерии?

— Подготовлены.

Через десять минут после того, как правофланговый батальон Сухова начал медленно отходить и немецкие танки и пехота выскочили на только что занимаемые батальоном высоты и начали перекатываться через них, по личной команде Прянишникова, хладнокровно ожидавшего, чтобы на высотах накопилось как можно больше немцев, туда ударили последовательно залпы трех диви-

зионов «катюш». И сразу же, вслед за этим, не давая передышки, пристреляв заранее этот рубеж, по нему начала бить тяжелая артиллерия. Это был самый напряженный момент боя.

Насколько мог судить Прянишников, ряды суховского полка к этому времени поредели, у батальонной и полковой артиллерии снаряды были на исходе, и если бы теперь не удалось удержать немцев сплошным огневым валом, то последствия могли бы быть очень тяжелые. Но расчет оказался правильным. Немцы, застигнутые огнем батарей на открытом месте, скатились с высот не вперед, а назад, — на этот раз у них нехватило наступательного порыва, для того чтобы снова подняться на высоты. Бой здесь начал понемногу затихать, и только на отдельных участках, где частям немецкой пехоты удалось проникнуть между позициями наших рот, происходили еще мелкие ожесточенные схватки, в ходе которых с обеих сторон, естественно, выравнивалась линия фронта.

Теперь главное внимание Прянишникова было привлечено к полку Ясинского. Представлялось совершенно несомненным, что немцы перед новой атакой на фронт дивизии во что бы то ни стало постараются уничтожить окруженный, попавший в тяжелое положение полк Ясинского. Между тем от Ясинского не было еще никаких сведений ни по радио, ни через офицеров связи, судя же по всем наблюдениям, там продолжал итти ожесточенный бой.

Прянишников подтянул к переднему краю свой резервный батальон и дивизион самоходных орудий. Он намерен был ночной атакой в центре, на господствовавшую высоту, лежавшую против левого фланга Сухова и занятую немцами, отвлечь внимание немцев от полка Ясинского, помочь ему расчистить коридор и отойти.

Когда Прянишников отдавал последние распоряжения на этот счет, к нему, наконец, явился офицер связи от Ясинского. По его виду сразу можно было определить, что он побывал в самом пекле боя. Был он весь забрызган грязью и запылен, гимнастерка у него была порвана в двух местах, глаза покраснели от усталости. Прянишников повел его в блиндаж и, прежде чем он начал рассказывать, заставил сесть. Сведения, привезенные офицером

связи, были не веселые, но все же менее трагические, чем можно было предполагать. Потери в полку были значительные. Противотанковая артиллерия, по донесению Ясинского, поджегшая за день шестьдесят один танк, была в свою очередь почти целиком уничтожена и частью раздавлена немецкими танками. Сам Ясинский был легко ранен, но тяжело контужен и, как сказал офицер связи, писал это донесение лежа. Заместитель его — майор Лавров был убит.

Хорошее в этом общем тяжком положении было то, что остатки всех тех батальонов имели между собою связь и в ходе боя были стянуты вместе Ясинским, предвидевшим необходимость последующего выхода из окружения. Донося о ходе дневного боя, Ясинский сообщал, что, несмотря на строго оборонительный характер боя, все же удалось захватить до трех десятков пленных. Немецкие танки, пущенные на полк в огромном количестве, подвели за собой немецкую пехоту к самому переднему краю, а отдельные десанты затащили даже в глубину. Бой за день три или четыре раза переходил в рукопашный, обе стороны забрасывали друг друга гранатами и дрались с большим ожесточением. В ходе этих рукопашных схваток и были захвачены пленные.

Ясинский, наблюдая за общим ходом боя, правильно предполагал (так оно и было), что общая линия обороны в ходе боя установилась позади него, и хотел ночью, сосредоточив впереди батальонов оставшиеся противотанковые пушки, прорваться назад и выйти на общие позиции дивизии. На это он и спрашивал разрешение у Прянишникова.

Общие потери дивизии за этот день, а также и подавляющее превосходство сил, которые сосредоточили немцы на этом участке, не позволяли Прянишникову принять то решение, которое он принял бы при несколько ином соотношении сил. Он не мог сейчас позволить себе пытаться выйти всей дивизией на уровень полка Ясинского. Следовательно, оставалось именно то, что предлагал Ясинский: с боем пробиться и отвести полк на уровень общей линии обороны, — как она сложилась сейчас.

Прянишников написал письменное приказание и с офицером связи отправил к Ясинскому своего началь-

ника разведки капитана Глущенко. Перед отъездом офицера связи и Глущенко он собственноручно вместе с ними нанес на карту всю обстановку на фронте дивизии, предполагаемый коридор, по которому должен был прорваться Ясинский, а также и направление демонстративного удара, который он предполагал нанести ровно в 22.00, чтобы облегчить положение окруженного полка. Ясинский ровно в 22.00 должен был начать прорываться.

Когда офицер связи и Глущенко уехали, Прянишников вызвал начальника артиллерии и установил рубежи, по которым тот должен был открыть огонь с таким расчетом, чтобы под прикрытием огня Ясинский мог спокойно оторваться от немцев, которые были впереди него, и драться только с теми, что преграждали ему путь назад.

Бессонову и всей приданной ему артиллерии было приказано сейчас же с наступлением темноты начать постоянный беспокоящий огонь по немцам, находившимся между ним и Ясинским.

— Ты должен взвинтить им нервы, понимаешь? — сказал Прянишников Бессонову по только что вновь установленному телефону. — Не дать им ни сна, ни отдыха.

Теперь, когда положение Ясинского рисовалось в более радужном свете, чем это первоначально казалось Прянишникову, и он, по всей видимости, мог пробиться почти самостоятельно, генерал решил не вводить в бой весь резервный батальон, а, отобрав человек сто автоматчиков, произвести ночную демонстрацию против высоты с максимальным шумом и минимальными потерями в людях.

Операция началась, как и предполагалось, ровно в двадцать два часа прямо с мощной артиллерийской обработки немецкого переднего края. У немцев по всему переднему краю одна за другой начали взлетать белые осветительные ракеты, они по всему фронту стали отвечать беспорядочным, главным образом минометным, огнем. Когда отряд автоматчиков начал свою демонстрацию, завязалась ожесточенная пулеметная перестрелка.

Потом сильный бой разгорелся впереди позиции Бессонова — в коридоре, по которому пробивался Ясинский.

В двенадцать часов ночи Прянишников получил первое донесение о том, что подразделения Ясинского начали выходить на правый фланг Бессонова. Генерал сейчас же выехал туда.

Ночь была совершенно темная, и только по всему горизонту то и дело вспыхивали отсветы орудийных выстрелов. Люди Ясинского выходили в полном изнеможении, но с оружием в руках, волоча за собой пулеметы и минометы. Многие были ранены, иные тяжело, но они все-таки шли. Добравшись до своих, некоторые падали на землю и засыпали.

Кроме Прянишникова, приехал и Прохоров, взяв с собою всех свободных работников политотдела дивизии. Предстояла трудная задача заставить этих выходивших из окружения смертельно усталых людей сейчас же, ночью, вырыть себе хоть какие-нибудь окопы, чтобы не стать наутро легкой добычей немецкой авиации. Прянишников приказал Бессонову уплотнить свой фронт несколько влево, а Сухову — вправо, и таким образом часть окопов освободилась для людей Ясинского.

Но много окопов приходилось рыть заново. На этот раз поступив против своего обыкновения, Прянишников вызвал на помощь саперную роту, для того чтобы отрыть наблюдательные и командные пункты и сделать перекрытия на блиндажах.

Роты Ясинского выходили одна за другой. Артиллеристы с окровавленными, забинтованными головами тащили за собой подбитые противотанковые пушки, — лошади были убиты, и пушки всю дорогу пришлось везти на себе.

Наконец появился сам Ясинский. Осколок попал ему в шею, она была туго перевязана, и Ясинский не мог поворачивать головы. Он почти ничего не слышал из-за контузии. Прянишников сделал шаг навстречу и крепко обнял его. Они ничего не сказали друг другу, но когда, войдя в блиндаж, Прянишников задал Ясинскому какой-то вопрос и, не получив ответа, посмотрел на Ясинского, он увидел, что тот заснул в ту же минуту, как сел. И вдруг Прянишников почувствовал, что и сам смертельно устал и что если и он присядет, то через минуту тоже уснет.

Он вышел из блиндажа. Кругом копошились и устраивались люди. Оставив Прохорова размещать их, налаживать порядок и обещав еще раз приехать под утро, он вернулся на командный пункт.

— Как со снарядами? — спросил он у подполковника Овечки, который уже ждал его.

— Все в порядке, товарищ генерал, — сказал Овечка. — К утру будет полтора комплекта.

— Смотри, Овечка, — сказал Пряничников, — все зависит от этого. Теперь они нас не собьют с позиций. Но это в том случае, если будет достаточно боеприпасов, а малейший перебой — и придется туго. Как с дорогами?

— Только под вечер опять мосты разбили, — сказал Овечка. — Сейчас из тылов весь народ собран, саперный взвод строит и основные и запасные мостики.

— Вот, непременно — запасные,. — сказал Пряничников. — А ну, поедем, посмотрим, как строят. Я хочу своими глазами убедиться.

И они в полной темноте, одному только шоферу Коле известными путями, поехали на генеральском «виллисе» туда, где в такой же тьме, наощупь, сотни людей строили временные мостики через ручейки и овраги, преграждавшие путь из тыла на передовые позиции.

Время уже близилось к рассвету. Начинались третьи сутки боя.

Когда впоследствии Пряничников вспоминал о третьем, четвертом и пятом дне этих боев, в памяти его они вставали как одно целое, большое и беспрерывное. Если в первые же часы у всех в дивизии родилось внутреннее спокойствие, то на третьи сутки боя к этому спокойствию начала прибавляться уверенность, что немцы не только вообще не пройдут, но в частности не пройдут именно вот здесь, на этой позиции, которую к исходу вторых суток заняла дивизия и с которой она уже больше не отступала.

На третьи сутки было вообще гораздо тише того, что было раньше, и того, что последовало потом. Очевидно, немцы понесли невосполнимые потери, а главное — их командование еще колебалось давать новые резервы. На третьи сутки немцы больше делали вид, что наступают, чем наступали на самом деле. Пряничников воспользо-

вался этим для того, чтобы заставить всех лихорадочно укреплять позиции. Это было не так просто делать: люди засыпали при каждом удобном случае.

Но он все-таки заставил, и когда на четвертый день немцы, пополнившись танками и подбросив на поле боя еще одну пехотную дивизию, начали наступать с прежней яростью, они были встречены по всем правилам военного искусства, начиная с первого же рубежа, на который они пытались продвинуться. Ни в этот, ни в следующий, пятый, день боев, хотя перед фронтом дивизии несколько раз одновременно действовало по двести танков, ни одному из них не удалось прорваться даже на уровень командных пунктов батальонов. Все они, сгоревшие и подбитые, оставались перед передним краем. Их уже перестали делить на простые танки и «тигры», а говорили обо всех «танки» или обо всех «тигры», в зависимости от темперамента говорившего. Этим одинаковым в обоих случаях названием подчеркивали то, что в конце концов подбивать и жечь можно и те и другие. Спокойствие бойцов рождалось оттого, что они своими руками поджигали танки и, сидя в окопах, когда танки подходили вплотную, оставались живыми, и оттого, что на их глазах артиллерия, как они выражались, «почем зря» подбивала эти «тигры», и оттого, что в приказах командиров, в их спокойствии, в самом воздухе боя чувствовалась непробиваемость нашей обороны.

Прянишников, к которому сходились все нити боя и который знал больше, чем все остальные, был спокоен потому, что дивизия выдержала первое, самое страшное, и еще потому, что она выдержала это с меньшими силами, чем те, которыми она располагала теперь. Ему постепенно подбрасывали артиллерию, а на исходе четвертого дня пододвинули в его распоряжение новую танковую бригаду взамен той, которая во второй день приняла на себя главный удар немецких танков и теперь переформировалась в тылу. Вновь приданная бригада была предназначена для ввода в бой в критическую минуту. Хотя несколько раз казалось, что эта критическая минута вот-вот наступит, Прянишников все-таки не признал ни одного из острых моментов боя этой критической минутой.

В середине пятого дня боя немцы ввели в действие наибольшее количество танков, и казалось, вот-вот они прорвут оборону. Командир танковой бригады, наблюдавший все это, снесся по телефону с Прянишниковым и сам просил разрешения немедленно ввести бригаду в бой. Прянишников ответил, что не нужно, что он обойдется и одной своей артиллерией. И действительно это оказалось ненужным. Когда танки ворвались в ротные районы полка Бессонова, Прянишников ввел в бой сразу два полка артиллерии, подвезенные к нему еще вчера, но до сих пор не сделавшие ни одного выстрела, и танки были остановлены.

К утру шестого дня боев на участке дивизии находились, не считая собственного артиллерийского полка, еще восемь постепенно подтянутых полков артиллерии, часть из которых Прянишников еще ни разу не вводил в бой. Все пространство перед передним краем и самый передний край были пристреляны заранее и перекрывались тройным огнем — огнем полковой и дивизионной противотанковой артиллерии, огнем тяжелой артиллерии и, наконец, огнем «катюш». Каждый квадрат поля боя, как в шахматах, был трижды защищен, не говоря уже о чисто пехотных средствах — гранатах или противотанковых ружьях.

При наличии таких средств, оценивая эту оборону как неприступную, Прянишников весь шестой день, который отличался общим затишьем, с нетерпеньем ждал, когда немцы бросят на его участок новые силы. Ему хотелось перемолоть здесь как можно больше танков, а он чувствовал, что сколько бы немцы ни бросали их — двести или триста, он все равно их теперь перемелет.

Но немцы перестали наступать, на шестой день они молчали, к большому огорчению Прянишникова, жаждавшего померяться с ними силами. Примерно то же самое, с небольшими вариантами, творилось и перед фронтом остальных дивизий. В пятидневных боях немецкое наступление выдохлось, и теперь немцы должны были повторить его снова или. . . Это «или» в последние дни начинало чувствоваться в воздухе.

В десять часов вечера на седьмые сутки артиллерийская канонада с немецкой стороны вдруг потрясла воз-

дух. Сотни и тысячи снарядов и мин всех калибров разом обрушились на наши позиции. Так продолжалось два часа. Затем сразу все оборвалось. Прянишников находился в блиндаже. Он отдал по телефону приказание во все полки немедленно повести разведку боем, преследуя отступающего противника.

— Понимаете, отступающего противника, — и, положив трубку, обратился к Гриценко: — Отступающего, верно? Как ты считаешь?

— Думаю, что да, — сказал Гриценко.

— А я убежден, — сказал Прянишников. — Через час мы это выясним точно. Они сделали эту ложную артиллерийскую подготовку, чтобы напугать нас предстоящей атакой, а сами под прикрытием ее отходят. Честное слово, отходят.

— Куда, вы думаете, они отходят? — спросил Гриценко.

— На прежние весенние позиции, с которых начали наступление. Они же тут невыгодно расположены. Где мы их остановили, там они и застряли. Если бы мы вдруг перешли в контр-наступление, им тут не усидеть, не зацепиться. А если они уж начнут отступать, то с ходу могут проскочить, отступить и за основные позиции.

Через час из полков донесли, что немцы действительно начали отход, но при этом прикрывают его сильными заслонами, и разведка всюду натыкается на ожесточенное сопротивление.

— Ничего, — сказал Прянишников. — Пусть дерутся. Утром всей дивизией будем преследовать. Эти километры, насколько я предвижу, мы пройдем легко, а вот если будем прорывать их старый передний край, тут придется повозиться.

Он чувствовал то главное, что произошло. Немцы отступали. Это значило, что, независимо от будущих событий, уже сейчас, вот сегодня, их дух если не сломлен, то надломлен, и все жертвы, которые они понесли в течение семи дней боев, оказались напрасными, и те сотни танков, которые сгорели на этой площади, сгорели зря. И ощущение, что на этом участке именно его, Прянишникова, дивизия надломила немецкий наступательный по-

рыв, остановила немцев и вот сейчас заставляет их отступать, — это ощущение было для Пряничникова высшим счастьем и наградой. Не спавший почти все эти дни, он сладко потянулся, стащил с себя сапоги, лег на стоявшую в блиндаже раскладную койку и сказал, что если все будет итти, как идет, то пусть его не будят до утра.

Проснувшись утром и узнав, что ночные предположения подтвердились и что немцы с боем продолжают отходить, повидимому, на прежние позиции, Пряничников приказал начать еще более решительно, чем раньше, преследование и затребовал из штаба данные о наличном составе дивизии.

В течение семи дней боев дивизия поредела. Но было одно обстоятельство исключительной важности, которое вселяло в Пряничникова полную уверенность в том, что и с этими поредевшими батальонами можно успешно вести наступление. Если раньше у него в дивизии была только часть людей, прошедших тяжелую сталинградскую школу и поэтому уверенных в себе, то теперь люди его дивизии испытали труднейшие дни, не уступавшие по своему напряжению сталинградским. После всего пережитого за эти дни и после того психологического подъема, который родился, когда немцы были остановлены, отбиты, сломлены и вынуждены отступить, — после этого каждый из его солдат стоит двух, — это и вселяло в Пряничникова полную уверенность в возможности наступления.

Начавшееся с рассветом преследование немцев шло весь день, хотя, собственно говоря, на ряде участков назвать это просто преследованием было бы не совсем верно. После того как немцам не удалось обмануть Пряничникова и под прикрытием мнимой артподготовки оторваться и спокойно отойти на прежние позиции, их части, прикрывавшие отход, стали ожесточенно цепляться за все промежуточные рубежи, стараясь нанести нам возможно бо̀льшие потери. Пряничников, в свою очередь, считая, что главная задача начинается перед старым передним краем немцев, старался избежать больших потерь и приказал вести преследование и бой энергично, но с применением возможно меньшего количества живой

силы. В каждом полку преследовало немцев по одному батальону, а остальные только подтягивались вслед за ними. Прянишников приказал итти вперед с наступающими частями максимально большему количеству артиллерийских наблюдателей, которые каждые полчаса или час давали непосредственно с поля боя новые данные о перемещениях немцев, и артиллерия благодаря этому накрывала их в течение дня с большой точностью всюду, где они задерживались, не давая им нигде прочно зацепиться.

В конце дня определилось, что к ночи наши передовые части доберутся до старых, весенних позиций и по всему фронту войдут в тесное соприкосновение с постоянной немецкой обороной. Прянишников выехал вперед и выбрал себе новый наблюдательный пункт километров на пять впереди от старого. Это было очень удобное место — гребень одного из холмов, позади которого лежал глубокий, заросший зеленью овражек.

Прикрывая отход своих частей, немецкая авиация все время летала над полем боя. Едва Прянишников успел переехать на новый наблюдательный пункт, где ему должны были отрыть блиндаж, как попал под бомбежку. К счастью, бомбежка была безрезультатной, но поблизости оказались всего три-четыре сапера, и работа подвигалась медленно.

К ночи все полки вплотную подошли к переднему краю немцев. Уже в темноте Прянишников прошел по окопам. У людей было хорошее настроение: и вообще — оттого что они, наконец, наступали, и в частности — оттого что их глазам в этот день представились результаты большого многодневного боя: немцы успели зарыть большинство трупов, но разбитые пушки и минометы, пустые коробки сожженных танков остались на поле боя.

Утром из армии был получен приказ о переходе к общему наступлению и подготовке к прорыву немецких позиций. Одновременно для сведения Прянишникова сообщали, что началось и в полном разгаре идет наше большое наступление в районах Орла и Белгорода. Он вызвал Прохорова и рассказал ему об этом, для того чтобы весть о нашем наступлении уже сегодня в середине дня была известна каждому бойцу.

Прянишников, вызвав к себе начальника штаба и начальника артиллерии, стал разрабатывать план прорыва немецких позиций на своем участке. Район этот был хорошо разведан еще весной. У Прянишникова на карте была отмечена вся система немецких окопов и довольно многочисленных дзотов. Часть артиллерийских полков из резерва главного командования, приданных ему в критические дни немецкого наступления, ушла от него на юг или на север — туда, где происходили события наибольшего масштаба. Но полк его собственной артиллерии и три еще оставшихся у него приданных представляли собой силу, с которой можно было пойти на прорыв оборонительной полосы.

— Главное, — сказал он начальнику штаба и начальнику артиллерии, — это система их дзотов. Насколько я знаю, на нашем участке их больше пятидесяти. Я думаю брать их в основном по-сталинградски — штурмовыми группами, одновременно сочетая действия штурмовых групп с обычным наступлением цепями. Танки будут действовать главным образом против линий окопов, а штурмовые группы брать дзоты.

Он тут же составил приказ, по которому в каждом из полков создавалось по десяти — пятнадцати штурмовых групп, — каждая, по сталинградскому примеру, из двенадцати — пятнадцати человек, в составе которых были автоматчики, саперы и по одному легкому штурмовому орудию для стрельбы прямой наводкой.

Здесь, где дзоты разбросаны были на сравнительно большом пространстве и между ними шли изрядные промежутки окопов, целесообразно было соединить сталинградского типа штурмующие группы с обычной, по уставу в полевых условиях действующей пехотой.

Весь день длилась тщательная и в то же время стремительная подготовка к завтрашнему штурму. Прянишников чувствовал, что немцы в значительной степени деморализованы и неудачным наступлением и своим последующим отходом, и чем меньший промежуток времени будет у них для того, чтобы освоиться на своих старых укреплениях и притти в себя, тем больше шансов на успех имеет атака. Эта же мысль, как он понимал, была заложена и в общем приказе по армии.

Отдав общие распоряжения по дивизии, Прянишников почти весь день провел в полках, наблюдая за формированием штурмующих групп, стараясь добиться того, чтобы в каждой из них было хотя бы два-три сталинградца. Чем больше в этот день разговаривал он с командирами и бойцами, тем сильнее в нем крепла уверенность в том, что его дивизия, несмотря на потери, все равно ощущает себя полноценнее, чем когда бы то ни было. Среди солдат распространилось великолепное убеждение, которое он наблюдал в конце сталинградской осады у своих бойцов, — убеждение в том, что немцев вполне можно бить. Люди вкусили сладость победы. Победив немцев в обороне, они ощущали, что победят их и в наступлении.

Когда Прянишников вернулся к себе на наблюдательный пункт, казалось, все уже было подготовлено к завтрашнему штурму. Он еще раз проверил, выполнены ли все его распоряжения, вплоть до самых мелких, проверил по карте правильность позиций, занимаемых артиллерией, и лишний раз осведомился и уточнил, на какую глубину с этих позиций артиллерия сможет сопровождать пехоту в случае удачного прорыва и дальнейшего продвижения вперед. Несмотря на то, что все, казалось, было готово, Прянишников волновался. Он два раза пробовал прилечь поспать, но это ему не удавалось. Разные мысли обуревали его, и он еще и еще раз спохватывался и проверял мелочи, которые все без исключения сегодня казались ему важными. Наконец, желая быть завтра «в форме» и чувствовать себя бодрым, он заставил себя заснуть на час.

Когда он проснулся, было еще темно. На горизонте чуть-чуть начинала сереть полоска рассвета. Он потребовал к себе парикмахера и побрился в блиндаже при свете двух свечей. Потом снял гимнастерку, вытащил из-под койки чемодан, достал оттуда свежий воротничок и приказал подшить его. Посвежевший, подтянутый, он вышел из блиндажа. Было уже совсем светло, и стрелки часов подходили к пяти.

— Начинаем сейчас, товарищ генерал? — спросил подошедший к нему Гриценко, тоже свежевыбритый и державшийся даже слишком торжественно.

— Начинаем, — сказал Прянишников.

Ровно в пять его артиллерия заговорила в один голос с артиллерией соседних дивизий, и после короткой, но сильной артиллерийской подготовки в половине шестого пехота, таща рядом с собой полковые и батальонные пушки, пошла в атаку.

С наблюдательного пункта были хорошо видны дымы разрывов по всей немецкой полосе укреплений и вспышки ответных выстрелов немцев. Над головами, тяжело гудя, в большом количестве прошла наша штурмовая авиация, и в первые же минуты атаки на линиях немецких укреплений вырос темносиний лес густых разрывов авиабомб.

Наблюдательный пункт был выбран удачно, и поле боя, особенно правый фланг его, можно было отчетливо наблюдать в бинокль. Пехота дружно шла цепями, от которых отделялись штурмовые группы, то там, то здесь начинавшие вплотную подходить к немецким дзотам.

Прянишников, совсем вблизи видевший все это в Сталинграде, сейчас следил в бинокль за движением маленьких точек и в уме восстанавливал всю картину штурма дзотов.

Все поле пестрело дымками разрывов, и в стеклах бинокля беспрестанно двигались и ползли все вперед и вперед маленькие точки атакующей пехоты. Артиллерия переносила огонь глубже, и в глубине немецких позиций беспрерывно, то там, то здесь, вставали фонтаны земли. Прянишников с трудом удержал себя от желания сейчас же поехать вперед, хотя бы на наблюдательный пункт полка, чтобы видеть все происходящее как можно ближе. Он запросил по телефону от всех полков сведения о продвижении. Сначала он поговорил с Суховым, потом с Бессоновым и под конец вызвал Ясинского, наступавшего в центре. Когда задание было дано и, по всей очевидности, правильно выполнялось, он не любил занимать своих командиров лишними разговорами по телефону, и только большое волнение и нетерпение заставило его изменить своей привычке и позвонить раньше, чем, может быть, это было нужно.

— Соединили с Ясинским? — спросил он.

— Да, — сказал телефонист.

— Говорит тридцать первый, — сказал Прянишников. — Ясинский?

— Нет, Кудрявцев, — ответил в телефон голос начальника штаба полка.

— А где Ясинский?

— Только что убит.

— Как убит?

— Миной на наблюдательном пункте. Сейчас выносим с поля боя.

— Как положение? — спросил Прянишников.

— Метров тридцать — сорок от первой линии. Когда ворвутся, доложу, — сказал Кудрявцев.

— Хорошо. Доложите.

Прянишников положил трубку. Убит Ясинский, у которого он столько раз бывал в полку в Сталинграде, которого четыре раза там ранили и каждый раз легко, которого прозвали за это «бессмертным» и который еще так недавно вышел из окружения. И его убили.

— Ясинского убили, — сказал он, обращаясь к Гриценко.

Он продолжал следить в бинокль за полем боя, но все не мог отделаться от мысли о Ясинском. Он вспомнил, как тот вышел из окружения, как он его обнял и как, неожиданно для себя, тогда растрогался и чуть не пустил слезу, увидав живым и здоровым этого всегда спокойного, холодноватого и такого дорогого ему человека.

— Ясинский вас вызывает, — сказал телефонист, который знал для себя только полк Ясинского, и, жив или убит Ясинский, он все еще долго, наверное, будет так говорить: «Ясинский вас вызывает».

Прянишников взял трубку.

— Ворвались, — доложил Кудрявцев.

— В первую линию ворвались?

— Нет, во вторую ворвались, — глухим голосом крикнул Кудрявцев. — Сейчас же, как в первую линию, так и во вторую ворвались, прямо с ходу, на плечах. Связь прервется, товарищ генерал. Переношу свой наблюдательный пункт прямо к ним в окопы. Как перейду, опять доложу.

Прянишников снова взялся за бинокль. Подул северный ветер, и поле боя все заволокло дымом и пылью. Только изредка были кое-где видны крошечные перебегающие фигурки людей и столбы минных разрывов. Шло наступление. Наконец шло наше летнее наступление!

— Гриценко, — сказал Прянишников.

— Да?

— По-моему, мы сегодня прорвем все эти линии их позиций.

— Да, должны, товарищ генерал.

— Не должны, а прорвем. Уже чувствую, что прорвем, — сказал Прянишников. — Это я утром говорил, что должны. А сейчас чувствую — прорвем. Сколько километров от Сталинграда до нас, а?

— Да километров семьсот — восемьсот.

— Восемьсот? Если уж мне, как Ясинскому, не суждено будет дожить до самого конца войны, — сказал Прянишников с неожиданным воодушевлением, — то хочу умереть на поле боя так, чтобы от моей спины до Сталинграда было по крайней мере две тысячи километров и ни одной русской деревни впереди, чтобы все позади были. Красиво, а, Гриценко?

— Красиво, товарищ генерал.

— А ну-ка, — сказал Прянишников обычным голосом, — прикажите дивизиону «катюш» открыть огонь по развилке дорог, что у отметки сто девятнадцать. Если мне не изменяет чутье, они в центре начали отходить, и именно по этой дороге. Сейчас мы их там накроем. Ну, скорей!

1943

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

ИЗ ПЕРВЫХ КНИГ

ГОДЫ ВОЙНЫ

ЛИРИКА

ПОЭМЫ

ПЬЕСЫ

РАССКАЗЫ

Редактор М. Чечановский.
Художник Е. Голяковский.
Технический редактор
О. Семенова-Тян-Шанская.
Подписано к печати 20/VIII 1948 г.
А-07765. Печатных листов $46^3/_4$.
Отпечатано в тип. М-401 с матриц
2-й тип. «Печатный Двор»
им. А. М. Горького.
Ленинград.

15 руб.